ISSN 0130-1545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2009

РАССКАЗЫ ДЖЕНЕТ УИНТЕРСОН И ЕЖИ ПИЛЬХА / СТИХИ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ИНТЕРВЬЮ С ГОРАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ / БОРИС ФАЛИКОВ О ДУХОВНЫХ ИСКАНИЯХ ДЖ. Д. САЛИНДЖЕРА В РУБРИКЕ "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ" / ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА: СТАТЬЯ ВАЛЕРИЯ КИСЛОВА "ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД"

Основан в 1955 году

ЛАУРЕАТЫ
НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ
ЗА 2008 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
[учредитель - журнал "Иностранная литература"]
присуждена
В я ч е с л а в у С е р е д е
за перевод романа ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ *Исправленное издание. Приложение к роману "Harmonia cælestis"*

Премия ***Инолит***
[учредитель - журнал "Иностранная литература"]
присуждена
А н а т о л и ю Е г о р ш е в у
за перевод романа ГЕОРГА КЛЯЙНА *Либидисси*

Премия ***Инолиттл***
[учредитель - журнал "Иностранная литература"]
присуждена С в е т л а н е С и л а к о в о й
за перевод эссе МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА
Что заставляет меня писать
и
фрагментов книги РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА *Письма из путешествий*

Премия имени А. М. Зверева
[учредитель - журнал "Иностранная литература"]
присуждена
Н и к о л а ю М е л ь н и к о в у
за серию статей и рецензий о переводной литературе

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден В и к т о р у Г о л ы ш е в у
за перевод романа ИЭНА МАКЬЮЭНА *Чизил-Бич*

Специальный приз журнала "Иностранная литература"
присужден
Е л е н е К а л а ш н и к о в о й
за уникальный труд — сборник интервью *По-русски с любовью: беседы с переводчиками*

[2]
2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Дженет Уинтерсон *Рассказы.* Перевод с английского и вступление Н. Поваляевой

16 Ежи Пильх *Рассказы.* Перевод с польского К. Старосельской

56 Э. Л. Доктороу *Марш.* Роман. [Окончание.] Перевод с английского В. Бошняка

Из классики XX века

190 *Ожерелье стихов: из двух американских антологий.* Перевод с английского и вступление Г. Кружкова

Из будущей книги

203 Борис Фаликов *"Ради толстой тети". Духовные поиски Дж. Д. Сэлинджера*

Дискуссия

217 *Хорек в курятнике.* О книге Эрнста Левина "Декамерон переводчика"

Трибуна переводчика

228 Валерий Кислов *Потенциальный перевод*

Интервью

236 *"В Москве ко мне отчасти вернулась вера в слово и литературу".* Интервью с Гораном Петровичем. Беседу ведет Елена Калашникова

Среди книг

241 Э. Венгерова *"Слово правды строгой..."*

Антон Нестеров *Мосты Пауля Целана*

Андрей Логутов *Мечта о понимании*

Реплика

256 А. Гелескул *Брак без любви*

БиблиофИЛ

257 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

260 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

264 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, Е. Полетаева, И. Мокин, Е. Захарова

Авторы номера

269

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный редакционный совет:

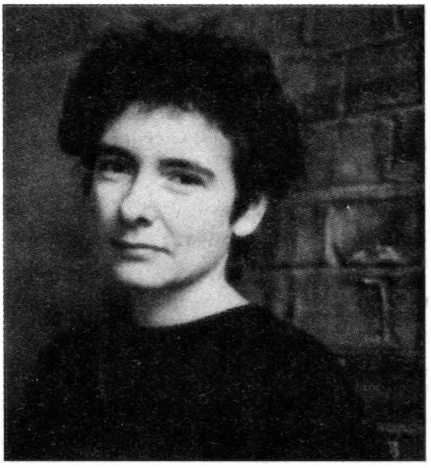
В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Дженет Уинтерсон



Рассказы

Перевод с английского и вступление Н. Поваляевой

Дженет Уинтерсон — несомненно, одна из самых оригинальных и ярких писательниц современной Британии. Ее дебютный роман "На свете есть не только апельсины" был опубликован в 1985 году, когда Дж. Уинтерсон было всего 26 лет. И с тех пор интерес критиков к творчеству писательницы не ослабевает, а армия поклонников неуклонно растет. О широком признании свидетельствует внушительный список британских и международных литературных наград, а также высшая государственная награда Великобритании — орден Британской империи, врученный писательнице "За служение литературе" королевой Елизаветой II в феврале 2006 года.

Писательница родилась 27 августа 1959 года в Манчестере, однако ни об обстоятельствах рождения, ни о том, кем были ее родители, ничего неизвестно. Грудного ребенка просто оставили на крыльце манчестерского сиротского приюта, а спустя некоторое время девочку удочерила супружеская чета Уинтерсон из небольшого фабричного городка Акрингтон на севере Британии. Приемные родители Дженет, принадлежавшие к секте евангелистов-пятидесятников, мечтали, что дочь станет миссионеркой. Поэтому воспитание маленькой Дженет было довольно специфическим и сводилось в основном к штудированию Священного Писания. В постижении библейского текста девочка делала небывалые успехи — свою первую проповедь она написала и произнесла в возрасте восьми лет. Вскоре слава о маленькой проповеднице вышла далеко за границы Акрингтонской общины — верующие специально приезжали из других областей, чтобы послу-

© Jeanette Winterson, 2007, 2008
© Н. Поваляева. Перевод, вступление, 2009

шать Дженет. Однако то, что начиналось так славно, завершилось скандалом и полным разрывом с семьей и общиной. Произошло это, когда стало известно о нетрадиционной сексуальной ориентации Дженет.

Одной из особенностей творчества Дж. Уинтерсон является повторяемость ключевых тем, образов, сюжетных моделей, создающая ощущение единого повествовательного пространства. Искусство, любовь и время — основные объекты художественного осмысления в романах писательницы. Ее творчество — это всегда смелый эксперимент, успешная попытка разрушить броню условности, обыденности, косности. Дженет Уинтерсон поэтизирует прозаический язык, открывая в нем новые измерения; смело соединяет реальное и ирреальное, манипулирует временем. Она искренне верит в преобразующую силу искусства, в магию художественного слова; и каждое ее произведение — это "очистительный" акт, призыв к самосовершенствованию и гимн любви.

Послание в бутылке

ВСЕ твердые тела превратились в жидкую субстанцию.

Дождь зарядил длинными прямыми цепями; капли-звенья прочно спаяны — длинные прутья дождя, выплавленные из серостального неба, с грохотом падают вниз, словно роллеты, отделяя дорогу от дороги, город от города.

Нужно ехать прямо — но дороги нет; оказавшись в ванне, наполненной дождевой водой, машина хлопает крыльями, словно птица. Только птицы сегодня не летают. Не плещутся на мелководье. Да и мелководья-то не найти. К вечеру дороги превратятся в каналы, а крутые возвышенности в долине станут водопадами. Река и дорога уже неразличимы, а мы пока не научились ходить по водам.

"Мне нужно добраться домой", — говорю я полицейскому у дорожного заграждения, но он качает головой, и струи дождя бегут у него по лицу, будто слезы. Я осматриваюсь; все пропитано водой, все движется, кроме дождя, который кажется твердым и неподвижным. Сквозь него ни взглянуть, ни пройти. Будто попал в комнату, стены которой постепенно смыкаются. Скоро я окажусь в стеклянном саркофаге, словно святой, словно осколок иных времен. Дождь замкнет кольцо, и я стану посланием в бутылке, джинном в кувшине. Свинцовое небо заткнет горлышко, и я никогда не выберусь, никогда. Так и буду сидеть внутри, прижавшись носом к стеклу из струй, как гомункулус в колбе алхимика.

Сегодня природа поменяла местами жидкости и твердые тела, и мои очертания тоже постепенно стираются. Я говорю полицейскому: "Мне нужно добраться домой".

Полицейский медленно качает головой, потому что под водой все движется медленнее. Потом оборачивается к водителю грузовика — тот неуклюже топчется в желтом дождевике, а его лицо цветом и фактурой напоминает солонину. Я пытаюсь вернуть к жизни свой мобильный, а дождь бежит в рукава до самых локтей. Полицейский и водитель направляются к кабине грузовика за картой, и тут меня осеняет — я же

просто могу сесть в машину, отпустить ручник и укатить, куда глаза глядят, вниз по склону холма, по дороге, ведущей к дому.

Наверное, это преступление — не подчиниться лицу в униформе, но, если я припаркую машину и стану терпеливо ждать спасения, сколько времени будет потеряно? Жизнь — не сказка, а я — не сказочная принцесса. Счастливых финалов не бывает. Этому меня научил брак.

Я забираюсь в машину. Готовлюсь к бегству. Сердце стучит, словно чужое, ведь собственного сердцебиения не замечаешь, — впрочем, мое сердце действительно принадлежит не мне. Я еду домой — к тебе. *Сообщение не передано.*

Ну, поехали.

Еду. Шины хоть и внедорожные, но не умеют превращаться в катамаран. Машина сползает вниз, по-утиному загребая носом во все прибывающей воде, и, когда до нужного поворота остается совсем немного, я вспоминаю, что вода всегда растекается горизонтально — не иногда, а всегда. Одна из характеристик воды, после влажности, — это способность растекаться горизонтально. Я также обнаруживаю (слишком поздно), что уровень воды на дороге намного выше, чем я предполагала, потому что дорога имеет уклон. Я проезжала здесь тысячи раз и отлично знала про уклон, и все же безмятежность кажущейся прямоты меня обманула. Мокрая дорога — коварная дорога, но прямая.

Как бы не так.

Вода медленно ползет вверх по ветровому стеклу, словно заполняя аквариум. Все выше и выше, и я возвращаюсь в дом своего детства, прижимаюсь носом к стеклу нашего аквариума и наблюдаю: вот папа осторожно наполняет его водой из специального шланга; вот коралловая арка, вот пластмассовая фигурка Посейдона, вот русалка — ее хвост покоится на камушке — все немного увеличивается в воде; вот водоросли поднимаются и слегка колышутся, вот, наконец, в сачке опускаются четыре рыбки-ангела и две рыбки-зебры и становятся видны папины пальцы, сеющие корм по поверхности воды.

А вода тем временем накрыла машину целиком.

Господи! В этой машине окна с электроподъемниками и нет электричества. Вода все выше, мое дыхание все судорожнее. Интересно, надолго ли хватит воздуха? Это хетчбэк, так что запаска лежит в багажнике. Помнится, в одном фильме Джеймс Бонд дышал воздухом из шины, только я не Джеймс Бонд, а чтобы открыть дверь, нужно сделать так, чтобы давление в салоне было таким же, как снаружи, а для этого нужно разбить окно, а для этого... шина... монтировка...

Я карабкаюсь назад, нахожу тяжелую монтировку и изо всех сил бью в заднее окно. Стекло разбивается. Вода атакует меня со скоростью реактивного самолета, я путаюсь в бесполезных проводах изуродованного окна, пытаясь расширить пробоину, чтобы выбраться наружу. Теперь я внутри аквариума, и если не удастся увеличить дыру — а мне не удается, — то придется просто ждать, пока вода не овладеет машиной, и тогда... ну вот, началось — всепоглощающий ужас, последний глубокий вдох и мои волосы, развевающиеся, словно водоросли.

Нужно медленно развернуться, нащупать непослушными руками дверную ручку и уговорить дверь открыться...

Дверь поддается, я ложусь и толкаю ее ногами. Я вылетаю наружу, будто новорожденный, а позади мой маленький "Титаник" уносит прочь то, что было моей жизнью. Я спасена.

В приступе ликования, опьяненная тем, что снова могу дышать, я не замечаю плывущего дерева; вернее, замечаю — ударяюсь об него головой и отключаюсь.

Сьюзен еще не приехала – она в машине – да, мы очень волнуемся... ее мобильный – нет, недоступна весь день. Надеюсь, что так, да.

Тебя ждут... два новых сообщения, и сохраненное сообщение, сохраненное сообщение, сохраненное сообщение. *Мартин... это Сьюзен.*

Очнувшись, я обнаружила, что медленно плыву по дороге-реке, словно Офелия; словно Леди из Шалотта; словно погребальное судно Уинстона Черчилля; словно прощальный тур "Take That!"; словно те камни, что доставляли по Темзе для строительства собора Святого Павла; словно Френсис Дрейк, возвращающийся под всеми парусами из Дептфорда после разгрома Армады; словно кит, огромный снаружи и маленький внутри, который полагает, что сможет медленно проплыть мимо набережных и доков, развернуться у Тауэрского моста и вернуться назад — но он никогда не вернется назад, потому что он больше, чем ему кажется, а река уже не так глубока, как прежде, в старые добрые времена, о которых киты рассказывают друг другу истории — истории, что плавают в море, словно послание в бутылке.

Так я плыла, закупоренная в бутылке, окруженная водой, твердой, как смола.

Плыла домой.

Мартин стоял на заднем крыльце и смотрел на реку. Похоже, до дома вода не доберется — он построен на возвышении, — а вот сад превратился в озеро. Мартин смотрел на льющиеся с неба струи, думая о том, что обычно дождь прозрачный, а этот вон какой темный, каждая капля — словно свинцовая дробина. Вроде бы и не холодно, но дождь сильный, суровый; лупит, будто град. Какой-то новый вид дождя, подумал он, враждебный, ничего не прощающий; не милосердный, а карающий. С другой стороны, почему человек вечно ждет милосердия? Где же Сьюзен?

Мартин собирался рассказать ей о Каролине. Купил две замороженные пиццы и пару пакетов салатных листьев, обработанных хлором или отбеливателем или чем там еще пользуются в супермаркетах, чтобы убить жуков и чтобы салат дольше хранился. Мартин обещал приготовить ужин, но подозревал, что им будет не до еды, а значит, покупать деликатесы — пустая трата денег, к тому же Сьюзен вполне может запустить в него чем-нибудь. По этой причине он не купил ничего жидкого или томатного.

Она давно должна быть дома. Он хотел, чтобы с ней все было в порядке, но часть его — небольшая, вроде ногтя или ноздри — желала, чтобы Сьюзен погибла. Простая и чистая смерть. Он даже мог бы погоревать — собственно, он и правда горевал бы, потому что когда-то давно любил ее, любовь казалась чистой и прозрачной, но потом потускнела,

отяжелела и захлопнулась, словно дверь. Да, если бы Сьюзен погибла, приняла быструю и безболезненную смерть от воды, он бы предавался только светлым воспоминаниям, и позже никто — даже ее родители — не смог бы попрекнуть его Каролиной. Он бы освободился.

Но Мартин знал, что милосердных финалов не бывает.

Он посмотрел на небо. Ну точно — свинцовая дробь.

Поток воды ускорился. Раскачиваясь и упираясь ногами и руками, я могу управлять этой штукой, словно картом или таким велосипедом, на котором педали нужно крутить лежа. Я не могу объяснить, как оказалась внутри водяного кокона, но случилось именно так. Внутри нет воды, и я могу дышать. Из-за дождя почти ничего не видно, но я знаю, что после низины река протекает под мостом, а это значит... м-дааа. Сплав по бурлящим водам — не самое приятное дело. Да ладно, эта река — наша река, мне бы только зацепиться за берег и позвать Мартина.

Мартин стоял у черного хода, и вдруг ему показалось, что кто-то зовет его по имени — еле слышно, как во сне. Голос был знакомый, но какой-то странный, неопределенный. Он немного помедлил, а затем натянул плащ.

Река вспухла; темным пенным языком облизывала деревья. Мартину вспомнилось и про "реку времени", и про то, что "в одну реку нельзя войти дважды", однако, если бы он мог вернуться назад, он сделал бы это: пробрался бы вброд сквозь настоящее к тому месту, где засуха погубила любовь, где не было ни воды, ни брода, только каменный остов. Их любовное ложе теперь напоминало каменный остов.

Мартин стоял не шевелясь. По реке плыли вещи: книги, фотоальбом, букет белых роз, туфля. Наверное, смыло чей-то дом, нужно собрать все это и потом вернуть хозяевам. Мартин задумался: а что он взял бы с собой, спасаясь из затопленного дома?

Он наклонился и вытащил из воды две книги и фотоальбом. Следом плыл кругами плюшевый мишка — на мордочке жалобная гримаска, свойственная мягким игрушкам определенного возраста. Мартин выудил его и усадил на ветку ивы.

Открыл фотоальбом. С фотографии улыбался молодой парень, по виду только что от парикмахера. Женщина рядом с ним, подняв руку, демонстрировала явно только что надетое обручальное кольцо.

Что-то стукнуло Мартина по ноге. Оказалось — кровать. Пришлось изрядно повозиться, чтобы вытащить и ее. Задохнувшись, он присел на деревянную раму. За кроватью последовал комод, затем столик для пикника, газовая плита, малолитражка 60-х годов выпуска и, наконец, детская кроватка. Из нее доносился плач. Мартин метнулся вперед и схватил кроватку обеими руками, стараясь устоять в водовороте. Кроватка была пуста.

Теперь он стоял на середине реки, а поток превратился в конвейерную ленту — покачиваясь так, что от созерцания кружилась голова, явились наполовину затопленные обломки его прошлого; все, что было давно позабыто или выброшено, потеряно или похоронено, зарыто в землю или пущено на переработку, отдано нуждающимся или отправлено на свалку, заменено, перешито, — все, что исчезло бесследно, с чем

было покончено... Жизнь — бесконечная прямая, время-стрела, время-река, теки, теки. Что происходит, когда начинается потоп?

Затем появилось мертвое тело. Мартин закричал и закрыл лицо. Тело кружилось в воде, будто астронавт в космосе — невесомое, неприкаянное, цеплялось за ветки, как тряпичная кукла, отцеплялось и плыло дальше.

Теперь он был в реке не один — вон они, подбираются ближе и ближе, смотрят вопросительно. Друзья, которых пришлось бросить (Мартин был амбициозным человеком); коллеги, которых он без сожаления подставил (Мартин был лидером); его сын — Мартин нечасто виделся с сыном. Вода прибывала.

Что это там плывет недалеко от него, стоящего по грудь в быстрой, чистой воде? Он увидел ее ноги — словно ноги забальзамированного Папы. Но она не забальзамирована, она жива, и это его жена, и она плывет по реке, словно корабль, ожидаемый с тревогой, внушающий страх, потерянный и проклятый, населенный призраками. Призрак его жены спешил к нему вперед ногами. Мартин ухватился за кокон. Тот лопнул как мыльный пузырь. Вот она — в воде, вместе с ним, голова вся в порезах и крови; красные капли падают, словно дождь из раны.

Сьюзен ранена.

Представьте. Воды потопа схлынули, и ковчег нашел пристанище на вершине горы Арарат. Голубка вернулась с оливковой ветвью в клюве.

Представьте. Прошли годы, земля стала сухой и плодородной, а ковчег все стоит там, на вершине горы, словно памятник, — абсурдное, невозможное свидетельство того, чего никогда не было.

Но это было.

Позже я поняла, почему так отчаянно стремилась домой: некая часть меня знала — после этого дня дом больше не будет прежним. Моя жизнь с Мартином, наша общая жизнь смыта прочь; еще один дождливый день — и ничего не останется.

Я знала, о чем он хочет мне рассказать. Я знала, что отвечу ему. Мы оба были готовы к последнему акту, а потом начался дождь, чистый и безжалостный, и река поднялась, обнажая перед нами прошлое; обнажая наше начало, а потом и финал.

Мартин всегда все планирует, но происшедшее выбилось из плана. Мое сердце бьется слишком быстро, я погружаюсь — все равно, тонуть так тонуть. Только голову держу над водой, в надежде.

Но в историях о кораблекрушениях что-нибудь непременно находит свой путь на берег. Потоки воды не только разрушают, но и возвращают, и меня вынесло на берег там, откуда я отправилась много лет назад. Мой собственный берег. Место для нового начала.

Я запечатана, заперта и заколочена; заточена в бутылку злыми чарами, и темная боль превращает все жидкое вокруг меня в твердую материю.

В этом крушении мне удалось уцелеть. Я встаю, и вода течет у меня по телу, а кровь струится по лицу. Но это жидкости, а не камни; это движение, а не масса. Оболочка разбита — то, что внутри, не слишком красиво, но зато живое. Я жива.

Внутри бутылки — листок бумаги, история в стеклянной трубке. Разверни — что там написано?

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.

Этот листок бумаги — кусочек суши, а эта история — место для нового начала.

Снежный конь

СКОРО Рождество. Падает снег — снег на снег, снег на снег; наш город, словно зверь, нежится под теплой белой шкурой. Презрев прогнозы синоптиков, мы садимся в джип и отправляемся за город, гордясь своей системой АБС и одновременно испытывая некоторую неловкость за обладание полноприводным средством передвижения. Моя подружка — убежденная "зеленая". Я — с оттенком желтого.

Боффин, наш пес-всезнайка, — вообще черно-белый.

Как бы то ни было, мы пожертвовали деньги на благотворительность, купили гуся, выращенного на свободе и усыпленного прежде, чем его зарезали, и завернули наши рождественские подарки в старые номера "Le Monde".

В машине тепло и уютно; нам бы радоваться, но мы начинаем ссориться. Каждый год — одна и та же история: Рождественская схватка, Рождественские крики, Рождественское хлопанье дверью — и в итоге два благородных гладиатора рвут друг друга на части. И из-за чего?

— Зачем было покупать эту поющую пуансетию?

— Ты же не любишь живые цветы.

— И ты всерьез полагаешь, что эта резиновая уродина, поющая "Jingle Bells", чем-то лучше?

Следующий залп:

— Как ты думаешь, если на корпоративной вечеринке целовался с кем-то дольше десяти секунд, нужно докладывать об этом своему партнеру?

— Конечно нет.

— Именно поэтому я тебе и не доверяю...

Помнится, где-то писали о том, что большинство романов начинаются под Рождество и большинство разводов случаются тогда же. Целый год вы сдерживаетесь, а потом все выплескивается в один момент, как бензин на трассу.

Я осторожно тяну руку к твоему сиденью. Хорошо, что на ногах нет зубов.

— Слушай, мы оба вымотались; давай спокойно доберемся до коттеджа, распакуем вещи, примем душ и пойдем на вечеринку к Саймону.

— Я не хочу идти на эту чертову вечеринку.

Саймон — местный землевладелец. Мне он нравится, а Фионе — нет; жена Саймона, после того как однажды подала гостям на обед лисицу во фритюре, нравится ей еще меньше. Естественно, никакой жареной лисицы на самом-то деле не было, просто в деревне особое чувство юмора.

Живи и дай жить другим, — говорю я Фионе. "Скажи это охотнику", — отвечает Фиона.

В конце концов мы меняем тему, потому как я — дитя деревни, а она — дитя города, и потому, что все и без того слишком сложно, так что нет нужды ссориться с тем, кого любишь.

Так, по крайней мере, я всегда говорю Боффину.

К тому времени, как мы добираемся до коттеджа и распаковываем годовой запас мясных пирожков без консервантов, экологически чистые косточки для Боффина и пересаженную в кадку елку, градус несогласия достигает предела по всем пунктам — от глобального потепления ("Милая, посмотри, на сортире во дворе шесть дюймов снега") до способов жарки гуся (Фионе по душе рецепт Джейми Оливера[1], я же голосую за Боба Крэтчита из "Рождественской песни"[2]).

Мне нравится, когда на первом этаже полыхает огонь в камине, а в ванной наверху холодно, потому что от этого веет настоящим английским Рождеством. А Фиона — поклонница центрального отопления и ярая противница копоти. Мне же одно слово "копоть" ласкает слух.

И конечно она решает, что на вечеринку мы не пойдем. Я демонстративно дуюсь, съедаю шесть пирожков, но ничего не меняется. Если я решаю идти, то нужно идти прямо сейчас. Если она решает остаться, то ничего не поделаешь.

— Ну пожалуйста, пойдем вместе!

— Твой Саймон — болван в старомодном галстуке, а его жена не гостеприимнее вертела.

— Там будет полно и других знакомых.

— Вот именно, и большинство из них поддерживают смертную казнь.

Я отправляюсь наверх обуться и на цыпочках выбираюсь из пропитанного гневом дома в тихое царство снега. Делаю глубокий вдох.

Как только я включаю зажигание, Фиона выглядывает в кухонное окно.

— Только ненормальный поедет в такую погоду. Хотя бы не срезай путь, ладно?

Я не удостаиваю ее ответом. Окно с треском захлопывается.

Мне нравится сидеть за рулем. Дорога сверкает, видимость хорошая. Вдалеке, там, где поля упираются в лес, виднеется группа оленей. Только я начинаю расслабляться, как небо раскрывается, словно вспоротое ножом, и снег накрывает машину стеганым одеялом. Снег повсюду. Приходится остановиться.

Я выхожу из машины и попадаю в белую круговерть. Ветер срезает края дороги, вздымая мерзлыми лентами уже упавший снег. Это вам не картинка с рождественской открытки — это смертельная опасность. Я забираюсь в салон, включаю дворники, врубаю на полную мощность обогрев лобового стекла и трогаю со скоростью десять миль в час.

На дороге маячит чья-то фигура.

1. Джейми Оливер (Джеймс Тревор Оливер, р. 1975) — британский шеф-повар, автор популярных кулинарных книг.
2. Имеется в виду "Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса.

Я торможу и опускаю стекло.

На меня смотрит какое-то дикое существо — рожа красная, глаза и борода черные. Поля шляпы низко опущены, рот — словно зубастая щель. Грубое подобие человека.

— Не подбросите? Здесь недалеко, совсем близко.

— Вы сломались?

— Ага, точно.

— А где ваша машина?

— Разве я говорил про машину?

Мне стало не по себе, но он уже открыл дверь и стоял, впуская внутрь ветер; в его бороде сверкали снежинки.

— Подвезете до трактира "Веселая глотка"?

Это было по пути. Как тут откажешь? Он влез в салон. Температура в машине резко упала. Наверное, его одежда вся заледенела.

— Может, скинете пальто, обсохнете немного?

— Да нет, не нужно. Теперь я в порядке, да.

— Вы откуда?

— Из Коннемары, если время вспять повернуть, а ведь сейчас для этого момент самый подходящий, верно?

— Этот снег начался так неожиданно. Вы небось в паб шли и попали в буран?

— Нет, вовсе нет.

Повисла пауза; мы медленно ползем по замерзшей трассе. Я включаю радио — только что началась история про привидения. Неожиданно мой пассажир наклоняется и выключает радио. И прежде чем я успеваю раскрыть рот, он предлагает рассказать свою историю про привидения — вроде как в счет платы за проезд, по его собственным словам. Я киваю. По крайней мере не придется поддерживать разговор.

Взглянув на меня исподлобья, он начинает.

— Однажды один добрый человек возвращался домой по Шерстяному пути из Лондона в Херефорд. Он выгодно продал овец и купил ладного белого коня, несколько рулонов ткани и множество приятных безделушек для семьи, ибо был женат на женщине знатной и хотел заслужить ее благосклонность трудолюбием и смекалкой. Покупки лежали в телеге, которая медленно тащилась позади, а деньги он держал при себе. Случилось это 21 декабря; как обычно, в эту пору на исходе дня было темно и холодно.

Так он добрался до постоялого двора, где его спутники и слуги решили заночевать. Он же решил ехать дальше, конь его был бодр — вполне мог пройти еще 15 миль сегодня и столько же завтра, чтобы поспеть домой к Рождеству.

На дорогах было неспокойно, и он попал в засаду, и бандиты ограбили его и бросили умирать у дороги. Они забрали бы и белого коня, но тот сбежал.

Ночь была долгой, снег падал и падал, и утром брошенного тела уже не было видно. Его товарищи по путешествию прошли мимо, ни о чем не подозревая, и, только когда добрались до следующего постоялого двора, узнали, что их спутник там не появлялся. Они как раз рассуждали, что делать дальше, как вдруг прискакал белый конь, все еще оседланный и испуганный. Он-то и привел их к своему хозяину, который лежал

израненный, еле живой от побоев и мороза. А затем случилось то, чего не должно было случиться. Его люди рассудили так: в том, что произошло, их вины нет, а раз он все равно не жилец, его пожитки должны достаться им. И они ушли с остатками добра.

Тот, кому достался белый конь, вскоре об этом пожалел — конь сбросил седока, раскроил ему череп и понесся, голодный и ослабший, назад, к телу своего хозяина, и лег рядом с ним, белый на белом снегу, словно хотел своей любовью оживить мертвого.

Так и помер конь на дороге, рядом с телом хозяина.

В этих местах поговаривают: если встретишь того человека — ну, ясное дело, не совсем человека, сами понимаете, — и поможешь ему, то непременно увидишь и его коня, потому как он всегда рядом с хозяином. Конь явится, белый и статный, словно месяц на фоне белых холмов.

— А вам доводилось его видеть? — спрашиваю я.

Он смеется.

— Видеть его? О да, и вам, глядишь, доведется.

— Я в привидения не верю.

— Неужто совсем не верите?

— Совсем, — я принужденно улыбаюсь. — Не верю.

— Ну, а во что ж вы тогда верите?

Я молчу. Я могу точно сказать, во что я не верю, но понятие веры в моем понимании созвучно фанатизму. Я что-то мямлю про равенство и справедливость.

— Красивые слова, — говорит мой попутчик, — и звучат весомо, но если дойдет до дела, что они значат?

К чувству неловкости теперь добавляется раздражение. С какой стати этот старый башмак учит меня жить?

Снегопад поутих, и впереди показалась таверна "Веселая глотка". Мой пассажир открывает дверь, хотя машина еще не остановилась. Выбирается наружу, оборачивается, теребя шляпу.

— Послушайте, что я скажу, — это так же верно, как и то, что я стою перед вами. Верить нужно лишь в три вещи: в себя, в то, что лучше тебя, и в того, кого любишь.

Он отступил назад.

— Конечно, не Бог весть какая мудрость, но это то, что можно проверить. Счастливого вам Рождества.

Я улыбаюсь. Старый болван. Чтоб ему замерзнуть до смерти.

Я отправляюсь дальше и погружаюсь в размышления. Он вывел меня из равновесия. Он разозлил меня, но чем? Что он такого сделал? Ничего. Что плохого сказал? Ничего.

Ну, а во что же вы тогда верите? Я снова и снова слышу его голос.

Верить в себя? Не так-то это просто. Да и звучит словно речь Джорджа Буша или Ганди. В то, что лучше тебя? Во что же — в старого доброго Боженьку или в новомодный мировой порядок? Слишком абстрактно... и вообще, с какой стати я об этом думаю? Но вот думаю же... Лучше меня... ладно, взглянем правде в лицо — даже пес лучше меня: он терпелив, ему можно доверять и он никогда не лжет.

Отлично, пускай пес; я верю в пса. Во что еще? Не покончив со вторым пунктом, равно как и с первым, перескакиваю на последний — *верить в того, кого любишь.*

Я люблю Фиону — но верю ли я в нее? И что вообще это значит? Абсолютное доверие. Что-то вроде умиротворения. Вера — это не знание, она не связана с фактами. Это уверенность в том, в чем не может быть уверенности — по крайней мере с точки зрения логики. Вера иррациональна, вот почему я сравниваю ее с фанатизмом, вот почему остерегаюсь ее, вижу ее темную сторону, тогда как светлая сторона... вдруг прямо надо мной восходящая луна озарила белым светом белое небо.

Во что же вы тогда верите?

Я останавливаю машину и выключаю двигатель. Отсюда, с гребня холма, видны все окрестные поля — белые квадраты, очерченные темными линиями изгородей. Вдалеке горстью огоньков сигналит поселок. Позади меня на дороге тихо и пусто. Снегопад разогнал всех по домам. На ближайшем ко мне поле небольшое стадо овец сгрудилось вокруг эмалированного корыта. В полной тишине слышно, как похрустывает брюква.

С высоты холма я вижу свою цель — черную громаду дома с ярко освещенными окнами. Осталась всего какая-то миля, если, конечно, срезать.

Хотя бы не срезай путь, ладно?

Но я опаздываю, а дом так близко. В объезд получится не меньше четырех миль, к тому же опять пошел снег, мягкий, невинный, но не предвещающий ничего хорошего. Через полчаса снова начнется буран.

А пока ветра нет и небо расчистилось. Я выбираюсь из машины, чтобы исследовать верхушку холма и его изгибающийся уклон, или уклончивый изгиб. Здесь пролегает короткая дорога в поселок, по которой фермеры и их работники добираются в любую погоду, но, как правило, на своих двоих или, в лучшем случае, на четвероногом транспорте. Я смотрю на свой джип. Полноприводная модернизированная версия четвероногого транспорта. Если здесь может спуститься лошадь, то смогу и я. К тому же у лошади нет системы АБС. И вообще, мы ведь в Англии, а не в Исландии. Я улыбаюсь, пытаясь побороть нервозность, и возвращаюсь к машине.

Удивительно тихо. Небо надело ночное платье с прорехами-звездами. Одна, ярче всех остальных, низко висит над долиной. Надо ехать по направлению к ней — все просто и явно в духе приближающегося праздника; так что я, отбросив сомнения, забираюсь в теплый салон и стартую на второй скорости. Края ложбины смыкаются надо мной.

Уклон оказался круче, чем мне казалось. Я осторожно жму на тормоз, и задние колеса буксуют. Понятно, торможение отменяется, остается крепче держаться за руль и отдаться на милость технике. Я медленно двигаюсь вперед, чувствуя, как скрипит машина, улавливая приглушенный шелест шин. Прямо у ветрового стекла промелькнула сова, ее белое лицо — словно предупредительный знак.

Кругом так бело, что я начинаю путать уходящую резко вниз дорогу с крутыми обочинами. Выворачиваю руль, ползу вверх, балансирую и снова скатываюсь вниз, едва не завалившись на бок. Дорога такая узкая, что никак не удается выровняться; колеса беспомощно скользят, пока я пытаюсь развернуться. Выравниваюсь, давлю на тормоз изо всех сил, и машина глохнет. Не успеваю дотянуться до ручника и начинаю неуправляемо скользить вперед. Хватаю ручник, одновременно давя на тормоз,

но задние колеса заблокированы пресловутой системой АБС, и машина несется все быстрее по голому льду.

И тут дерево стряхивает снежный ком прямо на лобовое стекло, и мой мир становится белым. Я слышу звуки, похожие на сход лавины, и понимаю, что лавина, набирающая скорость, — это я, ибо теперь заглохший джип — не более чем груда тяжелого металла. Последнее, что запомнилось: я опускаю боковое стекло, поворачиваю голову и вижу коня. Белого коня.

А потом белый мир стал черным.

В сознание меня возвращает звонок мобильного. Несколько секунд или минут — точно не знаю — я сижу не двигаясь; равнодушно отмечаю, что в открытое окно намело немало снега, и он белым покрывалом лег на пассажирское сиденье. А на покрывале рассыпаны красные ягоды. Красные ягоды. Я медленно протягиваю руку. Нет, это не красные ягоды, это красная кровь.

Пробую пошевелиться — получается, значит, все в порядке. Пытаюсь открыть дверь — нет, с моей стороны не поддается. Скольжу по снежному покрывалу с кровавыми надписями и выбираюсь наружу через окно с пассажирской стороны. Падаю в глубокий снег, и вокруг меня, не переставая, падает снег. Крыло джипа помято от столкновения с воротами фермы.

Безотчетно открываю багажник и достаю два дорожных пледа, которые мы там держим на всякий случай. Укутываю ими голову и плечи. Затем беру бутылку виски, припасенную для вечеринки, и заталкиваю ее в карман пальто. На белый покров из рассеченной брови течет кровь. Я наклоняюсь, загребаю пригоршню хрустальных снежинок и прикладываю к порезу. Легкий, чистый холодок.

Делаю глоток из бутылки и отправляюсь в путь.

И тут обнаруживаю следы. Они ведут вниз по склону холма, от вершины к поселку. Свежие, совсем недавние следы, которые снег еще не успел замести.

Словно дитя, я иду по следу и вскоре кое-что замечаю; кое-что, появившееся настолько внезапно, что это просто невероятно, и, будучи в заторможенном состоянии, я останавливаюсь под падающим снегом, пытаясь осознать непостижимое. Очень четкой, ровной линией рядом с человеческими отпечатались следы конских копыт.

Должно быть, он перепрыгнул через изгородь, размышляю я, отлично зная, что кони никогда не прыгают без седока, если только не напуганы.

У меня рана на голове, думаю я. Нельзя останавливаться. Нужно добраться до дома.

И тут — вот идиотство! — я вспоминаю о телефоне, оставленном в машине. Поворачиваю назад, но соображаю, что, если вернуться, можно потерять следы. И дорогу к дому. Не знаю, что мною двигало, но я не возвращаюсь, а иду вперед.

— Мне так стыдно, не нужно было на тебя кричать, — говорю я вслух, хотя рядом нет ни души. — Как жаль, что сейчас тебя нет рядом. Я протягиваю руку, чтобы прикоснуться к твоей руке.

Я погружаюсь в детские воспоминания. Родители постоянно ссорились. Так и вижу: вот я в пижаме сижу на лестнице и слушаю их ругань. Маме хотелось больше денег, отец жаждал лучшей жизни. Когда они развелись, мне казалось, что уж я-то никогда не буду ссориться с тем, кого полюблю. Но обещание разбилось, словно дешевое стекло.

Я почти у цели; но все дома в деревне погружены во тьму. Куда это все подевались? Ушли на вечеринку? Снова поднялся ветер, припечатывая к моему лицу комья снега, словно мокрую маску.

— Уже близко, — говорю я себе. — Иди.

Но я не иду, я падаю.

Небо надело ночное платье с прорехами-звездами. Космические ветра гоняют кометы с горящими хвостами. На востоке мерцает красная планета: Солнце или Марс? Можно верить в рождение. Можно верить в новое начало. За новым началом всегда следует иной финал.

Надо мной склоняется Фиона. Издалека доносятся голоса, но ее лицо так близко, и она держит меня за руку.

— Я знала, что ты срежешь путь, — говорит она. — Я вышла следом за тобой. Позвонила Саймону, тебя не было на вечеринке, и он отправился на поиски. Джеральдина заехала за мной, они оба так волновались; мне так жаль, что я плохо говорила о них. Мы нашли джип, и я решила, что тебе конец...

Она плачет. Я сжимаю ее руку. Я так близко к ней и так далеко от себя.

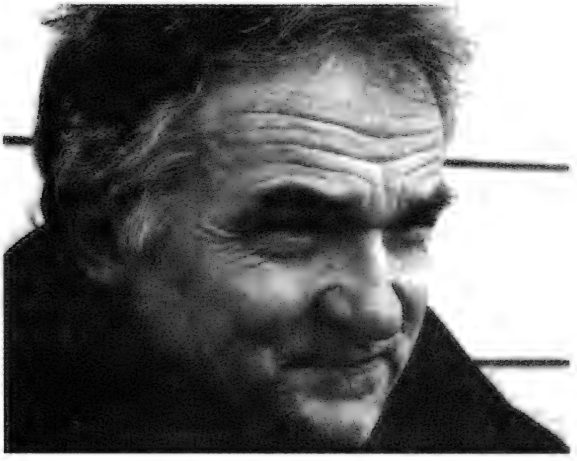
— Там были твои следы, — говорю я, — и конь. Ты видела снежного коня?

— Коня?

— Когда ты спускалась по склону холма, рядом с тобой шел конь, разве ты не видела?

Ночь накануне Рождества. Я лежу с открытыми глазами, а ты спишь рядом. Луна за окном, словно стражник, охраняет нашу постель. Вот опять кричит сова — квик! квик! — и тут же неподалеку протяжным уханьем ей вторит другая. А затем — ошибиться невозможно — я отчетливо слышу стук копыт, сначала прямо под окном, потом — у холма и дальше вперед, все быстрее и быстрее, вверх по старой дороге, под сетью звезд.

Ежи Пильх



Рассказы

Перевод с польского К. Старосельской

Прекраснейшая из Женщин

I

Когда приходит большая любовь, кажется, что ты полюбил прекраснейшую из женщин. Но если ты и вправду полюбил женщину, краше которой нет никого на свете, жди неприятностей.

Даже если она и не была Прекраснейшей из Женщин в прямом смысле слова, то наверняка входила в первую десятку прекраснейших, а если не в десятку, то в сотню... к черту подробности: она была ослепительна в планетарном смысле.

Я увидел Прекраснейшую из Женщин и, как последний фраер, совершил ужасную ошибку: нет чтобы ограничиться восхищением — я решил ее завоевать.

Увидел я ее на одном приеме, то есть впервые увидел живьем: прежде я сотни раз видел ее изображение на различных фотографиях, рекламах, плакатах и билбордах. Ее знаменитый облик распутной мадонны, который так возбуждал фотографов, кинооператоров и режиссеров, был широко известен. Прием проходил в саду одного из западных посольств. Очень пышный, очень ритуальный и очень традиционный. На светской бирже приглашение на него рассматривалось как чрезвычайно ценная бумага.

Text © Jerzy Pilch 2006
Polish edition © Bertelsmann Media Sp. z o. o., Warsaw, 2006
© К. Старосельская. Перевод, 2009

От приемов такого рода этот отличался тем, что в саду посольства, среди виртуозно владеющих искусством светского общения завсегдатаев подобных мероприятий, бродили растерянные интеллектуалы, которые ни на каких приемах не бывали, но имели в своем багаже труды, посвященные культуре данного западного государства. Они выделялись допотопными костюмами, неумеренным обжорством и огромным энтузиазмом, а когда пресыщенные завсегдатаи признавались им, что ненавидят приемы, старались хоть как-то бедняг утешить и уговаривали есть, пить и развлекаться. Пресыщенные завсегдатаи, которые на всех приемах угрюмо талдычили, что ненавидят приемы, и находили для своих признаний столь же угрюмых слушателей из числа прочих пресыщенных завсегдатаев, в той же мере приемы ненавидящих, ошарашенно взирали на бодрых, улыбающихся, разгоряченных шампанским старичков, которые неожиданно вцеплялись в них железной хваткой, вели под локоток к ломящимся от яств столам и, оглядевшись, пылко восклицали:

— Да что вы грустите, молодой человек! Надо уметь радоваться солнечным сторонам жизни! В особенности сегодня! В особенности здесь! Какой великолепный стол! Непременно что-нибудь съешьте! Ну пожалуйста! Превосходная рыбка! Превосходная ветчинка! Превосходный салатик! — И совали в пресыщенные руки тарелку, и накладывали громадные порции, и подсовывали их под пресыщенные носы. — Непременно съешьте хоть что-нибудь! А потом — ведь напитки ждут! Отменнейшие напитки! Прошу, угощайтесь! — И, казалось бы, растерянные, а, по сути, чувствующие себя в саду посольства как рыба в воде интеллектуалы, шаловливо подмигнув, лихо ныряли в плавно колышущуюся толпу.

Был душный июльский день. С запада на Варшаву наступали темные, как свинец, заряженные электричеством тучи. Прекраснейшая из Женщин добрых два часа не двигалась с места. Я кружил поблизости.

Поначалу я не замечал, что кружу; со стаканом минеральной воды без газа я бесцельно — как мне казалось — слонялся по саду посольства. Ни к кому специально не пристраивался. Ко мне тоже никто. Инстинктивно избегал высматривающих очередную жертву зануд. После какого-то там кряду приема такое умение само входит в кровь. Высматривающие жертву зануды подобны снайперам на войне — они сеют смерть. И мне как-то удавалось обходить их стороной. Правда, один зануда, на гражданке бесцветный фельетонист диссидентского толка, сумел меня вычислить, приблизился, завел свою волынку, в сотый раз принявшись рассказывать, как его схватили во время военного положения; я уж думал, мне конец, но, приглядевшись, заметил, что нападающий, несмотря на ранний час, явно подшофе, — и без труда от него отделался. Сам, разумеется, я не выпил ни капли, в глубине души, впрочем, не исключая, что еще сегодня вечером, надежно запершись дома, в одиночестве раздавлю бутылочку, но чтобы здесь — об этом и речи не могло быть.

Проходя в третий раз мимо Прекраснейшей из Женщин, я понял, что описываю круги, притом по все более сужающимся орбитам. Она стояла неподалеку от одного из расставленных по всему газону плетеных кресел. Стояла, не двигаясь с места, и курила сигареты, что в кругу истерически пекущихся о своем здоровье звезд редкость. Время от времени к ней подкатывал какой-нибудь не скрывающий волнения, напрягшийся как струна завсегдатай, но все они быстро сникали и отваливали.

Мои круги продолжали сужаться. Мне уже были хорошо видны ее ноги, истоптавшие самые престижные модельные подиумы земного шара; ее плечи, с которых из сезона в сезон ниспадали самые дорогие творения Диора, Версаче, Лагерфельда и Монтана; ее волосы, пахнущие лучшими в мире шампунями; ее декольте, смело открывающее контуры знаменитого бюста, недолгое время освещавшегося софитами голливудских киностудий. Недолгое, потому что карьеры в кино она не сделала. Правда, сыграла пятнадцать лет назад маленькую роль стюардессы, подающей коктейль Харрисону Форду, что, кстати, остается несбыточной мечтой большинства профессиональных европейских актрис, но после этого эпизода новые предложения из пресловутого мешка не посыпались. Естественно — по крайней мере в моих глазах — ее достоинств это нисколько не умаляло. Напротив. Тут была своя логика. Ее судьбу определяла ее необычайная красота. Ничего больше во внимание не принималось. Иначе говоря (то есть прямо), за что бы — не имеющее отношения к ее красоте — она ни бралась, во всем оказывалась сущей бездарью. А бралась она, к сожалению, за многое. Записала диск с собственными песнями — главным их достоинством было то, что музыка почти полностью заглушала голос. Опубликовала книжечку стихов — редкостную дрянь. Рисовала и устроила выставку своих работ — о боже! По правде сказать, даже ее секундное появление на экране рядом с Харрисоном Фордом было — в особенности если учитывать краткость этой сцены — полнейшим провалом. Оставалось утешаться тем, что рядом с таким виртуозом всякий — и уж тем более начинающий — актер выглядит бледно. Сомнительное утешение!

Однако все эти неудачи меркли в сиянии ее красоты. Какое значение имело то, что она никудышная певица, бездарная поэтесса и скверная художница, если, столкнувшись с ней, величайшие певцы теряли голос, талантливейшие поэты не находили слов, а выдающиеся художники от волнения напускали в штаны?

Я был уже в двух шагах от этой красоты. Я был от нее в двух шагах, и про меня нельзя было сказать, что я напряжен как струна — я трясся как студень.

— Рад видеть вас живой, — выдавил я из себя. Господи, какая чушь! Конечно же я хотел сказать: "Рад видеть вас вживую", что было бы ритуальной и безопасной фразой поклонника, который знает своего кумира по фильмам, телешоу и тысячам фотографий и теперь выражает восторг по поводу того, что видит воочию. Вместо этого из меня на нервной почве выскочила реплика, уместная в случае автокатастрофы или инфаркта. Слова "рад видеть вас живой" прозвучали так, будто она только что избежала смертельной опасности — а ничего похожего и в помине не было. Однако нет худа без добра. Она взглянула на меня и неожиданно громко рассмеялась. Мой — скажем прямо идиотский — ляпсус явно ее позабавил.

— Я тоже рада видеть вас живым, — сказала она легко и просто, и эта легкость немедленно свинцовой тяжестью меня придавила.

Не может же быть, лихорадочно начал я соображать, чтобы она знала, что две недели назад я подыхал в буквальном смысле слова. Откуда бы ей это знать? Я заперся дома, задернул шторы, выключил телефоны, ни с кем не разговаривал, никуда не выходил, разве что в круглосуточно работающий магазин... Неужели, когда я плелся в магазин, меня кто-то заметил, и весть молниеносно разнеслась по городу? Это было вполне

возможно. Я крепился, сколько мог, но в конце концов всегда возникает необходимость сходить в магазин... Да, кто-то видел, как я плелся в круглосуточно работающий магазин; других вариантов не было.

И все же не исключено, что она ответила мне без всякой задней мысли, ответила автоматически, шутки ради как эхо повторила мою дурацкую фразу. Такая возможность существовала, и даже с немалой степенью вероятности, но, чтобы здраво к этому отнестись, мне следовало перестроиться. Дело в том, что у меня есть один пунктик, психический заскок, что ли. Когда бы меня, ничего особенного не имея в виду, ни спросили: "Как дела? Как поживаешь? Как себя чувствуешь? У тебя все в порядке?" — когда бы я ни получил эсэмэску подобного содержания, когда бы ни услышал такие вопросы в телефонной трубке или с глазу на глаз, я терялся и не мог ответить по-человечески и непринужденно — всякий раз съеживался от страха и, прежде чем ответить, пытался заглушить немедленно возникающий в голове вопрос: "Откуда он знает? Откуда эта сволочь знает, что я снова развязал?" И теперь произошло то же самое, и даже еще хуже, ибо в утверждении "рада видеть вас живым" прозвучала не догадка, а осведомленность о моем падении. Что поделаешь, подумал я, в конце концов даже лучше, что она знает о моем недуге. По крайней мере, не будет горького разочарования, когда после свадьбы я ударюсь во все тяжкие.

— Вообще-то, я едва живой, — осторожно сказал я. — Честно говоря, совсем никуда.

— Нехорошо, — ответила она с необыкновенно теплой материнской интонацией, — нехорошо. И даже плохо. Очень плохо.

— У меня был учитель русского языка, который так говорил. Точно так же.

— Что, что? — Нет, не скажу, что она моментально ощетинилась, но явно всполошилась и уже готова была ощетиниться. Что, в общем, неудивительно. Хотя уже лет пятнадцать как в польских школах не осталось учителей русского языка, даже легкий намек на таковых вызывал неприятные ассоциации. Вероятно, Прекраснейшая из Женщин, как и многие поляки, была болезненно чувствительна ко всему, связанному с Москвой. Скорее всего, она вынесла это из отчего дома.

— У нас в школе был учитель-русист, — чтобы смягчить нанесенную ей травму, с лихорадочной торопливостью затараторил я, — отличный мужик, мы очень его любили. В частности потому, что он был не только умный, но и великодушный. Внедряя в нас знания, особо не усердствовал. Не скажу, что позволял садиться себе на шею, но — тем не менее — много чего позволял. Правда, время от времени, примерно раз в два месяца, у него случался приступ чрезвычайной суровости. Он входил в класс с чрезвычайно суровым выражением лица, с чрезвычайной суровостью вызывал кого-нибудь к доске и чрезвычайно сурово в полном молчании выслушивал ответ. Не прерывал, не поправлял, не произносил ни слова. Молча выслушивал вьющегося как уж на сковородке бедолагу, а когда тот с грехом пополам заканчивал, говорил: "Очень плохо".

Она смеялась, смеялась все время, пока я рассказывал, и это было хорошо, но и немного раздражало, потому что, когда я добрался до сути, она не перестала смеяться, и непонятно было, заметила ли она вообще и оценила ли концовку истории. Впрочем, я решил на этом не зацикливаться.

Между тем на темном горизонте зазмеились далекие, еще желтые и неторопливые нитки молний. На город надвигались три, а то и четыре грозы.

— Очень хорошо, — сказала она (значит, все-таки заметила и оценила), — очень хорошо. Я вам ставлю "отлично". Но очень плохо, что вы едва живой. Это очень плохо, и это нужно изменить.

— Что нужно изменить?

— Жизнь. Жизнь нужно изменить.

— Знаете, жизнь изменить трудно. Жизнь, в общем-то, не меняется. Разве что к худшему. А с определенного момента — исключительно к худшему.

С минуту я раздумывал, не усилить ли пессимистическую тональность и даже — не выжать ли педаль пессимизма до упора, но сдержался. Пессимизм и горечь — столь же верный, сколь и стандартный способ возбуждения в женщинах рефлекторного желания утешить; ее же неземная красота предостерегала: не играй на знакомых струнах.

— Если вы еще скажете, что вам не для кого менять свою жизнь к лучшему, и при этом многозначительно заглянете мне в глаза, ситуация, конечно же, прояснится, но дальше говорить будет не о чем.

Трудный, очень трудный мяч — фраеру такой не отбить — послала она в мою сторону, но насколько я (по своей лени) слаб по части отбивания легких мячей, настолько трудные пасы меня окрыляют, и я воспаряю ввысь.

— Разумеется, мне не для кого менять свою жизнь к лучшему. Только вот это меня ничуть не колышет. Не дай бог, чтобы мне было для кого менять жизнь или хоть что-либо в моей жизни. Я живу сам для себя и слишком привык к собственному одиночеству, слишком это ценю. Если вы мне скажете, что, когда в моей жизни появится настоящая любовь, я наверняка примусь с жаром менять жизнь к лучшему, — если вы так скажете и при этом многозначительно заглянете мне в глаза, то ситуация тоже прояснится и говорить тоже станет не о чем.

Я понимал, что ей вряд ли удастся отбить так ловко закрученный ответный мяч, но не предвидел, что она увернется от удара.

— Ситуация ясна, — ответила она с уколовшей меня безошибочностью. — Ситуация ясна. Вы понятия не имеете о жизни. Знать не знаете, что такое жизнь.

— А что это такое? — я постарался голосом изобразить раздражение и даже ярость; пути назад не было, игра обострилась. Если она сочтет меня психом — я проиграл. Если же в приступе тщеславия почувствует себя польщенной тем, что сумела вывести меня из равновесия, — я выиграл. — А что это такое, прошу прощения, — жизнь? Будьте любезны, просветите меня, а то я, честно говоря, не в курсе.

— Конечно, не в курсе. Вроде бы знаток человеческих душ, литератор, всеведущий теоретик, а о жизни понятия не имеете.

Я пал — в этот момент я пал, несомненно и — если можно так сказать — на всех фронтах. Пал, поскольку — о, гордыня фраера! — уже посчитал, что победа у меня в кармане. Когда женщина приступает к якобы безжалостной, но, по сути, нежной атаке, победа, как правило, оказывается у тебя в кармане.

— Ну разумеется, я ни о чем не имею понятия. А уж о жизни тем более. Что такое жизнь? Не знаю. Говорю вам со смертельной серьезностью: не знаю.

— О боже, от тебя с ума можно сойти. Неужели не видишь, что я исполнена наилучших намерений и даже... горю желанием? И этого, дурачок, не видишь? Ты какого года?

— Пятьдесят третьего, — машинально, но с обидой ответил я: в конце концов на обложках почти всех моих книг дата рождения написана черным по белому, а она допытывается. Ни одной, что ли, не держала в руках? Я даже заколебался было, не оскорбиться ли мне и гордо удалиться, но после недолгих размышлений пришел к выводу, что если сейчас добьюсь успеха, то за незнание моего творчества буду наказывать ее эксцентрической брутальностью в постели.

— Превосходно. Пятьдесят третьего года рождения — и ищет смысл жизни. До сих пор никто тебя, бедняжка, не просветил, в чем смысл жизни? И вправду никто?

— Никто. И я чувствую, что если вы... если ты мне не скажешь, то никогда уже не узнаю и так в неведении и помру.

— Слушай, главное в жизни — установить надлежащую пропорцию между работой и отдыхом. Понимаешь? Или это трудно понять?

— Насчет работы все более-менее понятно... А если говорить об отдыхе...

Вероятно, меня выдал мой взгляд, вероятно, в нем сверкнула слишком уж очевидная алчность, потому что она со снисходительным состраданием покачала головой.

— Прости, но такой вариант отдыха — слишком односторонний, слишком утомительный и, в общем-то, неблаговидный. Что же касается работы... — после недолгого зловещего молчания продолжила она примирительно, даже очень примирительно, — что касается *работы*, то над чем, позволю себе задать банальный вопрос горячей поклонницы, мэтр в настоящее время работает?

— Покорнейше благодарю за горячую. Перед сладкой ложью ни один литератор не устоит. Тем более в таком... тем более в твоем исполнении. Я сейчас сочиняю рассказы. Готовлю сборник нестандартных рассказов.

— Роман меньше, чем роман, а сборник рассказов больше, чем сборник рассказов? — неожиданно выпалила она.

"Что ты несешь, — подумал я в первую секунду, — что ты, прелестное созданье, несешь?" Однако первая секунда миновала, за ней вторая, третья, а может, даже четвертая, и в следующую, не знаю уж, которую кряду, секунду до меня медленно, очень медленно — langsam und trübe[1] — стало доходить, что как знать... Как знать, уж не открыла ли ненароком эта дуреха важный профессиональный секрет?

II

Сейчас, вспоминая и записывая наш первый разговор, я лишний раз убеждаюсь, что литературе никогда не угнаться за жизнью. Даже точно, слово в слово записанный диалог не передает самого главного. В данном случае самым главным было чудовищное ошеломление: неужто до беседы со

1. Зд.: медленно и с трудом (*нем.*). (*Здесь и далее, если специально не указано, – прим. перев.*)

мной снизошла Прекраснейшая из Женщин? Это во-первых. А во-вторых, я был ошеломлен тем, что говорю сам. В конце концов и не такие орлы теряли в ее присутствии дар речи. А тут завязалась беседа: она что-то говорила мне, я — ей; мало того, похоже, она внимательно меня слушала; потом она отвечала, потом я отвечал, потом она, потом я... С виду все протекало абсолютно нормально! С виду. Всего лишь с виду. Разговор наш лишь казался нормальным: на самом деле он был очень обрывочным и нескладным, а мое в нем участие — весьма иллюзорным и неполноценным. Произнесено слово — и я в панике оттого, что произнесено слово. Вроде бы я к ней приближаюсь — и уже в панике, в страхе и изумлении оттого, что приближаюсь. Ох, б... приближаюсь! Ох, б... я уже близко! Ох, б... я ответил! Ох, б... она на меня посмотрела! Ох, б... она меня видит! Ох, б... она ко мне обращается! Так я все время мысленно восклицал, и эти восклицания доминировали. В них-то и была вся суть. А еще в них таилось предзнаменование трагедии. Нет чтобы сосредоточиться на происходящем — я целиком отдался триумфальному чувству восторга от того, что вообще *что-то* происходит. Это меня и сгубило.

Три из четырех гроз обрушились на сад посольства; от молний стало бело, как зимой, от раскатов грома — беззвучно, как в немом фильме. Разбавленные струями воды салаты начали выходить из берегов салатниц; копчености, сыры, фрукты резво плыли по скатерти; вымокшие до нитки официанты пытались спасти что можно; газон в мгновение ока превратился в болото; войско потрепанных бурей гостей кинулось на штурм здания посольства — хаос с каждой минутой усугублялся.

Прекраснейшая из Женщин исчезла. Исчезла в промежутке между двумя моими взглядами. Когда вокруг внезапно потемнело и дождь полил как из ведра, я обратил взор к небу; потом инстинкт подсказал мне, что Венеру из III Речи Посполитой нужно уберечь от ливня: быть может, снять и набросить ей на плечи пиджак, каким-то чудом раздобыть зонт, мановением волшебной палочки превратить носовой платок в плащ (продолжалось это не долее секунды, мои благородные помыслы даже не успели конкретизироваться), — и я снова посмотрел туда, где она стояла, но — ее там уже не было. Как будто ураган в прямом смысле слова унес Прекраснейшую из Женщин... Кажется, я даже невольно глянул на раскачиваемые ветром кроны деревьев, но то был детский рефлекс.

Кроме того... да, конечно, она была Прекраснейшей из Женщин (или входила в первую десятку либо в первую сотню Прекраснейших), но хрупкой и эфемерной отнюдь не была. По совести говоря, здоровенная баба: 184 сантиметра росту, шикарный — без всяких там силиконов — бюст, массивные ляжки и торс борца. Еще несколько лет назад эту даму назвали бы весьма упитанной. История ее детально разработанной авторской диеты и потрясающе успешного похудания была известна в народе не хуже, чем история Воскресения Господня, а то и лучше. Теперь красавица была, разумеется, худощава и стройна, как тополь, и тем не менее ветер вряд ли мог, подхватив ее как пушинку, вознести до верхушек растущих вдоль ограды настоящих тополей.

Я как одержимый бросился на поиски. Обошел все помещения посольства, от подвалов до чердака. Поднял на ноги всех охранников; они следовали за мной, но на почтительном расстоянии; видимо, я был бле-

ден, как труп, взор безумный, волосы дыбом. Из туфель и штанин лилась вода, потому что я то и дело выскакивал в сад, где она битых два часа неподвижно простояла рядом с плетеным креслом. Время от времени мне мерещилось, что она продолжает там стоять, и я как дурак снова туда бежал. Охранники за мной, но, как я уже сказал, на почтительном расстоянии, ибо справедливо полагали, что не с расчетливым террористом имеют дело, а с непредсказуемым психом.

Поминутно кто-нибудь спрашивал, кого я ищу, — я не отвечал, ничего не объяснял, вообще не произносил ни слова. Как признаться, что я так лопухнулся? Сказать, что ищу Прекраснейшую из Женщин? Представьте, что вы в панике заглядываете в разные закутки в поисках, скажем, Шарон Стоун и кто-то у вас спрашивает, кого вы ищете. Что бы вы ответили? Шарон я ищу, Шарон, куда ее черт занес? Нет, такой диалог исключен! Это не влезает ни в какие рамки! Нельзя спрашивать про красивых женщин: вам будут приписаны грязные помышления — даже если вы успешно их утаите. Даже если славитесь своим аскетизмом. А я аскетом не был. Зато я был в диком отчаянии, хотя обстоятельства — казалось бы — мне благоприятствовали.

После того как банкет из затопленного ливнем и разбомбленного громом и молниями сада стремительно переместился под крышу, атмосфера — как оно бывает во внезапно захваченных чернью салонах — становилась все непринужденнее. Под предлогом того, что во избежание простуды необходимо выпить, гости, плюнув на экстерриториальность посольства, пили так, как пьют у нас повсеместно: по бутыльцу на брата. Потому и не диво, что вскоре почти все достигли того же состояния, в каковом бесцветный фельетонист диссидентского толка пребывал с самого начала. Мне он не больно нравился, но я не мог не восхититься его доблестными атаками на спиртное. Уж коли человеку суждено пасть в финале, ничто не может ему помешать перед тем пуститься во все тяжкие. И я решил — эх, где наша не пропадала! — сыграть ва-банк, решил попробовать — набравшегося изображая — у кого-нибудь, не меньше моего (но только на самом деле) набравшегося, будто бы хохмы ради разузнать координаты Прекраснейшей из Женщин.

Но была тут одна загвоздка: я не слишком-то хорошо знал присутствующих. То есть мог лишь предполагать, кому известен номер ее мобильника. Вон тому проживающему в Нью-Йорке кутюрье номер, вернее всего, известен, а вон тому бывшему министру — конечно же нет; знаменитому художнику-графику, скорее, известен, а правому публицисту — скорее не известен; прославившийся своими победами на любовном фронте режиссер может этот номер знать, а гордящийся своей моногамностью композитор — нет; скандальная художница почти наверняка знает, а профессор философии из Оксфорда — почти наверняка нет[1]. И даже если я попаду в точку, неизвестно, какова будет реакция на мой вопрос. Потому я довольно долго колебался, озирался по сторонам, лихорадочно пытался угадать в ком-нибудь родственную душу, пока в конце концов не возобладало опасение, что человек, к которому я обращусь, не проявит достаточно такта, а возможно даже, после выпитого и для понта, поднимет шум на все посольство.

1. Как раз профессор-то и мог знать — и даже, как я сейчас думаю, наверняка знал. (*Прим. автора.*)

Напоследок я еще вторгся в личные апартаменты посла. Теперь я уже действовал хладнокровно и словно бы забавы ради; я знал, что там ее не найду, однако обретенная ранее власть над охранниками придала мне отваги. Спокойно и даже флегматично я обследовал личные кабинеты, гардеробные, ванные, спальни; зашел на минуточку в туалет, выйдя из которого выразительным жестом дал понять шествующей за мной команде, что они свободны, и, корчась в душе от ярости, горького сожаления и ощущения необратимой потери, поехал домой.

III

Еще по дороге домой, в такси, я был абсолютно уверен, что немедленно надерусь. Я устал, вымок, страшно хотелось есть. (На приемах я почти никогда — на нервной почве — не ем, а тут вдобавок, прежде чем решился взять жалкий кусочек сыру, всю жратву унесло наводнением.) Рядом никого не было: в отчаянии разыскивая безвозвратно исчезнувшую звезду, я не мог и подумать о какой-нибудь замене на этот вечер. За что был чертовски на себя зол. В конце концов несколько весьма эффектных дублерш, можно даже сказать, несколько весьма отважных и раскрепощенных актрисуль, многообещающе, даже весьма многообещающе, прогуливались в саду посольства.

Но сейчас сад и город утопали во тьме и дожде. Температура упала по меньшей мере на десять градусов. У меня не было ни малейшей причины, чтоб не напиться. Напротив, у меня было целых четырнадцать причин для того, чтобы напиться. В холодильнике меня ждали четырнадцать шкаликов горькой желудочной. С некоторых пор я предпочитал именно такую мелочовку — бутылочки удобно рассовывать по карманам. Каждая из четырнадцати вышеупомянутых причин по отдельности была хороша для начала, и все они, вместе взятые, хороши для завершения.

Я заплатил таксисту, вбежал в дом и — как поступаю всегда, когда мне плохо (а на этот раз мне было очень плохо) — не разуваясь кинулся прямиком к холодильнику, чтобы как можно быстрее достать, откупорить и выпить; словом, чтобы совершить три ритуальных обряда, после чего мне сразу полегчает. Но прежде чем приступить к обрядовым действиям и даже прежде чем подбежать к холодильнику, я вспомнил о духовушке. Да. Было о чем вспомнить. Очень даже было. И есть. Скажу больше: есть о чем рассказать.

Неделю назад я осуществил голубую мечту своего детства, своей юности и своей зрелости — купил себе ружье. Купил духовое ружье, в просторечье именуемое духовушкой. Уже неделю я являюсь обладателем потрясающей испанской пневматической винтовки марки "Norica". Неделю прижимаю гладкий приклад из вишневого дерева к щеке, поднимаю черный вороненый ствол, и мои трясущиеся руки успокаиваются, и мой затуманенный взор снова различает мельчайшие детали. Я отвожу предохранитель, нажимаю спусковой крючок, и все подстреленные мною на ярмарках в моей родной Висле[1] искусственные цветы, липкие леденцы на

1. Висла — город в Силезских Бескидах на границе с Чехией; сейчас популярный курорт.

палочках и черно-белые фотографии кинозвезд порхают вокруг моей головы. Все спички, нитки и стеклянные трубки, которые мне удалось прострелить во встречавшихся на жизненном пути тирах (а я ни одного не пропускал), взмывают под потолок. Все мишени, в которые мне удалось попасть, подлетают ко мне, словно эскадрильи бумажных ласточек. Мне бы не хотелось показаться глупо-сентиментальным, но, когда я заряжаю свое ружье (разумеется, приобретен солидный запас пулек), прицеливаюсь, слышу металлический щелчок, я счастлив, как бывал счастлив в детстве.

Так вот, не успев добежать до холодильника, я вспомнил про свое оружие и решил все же вначале на него взглянуть — проверить, в самом ли деле оно существует. Меня не оставляло ощущение нереальности. Всю жизнь я был уверен (и по-прежнему опасаюсь, что так оно и есть), что духовушка принадлежит к числу вещей, которые никогда не будут доступны простым смертным. Место таким раритетам — в тщательно охраняемых арсеналах. Доступ к ним могут иметь только самые привилегированные и высокопоставленные особы, да и тем не всегда дозволено забирать их домой. Владельцы ярмарочных тиров — атлетически сложенные мужчины с дерзким взглядом — неизменно производили на меня колоссальное впечатление. Ясно было, что они принадлежат к некоему загадочному ареопагу, наделенному неизвестно какими полномочиями. И казалось, что так будет всегда, что он всегда будет существовать — мир загадочных ареопагов, недоступных духовушек, ярмарочных тиров и секретных складов, где полным-полно стоек для оружия, охапок искусственных цветов и пирамид дроби. Даже сейчас, когда моя собственная, фантастически прекрасная испанка стоит, прислоненная к стене, и я на нее гляжу, мне стоит огромного труда осознать, что тот мир рухнул.

Я зажег свет... она была на месте. Она есть[1]. Не разуваясь, не раздеваясь (и не заглянув в холодильник), я приблизился, взял, переломил, зарядил и начал стрелять.

Когда человек становится обладателем оружия (пускай даже такого детского — по мнению некоторых — как духовушка), меняется картина мира. Мир превращается в коллекцию мишеней. Если у тебя есть винтовка, ты автоматически начинаешь присматриваться к миру глазами снайпера. Среди бесконечного множества предметов, составляющих видимую поверхность действительности, интерес представляют лишь те, по которым стоит стрелять. В этом смысле лампочка под потолком перестает быть лампочкой и становится идеальной и крайне соблазнительной мишенью. Голубь на подоконнике уже не просто голубь, ствол дерева — отнюдь не просто ствол, пустая пачка из-под сигарет — вовсе не пустая пачка из-под сигарет и т. д. В моем случае самым радикальным образом менялись крышечки от бутылок кока-колы — они переставали быть обыкновенными крышечками и превращались в изумительные, притягательные, как наркотик, мишени. Я прикреплял к перилам балкона картонку, в картонку втыкал карандаш, на карандаш пристраивал крышечку, и из глубины комнаты: "Цельсь! Пли! Цельсь! Пли! Цельсь!

1. "Он есть!" — относящаяся к Богу экстатическая (приведенная в эссе Станислава Баранчака) надпись на регистрационном знаке одного американского автомобиля. Мне нравится эта фраза, и я довольно часто в разном контексте и с разными намерениями ее употребляю. (*Прим. автора.*)

Пли!" Поскольку я — считаю необходимым добавить — большой любитель кока-колы, крышечек у меня всегда изрядный запас.

Теперь, после бесповоротной, как мне казалось, утраты Прекраснейшей из Женщин, я впал в транс. Меня трясла лихорадка отчаяния. Я палил без жалости и не только не мог перестать стрелять — я не мог перестать попадать в цель. Мой глаз, прорезь, мушку и венчающую карандаш крышечку соединяла ледяная стальная и неколебимая линия; крышечки, неизменно поражаемые в самую середку, одна за другой разлетались на сотни крохотных желтых молний. Когда закончились крышечки, я расстрелял — вдвое увеличив расстояние — весь запас пустых пачек из-под сигарет и спичечных коробков. Потом пришел черед отдельных сигарет, поставленных на попа. У меня были четыре непочатые пачки "Голуаз", что — понравится это кому-то или нет — в сумме составило восемьдесят попаданий кряду. Потом я перестрелял все карандаши. Потом шесть пустых зажигалок. Потом начал искать еще что-нибудь подходящее. Нашел три палочки от мороженого "Магнум", пять вставок для шарикового "Паркера", изломал на кучку мелких объектов оправу старых очков; продырявил грош, приклеенный на счастье к миниатюрному календарику; попал в глаз античной маски на обложке журнала "Литературные тетради"; валяющийся в кухне с незапамятных времен высохший лимон я обратил в пыль. Напоследок я отыскал колоду юбилейных карт "Плейбоя", что меня на минуту вроде бы успокоило: я был уверен, что пальба по изображениям голых телок на рубашках карт займет оставшуюся часть вечера.

Я повесил на карандаше карту с первой попавшейся голой телкой, прицелился — рука моя дрогнула. Первая попавшаяся, а если не первая попавшаяся, то одна из десяти, одна из ста, одна из тысячи первых попавшихся голых телок некоторым образом походила на Прекраснейшую из Женщин. Те же идеальные очертания плеч, та же самодовольная улыбка, тот же застывший взгляд.

Рука моя дрогнула, и я опустил винтовку. От обиды и беспомощности я чуть не плакал. Сомневаться не приходилось: даже самый успешный расстрел изображения первой попавшейся голой телки обернется полным конфузом. Я задумал дешевую, per procura[1], символическую экзекуцию. Нет, незачем больше стрелять. Ни в суррогатные изображения, ни по якобы нейтральным мишеням. Стоп! Нужно по-мужски сносить поражение. Не сдаваться. Бороться, искать, любой ценой — даже ценой унижения — добиваться своего. Выпытывать у близких знакомых Прекраснейшей номер ее мобильного; несмотря ни на что, преодолевая сопротивление, героически расспрашивать... Героически — ведь даже если мне повезет, неизвестно, что будет дальше... Господи Иисусе! Сама мысль о возможности рецидива недавно пережитого кошмара была настолько унизительной, настолько меня разъярила, что я *это* сделал. Не в трансе, а хладнокровно. Все мои трансы завершаются — в принципе уже ничего общего с трансом не имеющим — бесстрастным финалом (вспомнить хотя бы прогулку по личным апартаментам посла), и на сей раз так оно и случилось. Я сделал *это* хладнокровно, совершенно спокойно, а под конец — даже не без удовольствия. Я принес

1. Зд.: суррогатную; букв. по доверенности; через посредство (*лат.*).

из холодильника четырнадцать шкаликов горькой желудочной, аккуратно, соблюдая равные промежутки, расставил все до единого на перилах балкона и — не удивляйтесь — потратил на них четырнадцать пулек. Разумеется, я не дал себе никаких поблажек: о том, чтобы опорожнить четырнадцать бутылочек, слить их содержимое в кувшин, пострелять по пустым емкостям, а затем весь кувшин вылакать, и речи не шло. Во-первых, тот, кто стрелял по пустой бутылке и по бутылке полной, знает: это совсем не одно и то же. Разница тут фундаментальная. Такая же разница, как... уж не скажу между чем и чем. Во-вторых, я нуждался в финальном запахе крови. А наплывающее с балкона, от четырнадцати разбитых шкаликов, легкое облако паров горькой желудочной было сродни запаху волчьих потрохов, испарениям тропических болот, боевому газу; я заснул одурманенный и бесчувственный.

Когда же проснулся и, как обычно не вставая, проверил, не прислал ли мне кто-нибудь ночью какое-нибудь кошмарное сообщение, на экране моего телефона высветились буквы, набранные большим пальцем ангела: "Простите, что я внезапно исчезла, так было нужно. Во всяком случае, я говорю: да. Я говорю: да. Я говорю: да продолжится разговор о жизни". Я встал, пустил на полную громкость Первый скрипичный концерт Вивальди и ответил: "О нашей жизни". "Нашей совместной жизни?" — через три секунды последовал ответ. "Да", — ответил я. "Думаете, мы будем счастливы?" — ответила она. "Да", — ответил я.

IV

Я впервые в жизни пишу постельную сцену и совершаю типичную ошибку дебютанта: вместо того чтобы немедленно приступить к сути, вместо того чтобы сразу взяться за описание расступающегося, будто облако, тела Прекраснейшей из Женщин — углубляюсь в пространные предисловия и отступления. Но, заполучив в постель Прекраснейшую из Женщин, человек чувствует себя настолько выросшим интеллектуально, что ему кажется: он имеет право формулировать основополагающие тезисы. Имеет право ставить и решать ключевые проблемы. Потому я ставлю (и тотчас решу) следующую ключевую проблему: "А что именно в сексе является ключевой проблемой?" Отвечаю: "Ключевой проблемой в сексе является исходная позиция". Ах разумеется, речь не об исходной позиции в постели. Я не намерен перечислять жалкие подсказки технического свойства — во что упереть ступни, подо что подложить подушку и т. п. Речь пойдет об исходной позиции в фундаментальном смысле, именно *первой* (я использую этот термин в классическом философском смысле[1]).

Найти место для занятия первой позиции, а затем занять первую позицию — вот что такое ключевая проблема в сексе. Ключевая — поскольку исходная, без этого никакого продолжения не будет, а если и будет, то хаотическое и негармоничное. Хаос же и дисгармония для секса гибельны. Словом, речь идет о том, чтобы сесть в нужном месте. Первая пози-

1. Первая позиция отсылает нас к Аристотелевой первой философии (prote philosophia). Разумеется, поупражняться в понимании и освоении первой позиции можно и ничего не зная об Аристотеле, но тогда наслаждение от телесного общения куда меньше. (*Прим. автора.*)

ция — всегда позиция сидячая; норовить вместе с дамой подойти к окну и прямо у окна или на обратном пути ее обнять либо ждать ее возвращения из ванной, чтобы затем романтически кинуться на нее сзади, ни к чему хорошему не приведет: в обоих случаях ты потерпишь фиаско, ибо все эти комбинации заведомо непродолжительны. Ну сколько ты простоишь с ней у этого окна? Сколько, пылая от страсти, вы будете обжиматься у дверей ванной? Рано или поздно тебе придется ослабить страстное объятие, и все начнется сначала. Разве что — не дай бог, — охваченный паникой, ты на свою беду в столь важный момент поторопишься. Другое дело, что тогда у тебя больше никаких проблем не останется. Ты погиб. Ты мертв. Неправда, что у смерти нет хороших сторон.

По моему глубочайшему убеждению, главное — правильно сесть рядом с женщиной, надлежащим образом рядом с женщиной сесть, в нужном месте с женщиной рядом сесть, вот в чем суть искусства любви. Тот, кому внятна простота этого искусства, — многое постиг. Кому не внятна — многого не достигнет.

По разным причинам люди часто терпят в любви фиаско. Терпят, поскольку были недостаточно смелы, поскольку не имели условий, упустили момент, чересчур поспешили, поскольку она еще не была готова, поскольку он оробел, поскольку ее парализовало, поскольку он перебрал лишку, поскольку она слишком рано разделась, поскольку он сморозил какую-то глупость, поскольку она вдруг вспомнила, что должна позвонить сестре, поскольку он не снял носки, поскольку она полночи проторчала в ванной, поскольку он так разнервничался, что поминутно бегал в сортир, поскольку она по привычке обращалась к нему как к мужу: пусик; поскольку он, сидя на краю кровати, принялся отвечать на эсэмэску, поскольку она вдруг расплакалась, поскольку он вдруг рассмеялся, поскольку она все время многозначительно хмыкала; поскольку он сдавленным голосом спросил: когда ты в последний раз занималась любовью? — а она с опрометчивой искренностью ответила: вчера; и т. д., и т. п. Существует миллион причин, по которым люди терпят в любви фиаско. Но миллиард раз они потерпели фиаско, миллиард раз дело ничем не кончилось, потому что он не знал, как пересесть с кресла на диван. Миллиард или даже миллиард миллиардов раз так случалось, потому что он не сумел занять первую позицию. Другой разговор, если у тебя маленькая квартира — вот это настоящая трагедия. Именно маленькая. В маленькой хуже, чем в большой. Ты ведь не плюхнешься немедленно, как только она сядет, рядом с ней на тахту по причине тесноты в квартире. В маленькой квартире, вопреки видимости, степеней свободы гораздо меньше.

У меня квартира была маленькая. Прекраснейшая из Женщин сидела на диване, я — в кресле по другую сторону небольшого столика. Семь гор, семь рек, семь морей и семь бесконечностей отделяли меня от первой позиции. И это было страшно. Но с полсотни гор, рек, морей и бесконечностей уже остались за спиной. И это было хорошо. Хотя и непонятно. Тем более непонятно, что, по сути, не столько я сам преодолел все преграды, сколько меня провела через них Прекраснейшая из Женщин. Мне не пришлось форсировать десятки рек, чтобы пригласить ее в ресторан, ибо она сразу сказала: да. Мне не пришлось взбираться на десятки гор с целью повести ее в кино, ибо она сразу сказала: да. Мне не пришлось пе-

реплывать десятки океанов, чтобы отправиться с ней на прогулку, ибо она сразу сказала: да. Что бы я ни говорил, она говорила: да. На любое мое предложение отвечала: да. А я — нет чтобы на секунду задуматься, в чем тут подвох: очень уж легко из нее выскакивало это "да", — я от этого "да" пребывал в постоянной эйфории. О, б...! Да! О, б...! Да! О, б...! Да! О боже! Да! Она со мной обедает! О боже! Да! Она гуляет со мной в Саксонском саду! О боже! Да! Она позволяет мне сопровождать ее, когда выводит свою собаку! О боже! Да! Она держит меня за руку! О, боже! Да! Она целуется со мной в подъезде! О, б...! Да! О боже! Да!

Была вторая половина июля, небо над опустевшей Варшавой сверкало как известняковые отложения. Мы сидели в "Yellow Dream" на Маршалковской, в "Модулоре" на площади Трех Крестов, в клубе "Тамтам" на Фоксаль, в "Антикварiате" на Журавьей. Мы побывали в "Иллюзионе" на "Сладкой жизни", в "Рейсе" на "Седьмой печати", в "Кинотеке" уж не помню на чем.

В "Атлантике" на "Девушке с жемчужной серёжкой" Прекраснейшая плакала от восхищения. Я ловко притворялся, что разделяю ее восторженные чувства. Это давалось мне легко, ибо, пребывая в состоянии эйфории, я разделял все ее чувства и со всем соглашался.

Я соглашался с ее концепцией земной жизни; главное в жизни — как вы помните — установить надлежащую пропорцию между работой и отдыхом. Я соглашался с ее представлением о загробной жизни: душа после смерти отправляется в рай, чистилище или ад; но это по желанию, а вовсе не обязательно; душа может вселиться в другое тело — человека, животного или растения, в зависимости от того, под каким знаком Зодиака покойник родился. Я соглашался даже с ее литературными предпочтениями: она обожала Уортона и Коэльо. Не без труда — но соглашался. Бог мой! Ради такой красоты пренебречь такой мелочью, как литературный вкус? Без проблем. Я соглашался. Мы ходили взад-вперед по вымершей Хмельной, Кручей, Вспульной, Хожей, Вильчей, и я все время разделял ее восторги и со всем соглашался. Пустой город облагораживал чушь, которую она несла. В раскаленном бетонном центре не было ни души, словно мир перестал существовать. Даже немногочисленные призраки подыхающих наркоманов, пьяных бомжей и изнуренных жарой блюстителей порядка куда-то подевались. Мы были последними людьми на земле, а последние люди на земле имеют право говорить глупости.

— Зайди ко мне, — сказал я.

Мы стояли возле ее дома. Ее пес, в очередном вечернем мочеиспускании которого я имел честь принимать участие, смотрел на меня враждебно.

— Да, — сказала она. — Я приду в шесть.

Все было ясно. Нас объединяла чистая любовь, но близился час, когда высокие чувства будут опошлены. Меня терзали страхи, дурные предчувствия; я предвидел катастрофу. Ведь в какой-то момент она перестанет говорить "да". А перестав говорить "да", скажет "нет". И скорее всего скажет "нет" тогда, когда все женщины говорят "нет".

Я сидел напротив нее как на раскаленных углях; от первой позиции меня отделял миллион световых лет, и я знал, что, если сделаю хоть одно неосторожное движение, если хоть одним неосмотрительным жес-

том дам понять, что хочу пересесть с кресла на диван, я услышу: нет. Да я вообще шелохнуться не мог, ибо — впав в паническое состояние на грани истерики — полагал, что если хотя бы пальцем пошевелю, то услышу: нет. А этого нельзя было допустить. Конечно, женщины часто говорят "нет", но сплошь и рядом — как всем известно — это еще ничего не означает. Однако, если женщина, которая все время говорит "да", хоть раз скажет "нет", это может повлечь за собой далеко идущие последствия. И катастрофические. Тем не менее рано или поздно надо будет пошевелиться. И я пошевелился. Пошевелился, потому что зазвонил телефон. Едва услышав звонок, я в ту же секунду — можно сказать, по одному лишь звуку — понял, что мне звонит Господь Бог. Я был абсолютно уверен, что, подняв трубку, услышу голос Господа Бога. И не ошибся: подняв трубку, я услышал:

— Привет. Читал, что написал этот болван? — Господь Бог говорил голосом моего приятеля Мариуша З.

— Конечно читал! Ясное дело, читал! — Голос мой дрожал от счастья, я был спасен. Сам Господь Бог вел меня к первой позиции.

— Вообще-то странно, что читал. Такое в принципе читать невозможно. Типичный бред недоумка.

— Что-то с ним, видно, случилось. Разучился управлять мыслями.

— Какими еще мыслями! Там и следа нет мыслей. Это текст человека, который не мыслями, а своим мочевым пузырем управлять разучился.

— Так или иначе, он катится вниз. А ведь когда-то писал более-менее толково.

— Чепуха. Никогда он толково не писал. Я всегда говорил, что он графоман.

— Поначалу хоть был застенчив.

— Всякий графоман поначалу застенчив. Чем он лучше? Когда-то был застенчивым графоманом, а теперь — графоман наглый и вездесущий.

— Кстати, зачем они эту чушь печатают? Ей место в редакционной корзине.

— Тебя удивляет, что печатают? Да они ж все дебилы.

С горячностью беседовал я со своим приятелем, известным литературным критиком Мариушем З. Со знанием дела, со смаком, во всех подробностях обсуждали мы статью (а может быть, книгу, сейчас уже не помню) одного из наших общих знакомых. С трубкой, прижатой к уху, кружил я по комнате. То изображая полную погруженность в суть обсуждаемого предмета, то посылая Прекраснейшей из Женщин заговорщицкие взгляды и жестами прося меня извинить. Я был в экстазе. Господь склонялся надо мной. Я вдохновенно вещал, анализировал, интерпретировал и обобщал. Кружил — точно так же, как в саду посольства — по постоянно сужающимся орбитам. А когда на фоне голоса моего приятеля услыхал в глубине телефонной трубки подлинный голос Господа Бога, который на языке, исполняющем функции современной латыни, воскликнул: Now! Man! Чувак! Давай! — я изобразил тотальное погружение в разговор в сочетании с тотальным отмежеванием от действительности и, погружаясь и отмежевываясь, совершил еще один круг по комнате, и начал следующий, и на середине следующего — в беспредельном ажиотаже, трансе и

глубокой задумчивости — сел рядом с ней на диван. Однако я не обращал на нее — будто знать не знал, куда случайно присел, — ни малейшего внимания, продолжал говорить и говорил еще добрых две-три минуты, а когда наконец замолчал, когда положил трубку и когда Господь, видя, что я утвердился на первой позиции, отдалился и умолк — огляделся вокруг. И увидел, что не только я занял первую позицию; я увидел, что первую позицию не спеша занимает, что к первой позиции не спеша приближается рука Прекраснейшей из Женщин.

V

Все шло как надо. Мои пальцы ловко расстегивали ее блузку, и пуговичкам ее блузки мои пальцы нравились. И блузке ее нравилось, что она сползает с плеч, и ее плечам нравилось, что с них сползает блузка. Застежка ее лифчика, по-видимому, осталась неудовлетворенной, поскольку мои пальцы справились с ней очень уж быстро, зато пальцы собой гордились. Ее джинсам, за которые я взялся на уровне бедер, понравилась сила моих рук и понравилось, что я заставил Прекраснейшую из Женщин на секунду встать. Ее джинсы знали, что лучше всего выглядят на прямых ногах, и отлично знали, что коли уж им предстоит соскользнуть с ее бедер, так ведь не в сидячем же положении. И они соскальзывали, словно морская волна, обнажающая бедра Афродиты. И это был финал. Прекраснейшая из Женщин *в принципе* — по ее собственным словам — *не носила трусов, не только в жару.*

На всех не угодишь. Мы опустили жалюзи, что дневному свету не пришлось по вкусу, поскольку лишь самая его малость проникала сквозь щели, зато жаркий полумрак охотно нас окружил. Не в укор будь сказано, Прекраснейшей из Женщин уже стукнуло сорок — в этом возрасте, совершенно справедливо считающемся апогеем бабьего века, у дам возникает невольное желание притушить свет. Стояли, правда, лучезарные июльские сумерки, и, несмотря на жалюзи, было достаточно светло, чтобы я не только на ощупь оценивал мастерство депиляции, простоту и скромность узкой, как ремешок для часов, прически в низу живота, лунную полноту ровно загоревших грудей, дорожку между ними — неровную и ухабистую, спину — дивной красоты и, как оно спине пристало, отмеченную тенью печали.

Простыня под нами упивалась нашим потом, дневной свет отступал через щели в жалюзи; ее кожа была создана для моих ладоней, ее ребра и бока Господь создавал с мыслью о моих пальцах, ее бедра были безупречны, но лишь сплетенные с моими образовывали идеальное целое. Мы напевали в два голоса великую песнь любви, в два шепота бормотали возвышенные скабрезности; кошмары моего одиночества покидали меня раз и навсегда, предрассудок, будто от женщины требуется интеллектуальное соответствие, рассыпáлся в прах. Я знал, твердо знал, что наконец (о боже) встретил особу, с которой проведу остаток дней, которая придаст мне сил, станет обо мне заботиться и о ком стану заботиться я; с которой я буду жить в неизменно засыпанном снегом доме, кормить собак и кошек, по вечерам смотреть фильмы по кабельному телевидению и пить

чай с малиновым вареньем. И твердо это зная, решил немедленно поделиться новообретенным знанием с Прекраснейшей (а теперь также Единственной). "Я проведу с тобой остаток дней", — прошептал я ей на ухо. "Это невозможно", — ответила она неожиданно твердо. "Почему?" — я касался губами ее влажных волос. "Потому что я люблю своего мужа". Не знаю, сказала ли она это шепотом или в полный голос — не помню. Помню чудовищную тишину, которая повисла над простыней, над нами и над безлюдным городом. Где-то слышен был голос ребенка, плачущего на балконе, далекая сирена "скорой", радио, играющее у кого-то на подоконнике, грохот поезда, отъезжающего от Центрального вокзала; потом прозвучал внезапный и резко оборвавшийся сигнал тревоги. "Я люблю своего мужа, — повторила она запнувшись, а может быть, просто вяло, ведь вялость постепенно охватывала ее после любовных безумств. — Я его люблю. Он как раз вернулся из Парижа. Поэтому я смогла к тебе прийти. Сегодня он гуляет с собакой. Так мы договорились".

VI

Главное в жизни — установить надлежащую пропорцию между работой и отдыхом. После трехнедельного отдыха, притом отдыха основательного и даже, я бы сказал, экстремального, после трехнедельного полноценного отдыха от мира, после трехнедельного отсутствия, я вернулся в этот мир и занялся делом. Я завернул свою испанскую винтовку в черный полиэтилен, положил в карман коробочку остроносых пулек "Diabolo Boxer" и за час до часа икс отправился понятно куда. Завернутая в черный полиэтилен духовушка выглядела под мышкой как карниз или еще какой-нибудь аксессуар домашнего быта. Мертвое выражение моего лица никому ничего не говорило.

Напротив подъезда, в котором я несколько раз пылко целовал на прощанье и дважды при встрече божественные уста Прекраснейшей из Женщин, напротив этого подъезда, по другой стороне улицы, стояло двухэтажное здание школы. Был уже конец августа, и в школе явно спешили завершить ремонтные работы, даже теперь перед фасадом вертелись штукатуры. Однако сзади, на школьной спортплощадке, не было ни души. Пустота и глушь, груды всякого ненужного хлама, по которым я без труда забрался на крышу.

Совершив несколько молниеносных, достойных спецназовца прыжков, я достиг противоположного края крыши и улегся на живот в классической позиции снайпера. Развернул полиэтилен, достал духовушку, зарядил и стал ждать. У меня оставалось еще около получаса. Крыша подо мной была нагретой, как пруд на исходе летнего дня. Внизу проехали три красных "фиата": "фиат-сейченто", "фиат-брава" и "фиат-пунто". По тротуару шла женщина с желтым пластиковым пакетом, лысый мужик в черном, двое рабочих несли обращенное ко мне зеркало — я спрятался, опасаясь, что они увидят отражение моей головы, и через минуту снова выглянул: теперь по улице шла рыжая девушка в джинсовой рубашке, за ней другая, черненькая, в черной майке и красных брюках, за той — мужчина с черным пластиковым пакетом, и когда мне уже стало казаться, что черный цвет начинает доминировать, опять появились три красных

"фиата". У меня кружилась голова; я находился всего лишь на крыше двухэтажного дома, но страх высоты граничил с помешательством. Три красных "фиата" ездили вокруг моей черепушки; я перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Когда я последний раз лежал на поверхности, нагретой солнечными лучами, на теплой траве или горячем песке и смотрел в небо? В пространство, которое, казалось, становится все холоднее и темнее? Сорок лет назад? В небе светило солнце, плыли облака, веки мои сомкнулись, и я, должно быть, уснул, потому что, когда снова открыл глаза, воздух был чуточку темнее, а Прекраснейшая из Женщин — это я знал, не глядя — уже стояла у подъезда. Я перевернулся на живот — по крайней мере ты, моя интуиция, меня не подвела. Да, она была там. В белой блузке, серых брюках, во всей своей красе, стояла задумавшись. Пес, как и все живые существа в этом мире, ластился к ее ногам. Я спокойно поднял винтовку на уровень глаз, у меня оставалась последняя, но чудесная минута — я точно знал, что Прекраснейшая из Женщин по меньшей мере минуту будет раздумывать, куда пойти: налево или направо. Пес сел и замер, будто собачье чутье подсказало ему, что близится смертный час. Я держал его на мушке, снизу доносился размеренный гул трех двигателей трех красных "фиатов", через минуту остроносая пулька "Diabolo Boxer" пробьет собачью шкуру, собачьи мышцы и собачьи потроха, и страшный раздастся вой. Я поставил на боевой взвод предохранитель и легонько коснулся спускового крючка, уже зная, что его не нажму. Настоящая жизнь несокрушима и непробиваема. И я осторожно повел прекрасный, как сон, вороненый ствол моей духовушки вверх, в направлении ничем ей не уступающей красоты, миновал бедра, живот, сердце, а когда достиг уровня шеи, тщательно прицелился. Я мог выстрелить с чистой совестью, не опасаясь, что хлынет кровь, — ведь передо мной была красота совершенная, как геометрия, и прозрачная, как воздух.

2004

Двойник зятя Толстого

I

КОГДА осенью 2002 года я наткнулся в газете на старую фотографию, где был запечатлен играющий в шахматы Лев Толстой, то сразу почувствовал: здесь что-то не так. Теперь легко сказать, что на меня повеяло ледяным дыханием тайны, или что богиня необъяснимых совпадений запечатлела на моем челе исполненный глубокого смысла поцелуй, или что меня коснулись черные как смоль крылья ангела тьмы, или еще что-нибудь в этом роде. Теперь-то сказать легко, необычайно легко, а при моей склонности к изысканной стилистике вообще ничего не может быть проще. Но тогда никакие многозначительные метафоры не приходили мне на ум. Фотография в каждом миллиметре своего зернистого изображения была чертовски выразительна, однако это еще не давало оснований считать, будто за ней стоит какая-то тайна.

Словно опасаясь нарушить некую целостность, я не стал вырезать снимок, а сохранил всю газету целиком. Я положил ее в ящик, где держал пульки для духовушки, и время от времени — признаться, довольно часто — вынимал и как завороженный рассматривал, и изучал через увеличительное стекло, и разглядывал на свету, и пальцами ощупывал фактуру, и всерьез подумывал отыскать лабораторию, где снимок просветят рентгеновскими лучами; увеличат настолько, что проявится какой-нибудь тайный знак; расшифруют самую главную, выдающую все секреты ДНК бумаги, на которой фотография напечатана.

Не жалея сил — но тщетно, — я пытался разгадать, почему шахматная доска Толстого накрепко засела у меня в мозгу.

С вами наверняка такое тоже случалось: неоправданно отчетливая деталь далекого пейзажа, странный, неизвестно откуда идущий свет, промелькнувший за окном поезда дом, к которому кто-то бежит по песчаной дорожке, тень внезапно обернувшегося прохожего, расположение предметов на столе, кто-то, что-то, неведомо что вдруг застревает в голове и не дает покоя.

Фотография играющего в шахматы Толстого не давала мне покоя три года. Да и до сих пор я не успокоился, возможно даже совсем наоборот, но кое-какие предположения все же сформулировал. Если б я писал детективный роман от первого лица, я бы сказал, что у меня появились некие версии.

Нелишне, пожалуй, подчеркнуть, что я не особый фанатик ни шахмат, ни Толстого. Прошу не укорять меня в непочтительности. Тем более по отношению к Толстому. Я восхищаюсь автором "Войны и мира". Восхищаюсь безгранично и благоговейно. Возможно даже, если б мне велели назвать величайшего романиста в истории, я бы — пожалуй, наугад, но с недюжинной интуицией — назвал именно его. В конце концов, если роман должен создавать мир — или даже вселенную, — у Толстого это получалось лучше всех. Я говорю, что не являюсь его фанатиком только потому, что не очень хорошо знаю его творчество. Нельзя быть фанатиком чего-то, чего не знаешь до самого донца. Фанатизм предполагает совершенное владение предметом. А я хорошо — и даже очень хорошо — знаю только одно его произведение. И вот тут могу признаться с чистой совестью: я фанатик этого произведения. Я фанатик "Смерти Ивана Ильича". Эту повесть я считаю подлинным шедевром, в ней искусство повествования достигло предела человеческих возможностей. Все остальные сочинения Толстого я высоко ценю, я ими восхищаюсь. Ценю и восхищаюсь, но — поймите меня правильно — не ощущаю их запаха.

У поистине великих, поистине страстных и близких, как родные, писателей есть запах. Набоков пахнет морской солью, Ерофеев — жимолостью, Маркес — селитрой, Цвейг — ноябрьским небом. Ивашкевич — сосновой хвоей. Брох — стекающей в долину ледниковой водой, Платонов — раскаленной кузницей.

У Толстого запаха нет. Разве что в его прозе чувствуется запашок умирания, а смерть — она ведь как воздух.

Несколько лет назад я купил в букинистическом четырнадцатитомное собрание его сочинений; всего я, конечно, не прочитал, но "Войну и

мир" прочел один раз, "Анну Каренину" и "Воскресение" по два раза, "Крейцерову сонату" — три или даже четыре раза. А к "Ивану Ильичу" возвращаюсь часто, и всякий раз, когда читаю последнюю фразу: "Кончена смерть", у меня мурашки бегут по коже. Тем не менее не было в моей жизни "толстовского этапа", не было одержимости Толстым. И не подумайте, что я готов изрекать затертые банальности типа: *обожание великого, представленного собранием сочинений, гения всегда отмечено некоторым холодком* или: *Шекспир, Гёте, Данте – да, конечно ими восхищаются, но вряд ли из-за них сходят с ума и даже – честно говоря – их редко читают перед сном.* Подобную чушь вы от меня не услышите. Я перед сном читаю классиков. Вернее, на рассвете, поскольку вечером решительно все равно, что́ я возьму в руки: классик не классик, Флобер не Флобер, Диккенс не Диккенс — я засыпаю, не дочитав до конца страницы. Однако просыпаюсь чуть свет и тогда берусь за классиков. С восхищением и не впадая в безумие. Видимо, если ты достиг такого возраста, когда читаешь только на рассвете и только классиков, ни о какой одержимости и говорить не приходится — поздно. Даже одержимость — а это была одержимость — снимком в газете, на котором Толстой играет в шахматы, не заставила меня как одержимого накинуться на его собрание сочинений.

Подпись под фотографией гласила, что на старости лет любимой игрой Толстого были шахматы; но написал ли он в связи с этим о них хоть одну фразу? Казалось бы, в сотворенном им космосе и шахматам должно найтись место, но где это место искать? Если не ошибаюсь, ни в "Карениной", ни в "Воскресении" и уж наверняка в "Смерти Ивана Ильича" о шахматах нет ни слова. Мысль о том, чтобы основательно проштудировать остальные его сочинения, дабы отыскать в них шахматные мотивы, разумеется, пришла мне в голову, но — не более того. Ни к каким действиям эта захватывающая идея не привела. Известно: если чего-то не удается установить, нужно это выдумать. В том и заключается познавание мира через литературу. Но блестящий замысел самому сочинить загадочный рассказ о *неизвестном шахматном эпизоде* из жизни Толстого, увы, был мне не по плечу.

Я даже интуитивно не мог определить, от чего исходит притягивающий меня к снимку магнетизм: от самого склонившегося над шахматной доской писателя, или от его одетого по помещичьей моде противника (чье лицо, кстати, показалось мне странно знакомым), или же от столпившихся вокруг якобы болеющих за игроков, а на самом деле позирующих для фотографии домочадцев. (Хотя Софья Толстая, пожалуй, болеет искренне — во всяком случае, с интересом смотрит на черные фигуры, которыми играет муж.)

В конце концов, не пожалев труда, я — с помощью некой изящной и чрезвычайно хваткой русистки 1968 года рождения — выяснил, кто есть кто на дагерротипе. Кстати, изящная и чрезвычайно хваткая русистка 1968 года рождения, которая поначалу сочла, что я придумал хитроумный предлог для известно чего, а затем — что я псих и маньяк, под конец сама загорелась и собрала изрядное количество материалов, доказывающих, что шахматы играли в жизни Толстого нешуточную роль. Она даже выписала из Москвы изданную в шестидесятые годы книжку под названием "Толстой и шахматы". Я внимательно все просматривал

и делал выписки, хотя с самого начала знал, что это только видимость деятельности и я ни на шаг не продвинусь вперед. И впрямь — не продвинулся.

Секрет, скорее всего, был в самих шахматах. Хотя — повторяю — шахматист из меня не ахти какой. Конечно, можно упомянуть об обостренности чувств и быстрой реакции, свойственных всем, кто мало-мальски умеет играть. Однако то, что я разбираюсь в шахматах лучше, чем в жизни и творчестве Льва Толстого, не означает, что я отличный шахматист. Начинал я — да, неплохо. Сейчас бывает по-разному. Сейчас и эти мои способности если не угасают, то уж наверняка блистательными их не назовешь; но начало было неплохим. А может, даже превосходным. Учили меня исключительно гроссмейстеры. Да-да. Каждый из моих учителей был гроссмейстером, и у каждого был свой, ярко выраженный и незабываемый стиль игры: у деда Пеха — размашисто-старомодный, у бабки Пеховой — агрессивный; дядя Аблегер играл стремительно, дядя Павел — благоговейно. За исключением матери в шахматы играли все домочадцы.

Шахматная доска, которую мы клали на застеленный синей клеенкой стол в нашей огромной кухне, была похожа на толстовскую. Я ничего не хочу этим сказать. И не стремлюсь к нагромождению дешевых эффектов и плоских шуток. Я просто констатирую, что наши шахматы в старом доме в Висле были — вероятно, как и шахматы в Ясной Поляне — родом из той мифической эпохи, когда доска существовала отдельно и коробка отдельно. Да, гений, который придумал, чтобы коробка в разложенном виде становилась шахматной доской, уже совершил свое открытие. И совершил его — как можно судить хотя бы по старинным гравюрам — много веков назад. Но, к счастью, до пятидесятых годов двадцатого века это изобретение не добралось до Тешинской Силезии[1]. А когда добралось до Тешинской Силезии, не добралось до Вислы. А когда добралось до Вислы, не добралось до нашего дома.

Не скажу, что зародившаяся в те времена атавистически-сентиментальная неприязнь к *коробке, которая в разложенном виде становится шахматной доской*, не дает мне покоя — отнюдь. И ненависть к ней не терзает меня денно и нощно, хотя мои чувства сравнимы с отвращением к магнитным шахматам. Вообще-то я свои заскоки стараюсь искоренять. Но этот лелею.

Первым делом (первым делом!) нужно положить на стол доску. Затем (затем!) высыпать из коробки фигуры. Высыпать на доску! Не на стол! Ни в коем случае не на стол! И когда ты высыпаешь шахматы, и когда укладываешь обратно, доска должна быть разложена! Перед игрой место фигурам — в коробке; во время игры — на доске. За пределами доски стоят только съеденные фигуры!

У отца, вероятно, были подобные фобии. Например, он настаивал на том, чтобы шахматы хранились в ящике, даже в двух ящиках. Играл он неплохо. Не так стремительно, как дядя Аблегер, который обожал

1. Тешинская Силезия — исторический регион в юго-восточной Силезии, на территории бывшего Тешинского княжества, которое после Первой мировой войны было разделено между Чехословакией и Польшей. По Мюнхенскому соглашению (1939) Тешинская Силезия отошла к Польше, однако ее население до сих пор ощущает свою особость; среди местных жителей доминирует протестантская религия (лютеранство).

играть на время и навязывал партнеру бешеный темп, подгонял и — надо признаться — в основном выигрывал, хотя иногда в этой своей безумной гонке делал чудовищные ошибки. И не так агрессивно, как бабка Пехова, которая терпеть не могла проигрывать. И не так великодушно, как дед Пех, который ради красоты комбинаций пренебрегал эффективностью и в известной степени специализировался в проигрывании. И не с таким набожным благоговением, как дядя Павел, который за каждый удачный ход благодарил Бога.

Отец играл не так стремительно, не так агрессивно, не так великодушно, не так благоговейно, но довольно результативно и безжалостно. Впрочем, шахматы по природе своей безжалостны. В искусстве передвигать шахматные фигуры нет места жалости, ошибки — да, случаются.

Полагаю, для ребенка я играл и вправду неплохо. Полагаю — потому что ничего не помню. Я помню все неудачно закончившиеся забавы: развалившуюся плотину на ручье в Партечнике; проигранный матч со вторым "Б"; поражение в церковной "угадайке", когда я сказал, что близнецы — Каин и Авель, а не Иаков и Исав; потерянные очки на пинг-понговых турнирах в Общинном доме; помню все "рыбы" в вечерних партиях домино; все сорвавшиеся с крючка скалочки и плошки в куче бирюлек; все не выпавшие шестерки в игре в "Китайца" по праздникам; все не названные горы и реки в игре "Страны, города" — а вот проигранных шахматных партий не помню. Из чего следует, что я выигрывал. Притом выигрывал по-настоящему: у нас в доме, да и вообще в протестантских домах не было такого в заводе — чтобы юнцу в качестве поощрения позволили выиграть. Напротив, существовало правило, согласно которому юнца во всех его начинаниях следует унизить, высмеять, окоротить: если справится, будет человеком, нет — пусть пеняет на себя; каждый сам выбирает свой путь.

Помню гармонию и музыкальную плавность игры. У меня не возникало ощущения безошибочности хода — у меня бывало ощущение, что другого хода нет. Вероятно, пресловутая интуиция как инструмент познания в моем случае касалась шахмат, а не, к примеру, рисования. Большинство маленьких детей, как известно, очень интересно рисуют; стоит им подрасти, они начинают рисовать более осмысленно, то есть лгать, то есть комбинировать — дар исчезает. Я подрос, начал комбинировать, дар исчез или, во всяком случае, не развился. Теперь я играю редко, а последние пять лет тем паче, потому что играть вынужден сам с собой. Наткнувшись в какомнибудь журнале на шахматную задачу, я ее, как правило, решаю, и, как правило — скажу не хвалясь, — это занимает у меня меньше четверти часа.

Сейчас газеты редко печатают шахматные задачи. Я отнюдь не собираюсь брюзжать, что, мол, настали поганые времена, когда старинную королевскую игру вытеснили дурацкие компьютерные игры или нечто подобное. Нет-нет. Мне не по вкусу такие банальности, а уж если в минуту слабости они и просятся на язык, я, напрягши мозговые извилины, искореняю их в зародыше. Кроме того, я считаю, что "королевские игры и забавы" должны быть элитарными, и вообще внимания заслуживает лишь то, в чем ты разбираешься и чем занимается небольшое — чем меньше, тем лучше — количество людей.

О редком появлении шахматных задач на страницах сегодняшних газет и журналов я упомянул исключительно из желания объяснить неко-

торую свою эксцентричность. А именно: просматривая в свое время прессу в Доме книги — не для того, чтобы отыскать шахматную задачу, во всяком случае не только с этой целью, — я заметил, что прежде мне неизвестный, пылящийся на полках еженедельник "Новое государство" не просто публикует задачи: там есть специальная, очень приличного уровня шахматная рубрика, и, вдобавок, ведет эту колонку (маленького, правда, формата) весьма привлекательная, судя по фото, шахматистка с экзотическим именем Ивета. И я стал довольно регулярно покупать этот еженедельник. Я вырезаю описание партий и комментарии красивой шахматистки с экзотическим именем, остальные страницы "Нового государства" выбрасываю не читая — вот в чем она, всего-навсего, моя эксцентричность.

У меня есть три набора шахмат. В одном фигуры (классические? королевские? олимпийские? — как видите, я даже в основной терминологии не очень силен) и доска — сорок на сорок сантиметров — гораздо больше, чем висленские, однако форма фигур точно такая же, как у тех, что сгинули вместе с обращенным в руины и прах домом. Пешка, тура, конь, офицер, королева, король. Извечные образцы и извечные (ибо из моего мира почерпнутые) названия. Никаких неведомых мне слонов или ферзей. Если я слышу или читаю, что кто-то сделал ход слоном либо ферзем, то даже не сразу соображаю, о какой игре идет речь. Тут я, конечно, преувеличиваю, но немного — ради красного словца. Дальше. Стыдно признаться: у меня и магнитные шахматы есть. Увы, да. Маленькие, классические, но — магнитные. Разумеется, страшная дешевка.

Подобно тому, как высокое столярное искусство не допускает использования гвоздей, в настоящих шахматах недопустимы металлические элементы. Впрочем, и не такие правила нарушаются ради прародителя всякой дешевки — человеческого удобства. Якобы удобства. Говорят, в некоторых обстоятельствах, например, в пути, очень удобно пользоваться магнитными шахматами. Не знаю. Я стараюсь как можно меньше путешествовать. Говорят, не только в некоторых, но и вообще в любых обстоятельствах еще удобнее магнитных компьютерные шахматы. Тем более не знаю. Я использую компьютер исключительно как пишущую машинку. По мне, одно другого хуже. Магнитные хуже компьютерных, но и компьютерные хуже магнитных. Как в жизни: все катится вниз. Все сценарии черные. Да, конечно, компьютерное дерьмо вытеснит дерьмо магнитное, но это слабое утешение, ибо в итоге отправленные в отставку намагниченные монстры полностью не сгинут, а приобретут благородную патину и за ними начнут охотиться собиратели редкостных образцов декоративного искусства двадцатого века. Круг замыкается. Обруч сжимается. Но, слово даю, не ради патины купил я магнитные шахматы.

Я купил их (в магазине с сувенирами для мужчин на Кручей), поскольку мне стало казаться, что на обычной шахматной доске, на которой я без устали разыгрывал толстовскую партию, царит удивительная нестабильность. Не следует, надеюсь, подчеркивать или тем более пояснять, что, увидев фотографию, я немедленно расставил фигуры. Внимательно разглядывал снимок, разыгрывал разные варианты, возвращался к исходной позиции и т. д. Однако со временем — продолжалось это добрых несколько месяцев — у меня начало складываться странное, хотя в данном случае, как выяснилось, абсолютно оправданное впечатление,

что некто, нечто, какой-то дух или морок меняет расположение фигур, что они самостоятельно передвигаются по доске; короче, чертовщина.

Причина оказалась на редкость прозаичной. Убиравшаяся у меня раз в неделю — кстати, на удивление педантичная — украинка не могла удержаться, чтобы заодно не пропылесосить и шахматную доску. Сообразив, в чем дело, я сурово ее отругал и категорически запретил даже приближаться к шахматам. Однако, как это бывает, если тебе грозит опасность, принятыми мерами не удовлетворился и, с целью сохранения хотя бы минимальной стабильности, купил магнитные шахматы.

Вообще-то, увидев еще в магазине душераздирающую надпись на коробочке "Made without child labour"[1], я на секунду заколебался. Что понятно: перед внутренним взором человека моего поколения, стоит ему услышать *неправда, что у нас заставляют детей работать*, непроизвольно возникает картина: миллионы маленьких истощенных китайцев обтачивают или даже вырезают, дрожа от голода и холода, пешки, офицеров и королев. И мне такая картина представилась, но быстро улетучилась. Честно говоря, улетучилась до того, как представилась.

Третий мой комплект — подарок женщины, о которой я горячо желаю забыть. Желание это, однако, явно уступает желанию не расставаться со своей собственностью. И я не избавляюсь от этого сувенира, что особенно удивительно, ибо, ко всему прочему, он являет собой образец безвкусной дешевки. Только лишь — тут я позволю себе отнюдь не джентльменское высказывание — роковая женщина, вернее, только кошмарная женщина (поистине кошмарная!) могла надеяться, что кто-нибудь поверит, будто псевдоиндийская имитация дерева, мрамора, слоновой кости, меди, керамики и чего-то там еще привезена из Бомбея, тогда как, скорее всего, была приобретена в подземном переходе под Центральным вокзалом. И это в лучшем случае.

Что касается шахматной литературы, то у меня есть антология всех партий Бобби Фишера, три тома "Биографического словаря польских шахматистов", англоязычная монография "сицилийской защиты", а также фундаментальное и, честно говоря, совершенно безумное сочинение "С шахматами через века и страны". Ни с одним из этих трудов я даже бегло не ознакомился, да и вообще книг, чтение которых я откладываю до более спокойных времен, у меня куда больше, а их тематика куда разнообразнее. Под более спокойными временами я подразумеваю дни, ночи, недели и месяцы, львиную долю которых не будет пожирать охота на барышень. Когда я, проснувшись на рассвете, раскрою сочинение какого-нибудь классика и буду читать до полудня, а может даже — если захочу — до вечера. Интуиция мне подсказывает, что до желанной эпохи святого покоя я не доживу, но это отнюдь не означает, что не следует собирать книги.

II

Кто-нибудь, возможно, скажет, что я, непрестанно повторяя, будто не разбираюсь в шахматах, кокетничаю и темню, ведь из моего рассказа однозначно следует, что я вовсе даже неплохой шахматист. Так вот, без ко-

1. Изготовлено без применения детского труда (*англ.*).

лебаний и со смертельной серьезностью заявляю, что я скверный, если не сказать никудышный, шахматист. А дисквалифицирую я себя по одной, очень важной причине: я не владею и никогда не овладею искусством записи ходов. То есть владею лишь в той степени, что могу без позорных ошибок расшифровать запись опубликованной в газете задачи, но это и в самом деле очень мало[1]. Шахматная доска моего детства состояла из наклеенных на полотно деревянных полей — кремовых и коричневатых, называемых белыми и черными; а уж как они обозначаются, никому и дела не было. Что это какие-то a7, c5, f3, ни я, ни домашние гроссмейстеры понятия не имели. Сильно сомневаюсь, что они бы смогли не раздумывая ответить, сколько вообще этих полей и сколько фигур. А если бы кто-нибудь им сказал, что можно играть на клочке бумаги, они бы этого человека подняли на смех. За чувственным наслаждением они не гнались, но в том, чтобы играть, не дотрагиваясь до фигур, не переставляя их — неторопливо или резко, не сводя глаз с доски, где постепенно меняла конфигурацию (до самого конца поражая своей загадочной симметрией) изначальная структура, — просто не видели смысла. Профессиональные аргументы: мол, если ты не научился записывать, то и с шахматной памятью у тебя плоховато — можно, конечно, запоминать расположение фигур, да только много ли их в голове поместится, фигуры-то трехмерные, — нас не убеждали, а меня и по сей день не убеждают.

Говорят, мозг профессионального шахматиста вмещает сотни тысяч комбинаций. В моей голове их — пара-тройка. И в общем-то, меня это не огорчает. Хотя, безусловно, для распутывания истории, о которой идет речь, хорошо бы их было побольше. Ну хоть дюжина, хоть полсотни, хоть сотня.

Возможно, я бы в таком случае не пялился месяцами и годами на толстовскую шахматную доску как баран на новые ворота. Возможно, само расположение фигур распахнуло бы какую-нибудь потайную дверцу в моем мозгу. Но я пялился и... без толку, ибо, даже если бы когда-нибудь прежде и видел такое расположение, все равно бы его не помнил. Даже если бы когда-нибудь слышал эту мелодию, то — при моем скверном слухе — не сумел бы ее повторить. Классик[2] говорит, что, если помнишь — достаточно связать, но я связать ничего не мог, поскольку не помнил. Понятия не имел, что с чем связывать.

Сегодня мне ясно, что я страдал еще и своеобразной слепотой. Я обшаривал взглядом каждый квадратный миллиметр фотографии, но стильного столика, на котором лежала шахматная доска, не видел. Не то чтоб не замечал или не придавал должного значения — просто не видел. Будто мне мешала какая-то странная, а может, вовсе и не странная, а вполне оправданная преграда. Я не видел того, что было у меня перед носом. И бился слепой головой о фотографию, на которой Лев Толстой играл в шахматы, как о Китайскую или Берлинскую стену. И стоял перед этой фотографией как перед Стеной Плача или перед железным занавесом. И ничего. Никакого движения. Ни рукой, ни ногой. Ни офицером, ни турой.

1. Мало-то мало, но зато с каким жаром я этим занимаюсь! Если вам знакома "Шахматная новелла" Цвейга — а она конечно же вам знакома, — вы поймете: я всегда был и остаюсь на стороне Чентовича. (*Прим. автора.*)
2. Джеймс Джойс.

Пока на меня не снизошло одно из привычных, регулярно повторяющихся озарений. Дело было так: когда однажды — а точнее говоря, жарким июльским днем — я увидел на углу Кручей и Журавьей потрясающий загар, когда уже собрался кинуться вдогонку за выступающими из ядовито-желтого платья плечами цвета молочного швейцарского шоколада; когда уже — честно признáюсь — за ними погнался; когда уже вознамерился, сосредоточившись, преобразиться и стать капелькой пота на удаляющейся спине случайно замеченной потрясной телки, — меня вдруг осенило. Я внезапно остановился как вкопанный, внезапно прервал погоню, внезапно стал снова самим собой. Внезапно освободился от мучительного беспокойства, которое вселяла в меня роковая фотография; внезапно понял, на кого похож человек, играющий с Толстым в шахматы.

Он мне с самого начала кого-то напоминал, однако это было, скажем так, побочное ощущение. Элемент орнамента. Сбоку припеку. Да, на картине, в целом не дающей мне покоя, вдобавок присутствовал кто-то на кого-то похожий. И не столь даже важно, что на кого-то похожий: очень уж он был навязчив, очень уж лез в глаза — этакий тоже загадочный, но далеко не главный довесок. Главные иероглифы почти наверняка следовало искать на разложенной шахматной доске; едва начавшаяся партия могла дальше развиваться в любом направлении, и сотни возможных комбинаций могли быть загадками и одновременно разгадками. Тысячи страниц, написанных гениальным писателем, могли содержать входы и выходы из лабиринтов. Лучше бы уж в них таилась прекрасная и сложная суть вещей — в них, а не в том, что кто-то на кого-то похож. Всегда кто-то на кого-то похож; и если ты из своего захолустья отправишься бродить по свету, то будешь на каждом шагу встречать двойников людей, живших с тобой по соседству, и ничего удивительного — если не считать парадоксов анатомического свойства — тут нет. Я бы мог написать отдельную книжку о встречавшихся мне на свете двойниках старых вислян, и никаких открытий в ней бы не было. Даже из сходства старика Лазаря с Уинстоном Черчиллем или Шарца из Партечника с папой Павлом VI мало что следует, а уж чего там говорить о менее разительных сходствах.

Похоже, я сам был разочарован собственной догадкой. И да, и нет. Да — поскольку оказалось, что ключ к тайне находится в лежащем на самом верху довеске к тайне. А нет — поскольку правило, гласящее, что хороший ужастик содержит ответ на существенные вопросы: о природе зла, чертовщины и загробного мира, — в моем триллере подтвердилось на все сто процентов.

III

Играющий в шахматы со Львом Николаевичем Толстым помещик был похож на некоего шофера из Горно-металлургической академии. Мы видели его один раз в жизни, но, хотя и я, и остальные домочадцы хорошо запомнили его выходки, лицо и внешний облик полностью стерлись из памяти. И вот сейчас, после того как я три года разглядывал фотографию, на ее поверхность всплыла та же самая — тютелька в тютельку — приветливая, а на деле фарисейская улыбка; тот же самый высокий, переходящий в лысину лоб; та же самая неопрятная клочковатая щетина.

Я добился своего. Правда лежала наверху. Темнее всего было под фонарем. Теперь пришло время рассказать одну из незаурядных и какое-то время часто вспоминавшуюся семейную историю. Вдобавок — сугубо шахматную. Вспоминавшуюся часто, но недолго, ибо вскоре оказалось, что все предпочитают об этом не до конца понятном событии — сейчас уже более чем сорокалетней давности — забыть.

Отец мой — что не подобало инженеру, работающему в Горно-металлургической академии — слишком часто пропадал без вести. Впрочем, он всегда возвращался, и — не стану скрывать — жалкими были те возвращения. Всегда под хмельком. Всегда потрепанный и всегда с одной и той же песней: дескать, до самого утра играл с коллегами в пинг-понг.

Но когда он пропал в день нашего переезда в Краков, мы перепугались не на шутку. Впервые все были уверены, что его нет в живых.

Стоял жаркий август 1962 года, мне было десять лет, и я достиг апогея своих возможностей. Год с лишним непрерывно играя в футбол, я стал первоклассным нападающим. В толстой тетради в зеленой обложке, подаренной ко дню рождения, я писал любовно-криминальный роман. В предчувствии разгадки неведомой тайны ходил по пятам за одной странно одевающейся курортницей. Почти каждую ночь мне снились долгие полеты над землей и захватывающие дух приземления в желтую траву. Я был влюблен в Клаудию Кардинале, и — как пристало настоящему мужчине — плевать хотел, отвечает ли она мне взаимностью. Осенью мы переезжали в Краков, и каждый день того лета предвещал, что близится конец всего на свете.

Отец заказал мастеру Штвертне стеллаж, который в Кракове должен был занять целую стену, висячий кухонный шкафчик и специальный столик для игры в шахматы.

— Какой еще столик для игры в шахматы? — заламывала руки мать. — Какой столик для игры в шахматы? Не стыдно такое заказывать? Мастер Штвертня — солидный ремесленник! Он такими глупостями заниматься не станет! Кому нужен столик для шахмат?! — кричала мать. — На нормальном столе нельзя играть?

— Нельзя, — глухо отвечал отец.

— Ты — Ньютон! — Мать возводила взор к небесам. — Ты — великий ученый Исаак Ньютон!

Наверное, в сотый раз, поскольку случаи подворачивались часто, она повторяла анекдот о сэре Исааке Ньютоне, который — якобы устав без конца открывать дверь шмыгающим взад-вперед кошке с котятами — велел вырезать над порогом два отверстия: большое — для кошки и поменьше — для котят; можно подумать, захлебывалась мать, что маленькие кошки не пролезли бы в большую дыру! Ньютон! Сущий Исаак Ньютон! И вообще, когда это вы собираетесь играть в шахматы? Когда? Тебя же никогда нет дома.

— В воскресенье, — гордо отвечал отец, и мать капитулировала и, в поисках понимания и сочувствия, устремляла взгляд на бабку Пехову.

Бабушка, когда бы ни заговаривали о шахматном столике, вздрагивала, точно речь шла о какой-то чертовщине в прямом смысле слова; она не осеняла себя крестом — нет у нас такого в обычае, — но, с отчаянием всплеснув руками, немедленно срывалась с места и кидалась бе-

жать, будто в ужасе от кого-то спасаясь, однако через несколько шагов резко останавливалась и украдкой взглядывала на папашу: не образумился ли тот — и видя, что не образумился, придавала своему лицу выражение, означавшее: изыди, сатана!

Дед улыбался в усы, тихонько хихикал, смеялся в глубине души. Его веселил не столько сам шахматный столик, сколько паника, охватывавшая женщин при одном лишь о нем упоминании. Но и дед погодя скисал, мрачнел, отводил отца в сторону и принимался уговаривать:

— Подумай, Юзеф. Подумай хорошенько. Я сам, как ты знаешь, обожаю шахматы, но зачем перегибать палку? Играть-то мы играем, но мы не шахматисты. У нас все, почти все играют, но наш дом — не дом шахматистов. И уж тем более профессиональных, азартных, запойных. Мы играем, как Господь наказал: воскресным днем, долгими зимними вечерами, по праздникам. И шахматами играем такими, как Он наказал, и на такой, какая Ему по вкусу, доске. Чего тебе еще не хватает, Юзеф? Зачем тебе этот шахматный столик?

— Чтобы играть на нем в шахматы, — глухо отвечал отец. — Чтобы играть на нем в шахматы в Кракове. Воскресными днями. Долгими зимними вечерами и по праздникам.

— На праздники, надеюсь, — говорил дед, — вы будете приезжать к нам. И играть мы тогда будем как обычно. Не понимаю я тебя, Юзеф. Возьмем, к примеру, кровати. Все мы спим в нормальных кроватях, вообще все люди спят в нормальных кроватях: деревянных, с сенниками и матрасами, под перинами. И это хорошо. А ты, Юзеф, заладил про свой шахматный столик — да это все равно будто б тебе невесть зачем понадобилась невесть какая кровать. Надувные матрасы, как в бассейне, шелковые покрывала, как в борделе, и бамбуковые ширмы, как в Конго. Подумай сам, Юзеф. Это же в сумме чертовщина.

— Нет, — отвечал отец, — это не одно и то же. Надувной матрас — не шахматный столик. Наклеенное на столешницу шахматное поле — не покрывало в борделе. Конго — не Краков. Все зло, — отец бледнел, и на лбу у него выступали капли пота, — от смешения понятий. Когда все на свете смешивается — вот это чертовщина. Когда все сваливается в одну кучу — вот это дьявольщина. И хватит об этом. Я не уступлю.

IV

Напряжение росло. Мы ждали мастера Штвертню как второго пришествия Христа, который рассудит приверженцев и противников эксцентричности. Когда в конце концов во дворе затарахтел по булыжнику его видавший виды "виллис", когда сам он появился на пороге в старомодной рубашке без воротничка, в поношенном коричневом костюме с приставшими там и сям опилками, когда сел за стол в нашей огромной кухне и когда, после беглого обсуждения конструктивных деталей стеллажа на всю стену и висячего кухонного шкафчика, отец, испепеляемый взглядами матери и бабки, волнуясь, достал из-за пазухи сложенный вчетверо листок со старательно нарисованным проектом шахматного столика — в кухне повисла страшная, чреватая взрывом тишина. Мастер столярного дела положил бумагу на стол, его серебряная голова склони-

лась над рисунком, стоящие у печи женщины с отвращением смотрели на отца. Ничего не поделаешь, раз не захотел слушать предостережений, раз — несмотря на уговоры — сделал глупость, пускай получит по заслугам. Сейчас мастер отругает его на чем свет стоит и скажет, чтоб не морочил голову солидному профессионалу дурацкими фанабериями. Дед сидел напротив них, едва сдерживая улыбку, — его устраивало любое решение вопроса. Он свое сказал, предостерег — ну и порядок: совесть у него была чиста, и теперь он с легким сердцем, слегка волнуясь, ждал повода всласть посмеяться.

Мастер склонялся над листочком все ниже, потом резко выпрямился и сказал: "Подождать, минуточку подождать". И полез во внутренний карман пиджака, откуда извлек сперва массивный столярный карандаш, а потом — с извиняющейся улыбкой — столь же массивный футляр, в котором лежали круглые очки в проволочной оправе, и нацепил эти очки на нос, и добрых несколько минут смотрел на рисунок, и стукнул по нему карандашом, и всем показалось, что он решительно пригвоздил к столу ублюдочную конструкцию, но он еще раз стукнул и сказал: "Подождать, минуточку подождать. Ящика хватит одного, но посередине".

Господи Иисусе! Мастер Штвертня не пригвождал, а лишь указывал на слабое место конструкции!

Редко, очень редко видел я своего отца таким счастливым. Раза три, ну, может, четыре. Однажды мы спускались с Партечника и вдруг, выйдя из-за поворота, на противоположном склоне, в желтоватом блеске гаснущего над Чанторией солнца, увидели наш только что отстроенный дом — вот тогда, пожалуй, он был счастлив. Возможно, он был счастлив, когда, за год до смерти вернувшись из больницы домой, открывал калитку, поднимался по лестнице, и жизнь, казалось, была у него впереди. Возможно, сорока годами раньше, когда на родительском собрании учитель Когутко сказал ему, что я — лучший математик в классе, он тоже был счастлив, поскольку еще не знал, что моя карьера математического гения скоро и бесповоротно завершится. Возможно, он был счастлив, когда, прилагая сверхчеловеческие усилия, в нечеловеческих условиях заканчивал работу над своим главным изобретением — агрегатом, самостоятельно поливающим цветы на балконе. Возможно, был, возможно, не был. Но в тот раз, когда мастер Штвертня проявил нешуточный интерес к его проекту шахматного столика, впал в состояние полнейшей эйфории.

Поначалу, словно огорошенный неожиданной похвалой школяр, он растерялся. Однако быстро преодолел смешанную с торжеством растерянность и, взглядом не удостоив ни своих противниц (внезапно сосредоточивших внимание на чайнике с лениво закипающей водой), ни своего союзника (которым немедленно — судя по восторженному выражению лица — стал дед), приступил к детальному обсуждению проекта с мастером Штвертней.

Ящика для фигур и пешек достаточно одного, но он должен быть посередине — так и удобнее, и принцип беспристрастности сохраняется. Такая уж шахматы игра: нельзя, чтобы перед ее началом фигуры лежали со стороны одного из игроков. Два ящика по бокам — пожалуйста; но если ящик один — то посередине. И довольно длинный, чтоб не перевешивал своей тяжестью; оно и хорошо, вся конструкция будет устойчивее. И целиком его вытаскивать не понадобится; тоже хорошо: в глубине мож-

но будет спрятать что-то важное. Например, фотографии, которые редко рассматривают, или какие другие, для мужчин предназначенные штучки. Штвертня заговорщицки подмигнул. От кухонной печи немедленно понеслось злобное шипение, но свидетельствовало оно о возмущении уже иного толка. То было возмущение ритуальное и оттого исполненное своеобразного облегчения. Возмущение заготовленное, заученное, даже вызубренное. Возмущение тех, кто обязан возмутиться; ожидаемое. Возмущение, само ожидающее разрядки. Не лишенное непритворной, однако не чрезмерной экзальтации.

Всем было известно, что мастер Штвертня свихнулся на почве эротики и любой разговор, любую фразу и ситуацию поворачивает в излюбленном направлении. Однако сущий взрыв эмоций вызывало другое: мастер, и тут проявляя незаурядный талант, везде, где только можно, оставлял знаки своей мании. У Штвертни были золотые руки, он мог сделать буквально все, ему было подвластно любое ремесло, любое искусство, он играл на множестве разных инструментов, а также прекрасно рисовал и писал маслом. И было известно, что если заказываешь Штвертне, например, шкаф, то этот шкаф по своей красоте и солидности заткнет за пояс все кальварийские, гданьские и прочие шкафы мира; но было также известно, что где-нибудь в уголке Мастер — словно авторскую подпись — поместит едва заметную сомнительного свойства деталь, непристойное украшение, похабную мелочишку. И это отнюдь не будет, скажем, намалеванная столярным карандашом голая жопа с огромным соском. Какое там! Штвертня виртуозно изображал мифологические сцены, тициановских ню, рубенсовские формы; он был реалистичен, как Энгр, чувственен, как Ренуар, извращен, как Мане, и творения его были выразительны и, главное, неистребимы, как японская гравюра на дереве. Незачем добавлять, что по примеру старых мастеров Штвертня часто пририсовывал своим ню хорошо знакомые лица соседей. Больше всего шуму вызвал мускулистый сатир с головой ксендза Калиновского, обнимающий голехонькую нимфу с исполненным неземного блаженства лицом Рифки Дересевич, — масло на доске. Доска была вставлена с исподу огромного трапезного стола, заказанного приходом для Общинного дома в честь закладки нашей церкви; история о том, как этот шедевр создавался, как его спрятали, обнаружили и уничтожили, — тема для отдельного рассказа.

Было ясно, что означает и к чему относится заученное шипенье женщин. Мало того, что столик шахматный, так еще и с порнографией в середке. Но Мастер, обожавший, когда его выходки вызывали — в большей или меньшей степени притворное — возмущение, на этот раз и ухом не повел.

— Подождать, минуточку подождать, — бледный его лик окрасился, похоже, чистой воды эротическим румянцем, — подождать, минуточку подождать... Нельзя шахматную доску наклеивать на столешницу. Скажу больше, пан инженер: и вставлять, врезáть в столешницу нельзя. То есть врéзать нужно, но чтоб это ни в коем случае не была доска от каких-нибудь фабричных шахмат — это должна быть оригинальная шахматная доска. И нужно ее изготовить целиком, со всеми шестьюдесятью четырьмя полями; половину покрыть темным лаком, половину — бесцветным. А лучше, чтобы темные клетки были из ореха или, еще лучше, — из черного дуба, а белые — из явора; это прекрасно сочетается с сосной, и получится шикарно. Подождать! Минуточку подождать!

V

Подождать, минуточку подождать. В конце августа мастер Штвертня появился с готовым чудом. Поставил его осторожно посреди нашего вымощенного булыжником двора и принялся высвобождать из бессчетных слоев "Рабочей трибуны". Сдирание очередных покровов должно было походить на обнажение тела, на стриптиз, однако нет, не походило. То есть, с одной стороны, было чем-то бóльшим, а с другой — меньшим. Бóльшим — ибо бережность, с которой Штвертня снимал один за другим листы "Рабочей трибуны", была какой-то сверхбережностью и сверхнежностью; с такой исключительной деликатностью не раздевают женщин, так даже атомную бомбу не разбирают. А меньшим — ибо замедленность движений мастера объяснялась просто: он был сильно под мухой, что само по себе было сенсацией — Штвертня почти совсем не пил.

Наконец загадочное творение предстало нашему взору, наконец мы узрели это чудо: храм в лесных дебрях, монумент, вытащенный из болота, фреска, извлеченная из-под наслоений римской штукатурки; и нам открылись во всем своем великолепии его линии, и ни у кого не нашлось нужных слов, потому что с такой красотой и такой безупречностью форм мы столкнулись впервые. Никто из нас и не подозревал, что подобное существует, вообще может существовать. Даже у женщин в глазах мелькнуло восхищение, ибо чувствовалось, что без Божьей помощи такое сотворить нельзя. А потом мы стали всё трогать, проверять, выдвигать и задвигать ящик, считать поля, выяснять, под каким углом доска больше блестит. И все придирчивее разглядывали шедевр мастера Штвертни, все внимательнее присматривались к изломам, изгибам и поворотам, а потом уже перестали прикидываться, будто восхищаемся только красотой конструкции, цветом, игрой света. Все нетерпеливее и совсем уж откровенно, и — да, да — бесстыдно изучали сантиметр за сантиметром в поисках эротического клейма, которое на столь изысканном предмете должно было быть стократ более изысканным, если не извращенным. Мы выдвигали ящик и осматривали его дно изнутри и снаружи, и выемку для ящика изучали, и под столешницу заглядывали, и повсюду. Но нигде ничего не обнаружили и только растерянно посматривали на мастера, который стоял поодаль и курил "экстракрепкие", посматривали в надежде, что он даст нам подсказку, укажет путь, ведущий к эротической миниатюре, которую, возможно, придется разглядывать через увеличительное стекло, однако труды наши окупятся, но мастер ничего не говорил, курил, слегка пошатывался, приходил в себя, а когда пришел и когда докурил, покачал отрицательно головой и сказал:

— Ничего нет; столик этот — сам по себе любодейство.

VI

Все уже было готово, висячий кухонный шкафчик, стеллаж на всю стену и бесчисленные картонные коробки стояли во дворе под навесом, где, говорят, еще после войны стояла карета и до сих пор бродил ее раскуроченный и проржавевший призрак. Сервизы, столовые приборы, комплекты полотенец — так и не распакованные за десять лет свадеб-

ные подарки, — пылесос, альбомы с фотографиями, книги, торшер, дивной красоты этажерка, гигантский диван, еще большего размера кресло — подарок епископа, — хрусталь, радиоприемник "Столица", несколько отрезов для оконных штор — все это должно было поместиться в двух краковских комнатах, где мы наконец начнем жить как люди.

— А здесь вы не живете как люди? — спрашивала бабка Пехова. — Каплет, что ли, над вами?

— Не каплет, но это не означает, что мы живем как люди. Мы здесь вообще не живем. Мы здесь умираем. Я, во всяком случае, того и гляди умру.

Голос матери странно, по-детски дрожал. Я плохо себе представлял, о чем идет речь, но что это вопрос жизни и смерти, было ясно. По крайней мере, становилось ясно минимум раз в неделю. Раз в неделю отец приезжал из Кракова, и тогда мою постель переносили с огромного супружеского ложа, на котором мне отлично спалось, на жесткую лежанку у стены, где меня мучили страшные сны и где посреди ночи я всегда просыпался. Лампочки у изголовья родителей горели, отец в одних только пижамных штанах кружил по комнате, перекладывал вещи с места на место, рылся в книгах и судорожно повторял, почти кричал: "Прошу прощения, что я живу, я правда прошу прощения, что живу! Прошу прощения, что живу, но от меня это не зависит, хотя... как знать, как знать!" Мать следила за ним усталым и враждебным взором, за стеной в маленькой комнате, где спали дед с бабкой, раздавался кашель, скрипел пол, слышалось шлепанье босых ног, дверь приоткрывалась, на пороге появлялся дед весь в белом и говорил: "Успокойтесь, очень вас просим, успокойтесь. Успокойтесь наконец, ведь вы оба — люди с высшим образованием!" Отец находил какую-то книжку, надевал на голое тело пиджак и шел на кухню, мать гасила свет, я еще слышал ее сдавленный отчаянный шепот, засыпал, возвращались кошмары.

Утром за завтраком неизменно заходила речь об инженере Ковале, который уже спроектировал мансарду, стены будут подняты и окна прорублены, там будет пять комнат и столько места, что Юзек сможет поставить себе хоть два пинг-понговых стола. Отец, бледный и не выспавшийся, со злостью кричал, что хватит талдычить о пинг-понговых столах — коли уж пинг-понговые столы считаются предметами первой необходимости, значит, все на свете окончательно смешалось, а это и есть дьявольщина. Он не собирается играть в пинг-понг, он собирается еще кое-что в этой жизни сделать. Такой у меня каприз: я хочу еще кое-что в этой жизни сделать соответственно своему образованию и своим интересам; я знаю, вам этого не понять, по-вашему, я должен сидеть здесь и пердеть в табуретку, но меня, к сожалению, это не устраивает! Я хочу кое-что сделать в науке! Эйнштейном я не стану, потому что война отняла кусок жизни, пропавшего не воротишь, но, по крайней мере, у меня есть желание! Понимаете? По крайней мере, желание есть! И ему, отец кивком указывал на меня, и ему требуется другой старт. Не такой, какой был у меня. Многого я для него сделать не могу, но хотя бы другой старт в состоянии обеспечить.

VII

Я паковался каждый день. Ежедневно по-новому укладывал в старый темно-синий чемодан книжки и игрушки. В зависимости от настроения,

обещал им переезд в Краков или приговаривал к вечному поселению в Висле. Сегодня ты себя плохо вела, говорил я железной дороге "Пико", переезда в Краков ты не заслужила — и вынимал вагончики и рельсы, и демонстративно закрывал чемодан, чтобы жертва поняла: ее судьба решена окончательно и бесповоротно. Разве я слишком много от тебя требую? — спрашивал я у финского ножа. Нет, я требую от тебя минимальных усилий. Повторяю: минимальных. А ты и на это не способен. Мне очень жаль. Краков — город для сильных людей, а не для слабаков. Вылазь! Ну и пожалуйста, ледяным тоном говорил я альбомам с марками, ну и пожалуйста, не нравится — оставайтесь! Пожалуйста, сидите здесь до скончания века и пердите в табуретку! На следующий день я милостиво прощал отвергнутых и сталкивал в бездну уже вообразивших, будто они в Кракове (еще не время почивать на лаврах, лодыри!), чешские мелки, гэдээровские наборы миниатюрных инструментов, объективы, фильмоскопы, магниты, приключенческие и научно-фантастические романы; и так по кругу. Я изгалялся над ними; я капризничал; я вел себя как самодержец. Я покидал свой мир и с мрачным упоением малолетнего императора отправлял все, с ним связанное, в небытие.

Неподвижное зеленое зеркало воды в бассейне, отчетливо видная в рыжей подсветке триангуляционная вышка на Чантории, мяч, потемневший от мокрой травы на стадионе общества "Старт", запах скошенного сена возле виллы "Альмира", темное поблескивание кожи на плечах девушки, сидящей передо мной в кинотеатре, воздух, во второй половине дня сгущающийся и, как лупа, искажающий форму предметов, — всему этому предстояло быть брошенным навсегда, лишиться моего присутствия, моих взглядов и прикосновений. Мое отсутствие должно было стать наказанием, а наказывать было приятно.

Но вечером кот Глупыш вскакивал ко мне на кровать, я чувствовал, как бьется его сердце, гладил его доверчиво прижавшуюся к подушке голову и рыдал, и выл от отчаяния. Было прекрасно известно, что здесь, в огромном доме с двором и садом, ему будет в миллион раз лучше, чем в двухкомнатной квартирке в Кракове, и было прекрасно известно, что мы будем приезжать по праздникам и на каникулы, и я тогда буду с ним сколько захочу; но все рушилось, и на редкость жаркое лето 1962 года специально было такое яркое, чтобы заслонить мое отчаяние, и я по сей день уверен, что все зло в моей жизни и все страдания мои — расплата за то, что я бросил кота Глупыша. Своим страшным, невыносимым одиночеством я плачу за год его одиночества. За последний год его жизни, когда он искал меня в пустых комнатах, когда вскакивал в холодную постель, когда обнюхивал оставленные вещи, когда в надежде, что проснется и все будет по-прежнему, он засыпал и просыпался, а меня рядом не было. Путь моей жизни был начертан в звериной душе кота Глупыша. Я от этого пути отказался. Отец во время переезда без вести пропал — это был знак потери. Но то, что я бросил Глупыша, было выбором потери.

VIII

Странно одетая курортница шла по направлению к Оазису; я, счастливый избранник, шагал следом за ней. Она свернула к Дзехчинке; сегод-

ня на ней было фиолетовое, расписанное огромными рыжими папоротниками платье с длинными рукавами. Под виадуком курортница исчезла; на этот раз как никогда было похоже, что она растаяла в воздухе. Я с минуту озирался по сторонам — без паники, не особо нервничая; ее внезапные исчезновения были в порядке вещей. И вернулся домой. Во дворе стоял специальный грузовик со специальным брезентовым верхом.

Отец все лето обещал, что за нашими вещами приедет специальный, со специальным брезентовым верхом, со специальным водителем грузовик из Горно-металлургической академии. И наконец он приехал, но... самый обыкновенный. Я был разочарован. И грузовик тут был ни при чем: я достаточно хорошо знал склонность отца к преувеличениям и не рассчитывал увидеть серебряный кузов или золотой тент; нет, меня разочаровал мир, сдвинувшийся с места. Сваленная под навесом старая мебель, коробки, отдельные предметы были куда более необыкновенными в неподвижном состоянии, чем теперь, когда их по очереди укладывали под брезент. Трудились все мужчины, а в кузове стоял и властно, с неискренней улыбкой распоряжался обросший неопрятной щетиной мужик с высоким, переходящим в лысину лбом.

IX

Естественно, я понятия не имел, что он поразительно похож на человека, с которым более полувека назад играл в шахматы Лев Толстой. Во мне не всколыхнулись предчувствия, не прозвучали подсказки дарованной свыше интуиции; до меня не доходили неземные послания, свидетельствующие, что обладающий вождистскими наклонностями специальный водитель специального грузовика из ГМА, который приехал из Кракова за нашим добром, похож на зятя Льва Николаевича Толстого.

Кажется, я об этом еще не упоминал, но изящная и чрезвычайно хваткая русистка 1968 года рождения напоследок точно установила, что на заинтриговавшей меня фотографии автор "Анны Карениной" играет в шахматы со своим зятем Михаилом Сергеевичем Сухотиным. Впрочем, я и не мог упомянуть, поскольку, когда начинал писать, этого не знал. А теперь знаю и добавляю недостающие сведения. Рассматривался, правда, еще друг и единомышленник Толстого Владимир Григорьевич Чертков, который — по утверждению русистки — тоже игрывал с ним в шахматы и которого тоже могли сфотографировать.

Однако на фотографии, о которой идет речь, вне всяких сомнений изображен зять Толстого. За это говорят и аргументы, я бы сказал, психологического характера: человек за шахматной доской имеет вид смиренный и заискивающий, будто извиняется, что не проиграл после первого же хода. Наверняка у всех, кто играл с великим писателем, был такой вид — а уж у игрока, чьим тестем вдобавок Толстой являлся, тем паче. В конце концов, если ты спишь с дочерью автора "Войны и мира", изволь выказывать ему почтение. Долг платежом красен.

Ни я, ни отец, ни дед, ни оба дяди, ни помогающие грузить наши пожитки Никандовы сыновья не знали, что этот тип — двойник зятя Толстого, но зато никто не сомневался, что с ним что-то не так.

Он метался по кузову как одержимый, с неподдельной яростью выкрикивал команды, а потом вдруг, спохватившись, делал вид, будто все это шутки и лицедейство и происходящее нисколько его не занимает. Однако через секунду снова впадал в раж, и безумствовал, и изображал виртуоза упаковки, погрузки и размещения предметов. Хотя было ясней ясного, что команды он отдает дурацкие и ненужные, что изображает из себя невесть какую важную особу; при этом он ужасно потел. "Мокрый как мышь, а туда же... начальствует", — вполголоса проворчал в конце концов дядя Аблегер, и — как это бывает в подобных ситуациях — глуповатое, простонародное и, пожалуй даже, грубое изречение, в общем-то довольно бессмысленное, разрядило атмосферу, одновременно приобретя черты афоризма, если не заклятия. "Мокрый как мышь, а туда же... начальствует", — повторяли мы, поднимая коробки, и покатывались со смеху: *мокрый как мышь, а туда же!*.. Ничем не защищенный от нашего смеха зять Толстого прибегнул к безотказному способу: чтобы не выходило, будто мы смеемся над ним, смеялся вместе с нами. Но как-то странно смеялся — с усердием дурачка, прикидывающегося, что он прекрасно понимает, в чем соль услышанного впервые анекдота; впрочем, и его, и наш смех постепенно угасал; дело потихоньку шло к грандиозному финалу — уже все вещи, с большим, якобы, мастерством уложенные, установленные, перевязанные, закрепленные, были в кузове. Шахматный столик, завернутый во столько слоев "Рабочей трибуны", что напоминал миниатюрный макет то ли церкви, то ли атомного гриба, помню, стоял почти в самом центре, плотно обложенный коробками; бабка Пехова еще подала сетку с яблоками, еще бежала по двору с завернутыми в уже промаслившуюся бумагу котлетами на целую неделю; еще я, в последний момент решив, что, так и быть, прощу лодыря и возьму в Краков "Таинственный остров", забросил его в кузов, и... взрывайся, взрыв! Последняя глава Книги Исхода завершена.

Было уже около часу дня — наверно, самого жаркого дня того лета; мы мылись, вытащив из прачечной черный резиновый шланг, из которого била упоительно холодная и пахнущая плодородными лугами струя воды; бабушка в кухне готовила обед; и вдруг оказалось, что зять Толстого пропал. Еще минуту назад он стоял возле машины, еще минуту назад, голый по пояс, обливался как одержимый и хвастался, будто виртуозно владеет искусством обливания, еще минуту назад сидел в кабине, еще минуту назад вертелся под ногами — и вот его уже нет. Нет человека. В сортире нет, под брезентовым тентом нет, во дворе нет, перед домом нет. Господи Иисусе! Обиделся на наши смешки, на наше без конца повторяемое: *мокрый как мышь, а туда же*, обиделся и пошел куда глаза глядят! Мы переборщили, ведь мужик работал как вол, трудился не покладая рук. Что из того, что чудаковатый? Лучше чудак, но работящий, чем нормальный лодырь. Не выдержал и дал деру. Нам такие реакции были известны. Пропадать бесследно — это был неизменный обычай бабки

Пеховой. Если вокруг начинало твориться что-то, над чем она была не властна, бабка вдруг пропадала, забивалась куда-то в дальний угол, и не раз приходилось долго, замирая от страха, ее искать. Это особая, непростая история. Но откуда нам было знать, что и мужик такой же? И ведь в доме он не спрятался, не затаился в чужой мансарде, не залез на чердак. Отправился невесть куда — только его и видели. Ну и дела. Мать уже несколько дней в Кракове, наводит порядок в новой квартире, выбирает место для висленского барахла между новыми шикарными диван-кроватями, а тут неизвестно, надо ли вообще этим заниматься. Отец один не поедет, потому что у него нет водительских прав. Вообще ни у кого в доме нету прав. Никандовы ребята ездить умеют, кажется, на всем, но и у них прав нет, ни у одного. Трагедия. Просто трагедия. А вернее — как вскоре стало ясно — еще только пролог трагедии.

Поскольку дед Пех тоже исчез. Исчез, но, правда, ненадолго. Минут, скажем, на пятнадцать. Через пятнадцать минут вернулся, ведя за собой растерянного и крайне смущенного зятя Толстого. Не хотелось тому присутствовать при семейном и, насколько он понимает, прощальном, что ни говори, обеде. Не хотелось мешать, доставлять лишние хлопоты. Он здесь не в гостях, он на работе. Выскочил на минутку в город выпить холодного лимонаду. Холодного лимонаду выпить перед дорогой и для подкрепления сил. Дед махал рукой, в особенности при словах *лимонад* и *подкрепление сил* махал рукой, однако всякая двусмысленность тотчас серебристым смехом и нервными выкриками женщин затушевывалась. Какой там лимонад, когда дома столько компоту! Целое море! Из своего сада! Пей не хочу — все равно всего не выпить. И даже если — вмиг сварим новый! Или прошлогодний откроем! Какой душе угодно! Черешневый! Сливовый! Грушевый! Пейте сколько влезет, милости просим! И не спрашивайте, чувствуйте себя как дома и сами угощайтесь! А сейчас к столу, без разговоров! Перед дорогой надо пообедать! Обед обедом! А компот компотом!

Компот зять Толстого и вправду поглощал кружка за кружкой, а вот все остальное явно не лезло ему в глотку. Бульон с лапшой — от силы две ложки, мяса самую малость, к картошке и салату из огурцов со сметаной едва притронулся. В общем и целом странновато — не бывало в наших краях такого, чтобы взрослый человек не смел все подчистую с тарелки. Видно, все же что-то с ним не так. Язва желудка? Или еще что похуже? Не дай бог!

Он без роздыху витиевато объяснял: он, конечно, очень извиняется, но перед дорогой — особенно перед такой тяжелой дорогой — имеет обыкновение есть мало, поскольку обильная трапеза ухудшает психофизическое состояние. Понять это было трудно: мы впервые услыхали, что есть вредно. Но, вероятно, нас мучили угрызения совести — всему, что он говорил, мы поспешно поддакивали. Да и не до разговоров тут, пора ехать. Делу время, потехе час. Труба зовет!

Перед самым стартом зять Толстого заявил, что должен размять кости и тем более поясницу и немного пройтись, и опять исчез за воротами; на этот раз, однако, вернулся мгновенно — и в превосходном настроении. Дед снова махал рукой, но машина уже уезжала: отец сидел справа от водителя, я открывал ворота, огромный, как гора, грузовик, попрыгав на булыжниках, в сизом облаке выхлопных газов выехал на

дорогу, свернул влево, скрылся в темнеющей перспективе — и исчез навсегда. Как камень в воду. С концами. На веки вечные. Бесследно.

Я бродил по дому; из окна мансарды все было видно как на ладони, все вдруг сделалось таким близким и отчетливым, будто я смотрел в бинокль; спортсменки бегали кругами по стадиону, пограничники шагали вдоль границы на Стожке, кот ровно по диагонали пересекал двор, в туче над Яжембатой таилось что-то страшное, мост прогибался под черным "вартбургом". В опустевшей комнате я открыл зеленообложечную тетрадь с любовно-криминальным романом, но ничего интересного в голову не приходило. Я подумал, что, когда через пару дней окажусь в новой квартире, о которой отец рассказывал всякие чудеса, когда выйду на балкон и увижу далеко внизу стадион "Краковии", а из окна комнаты — нагромождение налезающих друг на дружку городских крыш, рука сама потянется к перу. В субботу мы с дедом Пехом поедем на поезде: Висла—Голешув—Скочув—Чеховице—Хыбе—Тшебиня—Краков Центральный; в воскресенье я огляжусь немного, а в понедельник примусь за роман — и все пойдет как по маслу. Как видите, я на редкость рано попал в лапы старинного писательского суеверия: якобы смена места поможет. И на редкость долго в них оставался. До самых недавних пор, если честно признаться.

Я закрыл тетрадь и уже собрался бежать на стадион: со дня на день у нас ждали сборную Польши, возможно, футболисты уже приехали и вышли на первую тренировку. Я зашнуровывал кеды; быть может, по дороге мне повстречается курортница в очередном потрясающем платье с длинными рукавами; я уже стоял на пороге, уже взялся за ручку двери, когда из Кракова позвонила мать: "В чем дело? Когда они выехали? Их все еще нет! Выехали около двух, а сейчас уже семь! Что случилось?"

Дед, обычно державшийся лучше всех, на этот раз немедленно начал злобно бурчать себе под нос: мол, нечего удивляться. Нечего удивляться, что не доехали, потому как, если шофер должен по дороге в каждой забегаловке выпить лимонаду, лимонаду, лимонаду, холодного лимонаду, видите ли, должен выпить, то они до завтра не доедут. И как в воду смотрел. Они до завтра не доехали. Они вообще не доехали. Никогда. С ясного неба ударил гром, и все сгорело синим пламенем.

Весь вечер — телефонные звонки. Из Кракова и в Краков. Туда-сюда. Через междугородную. Одно утешение: пани Гертруда — которая испокон веку была телефонисткой и испокон веку безответно влюблена в деда — соединяла без очереди и быстро. Но много ли толку в быстром соединении, если говорить не о чем? Просто не о чем. Приехали? Нет. Через час: приехали? Нет. Всю ночь: приехали? Нет. Под утро: приехали? Нет.

Около полудня бабушка заперлась в дальней комнате, и оттуда донесся скрип дверцы почти никогда не открывавшегося шкафа. Мне стало страшно. А что, если в никогда не открывавшемся шкафу висят траурные платья? Что, если начнется подготовка к похоронам отца? Мне не хотелось, чтобы — если его в конце концов найдут — он лежал в открытом гробу в самой большой комнате. Чтобы бабушка протирала спиртом его пергаментное лицо. Не хотелось спать с его трупом под одной крышей. Уж лучше — если выбирать из двух зол, — чтобы он никогда не нашелся; чтоб приземлился вместе со специальным грузовиком, управляемым специальным шофером из ГМА, в Америке или на Луне.

Сейчас, когда нападения на фуры не в диковинку, когда чуть ли не ежедневно целые колонны грузовиков или целые железнодорожные составы пропадают бесследно, будто испарившись, — один грузовик никакая не сенсация. Но тогда! Чтобы нагруженный до краев огромный "стар" пропал с концами? Не может такого быть. Милиция, во всяком случае, не верила. И висленские, и краковские милиционеры недоверчиво качали головами, глядели на нас вроде как сочувственно и упорно допытывались, не было ли у отца каких-нибудь планов? И не случалось ли ему исчезать прежде, до этого исчезновения? И не ездил ли он куда-нибудь незадолго до этой роковой поездки? И куда же? Вот-вот, куда? Может, в последнее время он ездил в какие-нибудь нетипичные командировки? Может, куда-нибудь звонил? По междугородной? Или за границу? Может быть, подавал документы на загранпаспорт? У нас ведь, кажется, есть знакомые в Лондоне. Приходили оттуда в последнее время какие-нибудь письма? Утверждать, конечно, ничего нельзя. Абсолютно ничего. Но если человек пропадает со всем имуществом, то, как правило, это неспроста. И, как правило, спустя некоторое время он находится. В Лондоне или Мюнхене. Или в Западном Берлине. Исключено? Точно? В таком случае не стоит падать духом. Патрули на трассе, и как только что-нибудь станет известно, нам сообщат. Рано или поздно он найдется. Не иголка в конце концов. Если не плывет на корабле в Америку, значит найдется. Найдется. Найдется проклятый грузовик. Найдется чертов "стар". Найдется. На полпути, на середине жизни, в чистом поле. За желтым пригорком и зарослями орешника. С почти дотла сгоревшим брезентовым тентом.

На третий день спозаранку мастер Штвертня спустится с гор в своем знаменитом, помнящем еще войну "виллисе", заберет деда, они без лишних слов отправятся в путь и через неполных три часа попадут куда надо. Как по линеечке. Внезапно с правой стороны они учуют вроде бы чад, вроде бы запах гари, увидят едва заметный дымок и свернут, хотя там не будет дороги. Только погодя в траве появятся следы шин. Отец, обросший щетиной и униженный, будет сидеть рядом с грузовиком на лопнувшей коробке, из которой частично высыпались словари и энциклопедии; лицо закрыто руками, локти упираются в шахматный столик.

В первый момент они даже не заметили трещины, потому что столешница была крепко-накрепко обвязана шпагатом, и, похоже было, веревочки эти остались от упаковки: просто бессчетные слои "Рабочей трибуны" сняты, а веревочки — нет. Лишь потом выяснилось, что все три дня, проведенные отцом в поле, он старался всеми возможными способами скрепить расколовшийся пополам столик.

Ровно, ровнехонько пополам раскололся шедевр мастера Штвертни — будто от невероятно сильного и невероятно точного удара острия. На треснувшей шахматной доске — промасленная бумага от котлет, надгрызенное яблоко, обгоревший обрывок "Рабочей трибуны". Вокруг тоже валялось много обгоревших "Трибун" — знаки отец, что ли, горящими газетами подавал? Зятя Толстого — ясное дело — нет и в помине, что, может, и к лучшему.

Внезапно вокруг все закипело: окрестные жители бежали по полю, с шиком подъехал милицейский микроавтобус, издалека мчалась пожарная машина с включенной сиреной, с командой, готовой действо-

вать, женщина из ближайшей хаты несла хлеб и молоко, небеса расступались.

Оставленные, как оказалось, зятем Толстого ключи торчали в замке зажигания. Если не считать сгоревший тент, все было в целости и на месте: вещи ничуть не затронуты огнем, даже завязаны и закреплены попрежнему; можно было спокойно отправляться со всем добром в Краков. Торжественно, под аккомпанемент клаксонов, в сопровождении дорожной милиции, с проводниками-добровольцами во главе. Хоть сейчас с триумфом въезжай на Дембницкий мост. В полном составе, возможно даже с оркестром. Без потерь — за исключением расколовшегося пополам и опутанного шпагатом шахматного столика.

XI

Какие произошли катаклизмы? Какие бури? Какие апокалипсисы? В какой последовательности? Зять Толстого вконец изнемог и решил, свернув с дороги, чуток вздремнуть? Земля под ним разверзлась? В очередной раз, теперь уже безвозвратно, помчался выпить холодного лимонаду? Оригинальный пикник с котлетами и шахматами вздумал на придорожном лугу устроить? Перед капотом грузовика вдруг появилась с распростертыми объятьями сладкогласая сирена, и они, поддавшись ее чарам, сбились с пути? "Стар" ни с того ни с сего загорелся, и пришлось в панике сворачивать на бездорожье? Странный шофер побежал за помощью, но по дороге его поглотила преисподняя? Молния беспричинной мести сверкнула и пополам рассекла шахматную доску? Или все это произошло разом?

Отец молчал. "Тебе этого никогда не узнать, — обрывал он мать, годами не прекращавшую расспросов. — Тебе этого никогда не узнать. Слово даю: никогда". И действительно, так никогда и не проговорился.

Тогда же, когда — на полпути, на середине жизни, за желтым пригорком — встал вопрос, что делать со столиком: везти в Краков или пускай лучше мастер Штвертня забирает его обратно в Вислу и там чинит, отец не только ничего не сказал — он просто не мог говорить. Даже если б захотел, не смог бы выдавить ни слова — горло перехватило. От слез?

Да и Мастер не спешил бросаться на помощь. Не понравилась ему эта история. Идеально ровное, будто столик распилили лобзиком, место раскола он осмотрел, внимательно и неторопливо, и головою, почуяв, что не быть загадке разгаданной, покачал. И поглядел в небеса, словно только там могли б найтись пилы, что пилят так дьявольски ровно.

Взять столик он согласился и привез обратно в Вислу — погрузить шахматный столик в "виллис" не проблема. Тем более в двух фрагментах. Привезти привез, но в мастерскую не забрал. Не торопился склеивать или каким-нибудь иным способом соединять половинки. Явно не хотел состязаться с могучими неведомыми силами. Привез столик и поставил во дворе под навесом, рядом с призраком кареты. Подождать, минуточку подождать. Минуточку так минуточку. Через девять лет мастер Штвертня умер. Кажется, вся Висла провожала его на кладбище; над могилой мы ему спели о вечном свете: "Свет вечный да сияет ему..." Спели красиво и от души: ясно было, что мастеру Штвертне сияет божественный свет.

Прислоненный к стене шахматный столик превращался невесть во что. Не одно десятилетие он обрастал коркой птичьих отходов, одеревеневшим бурьяном и окаменевшей пылью. Кто не знал, тот ни за что бы не догадался, что́ таит в себе эта бесформенность.

Иногда мне снится огромный "стар", сворачивающий в темное поле. На нем горит брезентовый тент, и в желтом сиянии отец расставляет шахматы на самой лучшей в мире шахматной доске. И начинает с кем-то играть, но я не знаю с кем — его партнер скрыт тьмой.

XII

Написав эту историю, я поддался сентиментальному чувству: собрал изувеченные жарой, морозами и короедами останки, привез в Варшаву и отдал на реставрацию знаменитым мастерам из салона старинной мебели на Зомбковской. На прошлой неделе, когда конструкция обрела былой блеск и красоту, когда снова стала прекрасной, как музыка (даже краше прежнего, ибо музыка стареет дивно), и когда я торжественно поставил столик в большой комнате на Сенной, в ящике обнаружились две пешки: белая и черная. Хотя я точно знал, что их там не было. Звоню мастерам: "Откуда пешки? Их же не было". — "Были, но неподвижные и почти незаметные, в древесину вросшие, окаменевшей паутиной затянутые".

Две съеденные пешки. Начало любой шахматной партии. Начало партии Льва Толстого с зятем. На фотографии отлично видно, что партнеры только что начали играть. В первый раз разменяли пешки. Белую пешку в ящик и черную в ящик. Дальше возможно все что угодно. Любой ход любой фигурой.

2005

Э. Л. Доктороу

Марш

Роман

Перевод с английского В. Бошняка

Книга вторая
Ю*жная* **К***аролина*

I

ВЕДОМЫЙ генералом Ховардом правый фланг армии Шермана в составе Пятнадцатого и Семнадцатого корпусов двигался от места высадки в Бофорте на запад, левый фланг – Четырнадцатый и Двадцатый корпуса Слокума – следовал вдоль Саванна-ривер в северо-западном направлении, и генералы мятежников не могли понять – то ли войска идут на Огасту, то ли надо защищать Чарльстон. На самом деле целью Шермана была Колумбия, и даже Моррисон, несмотря на личные обиды и недовольство командующим, не мог не признавать гениальности этой оперативной разработки. Обман получался как бы обоюдоострым, и хотя к тому времени инсургенты уже знали, какой он шельмец, они не могли собрать войска в один кулак, пока Шерман не проявит своих намерений недвусмысленно.

Зато у Конфедерации в активе были дьявольские каролинские болота и соответствующие погодные условия вдобавок. Дождь лил стеной, создавая завесу, сквозь которую горящие пучки сосновых веток (ими люди пытались освещать себе путь через топи) мерцали как звезды небесные. С полей шляпы Моррисона ручьями стекала вода. Там и сям на полузатопленной дороге слышались крики и ругань ездовых, офицеры надсаживались, выкрикивая команды, и, несмотря на майорский чин, каковой читался по дубам на замызганных и мокрых погонах, в ту ночь почтения к его рангу никто не выказывал, потому что каждый – будь то рядовой или офицер – с такой яростью боролся за каждый шаг вперед, что плевать хотел и на него, и на его приказы.

Моррисон вел лошадь под уздцы. Даже там, где дорогу уже гатили, под тяжестью фургонов жерди уходили в грязь, и приходилось класть новый слой поперечин. А иногда идет, смотрит: стоит упряжка, а у одного из мулов копыто между бревен застряло, и бедное животное криком кричит, вот-вот ногу себе оторвет. А если фургон завязнет, останавливается вся их вереница, и тогда десятки людей сбегаются к нему, выпрягают мулов, выгружают поклажу и общими усилиями вытаскивают колеса из грязи. Моррисон решил, что проще будет сойти с дороги

Окончание. Начало см. в "ИЛ", 2009, № 1.

и брести кое-как по болоту, наслаждаясь потоками холодной грязи, время от времени перехлестывающей в сапог поверх голенища. При нем были письма Шермана и Ховарда генералу Джо Мауэру, который командовал авангардной дивизией фланга. Но Моррисону никак не удавалось найти штаб Мауэра.

Повернув направо, Моррисон пошел от дороги вбок в надежде выйти на какую-нибудь другую, может быть, более проезжую дорогу. Но топь сменялась водной гладью, открытая вода опять болотом, да еще и заросшим густым кустарником, к тому же движется ли он в темноте по прямой, с уверенностью сказать было сложно. Он брел по колено в жиже, чуть не падая, когда ноги путались в колючих зарослях куманики, да еще и упирающуюся лошадь приходилось тащить. Кустарник кончился, начались кипарисы, густые — не протиснешься, и корни свои, узловатые и скользкие, повсюду растопырили. Похоже, я тут утону, — проговорил он, но продолжал брести вперед, и в конце концов твердая земля все-таки под ногами появилась — то был узкий берег бурного потока, в который превратилось паводковое русло реки Салкехатчи; он взобрался на скользкую гряду сам, втащил коня, оступающегося, дрожащего, с исцарапанными в кровь бабками.

Пройдя по берегу несколько сот ярдов, наткнулся на роту строителей, наводивших через протоку понтонный мост. Они ставили плавучие платформы на якоря, потом соединяли их между собою перемычками из бревен, а на ближнем к берегу конце моста уже клали на бревна поперечный настил из досок, которые, судя по остаткам краски, еще вчера были обшивкой дома. Когда реку удастся форсировать, здесь пройдет еще одна дорога. Стук топоров и крики строителей терялись в шуме дождя, а его перекрывал дальний грохот, но это был не гром, нет, явно канонада, потому что на четвертом году войны ночь перестала быть общепризнанным временем отдыха от сражений. Моррисон поглядел за реку, но увидел все то же болото. Где-то там, впереди, — в полумиле? в миле отсюда? — разведка боем шла уже у главного русла реки Салкехатчи, на дальнем берегу которой окопались и укрепились мятежники.

Еще пара минут, и эти поиски привели Моррисона в состояние такого отчаяния и усталости, каких он не знал никогда в жизни. Ради какой такой необходимости, — с горечью думал он, — меня, майора, надо гонять с донесениями как посыльного, если, конечно, Шерман не испытывает меня специально. Когда еще в Саванне он доложил генералу, что прибыл министр Стэнтон, Шерман сказал: вы, Моррисон, отбиваете лучше, чем подаете, изобразив затем что-то вроде смешка. Моррисону, однако, не нравилось, когда, пусть даже в шутку, ему ставят в вину новости, которые он сообщает. Службу он нес исправно и честно, а отплатили ему тем, что послали в этот сырой, холодный ад, который убивает ничуть не хуже, разве что медленнее, чем пуля.

Кто-то окликнул его, он огляделся, но никого не обнаружил. Вдруг к его ногам с плеском упала ветка и так отскочила, будто она не просто свалилась с дерева, а была с силой брошена. Он поднял взгляд и там, вверху, в ветвях огромного вяза, постепенно различил нескольких человек, причем некоторые сидели в наброшенных на плечи одеялах. Один курил трубку, и горевший в ней огонек, хотя и тускло, но освещал ствол и ветви дерева. Громко, чтобы перекрыть шум дождя, Моррисон назвался и тут

понял, что это и есть штаб, который он искал так долго. На самой верхней развилке дерева, как моряк на носу корабля, глядя сквозь ночь в ту сторону, откуда доносится шум битвы, стоял генерал Мауэр, человек, которому Шерман слал приказ за приказом: скорее! скорей опрокинуть противника у реки Салкехатчи! Шерману главное — без помех соединиться с флангом Слокума на возвышенности у Южнокаролинской железной дороги под Блэквиллом, и опять-таки — время, время! Время решает все.

Моррисон вручил депеши офицеру, свесившемуся с нижней ветки, и получил приглашение тоже найти себе подходящий насест. Полноватый и не ахти какой ловкий, Моррисон не стал даже пытаться. Скрючился внизу, опершись спиной о дерево, и его филейные части тут же онемели от холода.

II

Из-за дождя дорога стала окончательно непроезжей, и вереница телег остановилась. Сбреде зажег лампу и, поставив ящик с инструментами себе на колени, чтобы не терять времени, стал писать письма. Вот интересно, кому? А вдруг... Нет, такое даже страшно подумать! А, конечно, он же говорил: у него есть брат, тоже доктор и тоже немец. Живет, во всяком случае, где-то там — в Саксонии, что ли... Эмили не отпускала тревога. Дождь со страшным ревом колотил о брезент. Полог сзади был откинут, и она видела мулов — как они стоят, склонив головы, в позе тупого повиновения. Фургон кренился на правый борт — колеса с той стороны увязли в мокрой глине. Устроиться поудобнее ей удалось только зарывшись в кучу одеял и перин, набранных для утепления раненых. Легла на бок, поджала колени и подложила под щеку ладони, чтобы не касаться лицом вонючих тряпок, местами задубевших от ссохшейся крови.

Полежала-полежала, и вдруг ее осенило: это же здорово! Жизнь полна приключений! Стала смотреть на Сбреде — как он сгорбился над письмом, забыв обо всем на свете, о битвах... даже о ней! Воистину сверхъестественна его способность отрешаться. В моменты, подобные этому, он начинал казаться ей каким-то абсолютным незнакомцем, который при этом ее хозяин, а она — его раба. Неужто он не понимает, как ей одиноко, как грустно! Кстати: вся в треволнениях этого своего добровольного скитальчества, она ведь совершенно перестала думать о будущем! А теперь оно замаячило перед ней в образе тьмы. Тьмы и нескончаемого дождя. А доктор Сбреде Сарториус... разве он нормальный мужчина? В домашней обстановке, прирученным и обычным... нет, таким она его и представить себе не может! Он живет мгновеньем, словно будущего нет вовсе, или в состоянии столь сосредоточенном, что, наступив, это самое будущее застанет его таким, каков он уже сейчас — самосогласованный, чудовищно неизменный, твердый и гладкий — поди-ка зацепись! До него не достучишься: спокойствие просто нечеловеческое. В армейское Медицинское управление он постоянно шлет доклады о хирургических процедурах, которые придумал сам, или о разработанных им улучшенных способах послеоперационного ухода. А толстые циркуляры и наставления по полевой хирургии ругает как практически бесполезные, да и вообще на приходящие из центра умные приказы смотрит с царственным пренебрежением.

Короче говоря, он из тех людей, которым ни в профессиональной, ни — помоги мне, Господи, — в личной жизни никто не нужен. Она не могла себе представить, чтобы он вдруг сделался грустным или недовольным, чтобы на него накатила тоска, или он стал бы дурачиться, как-то еще подпал бы под влияние момента. Это обособленное, замкнутое в себе существо живет своей жизнью и ни в ком другом не нуждается. Что же до ее с ним отношений, то, пусть он и ввел ее в область своей деятельности, сделав чем-то вроде ученицы, но вот интересно: случись ей умереть от какого-нибудь осколка или, скажем, пули Дельвиня-Мини́, каким взглядом будет он смотреть на ее безжизненное тело — взглядом безутешного, осиротевшего влюбленного или спокойно примется за вскрытие, чтобы узнать, как именно попортила убившая ее железяка ткани и органы?

С чего это на меня вдруг злость накатила? — спохватилась она. И сразу поняла. Как не понять, когда внутри все сжалось, так что она невольно крепче стиснула бедра. И не в том дело, что она совсем уж наивная, одержимая фантазиями девочка, которую шокирует реальность. Она образованная женщина, причем достаточно начитанная, чтобы принимать и телесную, физическую сторону любви. Но она отдалась самозабвенно. А почувствовала лишь вторжение чего-то чуждого.

Но ведь раньше-то! — раньше он к ней участие проявлял! Как тогда: она лежала раздетая, с закрытыми глазами и тут почувствовала, как место рядом с ней на кровати освободилось от его веса. Куда он? Оказывается, решился. Услышала: открыл чемоданчик с инструментами. Чтобы тебе не было больно, — склонившись к ней, сказал он, — я произведу маленькую операцию. Почувствуешь, как комарик кусил, не более. Вот прикоснулся пальцами, залез в нее, раздвинул, а потом было в точности так, как он и говорил, и никакой крови — ну, почти никакой. Конечно, все это было продиктовано заботой и здравым смыслом, но надо быть до мозга костей медиком, чтобы заставить ее ощутить себя скорее пациенткой, нежели возлюбленной. Да еще это чувство вторжения! Когда у него настал этот их специфический криз, она сдуру открыла глаза, и в свете горящего очага — боже, какое ужасное оказалось у него лицо! Перекошенное, с глупым, бессмысленным выражением, со слепо застывшими выпученными глазами — лицо человека, вдруг с ужасом постигшего пустоту и безбожие вселенной. А когда он издал нутряной, сдавленный стон и она крепко его к себе прижала, ощущая, как он в ней содрогается, она обнимала его не со страстью, а с жалостью — ведь он, должно быть, так страдает, хотя какое же это страдание, конечно нет, но все же что-то совсем не то, что чувствует она, а что она чувствует?.. Непонятно. Вторжение какое-то.

И вот с тех пор — а ведь уже несколько дней прошло! — он как-то отдалился, явно был рад тому, что все его время занимают приготовления к новому походу, и спокойно отдавал распоряжения — всем, в том числе и ей. Да, теперь она уверена: с этим мужчиной у нее нет будущего. Она для него обуза, южанка-беженка, которую лишь потому и терпят, что по недостатку рабочих рук ее можно временно использовать как санитарку, хотя вообще-то он предпочел бы более квалифицированный персонал. И никогда она не чувствовала себя такой одинокой и брошенной, даже когда умер отец, — ведь тогда она была у себя дома, среди знакомой обстановки и не понимала еще, что жизнь, которую она знала, кончилась, и не успеешь оглянуться, как, уже падшей женщиной, окажешься в

армейском фургоне, по брезенту которого с пушечным громом колотит дождь, и будешь через пень-колоду тащиться по залитым водой пойменным лугам Южной Каролины.

А как раз в следующем фургоне Перл в это время разглядывала запечатанный конверт — тот, что в Сондерсонвилле она вынула из руки убитого лейтенанта Кларка. Сообразив, что письмо должно быть адресовано его домашним, у которых, как у него, фамилия Кларк, она в конце концов разгадала звучание отдельных букв. Если я могу распознавать буквы его имени на конверте, — думала она, — то смогу прочитать их и где угодно. Но как она ни вертела конверт перед керосиновой лампой, как ни разглядывала его под разными углами, понять остальные слова, которых там было еще целых три строчки, нипочем не удавалось.

Мэтти Джеймсон спала на штабеле носилок. Подложив руки под подбородок, она свернулась калачиком, как ребенок в утробе. Перл не раз приходилось видеть мертворожденных недоношенных детей, и всегда они пребывали в той самой позе, в какой лежит сейчас жена ее хозяина. Перемещаясь с армией, Мэтти весь тяжкий путь проделывала точно на облаке, спала почти непрерывно, даже вот и сейчас, когда дождь рокочет так громко, что собственных мыслей и то не услышишь. Когда она просыпалась, Перл пробовала дать ей что-нибудь поесть, но она лишь куснет разок галету да пригубит кофе, и все. И не говорила совсем, ни слова не говорила, а на Перл смотрела так, словно силится, но не может припомнить ее имени.

Ее пшеничного цвета волосы на висках стали седыми. Насколько припоминала Перл (хотя и не совсем была уверена — не так уж много было у нее возможностей на плантации вблизи приглядываться к хозяйке), раньше седины не наблюдалось. Она теперь их забирала назад, перевязывая шнурком, и это ее старило, хотя Перл знала наверняка, что мачеха много моложе папы. Ее лицо выглядело усталым и отекшим, а кожа стала серой. Папа-то, когда помер, был старик — всяко уж за шестьдесят, — жене же куда как меньше, хотя теперь, онемев от горя, она будто тоже умерла, вот и спит все время, чтобы доказать это.

Когда Перл после его смерти рассказала ей, что Филдстоун сожжен дотла — а то вдруг она вздумает домой вернуться! — та совсем скуксилась, закаменела и смотрит с тех пор будто внутрь себя.

Перл огляделась — что-то тесно ей в тот момент стало в фургоне с бывшей хозяйкой. Она сняла форменную тужурку и сразу почувствовала, как сырой ветер задувает под брезент. Думала о плантации, где родилась и прожила всю жизнь до самого последнего времени, думала о жарком солнце и любимых полях. Но тут она на себя рассердилась. Сказала себе: вот что, дорогая! Так думать — значит не быть полностью свободной! Хотя какая уж тут свобода — ухаживать за бывшей хозяйкой, которая на тебя всегда плевать хотела; можно подумать, ты до сих пор у нее в рабстве! Эй, миссис Джеймсон, — закричала она, — а ну-ка, просыпайтесь, вставайте! Она потянулась к спящей и принялась трясти ее за плечо.

Проснувшись, Мэтти поморгала, медленно приподнялась и прижала ладони к горлу. Услышала дробь дождя, почувствовала, как вокруг холодно. Закутала плечи шалью, и только тогда до нее дошло, что на нее смотрит все та же девчонка Перл.

Будем вставать? — спросила Перл.

Та кивнула.

Хорошо, расскажу вам тогда, чего и как. Видите эти коробки, бутыли и все такое? Вы в фургоне медицинского снабжения, вместе с Перл, родной дочкой вашего мужа. Если понимаете, но не можете говорить, тогда хоть головой своей бедной кивните.

Мэтти кивнула.

Вот, хорошо. А фургон — это часть армии генерала Шермана, который скоро разгромит последние остатки рабовладельчества. Вы поняли, нет?

Мэтти кивнула.

Потому что над вами кое-кто сжалился, вот и взяли сюда, как сами вы напросились. Помните?

Мэтти кивнула.

Вот так. И зачем напросились, я тоже знаю. Чтобы искать моего братца номер раз и братца номер два. Я верно поняла? Вы пристали к армии в надежде, что на нашем пути окажутся ваши мальчишки. Ну говорите же, леди! Так или нет?

Да, — прошептала Мэтти.

Ага, чтобы вам выбежать, воздев руки до небес, между двух армий, остановить стрельбу и увести с собой своих деток, спасти их шкуры, правильно?

Да. — Мэтти расправила плечи и сложила руки на коленях. — Да.

В таком случае вы сумасшедшая, но вы мать, а матери всегда такие. Сумасшествие матери, на мой взгляд, еще не самое худшее. Но сейчас вы спать не должны. Спать будете, когда положено. И знаете почему?

Мэтти отрицательно покачала головой.

Видите мой мундир? Я служу санитаркой у хирурга-полковника, который пытался спасти хозяину жизнь. Скатываю рулонами бинты, даю людям пить, когда их мучит жажда, — ну, в смысле, раненым, — и так далее. Приношу пользу армии, которая меня кормит и разрешает с ними вместе ехать, потому что мне сейчас деваться все равно больше некуда. Вы меня слышите?

Мэтти кивнула.

Ну так вот, значит: таким же точно образом и вы должны делать что-нибудь полезное, это вы просто обязаны, поскольку прицепились и тащитесь, а им пригодится любая добрая женщина, чтобы ухаживать за увечными.

Что я должна делать? — спросила Мэтти еле слышным шепотом.

Спросите у мисс Томпсон, когда следующий раз будем становиться лагерем. Уж она найдет вам работу, не сомневайтесь. То, что может Перл, вы наверняка тоже сможете. Но есть еще одна штука — ведь я же присматривала за вами, когда вы были в слабости и печали, и знаете, что вы должны за это сделать?

Нет...

То, о чем вы даже и не подумали, когда ребенком я росла в вашем доме. Вы должны научить Перл читать. Вот, прямо сейчас и начнем, — сказала Перл, подавая ей письмо Кларка.

Мэтти протянула руку, Перл вложила в нее письмо. Их глаза встретились.

И нечего тут у меня плакать, — прикрикнула на нее Перл, но это не помогло. Слезы ручьем бежали по щекам Мэтти Джеймсон. Она качала головой, кусала губы, а Перл, помедлив в нерешительности — то ли утешать ее, то ли выбранить, — вдруг сама прониклась странною печалью, и на глаза ей тоже навернулись непрошеные, нежеланные слезы.

III

Глядя в щели между бревнами, Джон-младший и его брат Джейми увидели среди торчащих из болота стволов какие-то движущиеся тени — далеко-далеко. Потом этих теней стало больше, еще больше, и скоро в рассветном тумане их оказалась целая армия: идут, всем телом раздвигая грязь, — вода до подмышек, винтовки подняты вверх, а башмаки и подсумки с патронами болтаются на штыках. Не стрелять, — повторял лейтенант, бегая туда и обратно вдоль фронта. — Не стрелять, — говорил он, понизив голос, хриплым шепотом, как будто федералы, которых не достать еще даже мушкетной пулей, могли его ненароком услышать.

По тревоге подняли кавалерию, послали прикрывать фланги, но северян было слишком много, а повстанцев всего полторы тысячи. Не выстоять. О господи, — вырвалось у Джейми. Он замерз, весь дрожал, губы посинели, и думалось только о том, как бы не обмочиться. Ночью братья почти не спали, потому что вдоль всей реки то и дело происходили стычки. Мучил голод: последнюю галету съели еще вчера. Джон-младший, который старше брата на год, исполнял при испуганном Джейми роль завзятого вояки. Ладно тебе волноваться, — сказал он небрежно. — У нас здесь укрепления не хуже форта. Им до нас не добраться: наши позиции над обрывом, потом, у нас артиллерия, а у них нет. Как в болоте пушку установишь?

И чуть не в тот же миг старший брат, получив своим словам подтверждение, ткнул младшего локтем в бок: открыли огонь их пушки, снаряды со свистом пролетали над головой и разрывались в воде, валя деревья и подбрасывая людей в воздух. Но все равно янки шли вперед, некоторые толкали перед собой бревна, на которые опирали винтовки, чтобы обстреливать канониров, не давая им поднять головы. Надо же! В первых рядах они пустили снайперов, — сказал Джон-младший.

Нас убьют. Не хочу умирать, — проговорил Джейми.

Ш-шш! Представь себе, что тебя сейчас папа слушает.

Но он же не слушает! Нет его тут! Могу говорить, что хочу.

Подумай о чем-нибудь приятном, а то выставляешь себя трусом каким-то!

О чем, например?

Не знаю. О чем-нибудь. Ну, хотя бы, как мы подглядывали за черномазыми девками, когда они на ручей мыться ходили.

А-а, да-а...

Они там голые, и ни сном ни духом, что мы смотрим.

Ага.

И эта Перл, которая почти белая. Надо будет трахнуть ее, пока какой-нибудь ниггер до нее не добрался.

Ага.

Она из них самая ладненькая.

Ага.

Сисечки маленькие такие и торчат. Не то что жирные бурдюки у их мамаш. Господи, никогда не видел таких больших сисек, как у некоторых негритянок, даже у нашей мамы меньше.

А ты что — подглядывал за мамой?

Да не-ет, это я так, по внешнему впечатлению.

Врешь, подглядывал! Возьму вот и все ей расскажу.

Что расскажешь-то?

Что ты подсматривал за мамой, когда она голая. Ну ты даешь!

Заткнись, а то я так тебя разуделаю — никаких янки не надо будет. Хочешь раньше времени сдохнуть?

Подумав, Джейми сменил тему. Ты ж говорил, они до нас не доберутся!

Да врал я, врал, сопляк ты бздиловатый.

Ты говорил...

Слушай, ты прямо будто и не Джеймсон! Ой-ой, слезки показались! Господи, он на моих глазах в девчонку-сикалку превращается! Чучело ты, щенок! И ты сдохнешь, и я тоже, так что утри сопли и прими это как мужчина. А иначе не успеешь помереть, как тебя янки в задницу трахнут!

Врешь!

Еще чего! Они всегда так с плаксами поступают. Не хочешь этого, тогда хватит реветь. А то имей в виду, они именно так и сделают.

В двух шагах от Стивена Уолша, чуть ниже по течению, в солдата попала пуля; дернувшись, он выпустил винтовку, словно отбросил ее от себя, завалился на спину и какое-то время плавал, лежа на спине, а руками схватившись за башмаки, перекинутые на шнурках через шею. Потом исчез. Кто это был — бог весть. Подойдя к тому месту, Уолш потоптался, присел, пошарил свободной рукой в воде. Никого. В рассветных сумерках на болотистом заливном лугу от погибшего только и осталось что красноватое облачко в воде, маслянистая клякса, которая, вихрясь, рассеивалась и уплывала по течению.

Давай-давай, солдат, — сказали сзади. — Двигай, двигай.

Шеренга за шеренгой пробивались бойцы вперед по грудь в болоте. Оно сопротивлялось как живое, и в сознании Стивена борьба Союза с Конфедерацией ушла куда-то на задний план, так что единственной задачей стало преодоление этой вязкой непонятной массы, которая, насколько он мог видеть, копошась в ней, раздвигая ее и шатко переступая в жиже, простиралась без конца и края. Страха он не чувствовал, лишь злость и отчаяние, поселившиеся у него в груди с тех самых пор, как он получил те три сотни долларов, за которые должен теперь заплатить жизнью. Еще когда он шел по Джорджии, жег дома и ломал железнодорожные пути, ему пришло в голову, что война, в которой он участвует, безумна. Улыбки на лицах освобожденных рабов, выходивших встретить войска, не вознаграждали. В их глазах читался затаенный гнев, продиктованный нравственным опытом, утешению не поддающимся. Еще неизвестно, как бы он сам смог вынести жизнь, подобную той, что у них. На чужой земле, в чуждой среде — как на острове, где хозяйничают безбожные хищники.

Вода вокруг него то тут, то там вскипала злыми фонтанчиками. У мятежников, оказывается, и пушки есть: с жутким воем над головой пролетали снаряды. Он ничего не мог с собой поделать — когда раздавался этот звук, он поворачивался спиной и ежился. Но и другие вокруг делали то же самое. Сзади трещали и падали в воду деревья. Все ругались, понося на чем свет стоит генерала Мауэра, зачинщика этой идиотской атаки. Будь ты проклят, Мауэр, я здесь у них как на ладони! И ты тоже будь проклят, Шерман, и проклята будь эта паскудная война! Но Уолш знал также и то, что не в обычае у генералов безоглядно идти на большие потери. Видимо, эта лобовая атака — лишь отвлекающий маневр, а настоящий удар будет нанесен с фланга, чуть выше или ниже по реке. И тогда суржикам придется сперва направить огонь в другую сторону, а потом и вовсе оставить позиции. О господи, сделай, чтобы это случилось скорее, — мысленно взмолился Уолш и тут же посмеялся над этим своим внезапным приливом набожности. Болото тем временем наполнялось мертвецами; некоторые плыли, запутавшись в ветвях, сбитых снарядами с деревьев.

В свете, пробивающемся сквозь кипарисы, люди Уолшу виделись кораблями. Строем двигаясь сквозь огонь и воду, видимые только выше пояса, они, как армада судов, плыли вперед, покачиваясь из стороны в сторону и вперед-назад, с торчащими вверх, как мачты, винтовками. Там и сям кто-то, как подорвавшийся корабль, останавливался, и его рангоут рушился в воду. Уолш — невысокий, крепко сбитый парень — главным образом был озабочен тем, чтобы не ухнуть в воду с головой. Но когда дно под ногами немного понизилось, он возблагодарил судьбу — теперь только голова и поднятые руки оставались доступны пуле. Когда же глубина вновь уменьшилась, с мундира потекло, и в голове засела единственная мысль — о том, какая он сейчас хорошая мишень для снайпера.

Что-то толкнуло его в бок, он повернулся и обнаружил оторванную голову; на него смотрело бородатое голубоглазое лицо с застывшим на нем выражением оскорбленного достоинства, а из шеи торчали жилы и куски внутренностей. На миг он замер от ужаса и, прежде чем заставил себя оттолкнуть голову, уловил в мертвых глазах обращенную к нему мольбу, словно, испытав даже такое, можно все еще сохранять тягу к жизни.

IV

Уже полтора дня под ногами была твердая земля: между реками Салкехатчи и Эдисто армия двигалась по возвышенности. В одном из трех госпиталей, развернутых в поле, была операционная Сбреде. Больничные палатки вмещали сорок раненых, но нуждавшихся в помощи было человек восемьдесят. Сбреде был единственным в армии хирургом, производившим резекции в полевых условиях. Вот и теперь он оперировал пациента с нагноением, возникшим в результате перелома малой берцовой кости. Все вокруг считали, что резекции обычно приводят к послеоперационным осложнениям. Ампутация чище, проще, и процент выживших после нее куда больше. Ну потеряет солдат ногу, зато жив останется! Сбреде считал это чепухой: у его коллег и после ампутации слишком многие умирали. Эмили помогала ему, затылком чувствуя присутствие зрителей — других хирургов, военных фельдшеров и сани-

таров, собравшихся вокруг поставленного под открытым небом стола. Было раннее утро. Ярко-синее небо сияло, солнце просвечивало сквозь кроны деревьев, свежий воздух бодрил, но в остальном окружающий пейзаж был мрачен: повсюду на носилках лежали люди, просили пить, богохульствовали, стонали от боли. И все равно, бросив больных, врачи собрались посмотреть, как работает Сбреде Сарториус.

Он рассек ногу в двух местах и закрепил сократительные мышцы выше и ниже инфицированной кости. На главные артерии наложил зажимы. Пропустив иглу с ниткой под костью, обвел нить вокруг и присоединил ее к гибкой цепной пиле. Самое удивительное — это как быстро и решительно он работал. Эмили, стоя у торца стола, следила за его руками. Они казались отдельными живыми существами с собственным интеллектом. В считаные секунды Сбреде уже поднял щипцами в воздух пораженный кусок кости. Под восхищенный шепот собравшихся вернул на прежнее место мягкие ткани и наложил швы, после чего ногу слегка забинтовали и уложили в желобковую шину. Все это время Эмили прикрывала нос и рот пациента подушечкой с хлороформом. Наконец Сбреде велел убрать ее. Ему принялись задавать вопросы. Сарториус спокойно отвечал, хотя Эмили было заметно, что он считает это пустой тратой времени. Раны продолжают заливать коллодием, — сказал он ей однажды, — а это почти всегда чревато нагноением. Я писал о том, что важным условием заживления является свет и воздух, но меня не слушают. Все всё делают так, как заведено, потому что так заведено испокон века.

Вскоре он перешел к следующей процедуре, а собравшиеся хирурги разошлись по своим местам. И только тут Эмили вдруг осознала, что, работая, он бросал на нее взгляды чуть ли не чаще, чем на операционный стол. И, кажется, она заметила, что один из врачей понимающе улыбнулся. Или то была ехидная усмешка? До чего все это невыносимо!

Между тем прибыло подразделение могильщиков, и из интендантского фургона начали выгружать гробы. Трупы лежали на краю поля в тени деревьев.

Перл вела Мэтти Джеймсон вдоль ряда тел, поддерживая под локоть. Мальчишки-южане в лохмотьях серой униформы лежали бок о бок с северянами в порванных и окровавленных синих мундирах. Мэтти разглядывала каждого, в каком бы он мундире ни был. Смотрела торжественно и изучающе. С таким видом, будто постигает смерть. Хмурилась, качала головой. У некоторых лица были вспухшие, окровавленные и обезображенные до неузнаваемости. У других — чистые, не изувеченные, порой застывшие с оскаленными зубами, как будто эти люди умерли, пытаясь кого-то укусить. Почему у них такой вид? — думала Мэтти. — Такое впечатление, что смерть низводит нас до животных. Хотя мой Джон отошел с миром, закрыв глаза, словно был рад умереть; он сам сложил руки на груди, и только нос у него немножко удлинился.

Когда две женщины добрались до последнего тела, Мэтти заплакала. Перл посмотрела с недоумением. Этот мертвец северянин. Уймитесь, мэм, — увещевала она бывшую хозяйку. — Сами же видите: среди этих погибших моих братьев нет. Что же вы рыдаете, будто вы этому мертвому мальчишке мать родная? Радоваться надо, Бога благодарить, что ваши детки вместе со всей своей дурацкой армией задравши хвост удирают от генерала Шермана.

V

На середине моста чертова кобыла встала. Арли огрел ее вожжами по спине. Н-но, — закричал он, — давай, двигай! Никакого результата. Еще и тьма кругом. Арли встал на ноги, присмотрелся. Лошадь стояла, подняв левое переднее копыто, и не желала его опускать. Позади них скопилась вереница подвод. Сперва начали ругаться те, что на мосту, за ними остановившиеся на берегу, скоро гомон раздавался уже и на лесной дороге. Крики отдавались эхом в кипарисовых зарослях, и вдруг весь воздух над головой наполнился писком летучих мышей. Вот уж кого Арли терпеть не мог! Кыш, кыш отсюда, — замахал он руками, запрыгал, топая ногами по настилу.

По обеим сторонам моста фургон обтекала кавалерия. Какой-то офицер натянул повод:

В чем дело, солдат?

Арли опустился на колено, осмотрел ногу кобылы. Похоже, лошадь ногу сломала, сэр.

Что в фургоне? — осведомился офицер, указывая на больничную карету.

Раненый. Один.

Давай его. Выводи оттуда.

К тому времени возницы остановившихся сзади подвод подошли глянуть, отчего затор. Арли поднял задний полог, позвал: Уилл! Надо в другой фургон перебираться. Встать можешь? Вы только за руку его не дергайте, — обернулся он к подошедшим. — Он в руку ранен.

Уилл едва держался на ногах. Правой рукой он поддерживал раненую левую, которая кровить вроде перестала. Но весь перед его мундира пропитался кровью.

Кобылу выпрягли и поставили на край моста, обращенный к нижнему течению. Офицер привязал своего коня к опоре, спрыгнул на понтон и, сунув револьвер кобыле в ухо, выстрелил. Ее здоровая нога подогнулась, лошадь стала заваливаться набок и полетела с моста в воду.

Подставив плечо под здоровую руку Уилла, Арли помог ему подняться. От Уилла пахло потом, он был весь мокрый.

Вокруг санитарной повозки собралось человек двенадцать солдат, они раскачали фургон и последним мощным рывком сбросили его в реку тоже.

Вот так, — сказал офицер. — Теперь поехали.

Теперь Арли с Уиллом ехали в интендантском фургоне, забитом мешками с мукой. Нет ничего удобней, чем привалиться к нему спиной, — сказал Арли, ударами кулака придавая мешку нужную форму, чтобы использовать его в качестве диванной подушки. В воздух поднялась белая дымка.

Мы где? Куда едем? — встревожился Уилл.

Как где? Мы снова с генералом Шерманом, — ответил Арли. — Ты же знаешь.

Темно, — чуть погодя пожаловался Уилл.

Конечно темно. Ночь на дворе.

По-моему, я умираю, — проговорил Уилл.

Слушай, брось! Вечно ты, чуть заболит, начинаешь хныкать.

Да нет, болеть-то как раз не болит больше, — сказал Уилл. — В том-то и дело.

Арли услышал, как он перевел дух.

Пить хочется.

Ч-черт, — проворчал Арли. Он спóлзал к передку подводы, выпросил у возницы фляжку.

Выпив воды, Уилл повеселел. По крайности, мертвеца казнить им уж никак не удастся, — сказал он и издал смешок, перешедший в кашель.

Эт-точно, — согласился Арли. Он стал задумываться — может, и впрямь Уилл умирает. На вид вдруг сильно постарел. Такое впечатление, будто пацан умудрился обогнать летами Арли и мигом вошел в тот возраст, когда мужчина делается старым, мудрым и всеми начинает командовать.

Ты помнишь? Коулиз-Милл... — сказал Уилл.

Чего-чего?

Ну, место, откуда я родом. Коулиз-Милл, около Эшвилла.

Да ну? А мы, ты знаешь, как раз напротив живем, с другой стороны хребта Смоуки-Маунтинз. В Гетлинбурге.

Вообще-то у нас в городе Кирклендов несколько, — продолжил Уилл. — Но наш дом самый большой. Расскажешь им, ладно?

Кому?

Маме и папе. Лучше будет, если папу трезвым застанешь. Скажи им: Уилл сражался и умер за Конфедеративные Штаты Америки. Сделаешь это для меня?

Ну конечно, если до этого дойдет. Только не бывать тому. Потом, если помрешь, как ты тогда увидишься с твоей зазнобой мисс Томпсон? А мы насчет нее поспорили, так что смотри! Я в том смысле, что, когда мы найдем их, это ж как раз она будет с тобой нянчиться, прикинь! Так что никак не годится тебе сейчас помирать, ты уж дождись, когда она будет улыбаться тебе, мягонькой ручкой под затылок тебя подпирать, давая выпить бренди либо — еще лучше — лауданума или другого какого снотворного, чтобы ты думал поменьше. Смотри-ка, а? Как я ихней терминологии поднахватался! Раз уж угораздило меня в это дело втюхаться, надо подумать, не пойти ли мне самому потом в медицинский колледж. Я к тому, что руки у меня всегда были на месте. Только, наверное, все же не это Божий план, потому что мысль насчет колледжа сидит во мне как-то нетвердо. И в тебя тоже мысли о смерти наверняка не Бог вложил. А какой-нибудь притворщик-бес — хочет, чтобы тебе ехалось не так гладко. Да ни черта с тобой такого нет, чего мисс Томпсон не вылечила бы одной своей улыбкой.

Уилл промолчал.

Я тебе раньше-то не говорил, — слышь, малый? — но Господь, он, хотя знаки свои давал мне, но всегда имел в виду нас обоих, потому что мы завсегда вместе с того самого утра, как тебя сунули в камеру напротив моей. И это ведь тоже Господь подсуетился, ты ж понимаешь! Клянусь тебе, я чувствую, что загадка Божьего промысла в отношении нас с тобой уже начинает проясняться. Вот я точно тебе говорю: не сегодня так завтра мы узнаем, чтó Господь хочет, чтобы мы сделали на этой поганой войне, и за каким таким хреном вызволил нас из тюрьмы в Милледжвиле, а потом за-

ставил участвовать в походе чужой армии. Есть какая-то важная задача, которую мы должны выполнить. И если ты думаешь, что я больно высоко залетел и попусту крыльями хлопаю (я ведь знаю, ты большой скептик), то я тебе напомню, что в Библии Божьи посланцы тоже, как правило, были не из высших классов, да и сам Моисей однажды убил человека! Так что, если Господь выбрал таких горе-солдатиков как мы с тобой, он знает, что делает; может, хочет показать, что если уж нас на путь истинный выведет, то может вывести на него любого! Я в смысле, даже ты не будешь спорить с тем, что от человечества ему одни неприятности, все гады и скоты — ну, кроме разве что таких ангелов как твоя мисс Томпсон да, может быть, еще та проституточка с зубами как у кролика, с которой ты обжимался в Саванне. Но по большей части все мы получились не такими, как хотел Бог, а вначале ведь он так на нас рассчитывал! Мы его бо-ольшая ошибка. Нет, ну, не только мы, конечно: летучие мыши его ошибка, клещи и слепни всякие — это два, потом пиявки, жабы и гадюки... все это его ошибки, но величайшая ошибка — мы. Так что, когда я говорю, что чувствую: момент почти настал и его замысел в отношении нас вот-вот прояснится, я хочу, чтобы ты мне верил. На самом деле у меня уже есть одна мыслишка по поводу того, чего он может от нас хотеть. Сказать? Уилли! Хочешь наконец узнать, в чем может быть наше призвание?

Когда Уилл так и не ответил, Арли забеспокоился: Ты что там, заснул, что ли? Эй, малый!

Арли пробрался к козлам, где на средней опоре крыши висела керосиновая лампа. Позаимствую на секундочку, — сказал он. — Глянуть надо на пациента.

Ну да, все так, как он и ожидал: в свете лампы глаза Уилла оказались закрытыми, веки и щеки выбелены осевшей на них мучной пылью, а на мальчишеском лице ясное, довольное выражение, чуть ли не улыбка на побелевших губах — наверное, ему снится сон, и во сне он с мисс Томпсон... но это ж Уилл, он ее там не трахает, не-ет, — скорее, стоит с ней перед алтарем в церкви. А я при этом, — подумал Арли, — наверняка его шафер; околачиваюсь рядом с кольцом наготове.

VI

В авангарде левого фланга, которым командовал генерал Слокум, основной ударной силой был Кил-Всехзагубил — Килпатрик со своей пятитысячной конницей, в которую входила как кавалерия, так и конная пехота. Переправившись через Саванна-ривер, его эскадроны продвигались к северу, не оставляя на пути ни одного несожженного поселка. По большей части он почти не встречал сопротивления. На всем протяжении марша Килпатрик собирал ценности, пока трофеев не накопилось на целый персональный обоз: серебряные сервизы, тонкое постельное белье, хрусталь, крепкие напитки в бутылках, оплетенные бутыли с вином, на закуску пироги, копченое мясо, яйца, варенья, сухофрукты и жареные орешки, кофе в зернах и прочие услады гурмана.

Ворвавшись однажды под вечер в поселок Аллендейл, он уловил манящий аромат и поднял руку, остановив движущуюся за ним воинскую колонну. Запах жарящегося мяса исходил от дома, притулившегося по-

одаль от дороги, за рощицей виргинских дубов. Дом оказался пуст, однако во дворе, в отдельно стоящей кухне какой-то мулат в поварском колпаке готовил обед нескольким рабам. Рабы сидели за столом и при появлении белого начальника в испуге повскакали. Что это? — спросил Килпатрик, заглядывая в огромный котел, где булькало варево, в котором виднелись куски отставшего от костей мяса, плавала репа и зелень, чеснок и специи столь изысканные, что генералу сразу вспомнились радости цивилизации, которые он презрел, грудью встав на защиту государства. Le lapin[1], — ответствовал повар, креол-полуфранцуз, назвавшийся Жан-Пьером. Черт подери, — изумился Килпатрик, отхлебнув варева из поварешки. Вы все, — произнес он, обращаясь к испуганным рабам, — вы все отныне свободны. А ты, — сказал он повару, — подними правую руку. И в тот же миг опешивший от неожиданности Жан-Пьер был зачислен в действующую армию в чине старшего сержанта, заведующего кухней. — Так что, пользуясь данными тебе правами и привилегиями, — продолжил Килпатрик, — налей-ка мне тарелочку, Пьер, я подкреплюсь, да и двинемся дальше.

Заодно Килпатрик реквизировал у разбежавшихся владельцев очень приличное ландо и пару гнедых, которые к нему прилагались.

В каждом городке Килпатрик цеплял новую чернокожую девицу, которая с утра до вечера делила с ним тяготы пути, а ночью ублажала в постели. Для ночлега он выбирал себе лучший дом в городе, а в доме — лучшую спальню с самыми мягкими перинами, самыми пухлыми подушками и самыми теплыми одеялами, которые, сворачивая лагерь, по большей части забирал с собой. В числе прочих в его свиту входил племянник Бастер, светловолосый мальчишка десяти лет, несносный пострел, которого офицеры штаба терпеть не могли. Тот со всеми разговаривал свысока, Килпатрик видел это, но лишь посмеивался. В мальчишке он души не чаял и в часы досуга давал ему уроки чтения.

Переходя реку Малая Салкехатчи, воспользовались Моррисовым бродом, что в двух милях от городка Барнуэлл, и тут колонна Килпатрика наткнулась на отряд кавалерии повстанцев численностью около трехсот сабель. Килпатрик развернул батарею легких пушек. Под прикрытием их огня его конная пехота перешла болотистое русло, постреливая в направлении противника из новых спенсеровских магазинок. Мятежники держали позиции, пока им не смяли фланги, после чего растворились в лесу.

Достигнув Барнуэлла, передовые отряды федеральной конницы нашли городок незащищенным. Там оставались одни женщины и дети, которым офицеры любезно советовали из города как можно быстрее выметаться. Солдаты распоясались. Жутко оголодавшие, они обшаривали дома, снося заборы; тащили все, что ни попадя, опустошали кладовые, рассаживались по кухням, требуя кормежки у работающих там черных, и одни радостно спешили их обслужить, тогда как других приводили к повиновению угрозами. Под штаб Килпатрик занял единственную в городе гостиницу. Заложив руки за сутулую спину, он смотрел из окна, как то тут, то там над городом вздымаются столбы дыма. Смотри, как оно бы-

1. Кролик (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вает, Бастер, — подозвал он племянника. — Какой еще мальчишка увидит такое! Это почище, чем Четвертое июля! И действительно, вскоре над городом взметнулись огненные вихри; казалось, огонь и черный дым изрыгают жерла вулканов. Отдельными тонкими языками пламя выстреливало вверх, к вечереющему, сумеречно блекнущему небу. Бастер так этим зрелищем проникся, что, покуда дядюшка смотрел в окно, взобрался на стул, вынул из канделябра свечу и давай поджигать занавески. Кто-то из офицеров на него прикрикнул, и весь штаб Килпатрика с руганью кинулся затаптывать огонь, а генерал стоит тут же и радостно ржет. Вот погнал! Не гони особо, Бастерище хулиганское, — слегка журил он племянника, — нам тут надо еще отпраздновать как следует.

Город вокруг горел, а Килпатрик, призвав к себе музыкантов и черных танцовщиц, задал офицерам штаба обед, мастерски приготовленный Жан-Пьером. Обед затянулся за полночь. Бастера, конечно, услали спать, но под утро он вдруг проснулся, разбуженный женскими криками. И в сполохах пожаров, подсвечивающих комнату через окно, увидел дергающийся вверх-вниз белый зад дяди Кила на соседней кровати. Дядя похрюкивал и кряхтел, шпоры на его сапогах звякали, кровать скрипела, женщина — кто бы она там ни была — жалобно вскрикивала, и все это вместе выглядело как скачка на лошади галопом, из чего Бастер, уже совершенно проснувшийся, сделал вывод: значит, вечер перешел в ту стадию, когда женщин раздевают и за ними гоняются. Дело обычное — после того как племянника уложат спать, упражнения с дамами дядя производит каждый раз. Но так близко Бастер никогда еще этого не наблюдал.

Довольно скоро, впрочем, эта свистопляска кончилась, и внезапно настала тишина. Дядя Кил рывком соскочил с кровати и натянул бриджи с подтяжками. Увидев, что мальчик не спит, он осклабился, в мерцающем свете блеснули его зубы. Это, Бастер, дядя Кил показывал тебе, что значит быть мужчиной. Как только твой петушок обрастет шерсткой, дядя проследит, чтобы ты этому тоже научился.

На рассвете Килпатрик вышел из гостиницы посмотреть на уничтоженный городок. Улиц не было, лишь кучи тлеющих головешек да печи с дымовыми трубами показывали, что раньше тут был Барнуэлл. Войска, хотя и явно потрепанные, медленным аллюром двигались мимо, и командиры эскадронов салютовали полуодетому начальнику, стоящему на крыльце. Килпатрик зевнул. Подозвал адъютанта и, воспользовавшись его спиной вместо подставки, написал краткую записку Шерману, который следовал с правым флангом генерала Ховарда восточнее, на расстоянии половины дневного перехода. Я переименовал Барнуэлл в Сплошной Пожарнуэлл, написал Килпатрик и отослал записку с курьером.

В отличие от большинства солдат и офицеров Шермана, особого предубеждения против штата Южная Каролина Килпатрик не имел. Повсюду он воевал одинаково и везде наслаждался жестокостью и безнаказанностью. В тактических построениях часто грешил безрассудством, вследствие чего с самого начала войны приобрел репутацию опасного придурка: потери в его подразделениях были гораздо выше, чем у других генералов. Недаром за глаза его звали Кил-Всехзагубил. И все же была в этом малорослом, несколько даже уродливом офицере какая-то харизматическая лихость прирожденного вояки. Мужчины шли за ним почти вопреки собственной воле, а женщины находили неотразимым. Будь он на

пару дюймов покороче, выглядел бы карликом-недорослтком — с этакими еще широченными плечами и сутулой спиной. У тех, кто видел его верхом, возникала иллюзия, будто голова у него перевешивает и он вот-вот вывалится из седла. При этом слыл щеголем, одевался как денди даже в походе, возможно пытаясь этим отвлечь внимание от нескладной фигуры и лица, черты которого были грубы и недвусмысленно выдавали злобный нрав. В широко посаженных глазах не замечалось и следа какой-либо чуткости и работы мысли, кривой и мясистый нос загибался к хищному рту сластолюбца, и все это обрамляли жидкие рыжие бакенбарды, уходящие под широкополую шляпу, которую он носил ухарски заломленной набекрень. Это был далеко не тот тип офицера, к которому мог с уважением относиться майор Моррисон, под вечер прибывший в его бивуак с приглашением от генерала Шермана. Килпатрик бесцеремонно выхватил из руки Моррисона бумагу и тут же, без проволочек, поскакал, взяв с собой охрану из шестерых верховых солдат.

Вообще-то Килпатрику в такой ситуации полагалось пригласить Моррисона ехать с ними вместе. Но Моррисон слишком устал, чтобы обижаться. Он плохо себя чувствовал. Спешившись для доклада, он понял, что у него вот-вот подкосятся ноги. Так или иначе, он знал, что́ скажут Килпатрику: Шерман объединяет фланги и выступает к северу — в направлении на Колумбию. А Килпатрик, изображая авангард, должен будет нанести отвлекающий удар на юг, в сторону Огасты.

Подразделения Килпатрика расположились вдоль дороги, идущей рядом с железнодорожной веткой Чарльстон—Огаста. По всей длине полотна, насколько хватал глаз Моррисона, наряды солдат были заняты тем, что отдирали рельсы и грели их на кострах, сложенных из шпал. Этакий, как подумалось Моррисону, вполне индустриальный процесс, только в обратную сторону. Рельсы калили докрасна, затем вынимали из огня и причудливым образом изгибали. Кавалеристы воспринимали это как отдых, оттуда доносился смех, веселая дружеская пикировка. Это навело Моррисона на печальные мысли о собственных несовершенствах. У Моррисона никогда не было друзей. Даже в Вест-Пойнте он так и не смог ощутить себя членом сообщества. Всегда он был как бы сбоку припёка, к нему относились нормально, терпели, но не считали своим. Что-то в нем есть такое, с чем он давным-давно смирился, — какая-то замкнутость, из-за которой он обречен на пожизненное одиночество, а в худшие моменты делается раздражительным и вздорным.

Над полотном железной дороги ровной шеренгой поднимались столбы дыма — чем дальше, тем тоньше и короче, почти — подумалось ему — как из трубы удаляющегося паровоза. По ту сторону путей ярдов на двести простиралось поле, за ним лес из мелкого дубняка и сосны. А за спиной — пологие увалы сельскохозяйственных угодий, усеянных желтоватыми обертками кукурузных початков, высохшими на зимнем солнце. Моррисон знал, что во все концы высланы дозоры — на случай малейшего шевеления со стороны инсургентов.

Когда он утром выехал, радовался, что на небе сияет солнце, а сейчас его блеск казался яростно злобным. Перед штабной палаткой нашел складной стул и, все еще держа в руке повод коня, тяжело уселся. Не мог понять, что с ним, но чувствовал себя ужасно. Расстегнул мундир, который вдруг показался тесным. В ушах слышался постоянный скрежет, и

он долго вслушивался, пока не понял, что это звук его собственного дыхания. Знобило; он заснул, и тут же увиденное и услышанное в лагере переиначилось в голоса родителей и комнату, в которой он жил ребенком. Проснулся и почти тотчас же вновь закрыл глаза. Потом еще и еще раз. Просыпался в испуге, оглядывался, видя все очень ясно: как лошадь щиплет траву, как бегают по делам черные денщики офицеров, все четко осознавал, а в следующий миг опять погружался в фантастический мир лихорадочных видений: какие-то люди бросались на него, бормоча на языке, которого он не понимал, пятились лошади с рогами единорогов, и все это под жуткий скрежещущий визг пилорамы, который опять оказывался звуком его собственного дыхания. Я полностью осознаю, что происходит, — сказал он себе. — Я болен, меня лихорадит. Вместе с тем окончательно стряхнуть с себя дрему не получалось.

Ты пойдешь с нами! Эти слова вновь и вновь звучали у Моррисона в ушах как приказ. *Ты пойдешь с нами!* Кто произносил их? При этом он будто бы едет в тесном строю конников, его ноги в стременах то и дело вжимаются в бока соседних лошадей. Толком ничего не видно — солнце бьет прямо в глаза. Однако его офицерский палаш вынут из ножен, и Моррисон держит его опущенным вдоль ноги, а повод дважды обмотан вокруг левой кисти. Не будучи прирожденным наездником, он на коне сидит, склонившись к луке седла. Дорога мокрая, комья грязи летят ему в лицо и пристают как пиявки. Потом странным образом местность пошла сухая, всадники подняли клубы пыли, она скрипит у него на зубах, но он продолжает дышать ртом, отплевывается, хрипит; во рту вкус земли и песка. Зато солнце теперь померкло, и в отдалении стали видны крыши домов какого-то городка.

И вот уже они едут по улице, но тут внезапно строй нарушился, лошади пятятся, люди кричат и многие вокруг падают. А Моррисон не может ни ехать дальше, ни свернуть. В ушах стоит ужасный крик инсургентов. Все смешалось — где люди в сером, где в синем? — сцепились, стаскивают друг друга с коней. Не открывая глаз, Моррисон поднимает палаш и бьет им наудачу неизвестно кого. Почувствовал, что разрубает плоть и кости. Как же они не могут понять, что он болен? Кто-то хватает его сзади за шею. Моррисон изо всех сил держится за повод, но чувствует, что падает назад. Он судорожно изворачивается, пытается рубануть палашом через плечо, оружие выскальзывает из руки. Его глаза открываются, когда он уже пронзен и падает, рядом в воздухе мелькают копыта его коня. Затем все поле зрения заслоняет конская морда, конь в страхе вращает глазами, из его открытой пасти несется крик. Перед ударом о землю в глазах у Моррисона успевает мелькнуть солнце. Он слышит, как трещит кость ноги, задыхается от боли, в тот же миг тяжесть кричащего коня ломает ему хребет, и дыхание пресекается.

VII

Когда, переехав мост, они оказались среди жилых домов, Арли вылез из фургона, подтащил Уилла за подмышки к заднему краю телеги, подлез под него и медленно встал, взвалив мальчишку на плечо.

Низко над дорогой стлался дым от сожженных домов и сараев. Ч-черт, Уилли, — проговорил Арли, — тебе все равно было бы тошно вдыхать этот воздух: сплошной дым и пепел. Прямо глотку дерет.

Отступив к обочине, Арли дал фургону уехать.

Руины городка плавали в синей дымке. Занималось холодное, сухое утро. На проезжающие фургоны молча смотрели женщины, некоторые с детьми на руках. Только что тут увидишь? Лишь монотонно скрипящие колеса равнодушной армейской машины, что катит и катит следом за боевыми отрядами. Обоз — это как хвост парада: оркестр давно прошел. Здесь музыкой служит блеянье и мычанье скота, стада которого гонят через мост и по поселку армейские гуртовщики.

Переступая на месте, Арли поворачивался туда, сюда, пока не начал что-то различать в дыму и тумане. То был восточный край города; за несколькими разрушенными домами начинался подъем в гору. Гора при ближайшем рассмотрении оказалась небольшим бугром, утыканным надгробьями, торчащими и так, и сяк, только не вертикально. На кладбище хрен чего подожжешь, правда, Уилл? — усмехнулся Арли. — В худшем случае опрокинут пару камней, и всё, хоть ты тресни!

И пошел со своей ношей, не обращая внимания на то, как смотрят на него люди, мимо которых он проходил. Он был в ненавистной им форме, но в их ошеломленном состоянии они могли лишь провожать его глазами. Некоторые и этого не делали, лишь бросят беглый взгляд и возвращаются к своим мыслям, продолжая рыться в развалинах.

При жизни Уилл был субтильный малый, но когда тащишь его, мертвого, на спине — это совсем не легкое дело. Да начинало от него уже и попахивать. Как быть с похоронами, Арли понятия не имел. Лопаты у него не было, он валился с ног от усталости и был голоден как никогда в жизни, да и от армии нельзя далеко отставать. Но если он не похоронит Уилла, кто похоронит?

Мысленно Арли предавался печальным самооправданиям. Не отрицаю, я и впрямь помешал тебе обратиться в госпиталь сразу, в Саванне — там доктор, может быть, не дал бы тебе помереть от кровопотери, — говорил он мертвому мальчишке, висящему у него на плече. Но мы запросто могли снова оказаться в камерах, и оставалось бы только ждать, когда подвезут гробы, чтобы нас расстреляли как шпионов или еще за что-нибудь!

Его внимание привлек дом, от которого оставалось одно покосившееся крыльцо и вытащенный на двор диван. Ударом ноги Арли распахнул чугунную кованую калитку, вошел, оступаясь, во двор и сбросил на диван мертвое тело. Придал ему сидячее положение и сам сел рядом, пытаясь справиться с одышкой. Нашарил в нагрудном кармане окурок сигары и поднес к ней спичку.

Я шел на риск, Уилл, причем риск в военное время оправданный, — вслух проговорил Арли. — Кто может знать наверняка — Бог ему внушает решение или кто другой? Но все равно мы его орудия, живые мы или мертвые, и я думаю, твой отлетевший дух, который сидит сейчас одесную Бога, слушает меня и лучше меня знает, что нам суждено.

Словно в ответ тело сползло набок и привалилось к Арли, так что голова мертвеца упала ему на плечо. Вздохнув, Арли обнял труп за плечи. Так и сидели они вдвоем в дыму и тишине под почерневшими деревьями, при-

чем ни мертвый, ни живой не проявляли желания двигаться. Арли не то чтобы задремал, нет, но глаза его как-то остекленели, а сигара выпала из пальцев на траву. В этом сомнамбулическом состоянии он и увидел, как подъехал фургон, запряженный единственным мулом, оттуда вышел человек в коричневом пальто и шляпе дерби и с ним ниггер-помощник, вдвоем с которым они у самой калитки занялись делом: готовились фотографировать. Из фургона была извлечена и установлена большая деревянная тренога. Затем вытащили камеру — здоровенный ящик, который водрузили на треногу. После чего пошло священнодействие: мужик в шляпе сосредоточенно выбирал линзу, вкручивал ее в переднее окошко камеры, нацеливал камеру, потом бросал взгляд в небо, снова нацеливал камеру, снова бросал взгляд в небо, а ниггер в это время бегал взад-вперед, к фургону и обратно, приносил ему коробки с рядами металлических пластинок. Надо же, они действительно готовятся фотографировать, во дают! Арли проснулся, но не пошевелился и даже глаз не открыл шире, чем было необходимо, чтобы следить за происходящим. Тент фургона был из черного брезента, сзади ступеньки, а на борту надпись: Иосия Калп, США, Фотограф. Второй строчкой шли буквы помельче: Портреты. Стереография.

Арли дождался, когда этот Иосия Калп сунул голову под черную накидку позади камеры, и тогда помахал ему рукой.

Не двигайся! — донесся приглушенный крик из-под накидки. Арли тут же вскочил на ноги, позволив телу Уилла завалиться боком на диван.

Иосия Калп вылез из-под своей черной тряпицы и воздел в отчаянии руки. Ведь было же! Было! Зачем ты дергался? Сядь как сидел, пожалуйста, было так хорошо, я эту картинку только и искал!

Откуда вы знаете, что искали именно эту картинку, если вы ее только что увидели? — удивился Арли.

Когда увидишь, сразу чувствуешь. Она так и просится. Сама тебе об этом говорит. Ну пожалуйста, сядьте, — сказал он, указывая на диван.

Это был дородный мужчина в цивильном костюме с жилетом и в пальто, расстегнутом на животе. Он так разволновался из-за испорченной фотографии, что только теперь обратил внимание на странно изломанную позу Уилла, чьи ноги под неестественным углом свисали к земле.

А что это с вашим приятелем?

Да ничего теперь-то уж. Он мертвый.

Мертвый? Ты слышал, Кальвин? Второй, оказывается, мертвый! Да, вижу пятна на его мундире. Конечно. Так даже лучше. Сядьте туда снова с вашим мертвым товарищем, сэр, и обнимите его за плечи, как прежде. И смотрите в камеру. Утро сегодня не такое светлое, как хотелось бы, но если посидите несколько секунд спокойно, я сделаю вас знаменитым.

Полагаю, вряд ли вы смогли бы содержать черномазого, мула и такой экипаж, если бы ваша торговля не шла достаточно бойко, — сказал Арли, выходя на улицу.

Слушайте, что вы делаете? — забеспокоился Иосия Калп. Арли тем временем заглянул в фургон. Там было как в армейской санитарной повозке: бутыли, ящики, коробки со всякими припасами. С веревки, натянутой поперек, свисали кухонные принадлежности. Ба! Да тут и едой пахнет! Он влез внутрь, поднял брезент, и — ба! — там обнаружилась корзина сладкого картофеля, мешки с сахаром и кофе и куриная ощипанная тушка.

А ну-ка вылезайте оттуда, сэр!

Ну вот: все, что нужно. Нашелся сложенный кусок брезента, кирка, лопата и стопка мундиров, как синих, так и серых. Еще он нашел свернутые ширмы с намалеванными на них фоновыми картинками. Одну развернул, там оказался нарисованный пруд с гусями и утками и нарисованные деревья, в реальности не виданные.

Но что Арли особенно поразило, так это фотография — та, что прикрывала собой стопку других таких же стеклянных пластинок в решетчатом ящичке. Снизу под нее была подложена черная ткань и все вместе оправлено серебром. На фотографии офицеры-северяне позировали перед штабной палаткой. Он поднес снимок к свету. Подпись гласила: Генерал Шерман и его штаб. Джорджия, 1864 г. Шерман — это, должно быть, тот, что сидит. Сидит и смотрит прямо в камеру.

Да, господи! — прошептал Арли. — Теперь до меня дошло.

Он положил фотографию на место, немного еще порылся в фургоне, сунул в каждый карман по картофелине и спрыгнул на землю. С облегчением отметил, что молодой негр по имени Кальвин ему понимающе улыбается.

А ты освобожденный раб, да, Кальвин? Костюмчик у тебя ничего, да и шляпа...

Да, сэр. Обучаюсь вот ремеслу фотографа у мистера Калпа.

А он, наверное, неплохо зарабатывает, а? На генералах-то, желающих иметь свои фотки!

Мы не только с офицерами работаем, — сказал Калп. — Я и рядовых фотографирую. Заиметь свой портрет хочется каждому. У всех есть семьи, близкие, и это помогает как-то уврачевать боль разлуки — ну, то есть легче становится, когда заимеешь портрет своего солдата.

Что ж, правильное дело затеяли, хорошее, — одобрил Арли. — Тоже, стало быть, врачеватели.

Наибольшей популярностью пользуются снимки размером с почтовую открытку. Однако прибыль для меня не главное. Как фотограф я аккредитован при армии Соединенных Штатов, — продолжал объяснять Калп. — Вы можете спросить: зачем? А затем, что правительство понимает: впервые в истории войну можно запечатлеть для потомков. Я составляю фотографическую летопись сего ужасного конфликта. Вот для чего я здесь нужен. Так я вношу свою лепту. Запечатлеваю для будущих поколений великий марш генерала Шермана.

Если деньги для вас не так много значат, почему бы вам тогда не заплатить мне, раз уж вам — вынь да положь — мой портрет понадобился?

Калп рассмеялся, раскрыв щербатый рот. Ох уж эти солдаты, чего только от них не услышишь!

Еще спасибо скажите, что ему платить не нужно! — нахмурился Арли, кивком указав на диван.

Слушайте, вам повезло, что я готов бесплатно изготовить ваш портрет. Я даже могу выдать вам копию. На это я согласен, но права́ на фотографию будут у меня. А теперь, я прошу вас, пока солнце не ушло, сядьте как прежде, обняв мертвого товарища за плечи.

Арли вытащил из-под полы заряженный револьвер, который нашел в фургоне фотографа, взвесил его на руке, как бы оценивая приобретение, и прицелился в Иосию Калпа. А я надумал снять другую картинку, — сказал он.

VIII

Шерман присел на бревно, ожидая, когда солдаты Пятнадцатого корпуса Ховарда наведут понтонный мост через Броуд-ривер. Было холодное солнечное утро, задувал ветер. Меньше чем в миле к северу лежала вожделенная Колумбия, столица изменников-сепаратистов, — лежала среди полей как торт с меренгами, который остается съесть, или как женщина, готовая отдаться. О господи, ведь он помнит этот город; молодым офицером он был там вхож во многие дома. Помнится, некоторые дамы были весьма недурны собой. Особенно одна; она была много моложе его, почти ребенок, гибкая тростиночка (разве что длинновата, пожалуй), но с таким взглядом, от которого у него начинали дрожать коленки. Интересно, она еще там? А, Элен! Он вспомнил, как ее звали. Так же, как и дражайшую его супругу, миссис Шерман. Элен Тейлор. Давно замужем, наверное, если не вдова; далеко не тростиночка и с целым выводком детишек, вцепившихся в юбки.

Вон возвышается не совсем достроенное здание законодательного собрания. А задумано великолепно: внушительное, гранитное, в классическом стиле! Очень в духе людей с высоким самомнением. И такой уверенностью в своем превосходстве, что и войну они собирались вести не иначе как далеко на севере. Заварить всю эту кашу и не пострадать. В бинокль видны развалины железнодорожного вокзала, еще курящиеся дымом. На улицах суета: население в панике, оттого что гигантская армия синих забралась так далеко на юг. Улицы бурлят.

Вновь поднеся к глазам бинокль, он увидел конницу конфедератов, уходящую из города по северной дороге. У пакгаузов негры — растаскивают из вагонов мешки с зерном и бог знает с какими еще припасами, — а ведь все это и ему не лишнее. Подозвав адъютанта, он приказал отцепить одну из ховардовых двадцатифунтовых пушек да и влепить туда две-три разрывные бомбы, разогнать мародеров. А заодно и вон туда, — сказал он, вновь бросив взгляд на Капитолий штата, над которым развевался флаг Конфедерации. Часом позже и он, и его штаб были уже на пути в город в авангарде корпуса. Ветер усилился, и кони капризничали, сбивались с аллюра и задирали морды, нюхая воздух. А потом как-то вдруг он оказался на рыночной площади, где из толпы вышел престарелый мэр, поприветствовал его и заверил, что со стороны граждан Колумбии актов сопротивления не будет. Заметив, что толпа собралась порядочная, Шерман тоже решил сказать два слова. А с нашей стороны, господин мэр, — возвысив голос, заговорил он, обведя взглядом толпу зевак, — позвольте вас заверить в совершеннейшем нежелании причинять вред ни вашим гражданам, ни их собственности. Задержавшись здесь, мы лишь избавим вас от того имущества и техники, в коих вы не имеете более нужды.

В этот момент Шерман почуял дым, привстал на стременах и, глядя поверх толпы, увидел, что в боковой улочке, состоящей из коммерческих складов, горят сложенные штабелями кипы хлопка. Один из его генералов не мешкая отдал приказ, и тушить огонь послали роту солдат. Войдя в неожиданный и трогательный контакт с местной пожарной командой, вскоре они уже работали с ее бойцами бок о бок.

Позже, облюбовав себе дом в нескольких кварталах от Капитолия и развернув там штаб, Шерман надиктовал приказы о разрушении арсена-

ла и других военных, железнодорожных и промышленных объектов, а также общественных зданий, если таковые находятся в ведении не муниципальных, а, так сказать, центрально-конфедеративных органов власти. После чего приготовился милостиво принимать неизбежных просителей. Однако первый же вошедший в его дверь визитер, монахиня в струящейся черной сутане, заставил его занять нетипичную для него оборонительную позицию. Это была мать Анна Мария, аббатиса монастырской школы для девочек, и она требовала от него охранную грамоту. Вам нет нужды беспокоиться, — отвечал он. — С вами все будет хорошо. Если это правда, — настаивала аббатиса, — то какая вам разница, напишите это черным по белому. Армия Соединенных Штатов не воюет с монастырями, — заупрямился Шерман и сделал движение, как бы готовясь выпроводить монахиню за дверь. Та, однако, не шевельнулась. В гневе Шерман черкнул ей искомую записку и сунул в руки. Когда она ушла, он вновь, как это часто с ним бывало в городах, почувствовал тревогу. Но сейчас тревога не была безотчетной. Его тревожила и раздражала вполне определенная вещь. Какая? Да вот же: вой какой-то! В комнате раздавалось некое подвывание, и, лишь все детально исследовав, он обнаружил, что это воет ветер в щелях старых, плохо пригнанных оконных рам. А звук — прямо будто плакальщицы рыдают. Он стал смотреть, как этот ветер играет складками прозрачных штор, качает их, скручивает и раскручивает, так что кажется, будто они пляшут танец дервишей.

Стивен Уолш тоже успел наглядеться на горящие кипы хлопка, сложенные на вывоз штабелями, загромоздившими целый квартал. Его роту, проходившую по примыкающей улице, бросили на смену подразделению, которое, помогая пожарной команде, под руководством местного брандмайора прокладывало рукава и обеспечивало работу насосов.

Через полчаса огонь взяли под контроль, и скоро от него не осталось и следа, если не считать черных куч, в которые превратились испорченные тюки, да отдельных завитков дыма, уносимых ветром. Огонь умирает как живое существо, — подумалось Стивену. — Борется яростно, гибнет драматично. Я проиграл, мне конец, ты видишь, я умираю, — как будто шепчет дым.

Рота вновь построилась и под рукоплескания местного народа строевым шагом двинулась прочь.

Но тление в глубине хлопковых залежей продолжалось, огонь лишь затаился, ожидая, когда настанет ночь и задует ветер. Огонь, словно обладая собственным разумом, тянул время, а когда настал подходящий момент, вырвался наружу, извергся в ночное небо и давай бросать летучие огненные клочья на ветер, а тот и рад услужить.

Кто первым поднес зажженную спичку к этим кипам? Уолш полагал, что, скорее всего, отступающие инсургенты. Им хлопок не достался, так пусть же не достанется и Шерману. Так что опять, как всегда, в основе всего хлопок: на хлопке Юг поднялся, а теперь из-за чьей-то глупости хлопок его сожжет.

Потому что Колумбия превратилась в ад: пылали целые улицы, дом за домом с грохотом рушился, исчезая в пламени с шипением и треском, подобным ружейной пальбе. Казалось, небо тоже охвачено пламенем.

Уолш, поставленный охранять вход в монастырскую школу, заметил приближение огня. На деревья в саду давно падали пылающие клочья хлопка. Это место перестало быть безопасным. Он распахнул двери. Поторопитесь! — крикнул он. Девочки находились в помещении школьной церкви, стояли на коленях, перебирая четки. Вставайте, вставайте, — тормошил их Уолш, — надо отсюда убираться. Аббатису звали мать Анна Мария. Она бросила на него недовольный взгляд, но, помешкав (излишне долго, как ему показалось), все же хлопнула в ладоши, приказывая ученицам построиться в вестибюле, и у ног каждой оказался собранный ранец с вещами. Стало быть, аббатиса знала и подготовилась.

Пошли, пошли отсюда! — кричал Уолш.

Аббатиса голос не повышала, но каким-то образом, несмотря на адский рев горящего города, ее было слышно: Бежать не надо, спокойно идем парами за этим добрым военным. Не плачем. Смотрим только себе под ноги. И Господь защитит нас.

В конце концов Уолш вывел их из монастыря. Так и шли — впереди солдат, с обеих сторон по монахине и мать Анна Мария в качестве замыкающей. Странного чина процессия, но двадцать пять или тридцать детей покорно шли, окруженные учительницами, и казались обычной школьной группой, выведенной на прогулку.

Уолш был антиклерикал и завзятый скептик, но для его лейтенанта это значения не имело. Мне нужна пара папистов, — сказал лейтенант, получив приказ. — Где у нас Уолш? Ты и Бразил — шаг вперед!

Бразил — веселый глуповатый парень со скошенным подбородком и непонятным блеском в глазах — был рад донельзя. Меня папистом дразнят с тех самых пор, как я попал в этот чертов Сто второй полк, так что — Христос свидетель! — если кто и заслуживает увольнения на ночь в город, так это Бобби Бразил! — Пять минут он честно постоял, посторожил калитку, потом сердечно простился с Уолшем и был таков.

Монастырские школьницы стояли на вечерне, но во двор доносились лишь слабые ее отголоски, да и ветер шумел в листве. Темнело так быстро, что Стивену Уолшу показалось, будто тьму наносит ветром. Вдруг подумалось: что за запах? не дым ли? — и, глянув вверх, он увидел в небе мгновенный отблеск пламени. Ну и ночка будет, — пробормотал Уолш себе под нос.

Как выяснилось, это было еще мягко сказано, и когда он вел своих подопечных по улицам, вдруг заметил, что держит оружие наизготовку. Мир погибал и создавался заново, все подвергалось ломке и изменению — само небо выгнулось сводом блистающей бронзы с клубами черного дыма вместо облаков. Он повернул за угол и обнаружил, что улица перегорожена пылающими бревнами. К нему подошла аббатиса. Вы сами-то знаете, куда ведете нас? — спросила она. Мне велено, если до этого дойдет, доставить вас вон туда — видите дом на холме? — указывая рукой, ответил Уолш. Ах во-он что, в Колледж Южной Каролины! — успокоенно проговорила она. — Что ж, тогда давайте обойдем с той стороны.

Какое-то время опять шли спокойно, огибая завал по свободной улице, но тут из неприметной двери вывалились двое таких же, как и Уолш, солдат-федералов с бутылками виски в руках. Увидели процессию, она им понравилась, и они потащились рядом, громко обсуждая

предполагаемые стати наиболее рослых девочек. На взгляды аббатисы не обращали внимания... сколько бы ни прибавляли шаг ученицы, не отставали и, гогоча, расписывали собственные достоинства. На них были те же мундиры, что и на Уолше, и в первый момент ему стало просто стыдно за то, как они позорят форму. Но некоторые из девочек уже начинали плакать, ученицы сбивались кучкой, теснили друг дружку, пытаясь держаться от пьяных солдат подальше, и тут Уолш, повернувшись, заметил, что один из них расстегнул брюки и выставился напоказ. А что, у вашего Иисуса такого не было? — орал пьяный. Уолш отступил в сторону и, сделав монахиням знак двигаться дальше, преградил дорогу распоясавшимся воякам. Подошла было и мать Анна Мария, на лице которой явственно читалось требование решительных действий. Не смотрите на это, — пробормотал Уолш. — Вперед, вперед идите. Двое пьяных хохотали и качались перед Уолшем, при этом один из них размахивал тяжелой бутылкой — то ли предлагая, то ли угрожая, — но на то, чтобы выяснять истинное его намерение, Уолш терять время не стал. Он двинул его ногой в пах, а подоспевшего на выручку второго ухитрился полоснуть по руке штыком. Мигом оба оказались на земле, возились там, завывая, а виски из разбитых бутылок потекло вдоль края мостовой[1] по сточному желобу, загорелось, и огонь, как по запальному шнуру, побежал догонять убегающих женщин. Ну и, конечно же, свисающий до земли подол сутаны у аббатисы загорелся. Она закружилась на месте, пытаясь заглянуть себе за спину. Уолш подбежал к ней, пал на колени и, комкая ткань в ладонях, сбил пламя. Но это было непросто, потому что она испугалась и не хотела, чтобы к ней прикасались. Вы мне мешаете! — прикрикнул на нее Уолш. Наконец она замерла и лишь, зажмурившись, крепко сжимала распятие — слишком ей нестерпимо было прикосновение мужских рук. Но погасить пламя, которое поднялось ей уже чуть ли не до колен, все же позволила. Он растирал обугленную ткань между ладонями, пока не потухла последняя искорка.

Ну что, все нормально? Да, да, спаси вас Господь, — сказала она, на него не глядя, и поспешила затесаться в толпу учениц, еще не успевших вновь выстроиться колонной. — Прошу вас, идемте дальше!

Минутой позже завернув за угол, они были вынуждены остановиться, прижатые к стене здания, поскольку улицу внезапно занял проезжающий отряд кавалерии. Впрочем, всадники, лица которых, подсвеченные пламенем пожаров, отливали медью, были веселы. Напуганных происходящим коней они взбадривали гиканьем и криками. У некоторых в руках были факелы, пламя которых относило ветром, и Уолш заметил, что один такой факел вдруг взлетел и, проломив стекло, исчез в окне дома.

В этот момент Уолш почувствовал, что держать винтовку ему вдруг стало очень неловко.

Масштаб пожаров застал генерала Шермана врасплох. Полуодетый, он выбежал из выбранного им под штаб здания, и лишь после долгих поисков начальник штаба полковник Тик нашел его в одном из соседних

1. Мостовых в столице Южной Каролины не было до 1908 г. Вначале их сделали торцовыми, т. е. деревянными, и с первыми же сильными дождями они уплыли в реку.

кварталов, где генерал присоединился к группе пожарных, причем там он не отдавал приказы, а подчинялся им, как рядовой солдат. Сэр, — надсаживая глотку, чтобы быть услышанным сквозь шум и грохот, обратился к нему Тик и даже за рукав Шермана подергал, — сэр, так не годится, здесь без командующего армией могут и обойтись! Шерман тяжело дышал, и по его вымазанному сажей лицу было заметно, что он не узнает Тика. Потом кивнул и дал себя увести. Ему принесли флягу, он нагнулся и вылил воду себе на голову. Денщик Мозес Браун подал полотенце, генерал вытер лицо, бросил полотенце наземь и, все еще без шляпы и в одной жилетке, спросил: Тик, вы можете мне объяснить, что у нас тут, черт подери, творится? И пошел. Что поделаешь, Тик поплелся за ним.

Да ведь и идти-то было небезопасно! Объятые пламенем стены валятся поперек дороги. Неразличимые, чуть не бесплотные клочья хлопка летают в раскаленном воздухе. Вот-вот. А его солдаты при этом шляются пьяные. Некоторые, стоя напротив горящих зданий, восторженно вопят, другие в обнимку, шатаясь, бредут куда-то, на взгляд Шермана являя собой злую пародию на солдатское братство. И главное, ведь как подходит одно к другому! — ад в городе и моральное разложение армии! Ветераны многих походов, они прошли с ним путь в сотни миль, стойко сражались, покрыв себя неувядаемой славой, и преодолели все мыслимые препятствия, какие воздвигала на их пути природа или вражья сила... — и вот они уже не солдаты, а демоны, хохочущие при виде того, как целые семьи стоят в ошеломлении на улице, глядя на сгорающее жилье.

В городском саду среди пылающих деревьев взгляду Шермана предстало зрелище и вовсе фантастическое: там были массовые танцы, солдаты отплясывали с черномазыми женщинами под музыку полкового оркестра или, по крайней мере, тех его музыкантов, кто еще способен был держать в руках инструменты. Какой-то старый негр забрался в ракушку концертной эстрады и с упоением дирижировал. Генерал не находил слов. Почему-то вспомнил о собственном растрепанном костюме и ничего иного не придумал, как отряхнуться, заправить вылезшую рубаху в штаны и расправить плечи.

Свернув на другую улицу, он было обрадовался, увидев, что военные работают на тушении огня, но, свернув еще раз, обнаружил, что другие солдаты штыками дырявят пожарные рукава и гонят пожарных прочь. При этом ни те, ни другие пьяны не были.

Никто не узнавал Шермана, и он ни во что не вмешивался — возможно, понимал, что в этом состоянии всеобщей разнузданности его авторитету может быть нанесен урон. Посмотрел на Тика, Тик кивнул: он понимал, как понимает каждый офицер, что в обстановке, когда тебя скорее всего не послушаются, приказывать лучше не пытаться.

А где майор Моррисон? — озираясь по сторонам, спросил Шерман.

Сэр, вы должны помнить. Убит при Айкене.

Ах да, правильно.

Тик с его ростом в шесть с половиной футов возвышался над Шерманом и, слушая его приказания, поневоле горбился, словно отец над ребенком. Дважды, между прочим, отказался принять командование бригадой с соответствующим повышением в чине — такую он чувствовал личную, чуть ли не собственническую ответственность за Шермана и его великую грядущую славу. Сам взвалил на себя опеку над ним, при-

чем еще тогда, в худшие для Шермана дни нерешительности и приступов истерии после бегства у реки Булл-Ран. Тик застал его в полном раздрае, когда он корчился на полу своей палатки, грыз костяшки пальцев и издавал жуткие стоны. Тогда генерал просил освободить его от командования и позволить для отдыха и восстановления сил удалиться с театра военных действий в Огайо, где его родной дом.

Типичный молчаливый ковбой с запада, Тик был помешан на этикете, чем по контрасту как бы компенсировал впечатление расхлябанности, производимое Шерманом — тот был и в манерах, и в одежде небрежен. На марше Тик всегда был в кавалерийских перчатках и сапогах, в шляпе и при палаше. Немалую часть дня посвящал уходу за длинными вислыми усами, эту свою суетность полагая источником силы. По правде говоря, восхищаясь Шерманом как великим стратегом и блестящим тактиком, он втайне посмеивался над необузданным генеральским темпераментом, от которого самого же Шермана оберегал. Считал, что в капризах ветреного генерала есть что-то женское. Поди знай, чего ждать от индивида, который то лопается от самодовольства, то как побитый пес забивается в дальний угол — и все это единственно под влиянием каких-то своих внутренних, никому неведомых завихрений. Тик был уверен, что Уильям Текумсе Шерман — своего рода гений, и, пребывая в тесном общении с умом такого масштаба, заряжался от него энергией. Но как стойкий профессионал, как солдат, который повидал всякого и ничему не удивляется, он чувствовал все же некое свое превосходство над Шерманом. Хотя бы как сейчас, например, когда генерал, поминая Христа, бубнит какую-то несуразицу о том, что в этой войне мы только сами себя истребляем... Тику даже неловко стало за начальника.

Они стояли перед каменным особняком, казавшимся странно безразличным к тому, что его окна пылают желтым, а из труб вылетает пламя. Что ж, — проговорил Шерман, — придется вызвать с бивуака бригаду Слокума, пускай берет город под свой контроль. А то эти пьяные негодяи... — и он слабо махнул рукой. — Придется их наказать. Я выясню, из каких они подразделений и кто их командиры.

Надо ли это воспринимать как приказ или человек просто мыслит вслух? Этого Тик так и не понял.

Стоят, глядят на горящее здание. Вы знаете, полковник, — сказал Шерман, — когда меня лет двадцать назад сюда назначили, я влюбился в девушку, которая жила как раз вот в этом самом доме. Ничему сбыться оказалось не суждено, но слаще губ я не целовал в жизни.

И сразу же Шерман пошел прочь, как всегда сцепив руки за спиной.

Тик проводил его взглядом.

Когда начальник повернул за угол, полковник Тик вынул из кармана мундира фляжку и сделал большой глоток. Жар горящего дома согревал лицо подобно летнему солнцу. А что, приятное ощущение.

Случившееся он понимал так, что штату, который первым развязал войну, преподан надлежащий урок. Нынче же утром он видел, как среди сотен сумасшедших в местной психбольнице содержались пленные федеральные солдаты. Состояние, до которого их довели, ужаснуло его. Грязные, дурно пахнущие, с шершавой кожей и пустыми глазами, они превратились в непонятные существа, еле волоча ноги демонстрировав-

шие жалкое подобие строевой выправки. Это были скелеты, обтянутые кожей, в костлявых полутрупах жизнь едва теплилась, на них неприятно было смотреть. В столице Конфедерации с этими солдатами обращались не как с военнопленными, а как с собаками в вольере. Когда генерал Шерман увидел этих людей, у него слезы на глаза навернулись, а теперь — видали? — вспоминает о том, как целовал красавиц-южанок!

Ведь генерал клялся наводить ужас, камня на камне не оставить, разве не так? Вот его заветы и исполняются. Все эти буйные пьяные поджигатели, эти насильники и мародеры... — да вот же, легки на помине: выходят из дверей богатого дома с полными мешками серебряной посуды, а жемчужные ожерелья и часы с брелоками на цепочках так в руках и несут! — кто они, как не люди, которым нужна ночь свободы от этой развязанной Югом войны, сломавшей каждому из них судьбу и все еще угрожающей отнять жизнь! Вот: остановились... Правильно, пошвыряли в окна факелы. Один солдат оглянулся на Тика — как тот среагирует? — и когда тот не среагировал никак, улыбнулся и молодцевато отдал честь.

Если этот вандализм есть воплощение мести, — думал Тик, — что ж, значит, все как надо, армия действует и может собой гордиться.

Что касается почти поголовного пьянства, то его причиной было разграбление винокуренного завода на Ривер-стрит. Полковник это выяснил, проследив, откуда идут попадающиеся ему на пути пьяные с бидонами виски в руках. Поиски привели его к большому кирпичному зданию, окруженному погрузочными платформами, на которых валялись вусмерть упившиеся солдаты. Внутри народ был поактивнее. Завалили девушку-негритянку на пол и пустили по кругу. За другой погнались по каким-то лестницам, переходам, вот уже тащат, она визжит и отбивается. Из подвернувшейся бочки с бурбоном Тик восполнил запас виски во фляге и пошел своей дорогой.

В главном здании колледжа Южной Каролины свои амбулатории развернули три полковых врача. Но если бы их было даже десять, все равно бы они не справились с наплывом раненых и увечных. Еле удавалось поддерживать порядок в вестибюле, куда валом валили штатские и, тесня друг друга, требовали помощи. Главным образом белые горожане — с ожогами, вывихами, переломами. Кроме того, несколько федеральных солдат погибло и многих ранило взрывом. Дело в том, что Шерман приказал сбросить в реку главный в штате склад пороха и боеприпасов, но что-то там пошло не так. Раны этих людей были ужасны, и все хирурги занимались ими целый день.

Сбреде Сарториусу из армейского медицинского управления прислали двух санитаров в сержантском звании, так что теперь в операционной всем заправляли они, а Эмили Томпсон с Перл осталось только мыть окровавленные полы, собирать в мешки и уносить операционные отходы, стирать полотенца, подносить бинты и лубки и раздавать лекарства. По совету Эмили вдову Джеймсона Мэтти определили на работу в кладовую, где от худшего она была избавлена.

Когда неотложная помощь была всем оказана, в смотровой кабинет Сбреде Сарториуса по очереди стали пускать штатских. Их травмы не представляли для него большого интереса. По большей части горожане были в состоянии шока и замешательства. Он прописывал им чарку

бренди или настойку опия слабой концентрации. Его раздражал поток испуганных людей, которому, похоже, нет конца и краю. В обязанности Перл и Эмили вменялось раздавать им солдатские одеяла, поить лекарствами и провожать на второй этаж, где пациентов укладывали в койки, поставленные в аудиториях.

Пожары бушевали весь вечер, и все больше народу обращалось к врачам. Сперва черные и белые ждали осмотра в разных комнатах. Но колледж мал, и к полуночи в коридорах сидели и лежали белые и черные бок о бок.

Пришлось реквизировать другие здания и на дополнительных площадях развернуть новые палаты. Из окна коридора Стивен Уолш увидел, что два здания колледжа охватило пламя. На крышах сновали люди, пытались сбить пламя одеялами. Он видел их силуэты на фоне неба. Что за дьявольщина? Н-да, дьявольщина, но явно не та, придуманная, о которой рассказывают священники и монахини. Их ад утешает. Своим существованием он гарантирует наличие рая. А эта дьявольщина, этот ад, мой ад — он ничего не гарантирует. Это жизнь, которая сама по себе невыносима.

Левая рука Уолша забинтована. Будто она окуклилась. Или сделалась осиным гнездом. На правой руке тоже бинты, но пальцы свободны. Обожжена только ладонь, хотя правая рука болит не меньше, чем левая. В бинтах он чувствует себя беззащитным. Хочется содрать их зубами. В любом случае утром он от них избавится и вернется в роту.

Что сказала санитарка, он не расслышал — такой стоял бедлам, в такой мощный хор сливались стенания и крики. Однако с виду она утонченная леди, поэтому он наклонил голову и сощурился, как бы показывая, что смотрит на нее так пристально лишь потому, что пытается читать по губам.

В гимнастическом зале, превращенном в приемный покой, пациентов было больше, чем коек, и люди лежали на дощатом полу, подложив под голову сложенные одеяла, или сидели, как он, прислонившись спиной к стене.

Но она с такой заботой вела его в кабинет, словно он у нее на каком-то особом счету. Взяв за запястья, подержала его ладони в тазике с холодной водой, потом наложила мазь. При этом склонялась к нему с таким видом, будто делает что-то очень интимное. Ее светло-каштановые волосы мелкими завитками падали по обе стороны лица и были так близко, а война — так далеко! Санитарка произвела на него неизгладимое впечатление. На марше ему казалось, что ничего хотя бы отдаленно напоминающего человеческую теплоту и близость не будет уже никогда.

У вас есть имя? — осведомилась она.

Стивен Уолш.

Она подняла на него взгляд. Глаза у нее были карие, с зеленоватыми искорками. Что такое, почему ее взгляд так бередит ему душу? А я — санитарка Джеймсон, — сказала она, как будто призывая его с этим поспорить.

Очень рад.

Вот и чудненько. Но вы уж постарайтесь больше не баловать с огнем, Стивен, — сказала она. И тут же рассмеялась.

Он все еще думал о ней. Особенности ее речи, естественность и простота, с которой она двигалась и держалась, позволяли сделать вывод, что санитарка Джеймсон на самом деле негритянка — цветная девушка, освобожденная из рабства и зачисленная в федеральную армию.

Это его не шокировало. Многие месяцы он шел по Югу, и существование бледнокожих негров уже не было для него открытием. В этом странном краю, где ужасающим обычаям следовали на протяжении многих поколений, рабы были уже не обязательно черными, бывали и белыми разных оттенков. Да, — думал он, — если Югу суждено победить, то в принципе рано или поздно должно наступить время, когда белый цвет кожи уже не будет гарантировать статус свободного человека. Кого угодно можно будет закабалить, сковать цепями и продать с аукционного помоста; а что до черной кожи, то цвет — всего лишь предлог, тогда как главное — сама идея рабовладения.

Но что-то еще было непонятно, неуловимо в этой мисс Джеймсон. Она говорила с ним нежным, воркующим голосом и словно немножко поддразнивала, а смотрела при этом такими глазами, которые, казалось, скажи он что-то не то, широко откроются в недоумении и ужасе. А та серьезность, с которой она подошла к лечению его обожженных ладоней, ее сосредоточенность и неторопливый, основательный подход к делу выдавали в ней девочку, которая лишь с недавних пор предоставлена самой себе.

И тут он поразился мысли: да ведь эта ослепительная красавица, несмотря на взрослую должность армейской санитарки, наверное, совсем еще ребенок!

Он вышел в коридор, где сновали люди, и стал бродить там в надежде вновь увидеть ее.

На исходе ночи на носилках в бессознательном состоянии доставили какую-то негритянку, и Эмили Томпсон позвали помогать. Одежда негритянки была порвана в клочья, на груди и руках синяки. Один глаз заплыл. Губа разбита. Ее уложили на стол и освободили от остатков одежды. Осмотрев ее, Сбреде решил прежде всего зашить разрыв промежности и приказал санитарам расположить ее в коленно-локтевом положении с опущенными плечами и головой.

Эмили приходилось одновременно держать фонарь и подавать Сарториусу инструменты. От ужасного зрелища подступала тошнота. Волосатые руки Сбреде были окровавлены, глаза смотрели сосредоточенно и жестко. Она искала в нем признаки хоть какой-то человеческой эмоции. Неужели сочувствие следует выражать только работой рук? Или окружающие о нем должны догадываться? Бог знает, какой ужас испытала эта девушка. Эмили даже смотреть в ее сторону не могла. Что же это такое! Даже самые потаенные уголки человеческого тела не могут укрыться от грубого вторжения рук врачебной братии! Впрочем, подумав, Эмили признала, что прогресс науки в целом полезен. Но как она ни убеждала себя, как ни боролась с собой, все равно ее до глубины души возмущала неугомонная мужская настырность. Она понимала: он старается спасти бедную женщину, но в уголке сознания все равно копошилась мысль о том, что Сбреде со своей наукой только добавляет ей унижения, длит насилие, учиненное над ней такими же, как он, мужика-

ми-солдатами. Он не говорил ни слова. Как будто эта женщина не человек, а чисто хирургическая задача, не более.

Операция закончилась, один из сержантов вздохнул. Женщина умирала. Из ее горла исходили ужасные звуки. Не успели перевернуть ее, как она судорожно напряглась и окончательно затихла.

Сбреде покачал головой, жестом показал, чтобы убрали тело, сбросил фартук и, едва глянув на Эмили, вышел. Тем самым он как бы показывал, что смерть — не то состояние, которое может его интересовать, и его помощница осталась с открытым ртом, в совершеннейшем шоке.

Эмили убежала на верхний этаж, где были огромные окна с широкими подоконниками. Села на подоконник, пытаясь восстановить самообладание. Говорила себе: человек просто перетрудился — ведь он прекрасный доктор, а работать приходилось в полевых условиях неделями без отдыха. У него напряжены нервы, да и как же иначе? Каждодневный груз ответственности кого угодно доведет до срыва. Но следом за этой явилась другая мысль, которую ей пришлось приписать теперь уже своей усталости после многих часов непрестанной работы и пережитого ужаса от городского пожара. Суть ее была в том, что Сбреде Сарториус, мужчина, которому она отдала себя, не врач. Он заклинатель трупов, шаман вуду, маг, замысливший пересоздание тварной вселенной.

А на дворе, освещенном сполохами огня в ночном небе, собрались люди, внезапно ставшие бездомными. Сквозь их скопище еле пробивались армейские санитарные повозки. В этой толчее взгляд Эмили иногда натыкался на женщин, настолько знакомых по облику и манерам, что ей иногда казалось, будто она их знает лично. Осанка выдавала в них аристократок. Они прижимали к себе детей и спокойно ждали, не обращая внимания на нервозность и суету вокруг. То были женщины ее класса; в среде им подобных она вращалась всю жизнь. И вот они все потеряли.

О господи, — прошептала она. — Почему я не там, не с ними?

Психиатрическая лечебница тоже сгорела, и некоторые ее пациенты были доставлены сюда, в колледж. Напуганные, они бродили по коридорам — все, как водится, с длинными растрепанными волосами и в грязной, вонючей одежде. Не понимали — где? что? куда? Стонали и завывали. Тех, кого смотрителям удавалось поймать, врачи начиняли снотворным. Для восстановления порядка даже вызвали войска. Когда психов позагоняли в подвал, они там устроили такой гвалт, что крики слышны были на этажах. Пациенты, дожидавшиеся, пока ими займутся, бросали испуганные взгляды на военных врачей и санитаров, ища у них подтверждения, что есть все же в мире цивилизация, есть еще все же культура, не все сплошной пожар, безумие и смерть.

Мэтти Джеймсон гладила и складывала полотенца в бельевой, где было сравнительно спокойно: за тяжелой дверью, в слепом отростке коридора. Как это часто происходит с теми, чьи руки заняты простым механическим трудом, в мыслях она была далеко. Склонив голову набок, с улыбкой на губах, она пребывала в Филдстоуне зимним вечером одного из первых лет ее брака, когда у Джона не было неотложных дел, заставлявших его надолго уезжать, и они наслаждались уютом ее горницы, шторами отгородившись от ночной непогоды и разведя жаркий огонь в очаге; сидели в креслах, читали. Им даже не нужно было гово-

рить, так они были близки, так хорошо друг друга понимали. И вот теперь она как бы снова была молодой женщиной с упругим телом, тайно гордящейся тем, как Джон к нему ненасытен. И хотя родила ему уже двоих сыновей, все еще была почти столь же гибкой, как и в невестах. И ничего она от жизни не хотела, лишь был бы ею доволен этот сильный мужчина, который, как ей казалось в жаркие моменты радостей супружества, который... ах, я теряю нить... который... — да, несомненно: он произошел от льва!

Скорбь Мэтти по утраченному счастью вкупе со страхом за жизнь сыновей привела ее в конце концов в состояние не лишенной приятности постоянной сонливости, поэтому, когда суматоха в здании привлекла ее внимание, она показалась ей полной ерундой, с которой можно обойтись примерно так же, как с внезапно заплакавшим во сне ребенком.

Эмили Томпсон возвращалась в операционную с уже готовым решением и лишь проговаривала про себя то, что должна сказать Сбреде Сарториусу, но ее отвлекла Мэтти Джеймсон — та бродила среди пациентов, склонялась к ним, садилась перед ними на корточки, касалась лба страждущего ладонью и говорила с каждым мягко и успокоительно. Эмили остановилась в недоумении.

От Перл она слышала кое-что о жизни на плантации Джеймсонов и, подобно Перл, привыкла уже смотреть немножко покровительственно на эту женщину, которая каждый раз, как увидит Эмили, неизменно говорит одно и то же: Вы случайно не дочь судьи Томпсона из Милледжвиля? Да тут и без слов ясно: умственный уровень Мэтти Джеймсон как раз на уровне ситуации, в которой она оказалась. А теперь еще военная действительность вдруг встала дыбом и заслонила от нее источник ее скорбей.

Как это все удивительно! Однажды на бивуаке Эмили попросила Сбреде посмотреть Мэтти. Он посмотрел, и они потом обсуждали ее состояние. Это деменция, — сказал он. — Однако, если бы ты заглянула в ее мозг, я уверен, ты не нашла бы там никакой патологии. При некоторых душевных болезнях — да, производишь аутопсию, и все как на ладони: пожалуйста, срисовывай поражения. Бывают кристаллизовавшиеся наросты. Гноящиеся опухоли. Ты видишь изменение цвета, рыхлые желтые отложения, узкие борозды разъеденной ткани. Но бывают болезни, когда никаких таких признаков нет вообще — соматически мозг в порядке.

Эмили тогда сказала: Значит, это не мозг, а ее сознание повредилось?

Сознание это работа мозга. Оно не существует само по себе.

Тогда, значит, душа, наверное, затронута!

Сбреде посмотрел на нее с сожалением. Душа? Поэтическая фантазия, причем совершенно беспочвенная, — сказал он, словно жалея, что ему приходится ей это объяснять.

Наблюдая за Мэтти, Эмили видела, как та идет по коридору, забитому пациентами — со всеми заговаривает, каждому улыбается, — потом завернула в какую-то комнату и исчезла из глаз. Что она делает? Эмили пошла за ней и обнаружила ее в аудитории, переделанной во что-то вроде гостиной. Газовое освещение здесь было притушено. Несколько кресел заняты пациентами, которые сидели с безутешным видом, опустив головы. Одна стена была зеркальной. В углу пианино — оно-то и привлекло взгляд Мэтти. На вращающемся табурете за ним сидел пожилой муж-

чина и читал Библию, но вдруг почувствовал ее присутствие сзади. Крутнувшись на табурете, заметил, с каким восторгом она смотрит на пианино. И сразу встал.

Мэтти села и уставилась на клавиатуру, как смотрят пианисты, видящие в ней целую вселенную. Затем положила пальцы на клавиши и начала играть. Это был вальс Шопена, и, хотя Мэтти исполняла его неуверенно и робко, чувствовалось, что она полностью отдалась иллюзии, будто она дома за своим концертным "бёзендорфером".

Эмили не знала, что это именно Шопен, но то, что она слышала, определенно было живой и очень красивой музыкой. Музыка пробудила в ее душе воспоминания о мирной жизни. Сначала это было как обвал, чуть ли не шок. Потом, по мере того как Мэтти Джеймсон все более осваивалась и музыка становилась смелее и разливалась шире, мысли Эмили стали возвращаться к принятому решению. Она смотрела на отражение своего лица, слабо подсвеченного мягким сиянием газовых рожков. Неужели ни у кого из нас нет души? Что же тогда я слышу сейчас, как не душу, облеченную музыкой? Вот же, я слышу, это душа! — сказала она себе. И, не мешкая, бросилась собирать вещи.

Другие тоже не остались к музыке безучастны, и когда к двери подошла Перл, ей пришлось встать на цыпочки, чтобы увидеть, кто играет. И тогда она спросила Уолша: Как это называется, когда твой отец женат на женщине, которая не твоя мама? Как ее?..

Называется мачеха.

Вроде как я папе дочка, а этой... ну...

Мачехе?

А мачехе я...

Падчерица.

Вот-вот. Падчерица. Это разве нормально? Все эти мачехи, пачихи...

Ну, бывает, — пожал плечами Уолш. — Все же лучше, чем дупель-пусто.

Да, так вот — видишь ту чокнутую тетку, что музыку играет? Видишь? Вот, прижмись сюда, здесь видно. Это вот она, миссис Джеймсон, она и есть моя мачеха, — сказала Перл, да еще и головой покивала, как бы подтверждая родство. — Мачеха! видали? На пианино играть небось не разучилась! Всю жизнь у меня от этого в ушах звон стоял. Злости моей не хватало. Там черные у себя в лачугах помирают, а она на пианино бренчит — ей все трын-трава. Меня в упор не видит, смотрит прямо скрозь — мачеха моя, мэ-эм миссис Джеймсон!

Приникнув, как велела Перл, к ней вплотную, Стивен Уолш инстинктивно понимал, что она не сознает, какое действие на него оказывает такая их близость. Он все никак не мог смириться с мыслью, что ведь она совсем еще дитя — эта искрящаяся жизнелюбием девушка, от одного взгляда которой у него захватывает дух. Сперва, в самом начале их знакомства, она заметила, что он за ней плетется, и поощрительно улыбнулась — приняла, как принимает нового знакомого ребенок, сразу зачисляя в разряд закадычных друзей. И тотчас пустилась с ним в такие откровенности, каких никогда не позволит себе в подобных обстоятельствах взрослый. Каким же беззащитным сделала его война, что он мгновенно к ней потянулся! Причем с такой силой, что в его мозгу за-

вертелись мысли о том, как он на войне не погибнет, начнется новая жизнь и в ней он будет ее мужем.

С детства Стивен Уолш умел уходить в себя, прятаться в убежище собственных мыслей. Его родители пили, и он рос беспризорником на улицах Манхэттена; хлеб насущный добывал тем, что подметал в салунах и разносил кружки с пивом, и сам вырабатывал для себя правила чести и порядочности. Сформировался этаким стоиком, но как бы по собственному выбору, будто бури, бушевавшие в семье, и жестокости уличной жизни не сыграли совершенно никакой роли в становлении его характера. Однажды попал под крыло иезуитов и терпел обучение, пока ему не дали на прощанье список книг, которые за свою жизнь должен прочесть каждый. Потом, уже самостоятельно, он составил еще и свой список.

Стивен был плечистый, крепкий девятнадцатилетний парень с пышной шапкой черных волос, густыми бровями, серьезным взглядом и волевым подбородком. Любому офицеру было видно сразу, что Стивен Уолш — надежный солдат и в любой обстановке будет вести себя подобающим образом. Но в тот момент весь жесткий строй его характера пошатнулся, омытый и затопленный томлением как будто заново осознанного одиночества. На музыку Стивен никогда особого внимания не обращал, даже если приходилось под нее маршировать. Но теперь он весь обратился в слух, впивал в себя этот вальс, который бередил ему душу, к чему-то призывал, чего-то требовал... И чуть ли не вопреки собственной воле он не отлипал от Перл, которая, казалось, не сознавала их тесной близости, — что ж, раз так, он тоже притворился, будто ничего особенного не происходит.

В армию он пошел воевать "за того парня": подменил собой сынка богатых родителей, в награду получив три сотни долларов. Теперь он о них вспомнил. Лежат себе в банке "Корн Эксчендж" на Лэйт-стрит.

Шермана разбудил его собственный крик. Оказывается, он заснул в кресле. Полностью одетый. При этом кровать расстелена. На коленях плед. Он резко встал и сразу почувствовал озноб. Где, черт подери, он находится? Набросив плед на плечи, подошел к окну и отодвинул портьеру.

Рассвет.

Постоял, подождал.

Медленно, неохотно проступала из мрака Колумбия, вырисовывалась отдельными серыми сгустками. Чуть развиднелось: вот садовая ограда, за ней рядами печи с дымоходами да обгорелые деревья. И вдруг, освещенный первыми ледяными проблесками нового дня, город показался ему не погибшим, а нарождающимся — не город, пока только план его: размечены улицы, заложены кирпичные фундаменты, кое-где уже возведена каменная стена, а вокруг не пепел и груды головешек, а строительные материалы... только кто же их так беспорядочно разбросал?

Вот так наказан был Юг, — произнес он вслух. — Хотя и не я сделал это, но не скрою, меня это радует.

Далеко за полночь он все еще был на ногах, совещался с офицерами штаба и писал приказы, готовясь к кампании в Северной Каролине. Взглянул на часы. Пять утра. Пора раздавать винтовки. Дивизиям авангарда строиться. Обозы запрягать. И в тот же миг он услышал звуки горнов. Выкрики. Удовлетворенно кивнул: жива, жива его армия!

Вот только в доме что-то больно уж тихо. Через час он должен быть в седле и на марше. А это здание потом взорвать. Куда к черту подевался Мозес Браун с завтраком?

Найдя недокуренную сигару, Шерман прикурил. Еще раз прокрутил в голове свой план. Фланг Слокума пройдет западнее Колумбии. Соединимся с ним в Уинсборо. Вместе делаем стойку на Шарлотту, но это только финт, а сами — цап-царап! — берем Рэлей. Получаются клещи: Грант давит Ли с севера, я с юга. И как только Ли бросает редуты, чтобы выйти в поле ко мне — а куда он денется? — Грант тут же берет Ричмонд.

Пыхтя сигарой, Шерман поднял в руках плед, изображая крылья богини победы Ники Самофракийской. Усмехнувшись, сделал по комнате круг почета.

Однако оставались еще проблемы, как нынче говорят, "логистики". Шерман, впрочем, предпочитал называть их трудностями снабжения и транспорта. Ему сообщили, что вместе с армией намеревается двинуться в путь по меньшей мере тысяча черных. Только успел отделаться от одной орды в Джорджии, как — глядь! — уже другая прицепилась. Их уговаривать, объяснять что-либо — как об стену горох! Ну где они собрались поселиться? В какой такой земле обетованной? Да среди них еще и белые попадаются, многие нам помогали и, оставшись здесь, вряд ли выживут. Но мы же армия, а не благотворительное общество!

А еще надо послать с курьером письма министру Сьюарду и "башковитому" Халлеку, которого стараниями Гранта сделали единственным во всей армии — эвона: генерал-аншефом! — да только он не удержался, плавно съехал на генеральный штаб. Сыч пучеглазый! Пусть лучше от меня узнают, чем донесет какой-нибудь прохвост. Ясно же, что это дело рук Хэмптона, генерала конфедератов — ну обидно человеку стало драпать, взял и запалил хлопок! Да ветерок, слава те господи, — вот сами суржики город и сожгли! Хотя, конечно, Шерман понимал: винить во всем неизбежно будут его. Не я устроил им эти Помпеи, — писал он. — Но если надобно сделать из меня врага рода человеческого, я готов нацепить на себя сию личину, буде это послужит к вящему их низвержению и наполнит ужасом их изменнические души. Скоро мы разделаемся с ними, искореним раскол, и конец их будет концом проклятой развязанной ими войны.

Но где же Мозес Браун с моим завтраком?

IX

Кальвин установил камеру, чтобы запечатлеть на фото старый городской колокол, валяющийся среди обломков башни. Вокруг собрались зеваки, поэтому Арли приходилось цедить слова, не разжимая губ, одним уголком рта.

Зачем все это? Кальвин, мы теряем время, — говорил он. — Мне надо армию догонять!

Это же тот самый, знаменитый колокол! — воскликнул Кальвин. — Тот колокол, в который звонили каждый раз, когда очередной штат отпадал от Союза. Он достал из ящика одну из латунных труб с линзами и ввинтил ее в короб камеры.

А! Стало быть, это радует тебя как черного, так, что ли? — сказал Арли, с улыбкой бросив взгляд на зрителей. С Кальвином была договоренность, что снимать будет Арли, после того как Кальвин выполнит всю предварительную работу. Кальвин показывал, где установить камеру, какую применить линзу и выдержку. Теперь Арли всего-то и надо было, что, стоя рядом с камерой, снять крышку с объектива, а потом — опять же, по указанию Кальвина — вновь нахлобучить ее на место.

Радует это меня или не радует, но это уже история, которую надо запечатлеть, — отозвался Кальвин. — Падение в грязь этого колокола похоже на судьбу самой Конфедерации. Все равно как если бы здесь лежал сам старый рабовладельческий Юг, разбитый и поверженный; я просто обязан его сфотографировать, как сделал бы это сам мистер Калп.

Сунув голову под черное покрывало и убедившись, что все готово, Кальвин отступил назад, выдвинул держатель пластинки и кивнул. Арли в это время с очень деловым видом поддергивал рукава сюртука и поправлял шляпу. Бросив начальственный взгляд на толпу, он подступил к камере, вынул часы мистера Калпа из кармана его же, мистера Калпа, жилетки и поднес их к глазам. Жди, пока солнце выйдет из-за того облака, — шепнул Кальвин. — И открывай на пятнадцать секунд.

Кальвин уже показал ему, как, не дергая всю конструкцию, легким движением кисти снимают с объектива крышку, ждут, не прикасаясь, а потом, таким же осторожным, выверенным движением, снова крышку надевают. Это Арли теперь и делал, причем, когда возвращал крышку на место, от себя каждый раз добавлял негромкий торжествующий возглас: он чувствовал, что зрителям нужно какое-то подтверждение, чтобы знать точно — вот, что-то сделано! — иначе как им понять, зачем все эти танцы с приседанцами? Кальвин к этому присовокуплял символическое похлопывание в ладоши. Выдвигая деревянную раму, он доставал пластинку, торопливой побежкой уносил ее и поднимался с нею в фургон.

Одернув пальто, Арли вновь победно улыбнулся собравшимся. Друзья, вам это кажется какой-то магией, и вы п-псолютно правы: то, во что моя камера может каждый божий день превращать обычный свет — это магия! Ну-ка, кто желает заиметь свой портрет — смелее, шаг вперед! Всем нужна карточка на каминную доску. Портрет, который сделал Иосия Калп, похож больше, чем любой рисунок художника. А если тебя волнует цена, делай поменьше размером. С почтовую открытку, например, — называется "карт-де-визит"; это дешевле, и у тебя навсегда сохранится фото, каким был ты в эти исторические времена.

Желающих, однако, не нашлось; толпа помрачнела и расползлась.

Не прошло и нескольких минут, как вновь среди практически таких же развалин Кальвин натянул вожжи, мул остановился, и негр, обойдя повозку, принялся снова вытаскивать фотографический снаряд.

Гос-споди, что там опять? — нахмурился Арли и сунул руку под жилет, поближе к револьверу. Хватит уже мое терпение испытывать, ей-богу!

Мистер Калп учил меня смотреть, вот это я сейчас и делаю. Большинство людей, когда смотрят, по-настоящему все равно не видят. Вот нам и приходится. То есть за них смотреть, стало быть.

Ну, и на что смотрим сейчас? — поинтересовался Арли.

А вон там, дальше по улице. Гранитные ступени, которые никуда не ведут. Была церковь. А осталась одна задняя стена с круглым слуховым окошком, сквозь которое светит небо.

В общем, как говорится, нашла коса на камень: сколько ни угрожай ему револьвером, Кальвин все равно знал, что, пока он продолжает делать свое дело, ничего с ним не случится. Потому что Арли в нем нуждается, пусть даже сам того не сознает. Что тут скажешь, с мозгами у негра полный порядок. Кальвин не был ни угрюм, ни дерзок — зарвавшимся черномазым его никак не назовешь, — но твердостью обладал отменной. Без всяких слов умудрялся спокойно и недвусмысленно довести до сведения Арли, что́ по каждому конкретному поводу думает. Словами он как раз ничего сказать не мог бы: только попробуй, ниггер обнаглевший! Но когда мистера Калпа не стало, улыбка с лица Кальвина исчезла напрочь. Перестали посверкивать белые зубы. Он по-прежнему был вежлив — этот бронзоволицый ниггер с бритой башкой и большими карими глазами, — но фотосъемку свою он теперь продолжал с таким видом, будто выполняет волю покойного.

Когда Кальвин в очередной раз установил камеру на разрушенной улице, откуда ни возьмись появились несколько черных ребятишек, перелезли через кучу битого кирпича и, присев на корточки среди камней, уставились на него как завороженные.

Арли сидел на заднем краю телеги, ждал. Вынул из кармана сюртука фотоснимок. С тех пор как он в последний раз им любовался, там ничего не изменилось. Уилл — по-прежнему в мундире Конфедерации — сидел, как и положено хорошему солдату, прямой, словно аршин проглотил, правда, со странноватым выражением глаз, будто на горизонте он вдруг увидел нечто пугающее. Под затылок Уиллу Калп подложил специальную подпорку, чтобы голова у него держалась прямо. А нижнюю челюсть от отвисания ему удерживал опущенный ремешок конфедератки. Н-да, живой ты таким дураком не выглядел, — сказал Арли приятелю на фотографии. — Мозги у тебя имелись, хотя учить тебя — ох, приходилось! Каждый божий день! Чисто дитё малое. Как бы то ни было, я обещал о твоей храбрости сообщить родным и слово свое сдержу железно! И выдам эту фотку, где ты сидишь с винтовкой поперек колен, чтобы у них не возникало сомнений. И хотя ты сидишь тут не менее мертвый, чем там, где будешь теперь — в могиле, со ртом, забитым землей, — они увидят тебя в этой позе и будут думать, что в тот момент, когда тебя снимали, ты был жив. Мне — ладно, мне-то видно, что вовсе ты тут не живой, но они в это дело не въедут, если им вообще не наплевать, где ты и что с тобой, как мне по твоим рассказам о них очень сдается.

А дело было так. После того как они сфотографировали мертвеца в неприятельской форме, его чокнутый приятель, махая револьвером, приказал мистеру Калпу и Кальвину ехать на гору к местному кладбищу, где он решил похоронить тело. Кальвин, понимая, что копать придется ему, снял пальто и сюртук, засучил рукава. Но он никак не ожидал, что и мистера Калпа чокнутый солдат заставит работать. Да не надо, я один справлюсь, — уговаривал его Кальвин, но напрасно. Вот так и получилось, что мистер Иосия Калп, который Кальвина Харпера сделал чуть ли не сыном, — он как-то раз вышел (там, дома еще, в Филадельфии) — вышел как-то раз на улицу, а Кальвин стоит, рот разинув, и смотрит на

витрину "Фотосалона Калпа", ну, и принял мастер его к себе, относился почти как к родному, потом взял в эту поездку, учил ремеслу: оно, говорит, на всю оставшуюся жизнь тебя куском хлеба обеспечит, и ни на кого пахать не придется, будешь сам себе хозяин... — в общем, хороший был человек, а теперь пришлось ему копать, бросать лопатой землю через плечо, работать все равно что негру. А может, это и специально, ведь мистер Калп был с гонором и мог показаться высокомерным — ясное дело: аккредитованный при федеральной армии фотограф, фамилия золотыми буквами во весь борт телеги... Да при том, что они еще и повздорили с места в карьер с этим солдатом, так что, может, это фотографу в наказание предназначалось, потому что солдат все повторял: Вот так, вот так, мистер фотограф, — и криво ухмылялся. Да еще и с шуточками: мне б могилу, — говорит, — подлиннее, гроб покрепче и тесней! Там я буду всех сильнее; жизнь прошла и хрен-то с ней!..

Холод стоял в то утро кошмарный, но с мистера Калпа пот катил градом. И волосы все мокрые были, и по шее текло. Рубашка, промокшая хоть выжимай, прилипла к телу. Кальвину вид мистера Калпа сразу не понравился. Его губы приобрели лиловатый оттенок, он хрипел и задыхался. Кальвин сказал солдату, что мистеру Калпу надо бы отдохнуть, он уже не молодой человек, но солдат наставил револьвер и говорит: Я не собираюсь торчать здесь целый день. И стал опасливо озираться, хотя вокруг никого видно не было, а если бы кто и был, кто стал бы соваться? После того как по городу прокатилась армия Шермана, в том, что люди роют могилу, ничего необычного не было.

Как Кальвин и опасался, мистер Калп не выдержал. Еще и унижение вдобавок, а может, он в тот день уже и был нездоров, но, когда яма достигла глубины четырех футов, лицо у него сделалось каким-то странным, он схватился за грудь и закружился вокруг лопаты, будто хочет поудобнее улечься в яме, которую копал. Ну и все, и упал. Кальвин подскочил к нему, приподнял ему голову. Калп ткнул пальцем вверх, как будто приказывает сфотографировать небо, глаза у него дико выпучились, стал хватать ртом воздух, пытался что-то сказать... Но тут выгнул спину, весь напрягся, вроде как захрапел, и прямо там, в холодной, сырой могиле, у Кальвина на руках помер.

А чокнутый солдат только в затылке почесал. И говорит Кальвину: Давай-ка мне его штаны. Ага, подтяжки тоже. Да не, не так! Вперед ты это — башмаки с него сними! Уложив мистера Калпа в кальсонах в яму, которую тот сам и вырыл, Кальвин вылез, слегка присыпал его труп землей и ничего не сказал, просто встал и постоял молча. А потом они вдвоем с солдатом подняли мертвеца в чужом мундире и положили его в могилу поверх мистера Калпа.

Прости, что заставляю тебя лежать в такой тесноте, Уилл, — сказал солдат. — Но, учитывая военное время... Короче, придется тебе с этим смириться.

Ах, душа моя просится в рай!
И-эх, душа моя просится в рай!
Тернистой тропой
Пойду за Тобой
На смерть за наш солнечный край.

Много о чем Кальвин Харпер передумал, пока ехали через развалины Колумбии. Пока то тут, то там останавливались и делали фотоснимки. Не меньше вооруженного придурка Арли, сидевшего с ним рядом в пальто и шляпе мистера Калпа, хотел он догнать федеральные войска. Уж он найдет способ сообщить военным, что с ним тут опасный псих. А там, глядишь, военно-полевой суд, может, еще разберется в обстоятельствах смерти мистера Калпа.

При этом он чувствовал, что не должен покидать руины Колумбии, пока не сделает столько негативов, сколько позволяет взятый с собой запас химикатов. И не только потому, что снимки для фотографа — хлеб насущный. Мы уйдем, и в истории останутся только те свидетельства произошедшей с городом катастрофы, которые удалось заснять. Время бежит быстро, — частенько напоминал ему мистер Калп. — Оглянуться не успеваешь, как все меняется, так что фото — единственное, что остается от нашего прошлого. Уже тогда, через два дня после пожара, еще и дым толком не рассеялся, а по развалинам вовсю расхаживали люди, ковырялись палками в пепле, пытаясь спасти что можно, складывали находки на ручные тележки или в заплечные мешки и уходили — началась другая жизнь, пошли совсем другие дела! Так бывает, когда после урагана все вылезают из убежищ, чтобы оценить ущерб и прикинуть, что можно поправить.

В Колумбии не осталось ни лошадей, ни мулов, армия забрала себе все, что у людей было, и во взглядах, которыми окидывали повозку Кальвина, явно читалось, что, не будь рядом с ним на козлах белого мужчины, давно бы уже их мула по кличке Берт реквизировали без зазрения совести. А уведут Берта — кто потащит телегу? Прости-прощай тогда искусство фотографии, прости-прощай история и вечность! Но в первую очередь они не потерпят, чтобы по городу слонялся с фотографическим своим снарядом какой-то черномазый и что-то там снимал. В обстановке, когда люди изначально раздражены и невеселы, его бы давно скрутили в бараний рог, если бы не иллюзия, будто он, Кальвин, всего лишь прислуживает белому, который и есть во всем ихнем деле главный воротила. В общем, чувствуя со всех сторон опасность, Кальвин так же нуждался в этом психе, как и псих в Кальвине, хотя за каким таким безумным хреном Кальвин нужен психу — это еще поди пойми.

К тому же не так-то просто было Кальвину должным образом производить съемку, когда за спиной все время маячит олух, не способный ни на что, кроме как в конце концов обозлиться и полезть в бутылку. Кто знает, что будет тогда? Но Кальвин решил не бояться; дышать полной грудью и черпать силы в самой ситуации. Будто бы слуга, а на деле именно он, Кальвин Харпер — хозяин положения. А псих в одежде мистера Калпа — боже мой, да он помогать по мелочам и то не способен!

Сперва найти еду было сложно, но с двух часов пополудни из дальней, не разграбленной армейскими фуражирами глубинки штата потянулись подводы с рисом, патокой, солониной, поэтому, оставив Кальвина ждать на улице, Арли, в кармане которого бренчали федеральные доллары Калпа, встал в очередь на базаре, стихийно возникшем на месте тренировочного плаца, утоптанного до каменной твердости и черного от кострищ, напоминающих об армейской стоянке. Но в этом районе

города разрушений было все-таки поменьше. Голые деревья здесь были просто зимними деревьями, а не обгорелыми головнями. За исключением нескольких стариков очередь состояла в основном из женщин, заранее пожиравших глазами товар в надежде, что, когда подойдет их черед, от него еще что-то останется. Арли, как положено джентльмену, безропотно терпел тычки локтями, хотя про себя костерил компатриоток почем зря, потому что в массе они совершенно не выказывали благородства, свойственного их мужьям, которые ушли за них воевать.

Воздух так до вечера и не прогрелся, хотя солнце светило вовсю. Очень хотелось съесть что-нибудь посущественнее сушеного сладкого картофеля, который только и оставался у них в фургоне. Будь он в военной форме, можно было бы идти прямо к прилавку и брать, что хочешь, не обременяя себя платой. Скорей бы загрузиться провизией, и в дорогу! Срочность проистекала оттого, что план в его голове созрел, и Всевышний требовал, не мешкая, воплотить его. Господи, слава ждет нас! — подумал он и потрогал карман с фотографией Уилла.

Меж тем не прекращал поглядывать на дам и в глубине души вынашивал томную думу о том, как бы так исхитриться, чтобы оприходовать какую-нибудь из них в смысле постели, но каждую кандидатуру в конце концов с сожалением отвергал, все более досадуя на то, что женщины как на подбор страшны, замученны и неаппетитны — лица опухли от слез, а у некоторых еще и сопливые чада: хнычут, цепляются и тянут за юбки. Но он продолжал улыбаться, бросая взгляды то туда, то сюда по мере продвижения очереди, всех изучил — и впереди, и позади тоже: может, вон ту? — там есть за что хоть подержаться, да и кудряшки золотистые совсем как у той... как ее? — Руби, — ну, которая была в Саванне...

Тут-то, разглядывая дам, он и заметил Эмили Томпсон. Ха! Уилл! — пробормотал он. Гляди-ка! Не твоя ли это сердобольная санитарка Томпсон? Или у меня ум за разум заходит?

Если это и впрямь была она, то уже не в синей форме федералов — обычная дама в черном, без пальто и шляпы и с причесанными на прямой пробор волосами, туго стянутыми узлом на затылке. Она шла прямиком к нему, а за собой тянула на веревке детскую игрушечную тележку; тянула с трудом, потому что в тележке было довольно много продовольствия: мешок или два муки, неощипанные тушки битой птицы и какие-то соленья в горшках. Когда он увидел, что ей помогают два маленьких мальчугана, подпихивая тележку вытянутыми руками, подумал: нет, это не может быть санитарка Томпсон. Но, чтобы точно не попасть впросак, он глубже натянул на голову шляпу (а то, не дай бог, еще узнает по рыжим лохмам) и поднял ворот пальто, спрятав в него щетину на подбородке.

Она прошла мимо, даже не взглянув, зато сама, освещенная ярким солнцем, была как на ладони — усталый вид, птичьи лапки морщин в уголках глаз, высохшие темные следы слез на щеках, а губы напряженно сжаты в тонкую ниточку.

У Арли на сей счет имелись два соображения. Первое — это что перед ним все-таки не санитарка Томпсон. Вторая — надо же, кто бы подумал, что она такая миленькая!

Он поглядел на длинную очередь впереди и вновь на Эмили Томпсон, которая уже пересекла площадь и шла через улицу; кое-что про се-

бя прикинул. В считанные секунды он уже был рядом с Кальвином у фургона.

Не вижу пищи, — проговорил Кальвин.

Погоди, увидишь. Отвязывай мула и поехали, куда я скажу.

Арли собрался одним махом удовлетворить оба инстинкта. А вслух сказал: Будучи в том состоянии, когда телесные нужды тебя не заботят, ты ведь не станешь возражать, если я приспособлю ее на предмет, которым должен был опробовать ее ты, когда у тебя была такая возможность.

Чего-чего?

Я не с тобой говорю, Кальвин. Вон она, правь вон туда, за угол.

Эмили свернула в обширный двор особняка, слегка попорченного огнем. Фасад обожжен, дранковая крыша местами провалилась, лозы вьюнка сорваны, висят вдоль стены черными мертвыми змеями.

Кальвин остановил фургон у ворот. Эмили в это время подходила к крыльцу, и Арли готов был спрыгнуть и кинуться в атаку, посчитав, что уже не важно — узнает она его или нет, поскольку с армией она теперь, похоже, не связана, а значит порядочной защиты у нее больше нет, но тут дверь открылась, и вышла богатырского сложения черная бабища, следом за которой выскочило с полдюжины ребятишек. Дверь хлопнула и снова отворилась, стали выбегать еще какие-то дети, пока их на дворе не собралось человек двадцать или тридцать — все сгрудились вокруг Эмили Томпсон, любопытствуя, что она притащила с рынка.

Откуда такая куча детей? — вслух произнес Арли. — Ч-черт. Что мне с такой оравой делать?

А дети потянулись по ступенькам вверх, и каждый что-нибудь нес — кто курицу, кто гуся, кувшин, горшок, — как муравьи, всё потащили в дом. Мешки с мукой легко подхватила могучая негритянка.

Дети производили странное впечатление — какие-то жутко серьезные. Они не кричали и не шумели.

Эмили стояла, приложив ладонь ко лбу, а другую руку уперев в бок. Арли эта ее поза показалась необычайно привлекательной: в ней было и смирение, и безысходность, и готовность ко всему, что несет ей судьба — и ведь принесла бы, кабы он придумал, как это осуществить. Но пока он пребывал в некоторой растерянности, теперь уже Кальвин спустился с козел на землю и вытащил из фургона камеру с треногой. Что чертов ниггер делает?

Арли наблюдал, как Кальвин подошел к девушке, минуту с ней разговаривал, потом вернулся и установил снаряд шагах в десяти от того места, где она стояла. Так, — подумал Арли, — пора перехватывать командование. Он прошелся по двору уверенной походкой мастера художественной фотографии, метя пыль полами пальто Иосии Калпа.

Ты что, черт тебя дери, тут затеваешь, Кальвин? — зашептал он. При этом он не забыл улыбнуться Эмили Томпсон и чуть приподнять шляпу, хотя и не настолько, чтобы она могла хорошенько к нему приглядеться.

Делаю то же, что и всегда — смотрю и вижу, — отозвался Кальвин. — Вижу эту женщину и вижу детей-сирот.

Это она, что ли, тебе сказала? Это какой-то долбаный приют?

А что это может быть еще? Своими-то глазами не видите, что ли?

Ты что мне дерзишь, Кальвин! Я ведь тебя даже хоронить не буду, как похоронил по доброте душевной твоего мистера Калпа.

Это пожалуйста, воля ваша, — ответил Кальвин. — Я скажу так: при этом свете — двадцать секунд. — И задвинул в корпус камеры держатель с пластинкой.

Пока Кальвин занимался расстановкой объектов съемки, Арли, чтобы не ронять достоинства, сунул голову под черное покрывало, притворяясь, будто настраивает объектив. А уж оттуда, из темноты, он мог вдоволь насмотреться на Эмили Томпсон. Она была изображением на матовом стеклышке. Смотрит прямо на него, руками обнимая двоих детишек, стоящих по бокам. Позади на ступеньках крыльца выстроились другие сироты, застыли неподвижно, как велел им Кальвин. Все должны стоять совершенно не шевелясь, — громким голосом приказал он. — Как солдаты по стойке смирно. За шеренгой питомцев приюта — мощная негритянка с одним из мешков с мукой на плече. Так установить ее придумал тоже Кальвин.

Но внимание Арли было приковано исключительно к Эмили. Она пробудила в нем безотчетное чувство, которое у тех, кто способен распознать его, называется состраданием. Смутная тревога шевельнулась в его душе: отображенная на маленьком стеклышке, эта женщина смотрит ему в глаза... и такой у нее взгляд при этом, что всякая охота строить пакостные козни пропадает напрочь. Видно было, как она несчастна, и на мгновение (потом, конечно, это сразу вылетело из головы) Арли осознал, до чего глупо он на нее пялится из-под черного покрывала.

Ну все, мистер Калп, — сообщил Кальвин. — Они готовы. Снимайте.

Тут Арли вновь почувствовал на себе ее взгляд. Она смотрела так, будто знает, кто он такой. Давай, делай свою фотографию, — казалось, говорила Эмили. — Запечатлей нас такими как есть. Мы смотрим на тебя. Снимай!

Скажи он что-нибудь помимо того, что сказал, будь у меня хоть какой-то шанс передумать, признайся он в том, что я ему нужна, попытайся он убедить меня в каких-то своих человеческих чувствах, я бы осталась. И до сих пор оставалась бы с ним. В два часа ночи? В такое время спокойных, взвешенных решений не принимают, — сказал он. Стоял с часами в руке и все это — в том числе и Эмили в дверях с поставленным у ног саквояжем, одетую в траур, как в ту ночь, когда она уезжала из дома, — воспринимал как анамнез. Я была переутомлена, к тому же, быть может, в истерике и вела себя безрассудно. Что следовало сделать? Дать мне снотворного? Бренди? Приласкать? С каким недоумением и болью смотрели его широко открывшиеся льдисто-голубые глаза! Хотел ли он, чтобы вот так все кончилось? Меня в тот момент тянуло поправить волосы, одернуть платье. Я чувствовала себя старой и страшной. На его мундире темнели пятна крови федеральных солдат. Он что-то писал. Не надо сводить жизнь к одним сантиментам, Эмили. Я только что видел человека, у которого из черепа торчит железный штырь. Ты только представь себе! Брошенный каким-то взрывом или еще как, но с такой силой, что вошел в мозг. Тем не менее этот пациент улыбается, разговаривает, органы у него функционируют, всё вроде в порядке. Кроме одного: он ничего не помнит, даже имени. Вот скажи мне, как это понимать? Да так, что ему повезло, — сказала я. Он улыбнулся. Нет, ему очень не повезло. Понимать это надо так, что мы теперь знаем то, чего не зна-

ли прежде. Опять доктор. Профессор. Учит. Кому это надо? Зачем? Боже мой, ну зачем?

Несмотря на уже принятое решение, я не смогла не заметить, что новая борода ему идет — с ней он стал такой мужественный! Очень интересный мужчина. И все же, когда он подошел ко мне и взял за руки, я содрогнулась. Пожалуйста, не надо, — сказала я, отстраняясь. Конечно же, я понимала: так у меня хоть что-то было, а теперь не будет ничего. Знала, к чему приводит принципиальность и максимализм. Жизнь, подчиненная принципам, темна и холодна. Это жизнь моего брата Фостера в его могиле. Но я хотела вернуться домой, если он еще существует, вспомнить, кем были когда-то Томпсоны, перечитать кое-какие книги, снова оказаться среди вещей, которые были мне дороги, и коротать там свои дни в одиночестве, ожидая прихода армии, которой *эта* была всего лишь провозвестницей. Я тогда еще не видела сиротского приюта. Я бы и детей не увидела, если бы не та чернокожая женщина. Я хотела вернуться домой, сидеть там и ждать. Проститься с милой Перл... В последний раз подтвердить Мэтти Джеймсон, что да, я и есть дочь судьи Томпсона из Милледжвиля... Я не свожу жизнь к сантиментам, доктор Сарториус. Я ее до них возвышаю. А ваш этот марш, это нашествие я выносить больше не способна. То, что здесь делается под маркой военной необходимости, я не могу простить. Как вы это выносите, как миритесь с этим, не знаю. Я не мирюсь с этим, — сказал он. Но вы часть всего этого, вы замешаны в этом, вы соучастник. Вы их самооправдание, вы тот лик их многоликого единства, посредством которого они внушают себе, что они цивилизованные люди. Его лицо вспыхнуло от гнева. Понимаю: я говорила вещи ужасно несправедливые. Мне хотелось вырваться из-под влияния своей привязанности к нему. И я должна была разрушить всякое его расположение ко мне, перечеркнуть все то доброе, что он ко мне чувствовал, чтобы он не остановил меня, дал уйти. И все же я хотела, чтобы он меня остановил.

Господи, Боже мой, пожалуйста, помоги мне: ведь даже и сейчас, если суждено ему вернуться и найти меня, я брошусь к нему на шею. Я это знаю.

Книга третья
Северная Каролина

I

Когда Хью Прайс, собственный корреспондент лондонской "Таймс", обратился за аккредитацией в Армию Запада, оказалось, что беседовать с ним будет не больше и не меньше, как сам генерал Уильям Текумсе Шерман. Шерман не любил журналистов: у них есть мерзкая привычка выбалтывать все, что делает армия, чтобы любой, в том числе и вражеский генерал, мог об этом прочесть в газете. Но больше всех он не любил английских журналистов. Ваши проклятые хлопковые тузы финансируют Юг, — сказал он Прайсу. — А если бы я не захватил тогда Атланту, неизвестно, как повел бы себя еще и ваш парламент. Плевать мне на все ваши вери-

тельные грамоты: я-то знаю, что вы обыкновенный шпион! Пока армия на марше, никаких корреспонденций вы отправлять отсюда не будете.

Недоверие генерала Прайсу льстило. Он был рисковый молодой парень, сразу с головой ушел в перипетии походной жизни, скитался из части в часть, иногда ухитряясь даже оказаться на передовой. В поле чувствовал себя как рыба в воде, трудности его не пугали. Конечно, он не был шпионом. До самого взятия Саванны прилежно вел записи. Там запрет на корреспонденции был временно снят, и телеграфные линии от его историй сразу раскалились.

Теперь, на пути к северу, Прайсу вновь приходилось наскоро черкать свои записки и распихивать их по карманам. И хотя он с нетерпением ждал следующего случая, когда можно будет отправить статью в газету, гораздо больше занимала его мысль о книге, которую он напишет, вернувшись домой. На самом деле ему просто нравилась война в Америке. Забавные провинциалы, они заряжали его энергией — это надо же, шестьдесят тысяч человек тридцатимильной косой выкашивают все живое, опустошая когда-то изобильный край. Большинство тех, с кем он разговаривал, включая даже унтер-офицеров, высказываясь на сей счет, глубоко не копали: Юг надо покарать, ниггеров освободить, и нечего тут: еще чего! — таков был общий уровень понимания проблемы. А как по-детски обожают они своего Дядюшку Билли! (Упаси боже какого-нибудь мелкого йомена или рядового ратника обратиться к Кромвелю Дядюшка Олли.) Но какие настырные! Он видел, как они строят мосты, ломают железнодорожное полотно, захватывают редуты противника и проходят в день по десять-пятнадцать миль по любому бездорожью и в любую погоду. Как граждане они, конечно, удручающие невежды, но как военная сила для своего сословия просто превосходны.

Какая война ведется злее, упорнее и яростнее гражданской? Военный конфликт между нациями никогда с ней не сравнится. Генералы Севера и Юга знали друг друга — они вместе учились в Вест-Пойнте или служили бок о бок во время Мексиканской войны. История Англии, конечно, тоже знает великие и кровавые гражданские войны, но все они были в древности, теперь это всего лишь материал, который проходят в школе. А значит, тем более эту войну в Америке надо увидеть собственными глазами. Как бы ни были кровавы и жестоки сражения Ланкастеров с Йорками в XV веке, битвы Алой и Белой розы были и впрямь цветочки, ведь дрались тогда врукопашную — топорами, пиками, чуть ли не кистенями. Здешние ребятки — совсем другое дело: это убийцы нового, индустриального замеса; кое у кого в руках многозарядные винтовки, убивающие с тысячи шагов, их пушкари вовсю палят шрапнелью, чуть не целиком выкашивая цепи наступающих, а какие у них орудия! — огнем артиллерии они способны сносить города. Они ведут войну столь обезличенно убийственную, что по сравнению с нею все, что было прежде — детские игрушки. Однако и древние военные обычаи живы. Взять хотя бы их отношение к трофеям. Сколько в нем жестокой романтики войны! Каждый захваченный поселок первым делом подлежит грабежу. В этой деревне обнаружили отменный винный погреб, в той — амбар, по самые стропила набитый хлебом, там стадо коров, тут арсенал, дома́ грабим, рабов забираем в солдаты. Что-то в этом есть неоспоримо классическое, я бы даже сказал, античное, ибо как же еще было армиям Греции и Рима решать задачи снаб-

жения? Как еще могли солдаты Александра дойти до Индии? Оккупационная армия на бивуаке располагается по-домашнему, завладевая всем, что имеется в стране, не исключая женщин, и тем самым распространяет действие своего общественного устройства из сферы чисто военной на всю и всяческую жизнь.

Подойдя с передовыми частями Двадцатого корпуса к самой границе Северной Каролины, Прайс почувствовал настоятельную потребность принять участие в рейде "помоечников", как сами себя с деланым пренебрежением именовали фуражиры. Найти такой отряд труда не составило, очень скоро Прайса приняло в свои ряды соответствующее подразделение кавалерии генерала Килпатрика. Светловолосый, высокий, костистый англичанин с румяным открытым лицом, всегда готовым расплыться в улыбке, Прайс, представляясь репортером, помахивал блокнотом с таким видом, будто это какой-то таинственный, волшебный жезл, и солдат радостно сообщал ему свое имя и фамилию, потом произносил их по буквам, и тот старательно записывал, прекрасно понимая, что как раз эта информация ему не пригодится никогда.

Он прилично ездил верхом, но в качестве скакуна ему под общий хохот дали мула с такой проваленной спиной, что ноги у Прайса чуть не волочились по земле. Что делать, посмеялся со всеми вместе, спорить не стал. Отряд состоял человек из двадцати кавалеристов, одетых весьма разношерстно, подчас даже странно. Командовал ими сержант, мужчина средних лет с седой щетиной и повязкой через левый глаз. За отрядом тащились две непременных армейских фуры, крытых белой парусиной.

Еще даже и светать не начало, весь остальной лагерь еще спал, дневальные только-только начинали разводить костры, чтобы готовить завтрак, а Сержант (не зная имени, мы так его и будем называть) уже выехал на главную дорогу и немного погодя свернул в сосновый лес по просеке, проложенной лесорубами. Здесь на земле лежал такой толстый слой хвои, что животные ступали почти неслышно. Прайс был в свитере, а под теплыми диагоналевыми штанами у него были поддеты еще и длинные исподние. Полупальто на меху, вокруг шеи клубный шарф. Но все равно невольно ежился. Лес хранил холод, будто кроны деревьев это свод склепа. А пряный аромат сосны, казалось, заставлял воспринимать холод еще острее.

Насколько Прайс сумел сориентироваться, отряд двигался от главных сил вперед, забирая к северо-востоку. Ехали осторожным аллюром патруля, зная зачем, но не зная в точности куда. Через некоторое время впереди вроде посветлело; он мог себя поздравить: ехали, оказывается, на восток — в той стороне стволы высоких сосен ближе к верхушкам вдруг загорелись червонным золотом. Всего пару минут спустя, проезжая полоску солнечного света, он уже ощущал коленями тепло. А потом — вдруг — наступило утро.

Выехали на берег реки, остановились. Немного ниже по течению виднелся деревянный пешеходный мостик, по нему они гуськом перешли в другой сосновый лес. Здесь деревья были еще выше и с такими густыми кронами, что солнце в бессилии отступило. Всадникам приходилось петлять между стволами. В этом сумрачном лесу, от которого отшатну-

лось даже солнце, Прайс почувствовал, как ему сдавливает горло ощущение опасности предприятия. Их все же очень мало, и они в мятежной стране, а едут вслепую, без разведки.

Минут через двадцать они оказались на дороге, идущей вдоль вспаханного под пар поля, по краю которого шла низенькая каменная стенка. Мили через две терпеть эту стенку они сочли для себя оскорбительным. Под руководством Сержанта ее расковыряли и растащили камни по сторонам, освободив проем, достаточный для проезда телеги, и вскоре уже весело скакали через поле; Прайс, правда, и рыси-то от своего мула еле добился, так что впереди него были все — телеги тоже. Теперь он видел, куда они едут — к белому громадному зданию с греческими колоннами перед входом. Пересекли дорогу, проехали по травяной лужайке и оказались на посыпанной гравием подъездной дорожке, идущей через ухоженный сад, где клумбы азалий и роз перемежались скульптурно подстриженными вечнозелеными кустами. Надо же, — удивился Прайс, — можно подумать, прямо центральная Англия!

Когда он догнал своих, они уже развернулись в две шеренги лицом к дому. На крыльце стоял высокий пожилой мужчина. Он был в халате и тапочках, седые волосы встрепаны. Кассиус! — выкрикнул он хриплым басом. Откуда ни возьмись явился негр. Кассиус, — повторил старик, нисколько не понизив голос и не глядя на раба из дворовых, стоявшего в почтительной позе совсем рядом с ним. — Покажи этим попрошайкам с Севера то, что они ищут!

Что ж, это доблестные воины проглотили — попрошайки так попрошайки, стоят, не двигаются. Выходит слуга, выносит кресло. Старик садится. Появляются две белые женщины, одна чтобы укрыть его плечи шалью, другая с одеялом — кладет ему на колени. С царственным спокойствием взирает он на солдат-северян. Вот что-то сказал одной из женщин, та быстро унеслась обратно в дом. Сказал что-то и слуге, который, не спуская глаз с солдат, по боковым ступенькам сбежал с крыльца и скрылся за углом.

Хью Прайс кожей чувствовал, что "помоечникам" все это донельзя неприятно, куда больше их порадовала бы честная драчка, засада там какая-нибудь, перестрелка... Старый плантатор сидел, положив руки на подлокотники кресла, и из-под кустистых седых бровей смотрел, как смотрят на чернь, на шайку воров и грабителей. Прайс знал таких старцев. Конечно, у этого был другой выговор, да и манеры грубоваты, но это хозяин, большой белый барин — из тех, что поколение за поколением воспитывались в богатстве и привыкли, что почет им оказывают с рождения. Да что далеко ходить — у Прайса отец из таких! Прайс сделался журналистом и сбежал в Лондон, только чтобы не стать на него похожим. И ведь как часто они не сознают, до чего отчетливо под глянцевым классовым лоском проступает глупость!

Вскоре вышли женщины семейства, выстроились позади старого плантатора, и были они всех возрастов вплоть до трех маленьких девочек — возможно, здесь была его жена, его сестры, дочери и племянницы, кузины и внучки; все друг на друга похожи — сухопарые, с длинными лицами, высокими скулами и узкими глазами.

Не успел Прайс удивиться, где же все рабы (ни разу он не видел, чтобы взяли город или разгромили плантацию, и негры толпами не выбегали бы приветствовать освободителей), как несколько негров появились из-за угла дома, потом еще. Шли вяло, нога за ногу, одетые в большинстве своем легковато, не по погоде, некоторые босиком, женщины в платочках, из мужчин многие сгорблены, небриты; при этом все — что старики, что дети — какие-то пришибленные: вышли и стоят, втянув голову в плечи... Наконец перед крыльцом собралось с полсотни черных. Ждут, смотрят на плантатора. Прайс пнул своего мула, чтобы он переступил копытами поближе. Тут же заметил, что у некоторых негров в дыры лохмотьев на спинах видны вспухшие рубцы. Один из негров пришел на костылях, у него не было левой ноги.

Ну вот, — сказал старый плантатор все тем же хриплым басом. — Видите? Эти янки пришли освободить вас. Давайте, разворачивайтесь и смотрите. Вот они. Некоторые из рабов действительно развернулись и послушно устремили взгляды на стоявших за их спинами солдат, совершенно сбитых с толку этим молчаливым приветствием по приказу. Тем самым их всех — своих рабов и солдат — старый плантатор как бы поставил на одну доску. Лошади заволновались. Один из верховых, цыкнув зубом, пустил длинную струю табачного сока. Другой поднял винтовку и, прицелившись в окно верхнего этажа, сказал: Пу-ух! Прайс нахмурился. И это все? А где же несдержанность, злоба, эксцессы, которых он ждал от "помоечников"?

Ну что, спали и видели, когда придут ваши любимые янки? — продолжал старик. — Думаете, не знаю? Думаете, не знаю, какие у вас там, в башках ваших черных, мысли водятся? Да все я знаю доподлинно! Знаю, что думаешь ты, Амос, и ты, Салли, и ты, Маркус, и Джозеф, и Сайлас, и слепой Генри, — про всех и каждого из вас я знаю все; да-да, про всех, вплоть до самого мелкого сорванца нечестивой вашей породы. Потому что, дай вам свободу или не давай, умней вашего масы вам все равно не быть.

В этот момент Сержант вышел из транса и скомандовал фурам ехать к надворным постройкам — одной направо от дома, другой налево, и с каждой отправил по шесть человек. Остальные, продолжая стоять, по его сигналу расчехлили винтовки и взяли их наперевес.

Так вот, говорю же вам, — продолжал басить старик, — мечтали дождаться янки, чтобы сбежать, ну и давайте, вперед! Вон там, — он показал, где именно, — их целая армия. И все как один воры. Все нищеброды. Вы заметили, как эти-то себя ведут — будто бродячие псы вынюхивать кинулись! Вы что думали — они приехали, потому что им жалко вас? — ах, заждались их, бедненькие! Да им мои хлеба понадобились, мои припасы, мой фураж, мои лошади и мулы. Приехали, потому что чуют: здесь есть куда запустить их воровские лапы. Так что хотите идти с ними — идите, и чтоб духу вашего тут не было, только знайте, что им на вас плевать с высокой колокольни. Уйдете, и пусть Бог вам помогает, потому что я — не буду! Не будет у вас больше вашего масы, чтобы он о вас заботился. Чтобы прилично, по-христиански хоронил вас, когда кому время придет. Кончено! Будете как Вечный Жид скитаться, и места вам не будет на земле, где голову приклонить; а кто из вас помрет, так тоже — в канаве да под забором, чтобы охочие до падали птицы клевали его до кос-

тей. Так что давайте! Свобода нужна? Флаг вам в руки, и да смилостивится Господь над вашими жалкими черномазыми душонками!

С этими словами старик встал и, не обращая внимания на упавшее с колен одеяло, повернулся и удалился в дом; вся семья последовала за ним.

Час спустя, когда солнце светило уже высоко в небе, бойцы выстроились на посыпанной гравием дорожке, готовые ехать назад к своим. Улов был на диво, обе фуры нагружены мешками муки, риса, кукурузы и картофеля, индюшками и курами, свиными окороками и говяжьими боками, огромными колесами сыров, бочонками орехов и сухофруктов и ящиками виски. Одну из реквизированных телег послали забрать то, что нашли в тайнике на сеновале — скатанные персидские ковры, несколько картин, матерчатые мешки, набитые простынями и подушками, пару дуэльных пистолетов, старое ружье с кремневым замком и корзины фарфора, украшенного фамильным гербом. К задку другой привязали целый табунок мулов. Мулы стояли, терпеливо дожидались. Двух вороных скакунов хозяина запрягли в его же рыдван. В рыдване, устроившись с удобствами, сидели в ожидании пять негров — три женщины и двое мужчин: крепко подумав, больше никто свободу не выбрал.

Однако Сержант все не давал сигнала отправляться; поворотив коня, сидел, глядел на дом. Покрепче надвинул шляпу. Поправил прикрывающую глаз повязку. Что-то он задумал еще, что-то еще оставалось доделать.

Прайсу интересно было: усадьбу-то сожгут или как? Приказ генерала Шермана гласил, что дома тех, кто сопротивления не оказывал, сожжению не подлежат. Сопротивления здесь не оказывали определенно. Старый плантатор даже приказал рабу идти отворять им сараи. Но вел себя при этом вызывающе. Разве нет? Отказался с военными по-людски разговаривать и называл их нищебродами и ворами.

Это и было, по-видимому, проблемой, мучившей Сержанта. Чтобы легче было в ней разобраться, Сержант приказал достать из ящика бутылочку-другую виски.

Прайс не принимал участия в развернувшейся после этого дискуссии, хотя, когда бутылку протянули и ему, глотнул от души. Общественное мнение склонялось к тому, что солдат Армии Запада, воюющий под командованием прославленного генерала Шермана, не должен оставлять оскорбление безнаказанным. То, что так мало рабов приняли решение уйти, было воспринято как еще один конфуз. Не потому, что все так уж жаждали посадить себе на закорки очередной выводок черномазых, но страшное духовное рабство, в котором пребывали у старого плантатора негры, — это ли не оскорбление, брошенное в лицо северянам-освободителям, пришедшим вызволить их и отпустить? Это ли не сопротивление своего рода? А если так, то они в полном праве сжечь его проклятую усадьбу ко всем чертям!

Впечатления переполняли Прайса. Он лихорадочно строчил, строчил, строчил свои заметки. Боже, что он узнал! Эти простые солдаты чином не выше сержанта, будучи при исполнении смертельно опасных обязанностей, могут вдруг прерваться, чтобы заняться обсуждением животрепещущих моральных проблем! Это показалось ему проблеском, позволяющим проникнуть в сокровенную сущность духа Америки.

Представить себе, чтобы рядовые армии Ее Величества ударились в подобного рода дискуссию? Нет, это совершенно невозможно!

К этому времени все спешились и, обмениваясь мнениями, бродили туда-сюда как перипатетики Аристотелевой школы. Некоторые даже мундиры сбросили, оставшись в жилетах, словно этим февральским полднем солнце пекло напропалую. Встал вопрос о том, что станет с рабами, если сжечь плантацию. Ведь это и по ним будет удар! Потому что, сколь бы печальной ни была их участь, все-таки плантация их кормила, а теперь, если из-за них плантатор лишится собственности, он обрушит свою ярость на них, превратив их жизнь в еще горший ад.

Один изречет, все внима-ают... Потом другой что-нибудь изречет — ду-умают. И никто, похоже, особенно не торопится возвращаться в маршевую колонну. Черные, сидя в рыдване, обеспокоенно о чем-то заговорили, заозирались, встревоженно оглядываясь на господский дом. Там тишина, ни звука, вообще никаких признаков жизни. Тут и Пирс начал ощущать смутное беспокойство. Влез на своего кособокого мула, стал ждать.

Дверь дома вдруг распахнулась, выскочил черный мальчишка, чуть не кубарем слетел по ступенькам. Увидел Прайса, перебежал через подъездную дорожку, стал тянуть к нему ручонки, жестами требуя, чтобы тот взял его к себе в седло. Ну, так и быть, Прайс втащил его наверх.

В это время сидевший на подводе солдат взял одну из сложенных там тарелок костяного фарфора и, призвав ко всеобщему вниманию, запустил ею в воздух, что было понято как приглашение к соревнованию, потому что, когда тарелка, описав параболу, упала и разлетелась на кусочки, все похватали винтовки и стали просить, чтобы он повторил. И принялись соревноваться в меткости, расстреливая дорогой фарфор, хотя кто попадал в летящую мишень, а кто мазал, понять было невозможно, потому что стреляли из нескольких ружей сразу.

Мальчик, явно испуганный, выхватил у Прайса повод и принялся за него дергать, побуждая мула двинуться в путь. Мул, уже напуганный стрельбой, заартачился и закрутился на месте, и тут Прайс увидел женщину в сером платье, которая шла со стороны дома с хлыстом в руке. С первого взгляда было видно, что это молодая девушка — наверное, одна из дочерей плантатора, может быть, племянница, — бледная, тонкогубая, с гладко зачесанными назад волосами и такими же, как у всех в их роду, резкими скулами и узкими глазами, прищур которых в данный момент не сулил добра. С крыльца донесся окрик другой женщины: Марта! Марта! Сейчас же иди в дом, Марта! Хлыст в руке девушки был не тем, какими погоняют лошадь, это был короткий ремень на палке — плеть для усмирения рабов, и девушка гналась с нею за мальчишкой. Но тут ей на пути попался солдат, подскочивший поднять тарелку, которая упала и почему-то не разбилась, и девушка, побелев от ярости, ни слова не говоря, размахнулась этой плетью и ударила его. В следующий момент последние барьеры цивилизации, и так изрядно тем февральским утром покосившиеся, окончательно пали, их будто взрывом снесло.

Солдат, у которого на лице вспыхнул кровавый рубец, схватил плеть, дернул, и девушка упала. И уже он принялся избивать ее, с криками высоко занося и опуская плеть на девушку, которая, визжа, пыталась от него уползти. Ты меня — плетью? — кричал он. — Ах, ты меня — плетью? И то,

как она ползла, как он бил, а она ползла и визжала — все это еще больше разжигало его. Остальным это показалось куда забавнее, чем стрелять по тарелкам, и в считаные секунды вокруг собрались несколько солдат, заслонив от Прайса происходящее. Первым его побуждением было вмешаться и остановить их, но он тут же одумался. Это не твоя страна, сказал он себе. Это не твоя война. А к ним уже бежал Сержант с криком: Она же белая, черт подери, это белая женщина! И Прайс решил скорее увезти мальчика подальше, потому что ужас, который там творился, не для детских глаз. Визг девушки сменился стонами. С нее сдирали одежду, и над головами склонившихся над нею солдат взлетали клочки и обрывки платья.

Сержант, на которого не обратили никакого внимания, решил придать происходящему военную упорядоченность. Он подозвал нескольких человек, все еще возившихся у подвод с добром, чтобы они построились в шеренгу лицом к дому. Прайс, верхом на муле развернувшийся уезжать, видел, что хозяин поместья вышел на крыльцо и стоит там недвижимо и безучастно, стараясь ничем не выразить свое страдание, чтобы враги не получили удовлетворения еще и от его реакции. Так что Прайс, в ушах у которого звенело от отчаянных женских криков и стонов, ехал мимо кустов роз и азалий и думал: да, старик-хозяин тоже как бы согласился с тем, что и такие вещи вписываются в наше представление о военных действиях.

Хью Прайс направил мула через обширную травяную лужайку, пересек дорогу и поехал по полям к пролому в каменной межевой стенке. С тех пор как он с "помоечниками" выехал из войскового лагеря, прошло около трех часов. Колонна войск на марше растягивается на много миль, и он прикинул, что, если назад поедет в точности тем путем, каким ехали сюда, мимо колонны не промахнется, даже если она двинулась с рассветом. И он углубился в лес, доверившись собственному чувству направления.

Мальчик сидел впереди Прайса; он успокоился и, пригнувшись, вглядывался вперед. На нем была ливрея — коричневая курточка с желтой окантовкой, коричневые штанишки, чулки до колен и черные башмаки на пряжках. Прайс отдал ему повод, чему мальчик, похоже, несказанно обрадовался. В темном лесу теперь было тепло, и мул в тиши ступал медлительно и лениво. Выяснилось, что мальчика зовут Дэвид. Возраста своего он не знает. Ни матери, ни отца не помнит. В хозяйском доме у него была работа отгонять мух — стоя за креслом хозяина, махать над ним большим перьевым опахалом. Такова была его главная обязанность. Но иногда он ездил на козлах экипажа рядом с Кассиусом.

По мере их продвижения мул все замедлял и замедлял шаг. Прайс сидел расслабленно, глядя то направо, то налево в лес. Сквозь кроны высоких деревьев солнечный свет пробивался столбами, иногда вдруг слепил глаза и снова пропадал, оставляя за собою тьму. Да, думал Прайс, этот день я без всяких записей запомню. Внезапно его охватила необычайно сильная усталость. Это не твоя страна и не твоя война, напомнил он себе еще раз. Так что же ты делаешь, зачем взял на себя ответственность за негритенка?

Сколько Дэвиду лет — восемь? девять? Малыш принял решение, которое оказалось не по плечу большинству взрослых рабов на планта-

ции. Конечно, в его возрасте естественно о будущем не думать и не беспокоиться о том, что́ судьба ему уготовит; в его головке не может быть мыслей, способных удержать взрослого, заставить его предпочесть несчастную, но знакомую с детства участь опасностям, которые нельзя предугадать. Дети живут настоящим. И все же властную речь старого хозяина он выслушал вместе со всеми. Но она на него не подействовала, не напугала. Вырвавшись из хозяйского дома, этот мальчонка заявил о своем праве на то, чтобы жить отдельной, самостоятельной жизнью. Быть может, это было не более чем минутным порывом, но результат достигнут — он свободен.

И что же мне теперь с тобой делать, Дэвид?

Не знаю, сэр.

Прайс видел, до чего нравится мальчику управлять верховым мулом, который, впрочем, все равно шел только с той скоростью, которую сам для себя выбирал, несмотря ни на какие понукания. Похоже, Дэвида это нисколько не огорчало, он для порядка слегка подергивал повод, а когда убеждался, что это ни к чему не приводит, весело хихикал. И все время, пока они ехали по лесу, Прайс держал мальчика ладонями за узенькие локотки.

II

Когда пересекли реку Пи-Ди и ехали уже по Северной Каролине, роль почетного эскорта экипажа Килпатрика выполняли офицеры его штаба. Неслись стремительно и с подъемом, несмотря на общую небритость, а также поношенность и истрепанность; при этом каждый надеялся удостоиться взгляда нынешней дамы генерала — известной южной красотки, восемнадцатилетней Мари Бузер. Да и мамаша ее, Амелия Тристер, сидевшая по другую руку от Килпатрика, была еще тоже очень ничего. Дочка была светлокожая, голубоглазая и с пухлыми губками бантиком. Ее густые золотистые кудри, взбитые над ушами, венчал очаровательный беретик размером с чайное блюдечко. В темных глазах ее матери, в отличие от нее брюнетки, горели озорные огоньки. Она курила тонкую сигару. Тогда как загадку привлекательности Мари Килпатрик еще только собирался разгадать, с Амелией Тристер ему и так все было ясно: интересная женщина, она всегда купалась в любви и вызывающе это демонстрировала. Их кринолины заполняли собой все пространство в пролетке подобно пышным радужным облакам. Обе вместе они сводили Джадсона Килпатрика с ума.

Они как-то сами собой отыскались в Колумбии, представившись ему симпатизантками и федералистками. Волей-неволей пришлось пристегнуть их к маршу. Причем дамы они были не бедные: пролетка "гранд-виктория", где нежился в их обществе Килпатрик, принадлежала им, а в следующем за ней фургоне вместе с подарками генерала ехали сундуки с их платьями, драгоценностями, серебром, фарфором и хрусталем, словно не война впереди, а растянутый на месяцы безудержный пикник. Стараясь поддерживать беседу (чтобы дамы, стало быть, не скучали) и с важным видом намекая при этом на свою осведомленность о планах генерала Шермана по поводу кампании в Северной Каролине,

Килпатрик одновременно разрабатывал собственную стратегию по поводу грядущей ночи, потому что ему, вынь да положь, нужна была полная победа — он хотел их обеих. Эх, мадам, в койку бы с тобой, — думал он, улыбаясь матери. И с тобой, кысочка, — бросал он томный взгляд на дочку — такой взгляд, какой военные называют "призывом к отработке штыковых приемов лежа".

Что бы такое придумать, — соображал Килпатрик, — чем их поразить? Они, конечно, и так под впечатлением от его ранга, власти, личной охраны, но в искренности их он сильно сомневался, и особенно это касалось Мари, которая все время от него отворачивалась, чтобы лишний раз глянуть на кого-нибудь из молодых офицеров эскорта. Ему было заметно, что обеим дамам льстит затеянное кавалеристами глупое мальчишеское соревнование — кто ловчей приладится с форсом проскакать рядом с пролеткой, молодцевато выпрямив спину и одной рукой небрежно держа поводья, а другую положив на рукоять сабли.

Отвлекал Килпатрика и племянник Бастер, ехавший в фургоне следом. Черт бы побрал мальчишку: он где-то раздобыл кулек сушеного гороха и, стоя рядом с возницей, плевался горошинами через трубочку, сделанную из какого-то полого стебля. Причем попасть пытался не в кого-нибудь, а в дядю. Килпатрик встал и жестами стал приказывать вознице фургона, чтобы тот пересадил мальчишку под полог. Сия храбрая вылазка увенчалась тем, что дядя-генерал получил довольно болезненный удар горошиной в беззащитно выставленный мясистый нос.

Когда Килпатрик снова сел, дамы покатывались со смеху. Какой у вас, — нашла, наконец, в себе силы промолвить Амелия Тристер, — какой у вас, однако, снайпер подрастает! Что ж, Килпатрик тоже усмехнулся. А сам готов был убить поганца. Горошины валялись по всей пролетке, некоторые прятались в складках кринолинов. Он принялся их подбирать и стряхивать. Прямо как рис, которым бросаются во время венчания, — пробормотал он.

Кавалерия, составлявшая мобильный авангард Пятнадцатого корпуса, намеревалась захватить Файеттвиль — городок милях в сорока к северо-востоку. Поступили сообщения, что на этом направлении как-то больно уж вызывающе ведут себя войска мятежников генерала Харди. А Файеттвиль — это уже подступы к Голдсборо и Рэлею, основным стратегическим целям Шермана.

Время от времени к пролетке, где ехал Килпатрик, подъезжали разведчики и, склоняясь с седла, вполголоса докладывали — в частности, что кавалерия Харди, а именно бригада генерала Уэйда Хэмптона, зашла в тыл Килпатрику, сидит у него на хвосте и только поджидает момент, чтобы ударить. Хэмптон, между прочим, один раз уже подстерег его у Айкена; хочет, видимо, повторить фокус. Ну уж нет, — подумал Килпатрик, — это только через мой труп. При этом он сам понимал, что, когда ты весь окутан ароматами благоухающей Мари Бузер, думать и планировать трудновато. Она щебетала и искоса на него поглядывала, нарочно поворачиваясь так, чтобы он получше разглядел идеальную форму ее маленького ушка, а он вновь и вновь представлял себе, как она ахнет от неожиданности, когда впервые за всю свою уютную жизнь, полную по-южному галантных ухаживаний и изысканных комплимен-

тов, вдруг будет завалена на спину и с первого же мощного тычка получит представление о том, что такое настоящий мужчина.

Когда лес от дороги отступил, Килпатрик остановил колонну, приказал принести дамам завтрак и, извинившись, сел под соснами в окружении офицеров штаба и расстеленных по земле карт: ведь надо же стратегию обдумать! Он тут засядет в ожидании Хэмптона и ударит наперехват. Если генерал Харди в Файеттвиле хочет помериться силами, пусть потом не удивляется, что остался без кавалерии. И Килпатрик приказал развернуть по бригаде вдоль каждой из двух дорог, по которым, говорят, движется Хэмптон, а третью бригаду отправил на дорогу, которая подходит с севера — на случай, если Хэмптон пойдет кружным путем.

Решив разбить бивуак не доходя Соломоновой Рощи — сельца на краю болота в нескольких милях от той дороги, по которой скорее всего пойдет Хэмптон, Килпатрик скомандовал войскам становиться лагерем, а дам с искренними горчайшими сожалениями отправил дальше под охраной, командовать которой поручил адъютанту, дородному и седому бревет-полковнику Мелроузу Мортимеру, про которого говорили, что он старейший действующий офицер во всей Армии Запада.

Коня! — приказал Килпатрик, собравшись лично проследить за выдвижением войск, а заодно и получше ознакомиться с местностью. — А да, Мелроуз, — взгромоздившись в седло, сказал он, — передай Жан-Пьеру, пусть готовит к вечеру царский обед на троих. Чтобы все сегодня было grand cru[1]. Grand cru — ты меня слышал? Я понимаю, Соломонова Роща не Версаль, но найди там лучший дом и устрой дам поудобнее. Я скоро к вам присоединюсь. И моего племянника утихомирь. Уложи его спать. И вот еще что, Мелроуз, самое главное. Если хочешь по окончании войны получать полную полковничью пенсию, с женщин глаз не спускай.

На танцующем коне Килпатрик подъехал к пролетке. Мари! Миссис Тристер! Надеюсь, вы простите меня, если я ненадолго отлучусь... Война ужасное занудство, но что делать! О вашей безопасности я позаботился, а к обеду и сам буду с вами. Приподнял шляпу с кокардой, пришпорил коня и галопом унесся через лес под гром копыт эскорта из двух дюжин всадников.

На рекогносцировку он выехал на склоне дня, но в лесу, под сенью высоченных сосен казалось, что уже вечер. Сумрак раздражал Килпатрика. Как-никак было уже начало марта, и он подумал: черт, это вообще проклятому Югу свойственно — тьма валится мгновенно, пусть дни и стали чуточку длиннее. В Нью-Джерси, где он родился в нескольких милях от океана, в это время обычно светит яркое солнце, а все миазмы подсыхающей земли уносит океанский бриз. Именно там, на взморье Джерси, еще мальчишкой он впервые рассмотрел естественные формы женщин, когда при выходе из океанских вод после купания юбки плотно облепляли их тела. Здесь же воздух был густым от запахов смолы и перепрелой склизкой растительности вроде мхов и поганок. Что ж, еще одна причина здесь не умирать. Слежавшийся до состояния компоста слой сосновой хвои на земле так толст, что, если его копнуть лопатой, обнаружатся кроты и черви, жуки и извивающиеся безглазые существа,

1. Зд.: по высшему разряду (*франц.*).

которым и названия-то нет. А где же в этом лесу птицы? Нет птиц. И вообще что-то больно уж тихо.

По мере продвижения к западу лес стал гуще, и отряд Килпатрика выстроился гуськом: поехали змейкой, огибая стволы, пока не оказались, судя по карте, милях в двух-трех от первой из засад, которые должны были быть устроены по его приказу. Нашли просеку, поехали по ней. На лес опустился туман, прозрачными покрывалами окутал деревья, и чуть не сразу же лицо у Килпатрика стало мокрым, будто он только что умывался. По полям шляпы захлопали капли. Послышалось ворчанье грома. Ближе, ближе... Потом, словно специально ему объявляя, что его сладостные планы на вечер под угрозой (возьмут да и пересмотрят их высшие власти!), лес осветился ослепительным голубым светом. Раздалось зловещее шипение, будто горит запальный шнур, затем плещущий треск расщепляемого дерева, а за ним оглушительный удар, будто вся земля взорвалась, как один громадный пороховой погреб. Лошади обезумели, и первые несколько секунд седокам было ни до чего — лишь бы не вылететь из седла. Килпатрик, наездник не самый лучший, вдруг обнаружил, что висит, застряв сапогом в стремени, и конь тащит его, колотя головой об узловатые корни. Услышал собственный крик. От удара о дерево нога из стремени выскочила. Некоторое время лес полнился криками людей и ржанием испуганных животных, пока все звуки не поглотил шум хлынувшего ливня.

Через две минуты дождь прекратился так же внезапно, как начался.

Генерал Килпатрик ударился так, что буквально дух вон. Лежал под деревом и сдавленно сипел, не в силах набрать воздуха в ушибленную грудь. Его подчиненные оставались где-то поодаль. Когда ливень кончился, они спешились и теперь выжимали воду из шляп. То ли они не замечали его, то ли притворялись, что не видели, как он упал. Лошади стояли тихо, словно в беспамятстве. А собственный его гнедой, топоча копытами, подошел к нему спокойно, будто успел уже полностью сложить с себя всякую ответственность.

Килпатрик полежал еще, бессильно разевая рот, пока внезапно, с мучительным хрипом воздух не ворвался, наконец, в его легкие. И в этот миг он осознал, что, когда лес осветило молнией, он увидел привязанного к дереву мертвого солдата.

Насчитали одиннадцать мертвых тел помимо того, который был привязан к дереву с листком бумаги, всунутым в нагрудный карман. Тела были разбросаны по лесу, каждое в луже крови пополам с дождевой водой. У большинства руки связаны сзади и глотки перерезаны. Кавалеристы. На листке написано: ОНИ ВСЕ НАСИЛЬНИКИ.

Килпатрик послал в лагерь гонца. Через полчаса прибыло конное подразделение, спешились и при свете факелов, сделанных из соснового лапника, принялись копать. Генерал с эскортом поехал дальше, выехали на опушку и там, на обочине дороги, обнаружили еще девять тел. Эти люди тоже были казнены и лежали среди вспоротых мешков с мукой и кукурузой, предметов столового серебра, битых бутылок из-под виски, рядом валялся мертвый мул. Приказав перенести тела назад в глубь леса, Килпатрик проехал еще несколько миль до пересечения с дорогой на Монро, по которой, скорее всего, должен был направить свою

кавалерию Хэмптон, обсудил развертывание бригады с ее командиром полковником и, оставшись доволен крепостью позиции, уехал обратно в лес, успев как раз вовремя, чтобы сказать несколько слов на похоронах. Карманы убитых обыскали и вывернули, собрали письма и фотографии, и вот уже двадцать могил, вырытых в мягкой лесной почве, готовы были их принять. Килпатрик глянул на карманные часы, нахмурился: время-то как летит! Прочистил горло. Солдаты сняли головные уборы. Освещенный красными отсветами сосновых факелов, генерал сказал: Наших фуражиров убили после того, как они сдались в плен. Я проинформирую об этом генерала Уилера и потребую расследования. А если он откажется, прикажу казнить по одному пленному мятежнику за каждого лежащего здесь солдата. И да поможет мне Бог. Аминь.

Добравшись до дома в Соломоновой Роще, Килпатрик, весь в синяках и ссадинах, уже еле шел, но зато какой его встретил аромат французской кухни! И тут же огорчение: оказывается, миссис Тристер, которую он прочил себе на первое, штабные офицеры увезли в гости к генералу Ридли, командующему одной из пехотных бригад соединения генерала Слокума. Ридли давно хотел пригласить дам в свой лагерь на обед, искал их, искал и наконец нашел. Вот и верь после этого пехотинцам, — подумал Килпатрик. Сердито размышляя о том, какое взыскание наложить на Мелроуза Мортимера, он вдруг сообразил, что, хотя миссис Тристер и сбежала, Мари осталась при нем, и его сердце учащенно забилось: ведь это означает, что его общество она предпочла всякому другому. А насчет матери... Разве не может быть, что она решила уйти, чтобы доверием пробудить во мне чувство ответственности? Вполне возможно. Тонкий ход, достойный мудрой и вдумчивой матери.

Со стаканом портвейна в руке Килпатрик стоял в гостиной небольшого дома, грел спину у камина. Мари на втором этаже переодевалась в вечернее платье. На стол Жан-Пьер выставил любимый фарфор Килпатрика, прихваченный еще в Саванне. Маленькая низкая столовая была залита светом — свечи на столе, в люстре, в отдельных канделябрах. Что может быть слаще любовной победы, особенно когда она одержана на войне! — думал он. Заметил грязь, подсохшую на сюртуке и брюках. Сапоги тоже облеплены грязью. Наверное, надо почиститься. Улыбнулся. Ни боже мой! Как раз от этого они и млеют. Чтобы с нею был не какой-нибудь южный хлюст с платочком в рукаве. А мужчина! Герой! Человек, которого могут убить и который сам убивает — вот на кого они готовы смотреть с обожанием.

Представив себе ночь, ожидающую впереди, потрогал ширинку. Будет, конечно, борьба, сопротивление, мольбы и уговоры, но в результате она не сможет противиться, он разожжет в ней страстное любопытство, пусть даже она в этом себе самой не захочет признаваться. О, женщин он знает! Кривляются, сами не ведают, чего хотят, но всегда настает момент, когда жажда новых ощущений доводит их до беды, если можно так выразиться. Мисс Бузер теперь будет знать, чем приходится платить за девичье кокетство. Он отыграется на ней за всех тех жеребцов-южан, что изошли на нет, иссохлись от вожделения, но так и не сумели влезть к ней на круп копытами.

Килпатрика обуяло нетерпение, он поглядывал на потолок, прислушивался — не идет ли. Пригладил непослушные рыжие вихры. Налил себе еще стаканчик портвейна. Кстати, надо бы не забыть написать жене.

А наверху Мари приводила в порядок décolletage. Потыкала маленькой стеклянной палочкой себя в шею, между грудей, за ушами. Все эти изящные штучки, вкупе с их вместилищем — плотно набитой сумочкой с бронзовыми застежками и кармашками, обшитыми розовым шелком, — тешили и успокаивали ее. Давали возможность смириться с жуткой халупой в диких, богом забытых лесах. Ее сокровища все еще при ней. Удивительно, как их широкая, изобильная жизнь целиком упаковалась в чемоданы, сундуки и всяческие шкатулки и сумочки вроде этой. Что ж, хотя бы не сгинула вовсе.

Ей было слышно, как расхаживает внизу генерал. Весь шаткий домишко под его сапогами скрипит и сотрясается. Этот мужик — идиот, сказала мама. Идиот и халабруй. Абсолютный варвар. Но он большой начальник и может нам помочь пробиться на Север. Железных дорог больше нет. Вот он и будет нам и дорогой, и паровозом. Воспринимай его как два рельса на дубовых шпалах, сказала тогда мать, и они вместе рассмеялись.

Эти женщины ладили между собой так славно, будто они сестры, а не мать с дочкой. У них были большие планы. Мы с тобой вот что сделаем, моя дорогая: мы в Европу уедем! Жизнь, которую мы вели и на которую имеем право, на этом континенте больше невозможна. Когда эта война кончится, она вовсе не кончится. Я мужчин знаю — они способны враждовать без конца.

Мать очень умная женщина. Еще год назад приняла меры. Все деньги перевела в нью-йоркский банк. Продала земли и вложила в федеральные облигации — тайно, конечно, с помощью старого поверенного Сайласа Фентона, у которого из носа торчат пучки волос и который однажды, когда мать отвернулась, цапнул Мари за грудь. Ну как ты можешь его выносить, мамочка, — сказала тогда она. Мари, — отвечала мать, — если у тебя есть свой адвокат и если ты не забываешь, зачем ты делаешь то, что делаешь, того, что случается со всеми, с тобой не случится. Запомни это. У меня было четыре мужа, и каждый для своей определенной надобности. Единственным, кого я любила, был твой отец. Поэтому он был единственным из мужей, кто обладал мною. А этот последний — мистер Тристер — бегает сейчас где-то по болотам, играет в солдатика-конфедератика. Он даже предпочел развод — лишь бы не усомнились в его патриотизме.

Ну вот, все готово. Сейчас она спустится по кривеньким узким ступенькам с таким видом, будто это ее первый бал у губернатора штата.

А-а, вон он — смотрит снизу; ну и урод! Взгляд такой, что иначе как плотоядным его не назовешь. Ладно, посмотрим. Должно быть, понятия не имеет, какое у него сейчас выражение лица. А как гордится он этой смешной рыжей порослью на щеках!

И чем это там пахнет? О боже, подали обед, наш солдатский обед...

Следующим утром Жан-Пьер встал до рассвета, пошел заниматься кухней. Горнист еще не протрубил, и хотя тут и там в лагере уже разводили костры, солдаты в большинстве своем еще спали в палатках, так что повару пришлось пробираться с осторожностью, чтобы в темноте обо что-нибудь не споткнуться.

Войдя в генеральский домик, он испытал настоящий шок, увидев, что к обеду, над которым он трудился много часов, никто толком и не притронулся. Огарки свечей кое-где еще попыхивали. На поверхности супа в супнице застыл слой жира. Он ужасно обиделся. А что вино в графине? Нет, вино тоже почти не пили. Он сел и с досады налил себе стакан, выпил и закусил жиром из супницы, подцепив его указательным пальцем. Уже не первый раз его охватывала злость на сумасшедшего генерала, который насильно его увез. И не первый раз он подумывал о том, чтобы сбежать.

Своим присутствием Жан-Пьер разбудил бревет-полковника Мелроуза Мортимера, который заснул в кабинете, уронив голову на письменный стол. Весь вечер Мортимер старался не слышать доносящиеся со второго этажа звуки; сидел, писал письма своим сестрам, старым девам. Мортимеры были люди тихие, они не очень-то стремились жить на всю катушку, а в следующем после отца и матери поколении даже и к браку не были расположены — никто из его пяти братьев и шести сестер. Самого полковника Мортимера, флегматичного туповатого солдафона, в семье считали искателем приключений — иначе зачем он так долго служит в армии? — при том, что на самом деле для него армия была как отец родной для послушного дитяти.

И как раз в тот момент, когда Жан-Пьер начал убирать со стола, а Мортимер вышел во двор облегчиться, из рассветного тумана как привидения выскочили кавалеристы повстанцев, с криками налетели и принялись все в лагере крушить.

Они легко опрокинули боевое охранение, и в первые минуты северяне были беззащитны, путались в сорванных с растяжек палатках, их сшибали проносящиеся над ними лошади. Сбросив одеяла, солдаты кидались к составленным пирамидками винтовкам, падали под пулями, другие поднимали руки, сдаваясь. Но, несмотря на замешательство и густой туман, кое-какое сопротивление все же организовали, сквозь треск ружейной пальбы слышались окрики и приказы унтер-офицеров. Одни устремились в лес укрыться за деревьями, другие стреляли с колена из магазинок Спенсера по всадникам, проносящимся мимо. Кухонные костры фейерверками рассыпались в воздухе, разметанные копытами обезумевших и сорвавшихся с привязи лошадей.

Трубач, протрубивший тревогу, пробудил Джадсона Килпатрика от самого, может быть, глубокого, самого крепкого сна в жизни. В одном белье генерал спустился вниз и выбежал на крыльцо, где — бац! — споткнулся о ногу умирающего Мелроуза Мортимера, лежащего головой вниз на ступеньках с огромной дырой в груди, из которой хлестала кровь.

Первое, о чем подумал Килпатрик, обнаружив, что его лагерь стал полем боя, это о повышении, которого ему теперь не видать как своих ушей. Из тумана неторопливо выехали три офицера-повстанца, остано-

вились. Где генерал Килпатрик? — крикнул один. Килпатрик показал туда, откуда они появились. Там! Там! — жестикулировал он, ссутулив плечи и нагнув голову: изображал вежливость напуганного капрала. Едва всадники исчезли, генерал, все так же в подштанниках и сорочке, кинулся вокруг дома к конюшне, отвязал своего коня и без седла поскакал сквозь схватку в лес, где не останавливался, пока треск выстрелов не начал затихать вдали.

Что теперь делать? Сидел, сжав лошадиные бока коленями, слушал собственное дыхание. Ч-черт, одеться бы, а то холодно. Зад щекотала колючая шерсть. Было слышно, как у коня бьется сердце. Не хватало еще, чтобы они взяли в плен генерала! — подумал он. Что ж, потеряю часть людей, часть лошадей, но генерала им не видать, и это главное. Господи, надо же, как налетели. Подожду тут еще минутку, потом спокойно вернусь и снова возьму на себя командование. А тем временем мы, конечно же, организуем контратаку. Вот, так и есть, заговорила батарея артиллерии. Значит, уже началось. Мы непременно сбросим их в болото.

Будто услышав его, гнедой жеребец Килпатрика медленно двинулся обратно. Обидно, конечно, унизительно, но и только. Скоро подоспеет пехота, прикроют мои тылы, подобно тому, как это было сделано в Уэйнсборо. Все нормально, это ведь как раз моя работа и есть — притягивать к себе повстанцев, заставлять их проявиться. Именно это я сейчас и сделал.

В пехоте меня не любят — ни Ховард, ни Слокум, ни их командиры подразделений, никто. При том, что никто не может сказать, чтобы хоть раз чья-нибудь колонна была атакована, когда с фланга охрану несет Килпатрик. Но Билли Шерман меня любит, а только это и важно. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю, сказал он вслух своему коню и потрепал его по гриве.

Что же до Мари Бузер, про которую он только сейчас вдруг вспомнил, то она там, в доме, так и осталась... Мятежники — идиоты, они не поняли, что человек, стоящий в одном белье на крыльце единственного приличного дома в поселке, это и есть, конечно же, самый большой начальник! А насчет безопасности оставшихся... Главное, чтобы сидели и не высовывались. Вот Бастер — тот может запросто. Ну так и поделом ему тогда. А она на рожон лезть не станет.

А все-таки нехорошо: сбежал без нее. Придется как-то объяснять. Черт бы побрал эту девчонку — как она меня одурачила! Все, говорит, не хочу больше. Генерал, вы меня в мою комнату проводите? Главное, Жан-Пьер приготовил рагу — пальчики оближешь, а она к нему еле притронулась, пошла наверх — сама впереди, а его за руку держит, чтобы, значит, при каждом шаге юбками по руке задевать.

В спальне сразу захлопнула дверь, шустро сбросила платье, потом нижние юбки; упав на пол, звякнули каркасные кольца кринолина. Его трясущимся корявым пальцам было позволено развязывать шнурки корсета. Затем, в нижней рубашке и чулках, вся розовая и пухленькая, мисс Бузер прижалась к нему, расплющила губами его рот, влезла в ширинку и быстренько там произвела обследование хозяйства. Затем прямо-таки завалила его в кровать, оседлала, и в свете луны он увидел, как выгнулась ее белая шея — лебедь, да и только!

Прямо ненасытная какая-то, подумал он. Ее бедра били как кузнечный молот, ягодицы наезжали как локомотив. Тем не менее потом, когда она лежала с ним рядом и красиво спала, ее лицо на подушке, по которой разметались густые влажные кудри, было ангельски непорочным. Ни на что нельзя положиться, — думал генерал Килпатрик. — Совсем морали в мире не осталось! Шлюшка мелкая! А я теперь в нее еще и влюбился.

III

На реке Кейп-Фир сопротивление не было особенно серьезным: мятежники давали залп и почти сразу отступали, разворачивались и задавали деру, так что вскоре объединенные силы Армии Запада были уже за рекой, и город Файеттвиль стал густо-синим, как будто дело в цвете — серый был ему нехорош, а синий показался естественным и как раз впору. На улицах кишел народ. И все же наблюдателю, видящему нескончаемый поток солдат, телег и орудийных лафетов, пролеток, линеек и двуконных фаэтонов, становилось ясно, что это не просто армия на марше, но целая сдвинутая с места цивилизация, словно в путь отправилось все человечество — вот вдоль дороги бредут черные женщины с детьми, толкая перед собой ручные тележки, или тянут, вместо волов, двухколесную арбу; а вот белые граждане Юга едут в шикарной карете, заваленной тюками и разрозненными предметами мебели и скрипящей от перегрузки. Население юга позади армии Шермана поголовно переходило в разряд беженцев и присоединялось к маршу, потому что никакого другого выхода не оставалось. И все до единого — что солдаты, что гражданские — шли мокрые и несчастные после недавних дождей. Волосы висели сырыми лохмами, одежда липла к спинам. И все одинаково — старые деды, их дети и внуки — тащились, уставившись в землю, а над ними поднимался пар под лучами солнца, которое скоро избавит их от этого наказания, но только для того, чтобы подвергнуть новому.

Перл тоже почуяла весну. Когда медицинский обоз Сарториуса катил по широкой главной улице, она даже встала рядом с возчиком, ей хотелось вобрать в себя побольше воздуха, внюхаться в него: пахну́ло свежевспаханной землей, гнильцой зимнего поля и — неужели? — ароматом сирени. На полянках вдоль обочин уже подымались первые желтые головки крокусов, зазеленели побеги дикого винограда. В одном из богатых дворов мелькнули зеленовато-золотистые колокольчики форситии. Перл хотела, чтобы Стивен тоже полюбовался этой красотой, но тот ехал с доктором Сарториусом. Она позвала Мэтти Джеймсон, и та выглянула из-под брезента, моргая и щурясь, как сурок, проснувшийся после зимней спячки.

Вы чуете, как весной пахнет, а, мачеха? — спросила Перл.

Мэтти улыбнулась своей всегдашней рассеянной улыбкой. И все же, будто восприняв сказанное Перл как предлог, чтобы немного приободриться, вынула гребни из волос, дала им свободно рассыпаться по плечам, но потом, расчесав пальцами, снова скрутила в узел и заколола гребнями.

Перл так и осталась в неведении, поняла ее мачеха или нет. Конечно, о какой весне можно вести речь кроме той, что осталась в Джорджии, на плантации, где, пока не пришла свобода, она жила и жила всю жизнь? Каждая весна, которую доведется ей встречать на этой земле, будет напоминать о тех первых в ее памяти вёснах, когда (впрочем, совсем недолго) небо над нею сияло добротой и за всем происходящим чувствовалось присутствие чего-то нездешнего, с высоты взирающего и на ее страх, и на отца с его хлыстом, не щадившим даже тех, кто по возрасту годился ей в дедушки, и на ее несчастную рабыню-мать, и на душевные песни в полях белого хлопка, когда в его белизне теряются, утопают работники, словно хлопок — это вода и они не могут оттуда выплыть; в вышине чувствовалось присутствие кого-то, существующего по иным законам, не таким как здесь, и она, тогда еще совсем маленькая, воспринимала его как настоящего, истинного Хозяина, который говорил ей: я здесь, дитя мое, слушай и знай, что мир не исчерпывается тем, что делается вокруг тебя, затем я и показываю тебе эти маленькие цветочки, раскидав их повсюду, чтобы ты любовалась ими, нюхала их и знала, что твой отец никак не может этому помешать.

Но, возможно, Мэтти Джеймсон все-таки поняла, потому что, когда Перл вновь посмотрела на нее, она улыбалась — вероятно, думала о Джорджии и вспоминала то же, что и Перл: у них было много общих воспоминаний, и вообще у них тогда было много общего, хотела она того или нет.

Наступление хорошей погоды радовало Шермана, с большим облегчением вырвавшегося из Южной Каролины, которая ему представлялась сплошным болотом, где реки не имеют берегов, а людские души — устоев порядочности. От затхлой сырости у него разыгралась астма. В груди играла музыка — по нескольку дней кряду он был прямо какой-то ходячей фисгармонией. Порой, чтобы перевести дух, приходилось напрягать всю волю — и вот тогда бывало действительно скверно. Недостаток воздуха — это ужас, который преследовал его всю жизнь[1]. Поэтому он так ненавидел воду, поэтому в закрытом помещении спал куда хуже, чем под огромным черным небом, где порукой тому, что простора и воздуха ему хватит, был свет далеких звезд.

Он не хотел, чтобы Файеттвиль стал второй Колумбией. Спустил в бригады приказ относиться к населению этого штата с уважением. То, что произошло на юге, здесь не должно повториться. В общем-то ведь Северная Каролина неохотно присоединилась к отщепенцам и, по его мнению, ее жители не заслужили наказания, которое пришлось применить к их южным соседям. Однако приказы приказами, а в армии шестьдесят тысяч человек, так что кроме общих указаний требуется что-то еще. Для охраны города он выделил полки Четырнадцатого корпуса — их он считал наиболее дисциплинированными, там меньше горлопанов, их контингент набран в основном со Среднего Запада, где живут набожные, послушливые люди.

1. Не всю жизнь, а только с 1857 года — после того как банк, управляющим которого он работал в Сан-Франциско, лопнул.

Файеттвиль довольно красивый город — жалко; да, собственно, и уничтожать там особенно нечего. Правда, обнаружилось, что старый арсенал на плато, чуть не нависающем над городом, битком набит оружием конфедератов — винтовки, пушки, тысячи бочек пороха. При нем завод, в литейке которого делали как бронзовые "наполеоны", стреляющие двенадцатифунтовыми ядрами, так и пушки поменьше — девятифунтовки. В механических цехах полки ломились от готовых винтовочных стволов. Шерман приказал, чтобы к моменту, когда армия будет покидать город, весь комплекс был подготовлен к взрыву. Жаль, конечно, — сказал он полковнику Тику. — Но мы не можем оставить тут для охраны гарнизон. Объезжая город, он указывал то на мастерскую, то на текстильную мануфактуру, и Тик с готовностью вносил их в список на уничтожение.

Вспомнили про убитых пленных. Килпатрика Шерман образумил, не дал выполнить обещание казнить по одному мятежнику за каждого зарезанного солдата. Но тут новое дело: когда в Файеттвиль входили передовые части, отступающие повстанцы захватили одного из дозорных, застрелили, а тело повесили на фонарном столбе. В связи с этим генералам Харди и Уилеру обоим послали уведомления — дескать, подумайте, к чему может привести такая преступная практика. А чтобы те действительно подумали, Шерман приказал публично казнить пленного конфедерата, избранного по жребию.

С армией под охраной двигались человек триста пленных конфедератов: обмены пленными к этому времени стали явлением довольно-таки редким. В качестве лагеря им отвели поле к востоку от Файеттвиля, где они уселись на земле рядами, вокруг которых ездил сержант-кавалерист, крутил над головой лассо и время от времени забрасывал его на дальность. Один из пленных, тощий прыщавый малый с длинной шеей и выдающимся адамовым яблоком, среди своих прослывший клоуном, встал и с ухмылкой поймал брошенную веревку, считая, видимо, что настал момент, когда вражда отступает и даже с противником можно немного подурачиться. В ту же секунду лассо затянулось у него вокруг пояса и выдернуло его, с руками, плотно прижатыми к туловищу, из рядов пленных. Некоторые из пленных повскакали, стали кричать, грозить кулаками. Но охрана состояла из нескольких десятков всадников и каждый с винтовкой в руке.

Казнь соответствующим образом обставили: сперва торжественное шествие к центральной площади, потом несчастного пленника под бой барабанов прогнали сквозь строй вытянувшихся по стойке смирно солдат и замерших верхом на лошадях офицеров, и все это под взглядами притихшей, опечаленной толпы. Шерман посчитал, что на южных генералов это подействует крепче всяких заявлений и коммюнике — пусть знают, что воспоследует, если их подчиненные будут продолжать убийства пленных северян.

Удостоверить смерть казненного выпало Сбреде Сарториусу. Он снял с его глаз окровавленную повязку. Одна пуля попала в левую щеку. Грудь разворочена, а еще одно попадание пришлось точно в лоб. Сбреде кивнул, и похоронная команда, уложив тело на деревянный щит, увезла его прочь.

Следующий день пришелся на воскресенье, и устрашенные жители Файеттвиля со всей присущей им набожностью устремились в церкви, где к некоторому своему смущению обнаружили также и солдат в синем. Но утро стояло мирное, небо голубело, и установилось не то чтобы тепло, но безветрие. По всем окрестностям полки стояли правильными лагерями; впервые за много недель непрерывного марша солдаты отдыхали, и армия походила на огромное стадо, отпущенное пастись.

Даже рыскающие по окрестностям отряды "помоечников" немножко помягчели, хотя по-прежнему вламывались в дома местных жителей, забирали одеяла с подушками, ковры для попон и палаток и всю провизию, какую удавалось найти. Многие солдаты отправлялись на реку стирать одежду либо нанимали негритянок, чтобы те делали это за них. Члены этого прачечного сообщества как раз первыми и увидели дым, поднимающийся из трубы парового буксира, который шел вверх по реке от морского побережья. Кричать и махать руками начали даже раньше, чем судно появилось из-за речной излучины, а чуть спустя, когда его гудок разнесся по городу, началось всеобщее ликование: после долгого пребывания в изоляции на вражеской территории наконец-то они не одни, наконец-то поддержаны другими федеральными силами.

Шерман радовался наравне со всеми. Неделей раньше, проходя через городок Лорел-Хилл, он послал переодетого в гражданское курьера вниз по реке Кейп-Фир в Вилмингтон, чтобы уведомить находящегося там генерала-северянина о том, что он скоро будет в Файеттвиле. Услышав теперь гудок парохода, Шерман понял, что курьер дошел. Еще этот гудок сказал ему, что путь по реке свободен и можно для снабжения использовать транспортные суда военно-морского флота.

Высыпавшие на пристань солдаты окружили буксир и без всякого снисхождения осыпали моряков насмешками: откуда, мол, такие черти чумазые выискались!

Пока капитан буксира ждал в приемной генеральской резиденции при арсенале, Шерман, расхаживая взад-вперед, диктовал письма, а его адъютант, осатанев от усердия и спешки, за ним записывал. Ум Шермана работал так неустанно, что Тику пришлось назначить секретарями еще двоих младших офицеров. Командующий писал Гранту, что собирается соединиться с Армией Огайо генерала Скофилда в Голдсборо, и тогда их совместные силы достигнут девяноста тысяч штыков. Он предвидел большое сражение с войсками мятежников, перегруппировавшимися под командованием генерала Джо Джонстона, единственного в их стане толкового командира. Меньше всего ему хотелось, чтобы Джонстон вклинился между ним и Скофилдом, который движется из Нью-Берна вдоль реки Нейсы, поэтому время имеет решающее значение.

Стентону в Вашингтон он отправил хвастливое донесение о победах, одержанных его армией после Саванны: столько-то миль железных дорог разрушено, такие-то взяты города, столько-то захвачено вооружений. Пускай Ли мертвой хваткой вцепился в свой Ричмонд, — писал он. — Мы сожжем и разрушим все вокруг, и что тогда проку ему с этого Ричмонда?

Так. Всем, всем, всем! Генералу Халлеку в Вашингтон письмо отправили... генералу Терри (это который в Вилмингтоне засел)... ну, кто еще

у нас с кампанией на юго-востоке хотя бы косвенно связан? Казалось, Шерман хотел весь мир оповестить о том, что он снова в силе. Возможно, долгая хиджра[1], начавшаяся у меня после Шайло, закончится еще до прихода лета, — писал он жене. — Твои объятия, дорогая Элен, — вот моя Медина. Шагал взад-вперед, чесал в затылке, потирал руки, перья секретарей быстро-быстро летали по бумаге. Полковник Тик охватившую Шермана страсть к писанию писем истолковывал однозначно: генерал почуял победу.

Мелочей для него не существовало, все надо было обдумать. Покончив с письмами, Шерман отозвал Тика в сторонку. Судно отплывает назад в Вилмингтон нынче вечером в шесть, — сказал он. — А эта сдобненькая беженка, которую Килпатрик вывез из Колумбии — как, бишь, ее звать-то? Мари Бузер, — подсказал Тик. Да, Мари Бузер, — повторил Шерман. — Я хочу, чтобы ее отправили на этом судне. И мамашу ее с ней вместе. Да смотрите, чтобы Килпатрик вплавь догонять их не бросился.

С девицей Бузер генерал Килпатрик не виделся с того самого дня, когда на Соломонову Рощу налетела кавалерия повстанцев и он возглавил успешную контратаку, сидя на коне без седла и в одном белье. Впоследствии один из его подчиненных рассказал ему, что люди видели, как она куда-то скакала, одетая лишь в боевой флаг Килпатрика. Для генерала потеря личного боевого флага — величайшее унижение, но потеря Мари со знаменем вместе нанесла Килпатрику удар, от которого он и вовсе не чаял оправиться. Куда она сбежала, а главное — с кем? Потому что вряд ли она покинула поле битвы одна. Красоткины сундуки и тюки с багажом исчезли тоже. Оказавшись в Файеттвиле, он повсюду ее искал. В него словно бес вселился. Вознамерился, если найдет, увезти куда-нибудь в Южные моря и поселиться там с нею на острове. А пропитание добывать ловлей рыбы. Ну да, а что? Там ведь можно и вовсе каких-нибудь кокосов с дерева натрясти. Глядишь, пообедали. Или, если ей уж так хочется быть женой знаменитого генерала, он придет с войны со славою и станет баллотироваться в президенты. А нужны деньги — пожалуйста: на этой кампании он довольно-таки неплохо погрел руки. Еще в Южной Каролине его люди перехватили караван, тайно пробиравшийся через лес, — два фургона, набитых ценностями из подвалов коммерческого банка. Сейфы, полные серебряных слитков, золотых монет, наличных денег, облигаций. Конечно, бóльшую часть добычи он сдал интенданту Шермана. Но храбрецы, все это захватившие, заслужили награду. А он что — не заслужил разве? Закон о дележе трофеев действует не только на море.

В штабе Килпатрика забеспокоились. Что с ним? Бродит по лагерю в растрепанных чувствах, опустив голову и сцепив руки за спиной, при этом грубые черты его лица, приличествующие воину, рубаке, обмякли — прямо какая-то маска умирающего фавна. Он послал в город несколько человек, чтобы все вдоль и поперек обыскали и попробовали выяснить, куда Мари подевалась. Последовал доклад: их с матерью видели у реки.

1. Хиджра — букв. переселение (*араб.*) — бегство в 622 г. пророка Мухаммеда из Мекки в Медину от замысливших его убить неверных.

Был ранний вечер, негреющее солнце повисло над горизонтом, Файеттвиль залило бледным предвечерним светом. Килпатрик галопом примчался в город, распугивая попадающихся на пути пешеходов, и ринулся на пристань; копыта его коня дробно грохнули по деревянному настилу. Здесь все еще был пришвартован буксир из Вилмингтона. Судно провожала толпа. Трап только что втащили на борт, и моряки на носу и корме готовились выбирать причальные концы. Так вот где она! Стоит у поручней — ах ты шлюшка ты мелкая: уже об руку с каким-то молодым красавцем-офицером; но как хороша! Смотрят на него. Килпатрик так привстал на стременах, будто возьмет сейчас да и прыгнет прямо с коня на палубу. Конь заплясал, закружился, и разговор тоже пошел как бы кругами, точно стрелки по циферблату. Что она несет? Что мне вкручивает? Этот майор (кто такой? — Килпатрик что-то не узнаёт его) едет в Вашингтон, везет почту; он любезно согласился проводить Мари и ее матушку до Вилмингтона и посадить там на корабль. Да черт бы побрал этого коня, допек уже, успокоится он или нет! Мари, — воззвал он, — послушай. Я... — но в этот момент пароход выдал два свистка, таких пронзительных, что у всех присутствующих заложило уши. Конь попятился. Мари засмеялась, и галантный офицер прикрыл ее нежные ушки ладонями в белых перчатках. Мама с дочкой были не единственными пассажирами, на борту находились еще несколько штатских южан. Они махали собравшимся на пристани, и люди на пристани тоже махали им и что-то выкрикивали. Медленно-медленно судно отвалило от причала. Полоска воды ширилась. К Мари подошел моряк и что-то передал ей — пакет, что ли? Генерал! — сквозь шум и крики донесся ее голос, и тут его конь опять закружился, а когда его вновь удалось развернуть мордой к судну, что-то уже летело по воздуху, распадаясь, трепеща на ветру, и попало Килпатрику прямо в лицо и на грудь. Донесся ее смех и смех того майора, а когда он отлепил от лица то, что она ему бросила, пароход был уже на середине реки, белый и нарядный на фоне зеленого дальнего берега. А Килпатрик остался со своим боевым флагом в руках стоять, глядя на взбаламученную синюю воду в том месте, где только что был пароход, и слушая, как тает на ветру звонкий смех бессердечной девки.

Назавтра пришли канонерки и транспорты, привезли для армии кофе и сахар. Они должны были забрать в Вилмингтон следующую порцию белых беженцев, присоединившихся к маршу. Шерман затеял очередной сброс балласта. Хотел, чтобы ничто не обременяло его на следующем этапе кампании. Количество освобожденных рабов, приставших к армии после Саванны, превысило уже двадцать пять тысяч. Ненужные нахлебники. Организовать из них отдельную колонну, дать нескольких офицеров сопровождения, пару телег с продовольствием — ну, чем-то ведь придется ради этого пожертвовать, — и пусть катятся куда-нибудь к побережью. Пусть продолжают свой исход, — пробормотал Шерман, — но только не в одном со мной направлении.

Больных и раненых за время марша тоже поднакопилось изрядно; им выписали предписания и отправили с пришедшим по реке транспортом. По улицам Файеттвиля протянулась медленная печальная процессия санитарных карет с военным оркестром впереди — музыка играла якобы в честь героев, принесших себя в жертву на алтарь войны, а на

самом деле должна была просто заглушать крики и стоны. Тем не менее на улицах ошеломленно останавливались, смотрели и думали о том, какова истинная цена войны.

На пристани полковые хирурги, их ассистенты и военные санитары руководили переноской пациентов на носилках по трапу на борт и распределением их по койкам лазарета. Перл сопровождала пациентов, шла рядом с носилками, разговором отвлекала от боли, прикладывала к воспаленным лбам холодные компрессы, брала за руки, улыбалась и заверяла, что они едут туда, где в северных госпиталях все их болячки как рукой снимет; ну а потом — домой. Работая с нею рядом, Стивен Уолш поражался ее самообладанию. В таком юном возрасте — и такая сила духа; он и сам всякое повидал, бывал в сражениях, но на хирургические операции смотреть не мог, отворачивался, а слыша звуки, которые заставляет издавать боль, и вовсе с ума сходил, да и в самом деле ведь ужас, скольким болезням подвержено большое скопление людей, к тому же от болезней вид у них жалкий и жутковатый, на все это разнообразие мучений невозможно смотреть: у кого кожа слезает, кто мечется в бреду, воспаления, дурные запахи... Все это вместе — неприкрытая, безбожная насмешка над человеческим достоинством как таковым. Но Перл, похоже, обладала способностью видеть за недугом человека, каким он был и каким он, если повезет, станет снова.

Какая-то ты прямо железная, мисс Перл Джеймсон, — сказал как-то раз Стивен, когда они убирали отходы в одной из полевых операционных полковника Сарториуса. — Как ты только можешь здесь работать, когда такие вещи видеть приходится!

Ты большой городской мальчик с Севера, Стивен Уолш. Иначе бы знал: что я на этой войне ни увижу, оно будет ничуть не хуже того, чего приходится насмотреться в рабстве любому ребенку с момента появления на свет.

А Стивен, чтобы быть поближе к ней, как только его ожоги зажили, подал прошение о переводе в медицинский департамент. Поскольку Сбреде Сарториусу постоянно требовался персонал, он подписал необходимые бумаги. Хотя обязанности санитара обычно не прельщали добровольцев и перевод в медицинский департамент подчас расценивался как наказание, Сарториус ни о чем Стивена не спрашивал, в его побуждения не вникал, да и едва ли он вообще когда-либо снисходил до размышлений на подобные темы. Ему было о чем подумать. Едва лишь армия вышла из Колумбии, он посадил Стивена в фургон рядом с собой и стал рисовать эскиз — что-то вроде каркаса для довольно большого вертикального ящика с сиденьем, привязными ремнями и съемным поручнем. Это сооружение следовало установить и приколотить к полу фургона. Для чего устройство предназначено, Стивену объяснять было не нужно. Еще когда он бродил по госпиталю в тот первый вечер в Колумбии, он видел солдата с гвоздем в черепе. Солдат, сидевший на столе, улыбнулся ему и, подняв руку, пошевелил пальцами. Тем же вечером по указанию полковника Сарториуса мужчину уложили на спину в койку и привязали ремнями, чтобы он не мог во сне перевернуться. Удивило Стивена то, как Сарториус, не спрашивая, посчитал само собой разумеющимся, что он умеет плотничать. Он действительно умел, он и на станках работать был обучен. Да и вообще любил мастерить.

В городке Чироу, что у самой границы с Северной Каролиной, при местном арсенале имелся склад пиломатериалов и деревообделочный цех. Сообразуясь с эскизом, Стивен принялся за дело. Город за стенами арсенала подвергался обычному поруганию. Было слышно, как там идет грабеж. Позже войска выстроили для парада — это оказался как раз день второй инаугурации президента Линкольна. Орудия для салюта поставили в ряд, и земля вздрогнула от залпа из двадцати трех пушек. Стивен отмерял, пилил и строгал. Старался так, будто делает мебель красного дерева. Сборка ящика, в который будет посажен тот пациент, доставляла ему истинное удовольствие. Остов изделия он обшил досками, но только до уровня пояса. Использовал древесину твердых пород, тщательно подбирая заготовки. Углы скрепил болтами. Привязные ремни сделал из конской упряжи, а на поручень, чтобы сидящему в ящике человеку было за что хвататься, когда фургон станет прыгать и раскачиваться на ухабах или при езде по загаченным участкам дороги, пустил отрезок железного прута.

Как становится хорошо, как спокойно, когда с упоением работаешь, делая понятную, конкретную вещь! Определенность цели дает уверенность. Вещь как бы сама обретает форму, возникая из небытия. В полевой хирургии наоборот — там никакая проблема не получает окончательного разрешения иначе как посредством смерти. А на марше вообще нет места, которое годилось бы в качестве базы — точки или плоскости, от которой ведутся измерения. Будто, шагая, ты толкаешь ногами землю, и она от этого поворачивается, набегает на тебя, а вся армия при этом подвешена к летящим по небу облакам.

Когда ящик был готов, Стивен залез в него и закрыл глаза. Полковник отнесся к нему с доверием, и он это доверие оправдал. Вдруг накатила волна сочувствия к тому пациенту. А когда Сбреде зашел проверить и одобрил плод его усилий, Стивен Уолш так разулыбался, будто его наградили медалью "За боевые заслуги".

Сарториуса и весь медперсонал расквартировали в доме, расположенном на восточной окраине Файеттвиля. Армия простояла в городе четыре дня, а завтра на рассвете должна была снова выступить в поход. К полуночи все, кроме Перл и Стивена, спали. Из отведенного им помещения на чердаке они спустились в кухню, потому что Перл захотелось помыться. Зажгли свечи; чтобы раскочегарить печку, Стивен набил в топку поленьев и щепок. Сходил во двор, где был колодец, за водой. Одно ведро оставил на полу, другое водрузил на плиту греться. В сенях было железное оцинкованное корыто, они вместе принесли его. Перл разделась, а Стивен налил в корыто горячей воды, после чего поставил на плиту второе ведро. Я люблю, чтобы вода была горячущая-прегорячущая, — сказала Перл. — И вообще: нет ничего лучше горячей ванны. Он старался не смотреть, однако она, похоже, не возражала, чтобы он увидел ее без одежды, хотя дверь тщательно заперла и занавески задернула. У нее отросли длинные волосы; стоя, она завязала их сзади ленточкой. Он залил в ванну второе ведро воды, а она оперлась о его плечо ладонью и, улыбаясь, попробовала воду пальчиками ноги. Впервые в жизни он пребывал в таком ошеломлении. Лишился дара речи, замер и

чувствовал себя полным идиотом при виде этой стройняшечки, этой голой белой негритянки, стоящей прямо перед ним.

Но тут она села в корыто, скрестив ноги как малое дитя, плеснула себе в лицо водой и легла, погрузившись по плечи, чтобы как следует намокнуть, а потом снова села с куском бурого мыла в руке, которым принялась водить по шее и грудям, поглядывая на Стивена с такой негой в глазах, что он тут же стал ругать себя гнусной скотиной за те ощущения, которые у него было возникли. Однако он чувствовал, что Перл понимает, какое все это на него оказало воздействие.

Намыль мне спину, пожалуйста, — сказала она.

Подтащив табурет, он сел сзади нее и, нахмурившись, стал водить мылом по ее плечам и спине, стараясь не пропустить ни одного позвоночка.

Слушай, Стивен Уолш, — вдруг заговорила она, — я ведь знаю, что́ у всех мужиков на уме. Не совсем уж я дура-то! Тебе сколько лет?

Девятнадцать.

Н-да... а я вот не знаю, сколько мне. Думаю, лет тринадцать, и уж наверняка немногим больше четырнадцати. Это я знаю потому, что мачехины сыновья, брат номер один и номер два, были всегда, сколько я себя помню, а у брата номер два тем летом был день рождения, ему пятнадцать исполнилось. И ростом они оба меня выше. Так что вот таким вот образом.

Тебе не о чем беспокоиться.

Ну... это я знаю. Я здесь вообще бы не сидела, если бы не знала.

А в следующий миг он чуть не выронил мыло, потому что она вдруг говорит: А когда придет время и я что-то такое почувствую, думаю, если кто у меня будет, так это будешь ты, Стивен Уолш.

Он притащил простыни и завернул ее в них, когда она встала. Она стояла неподвижно, а он вытирал ей плечи, спину, и попу, и бедра, сквозь полотенце ощущая упругость тела. А что, — спросила Перл, — в смысле — вот, все солдаты писали письма, чтобы отправить их с почтовым судном, а ты?

Я — нет, мне, в общем-то, некому писать.

Что, никаких родственников?

Да что им писать, они и читать не станут.

Она повернулась лицом к нему, по-прежнему в простыне, держа ее у горла. Как жаль, — сказала она. — Жаль-жаль-жаль. Нью-Йорк, где ты живешь, это ведь самый союзный город Союза! Я как раз туда собираюсь, ты знаешь это?

Нет. А когда?

Ну, когда война кончится. У меня письмо того бедного лейтенанта Кларка, помнишь, я о нем говорила?

Ну, письмо, и что с того?

Вот я и думаю, зачем отправлять его с почтовым судном, если я теперь могу сама прочитать адрес? Я привезу это письмо его маме и папе в Нью-Йорк и обо всем им расскажу.

О чем обо всем?

Как он заботился о Перл, прятал ее, сделал ее мальчиком-барабанщиком, чтобы ей было безопаснее. Их это может слегка утешить.

А что там за адрес?

Вашингтон-сквер, дом 12 — вроде так получается.

Конечно! район, где живут богатые...

Ну, наверное, среди богатых тоже есть хорошие люди, если их сын пошел воевать за свободу негров. Она улыбалась, ее лицо было все еще в капельках, карие глаза широко открыты, а ленточка с волос свалилась. Грудь Стивена Уолша наполнилась чувством до боли сладостным, таким сильным, что он еле сдержался, чтобы не прижать девушку к себе.

Дом 12? — спросил он, с трудом проглотив комок в горле.

Ага, на Вашингтон-сквер.

Я знаю, где это, — сказал он. — Я тебя туда провожу.

Перл проснулась оттого, что ей на лицо сквозь маленькое чердачное оконце пал свет луны. Луна поднялась высоко и светила прямо в глаза. Надо же — оказывается, она лежит, уютно прижавшись спиной к Стивену. Его рука покоится у нее на плече. Они лежали на волосяном тюфячке, который сбросили на пол с имевшейся на чердаке узенькой кровати. Хотя оба были полностью одеты, их накрывало тонкое одеяльце, слишком тонкое для такой холодной серебристой ночи. Девушка лежала не шевелясь. Обнимающая рука вдруг стала ее смущать. Тяжелая какая. Перл чуть отодвинулась, чтобы рука сползла в зазор между ними.

Потом закрыла глаза, попыталась снова заснуть. Как раз нынче вечером ехали в фургоне и проезжали мимо поля, где лагерем стояли негры. Теперь эта картинка ясно всплыла в ее памяти. Как все сидят у костров, и беготня детей, и запах готовящейся пищи, и палатки для спанья, и тележки с вещами. И пение: пели печальный псалом, и это было как тихое шелестенье ветра, звуки будто исходили от самой земли. Под такое пение она когда-то родилась, она с детства помнила этот молитвенный плач об их земной доле. Вот и опять они так знакомо пели, и все они такие же как она, только она теперь не с ними, она едет в военном фургоне, на ней военная форма и добрая солдатская еда в желудке, а рядом белый парень, прикованный к ней будто цепью. Эти негры прослышали, что их ведут не туда, куда движутся колонны генерала Шермана, и они теперь не знают, куда идут, не знают, что их ждет там, как не знают и того, можно ли быть свободными мужчинами и женщинами, выйдя из-под прикрытия армии.

Перл никак не могла снова заснуть. Зачем она солгала Стивену Уолшу? Она прекрасно знала, сколько ей лет — лет ей было пятнадцать, вести счет годам мать ее научила и сообщила, что родилась она десятого июня, когда воздух как сладостное питье, а листья на деревьях еще так молоды и нежны, что, трогая их, будто чувствуешь солнечное тепло. Зачем же Стивену она рассказала эту складную сказку, да в таких подробностях, да приплела еще и братьев Джеймсонов номер один и номер два, прямо даже сама себе почти поверила. К чему это? Ей нравился Стивен, ее к нему тянуло, втайне она гордилась, что приворожила его, — взрослый человек, а влюбился: это же сразу видно! Это было ей лестно, давало ощущение избранности; хотелось быть еще смелее и раскованнее в общении, непринужденнее в отношениях с людьми. Потому что, если она ему нравится, надо и самой соответствовать.

Так зачем же она солгала? Да просто с языка сорвалось, она и сообразить ничего не успела. Зачем — совершенно непонятно, ведь и она испытывает к нему нежные чувства. Ей нравится его голос и манера держаться, к тому же, когда он что-то говорит, в его словах всегда содержится ясная мысль. Он не болтает языком зря. Умеет молчать так, что становится понятно: парень не дурак, наоборот, это личность глубокая, человек, который знает больше чем говорит. А еще становилось понятно, что он недоволен чем-то в своей жизни, точно так же как и она, но не хочет попусту на эту тему распространяться. С того момента, как она бинтовала его обожженные ладони, самое себя она стала воспринимать по-новому. А еще ей нравится его рот; иногда ей стоит большого труда удержаться, до того хочется вдруг взять да и поцеловать его в губы.

Но тут у нее возникла мысль, от которой она подскочила чуть ли не с криком. Чем она занимается с того момента, как ушла с плантации? Липнет к белым, вот чем! С первого же дня, когда ее поднял к себе в седло лейтенант Кларк! Потом крутилась даже около самого генерала Шермана, который тоже не остался к ней равнодушен (он, правда, думал, что она мальчишка-барабанщик); а потом через мисс Томпсон добилась назначения санитаркой к этому полковнику-доктору, а теперь вот и со Стивеном — ведь она ведет себя как белая, живет среди белых бок о бок с белой мачехой и негритянскую свою сущность прячет под мундиром белой федеральной армии. Боже, какой ею овладел стыд, как ей стало тошно! Джек Иерли прямо будто напророчил, когда они с Джубалом Сэмюэлсом приходили забирать ее и старый Джек обозвал ее Иезавелью. Но чтобы быть Иезавелью, надо сперва гулящей стать, а она же не гулящая! Нет, конечно нет, господи, но я гораздо хуже — нежусь тут, будто я такая же как они, стараюсь им понравиться, как делают иногда рабы: чтоб защититься, пускаются во все тяжкие — кланяются и пятятся, и ножкой шаркают, и глупо улыбаются, а тут одна такая наладилась уже и мисс Мэтти Джеймсон прислуживать, заботится о ней напропалую, холит ее и лелеет! А ведь мне ли не знать, что, когда я была еще маленькой, она хотела, чтобы папа продал меня куда-нибудь подальше. А теперь гляньте на меня: в итоге-то с аукциона никто меня не продавал, а я взяла и сама себя продала — чем не рабыня, рабыня я, как моя матушка Нэнси Уилкинс!

Эта мысль заставила Перл вскочить на ноги: не хочу быть чьей-то!

Глянула на спящего Стивена Уолша; залитое лунным светом его лицо казалось призрачным. Кто этот белый человек, который чувствует себя вправе руками тут ее обхватывать? А она кто, если, будучи негритянкой, позволяет ему это и ради тепла прижимается телом к его телу? Точно так же, как я этой ночью со Стивеном Уолшем, лежала когда-то и мама с папой Джеймсоном, и папина рука, обнимающая маму, была, наверное, такой же тяжелой, как рука Стивена на моем плече. Так какая же я свободная женщина? Никогда я не была свободной, будучи явной негритянкой, и теперь, в качестве псевдобелой, я несвободна точно так же.

Через мгновение, перебирая босыми ногами ступеньки, она стремглав неслась вниз по лестнице. Выскочила во двор и бросилась через дорогу на луг, где в отдалении расположились лагерем черные. При луне она

все отчетливо видела: кочки и ямки, бледные стебли травы, шалашики, пристроенные к телегам, и тлеющие угли костров, светящиеся как звезды в ночном поле. Через десять минут она уже бродила между палатками этого импровизированного поселения, где многие не спали — завернувшись в одеяла, сидели у костров, укачивали на руках младенцев или просто стояли около своих повозок и смотрели на странную пришелицу. В их глазах она была белой женщиной, женщиной из армии, и, если им и было непонятно, что она тут среди них делает, они не унижались до приставания с вопросами. Их герой и спаситель генерал Шерман предписал им самостоятельно куда-то следовать и указал направление куда. Они хотели чтить его, славить и поклоняться ему, а он взял и отослал их прочь, предоставив самим себе, так что куда они теперь идут и что их там ждет — неясно. Для этих людей, что на нее сейчас так странно смотрят, она живое воплощение генерала, словно это на ней — в силу цвета кожи и форменного обмундирования — лежит ответственность за их горькое разочарование. Перл шла и отрицательно мотала головой, будто споря с ними; хотя никто ей ничего не говорил, она знала, о чем они думают. И впрямь: зачем она пришла сюда, что ей тут делать? Она сама не знала. Она искала кого-нибудь из знакомых. Может быть, Джека Иерли или одноглазого Джубала Сэмюэлса, хотя они, вероятно, давно уже отстали где-нибудь по дороге. А еще недурно бы — из тех, кого она знала по плантации, — найти Роско: он хороший, простой, добрый человек, другого такого и вовсе не сыщешь — кто бы еще, как он, бросил к ее ногам завернутые в платок золотые денежки. Она пощупала их в кармане, удостоверилась, что они по-прежнему при ней; она так делала каждый день по меньшей мере раз десять. Был момент, когда попавшийся на пути худой лысый мужчина с огромными темными глазами ласково улыбнулся ей беззубой улыбкой, и она чуть не крикнула: Роско! Но то был не он.

Теперь, когда она увидела, как огромен их лагерь — а он раскинулся во всю ширь поля без конца и края, заходя и на другую сторону дороги, где тоже стояли ряды палаток до самого леса, — Перл почувствовала себя такой же беспомощной, как когда-то на плантации; все, чем она так гордилась, служа в федеральной армии, все ее теперешнее благополучие показалось ей постыдным — ведь то, что она сама пристроилась, а на остальных наплевала, сделало ее ничуть не лучше самовлюбленного папаши-рабовладельца. И вообще: ее белизна, этот наследственный белый цвет кожи показался Перл худшим из всего, что мог передать ей папаша, худшим из всего, что в нем было, потому что из-за этого ей теперь наплевать на всех этих несчастных людей, что вокруг нее, она оставила их одних подобно тому, как это, с их точки зрения, сделал генерал Шерман: освободил, а потом послал куда-то, непонятно куда, в земли, которые им по-прежнему не принадлежат. Да и чего сама-то она добилась? Всего лишь крыши над головой, защиты от непогоды в бурю — словно какая-нибудь дворовая девка: глядит из окошка на полевых негров, и невдомек ей, что она-то ведь тоже себе не хозяйка.

Тем же вечером чуть раньше Хью Прайс сказал мальчику по имени Дэвид, что пристроит его куда-нибудь к таким же, как и он, цветным, и, не успел он это сказать, Дэвид мало того что крепче вцепился в его руку,

так еще и за ногу ухватил, в результате чего англичанин брел по лагерю негров так, словно у него на ноге цепь с ядром. И неудобно, и ведь стыдно же!

Прайс доставил его в Файеттвиль на том же кривобоком муле, по дороге обнаружив, что заботиться о маленьком ребенке — задачка еще та. Дэвид был легковато, не по погоде, одет, и Прайс снял с себя свитер, отдал ему, подвязав веревкой, чтобы не болтался балахоном. Ребенок постоянно хотел есть. Раньше Прайс, с его британской ироничной небрежностью, легко и непринужденно пристраивался поесть вместе с солдатами, но теперь, когда за ним хвостиком тащился этот негритенок, его простота перестала действовать, и "помоечники" отказывались пускать его к своему котлу, за все требуя деньги.

Его уже не столько трогал рывок мальчугана к свободе, сколько злило собственное легкомыслие. Не его это дело освобождать рабов, правда же? А он взял и посадил мальчишку к себе в седло. Опрометчивый, неумный поступок, прямое нарушение строгого правила быть нейтральным, сторонним наблюдателем. Не очень хорошо подумав, он решил, что власти в Файеттвиле его от этой обузы освободят. Только вот какие такие власти? В городе хаос. Всем распоряжается армия, для местного населения жизнь сделалась совершенно непонятной. Никто ничего не знает. В Лондоне — да, там есть детские приюты для сирот, и этим в низших сословиях широко пользуются, преспокойно подбрасывая новорожденных на крылечко такого заведения — пусть, дескать, общество отдувается. Конечно, там это белые подкидыши, но кто бы мог себе представить, что в цивилизованной стране — ну, война, ну и что, что война! — нет домов для нежеланных детей, пусть даже и черных.

Хуже всего, что, когда за тобой тянется такой довесок, невозможно добиться, чтобы тебя воспринимали всерьез как профессионального журналиста. Ему трудно стало добывать материал для заметок. Например, дошло до него, что сепаратисты, наконец, собирают армию, которая будет не уступать Шермановой. Где она, как велика и в каком месте может нанести удар — это были главные, важнейшие вопросы. Он пошел в штаб Шермана, куда не так легко пробиться, и там одного хмурого взгляда командующего флангом генерала Ховарда (а тот еще этак глазом повел от журналиста к мальчонке) хватило, чтобы подскочил адъютант и заявил Прайсу, что ему здесь делать нечего. При том, что здесь же вовсю мельтешили его конкуренты — ребята из "Геральд трибьюн", "Лондон телеграф" и "Балтимор сан". Где-то здесь вызревал главнейший сюжет всей кампании, и Хью Прайс чувствовал, что он уплывает из рук.

Были, впрочем, сюжеты, которые отнять не мог никто. Днем он потащил Дэвида на гору, где стоял файеттвильский арсенал: солдаты рушили здания и поджигали их. Там царило мрачное веселье — взявшись по нескольку человек, солдаты били таранами в кирпичные стены, упряжками в двенадцать-четырнадцать лошадей растаскивали камни фундаментов. Вокруг собралась толпа, люди смотрели, но то и дело вынуждены были отскакивать назад, потому что из развалин вырывались языки пламени, вылетали искры и горящие уголья. Дэвид дергал Прайса за рукав. Нехорошо здесь, — повторял он, — мне тут не нравится. А потом одно из зданий с ужасным грохотом взорвали, оно рухнуло, и на его

месте воцарился настоящий ад: пыль, пламя... С этого момента мальчик, по-видимому, начал считать их связь неразрывной и вечной, потому что, прежде стойкий малый, Дэвид стал слезлив, капризен и докучлив. Не изменилось ничего и к вечеру, когда Прайс привел его в лагерь, где расположились освобожденные рабы, сказав, что пришло ему время найти себе пристанище среди соплеменников.

Вот уж кого-кого, а соплеменников мальчонки тут было с избытком, и более оборванной и обездоленной человеческой массы Прайс никогда не видывал. По большей части это были женщины, чаще старые, чем молодые, множество стариков, и лишь изредка попадались мужчины в расцвете сил. Сам привыкший к походной жизни, ничего особенно худого в условиях, когда единственная крыша это небо, а единственный дом — место у костра, Прайс не находил. Таким манером люди жили с незапамятных времен. Вот только состояние, до которого были доведены эти существа, — многие с увечьями, другие сгорблены пополам, иссохшие и обессиленные, — показалось ему ужасным: ведь их всех в прошлом содержали, как содержат лошадей или мулов, и это на какой-то миг наполнило его яростью. Но сейчас ему нужно было найти кого-то, кто может выполнить предназначение женщины: ему нужна была негритянка с сильным материнским инстинктом и достаточно твердо стоящая на ногах, чтобы, не задумываясь, взять на себя заботу о ребенке или о еще одном ребенке. Она должна быть здоровой, в фартуке и головном платке и с сильными, добрыми руками. Прайс улыбнулся. Нужна мамка.

Давай-давай, Дэвид, — повторял он, — за руку держись. Не беспокойся, я тебя не брошу.

Дело было еще довольно ранним вечером. Он все никак не мог понять принцип, по которому люди здесь группируются — то ли вместе собирались соседи по плантации, откуда все они родом, то ли просто валились с ног, кто где стоял, как загорающие на берегу[1]. Вдруг оказался рядом с большой группой, окружившей старца, взобравшегося на ящик. У старика, несмотря на его чахлую седую бороденку, вид был совершенно библейский — этакий знатный патриарх, хотя в лохмотьях и с палочкой. Черные сыны Африки! — начал он негромким грудным голосом. — По человеческой своей природе мы лучше, а по происхождению благороднее этих американо-европейцев, которые заковали нас в цепи и плетьми загнали работать на поля. К тому же мы по-настоящему чтим нашего Господа, который своею кровью объединил все нации, чтобы они вместе обитали на этой земле. Ну и что, что нас освободил какой-то генерал? Он — что, из-за этого перестал быть одним из белых? Поклонение Шерману есть богохульство, ибо не он ваш Бог. Он преследует собственные цели. Евреи, собираясь для исхода из Египта, не просили, чтобы их вел египетский генерал. Те евреи — они шли за человеком из своих, вот и мы должны поступать так же: мы сами себе армия. Скажете, у нас нет оружия — пушек и мушкетов? Не важно, мы армия свободных и праведных, тех, кто не ищет легких путей и милостью Божией сам прокладывает себе дорогу.

1. Морские купания (обставленные особыми церемониями) вошли в моду лишь в последнем десятилетии XIX в., а загорать, валяясь на берегу, начали лишь в 1920-е гг.

Какая-то женщина выкрикнула: А ты кто, старик, — Моисей? Раздался смех, но патриарх сказал: Нет, сестра. Я бедный старый полевой раб, который обрел свободу умереть как мужчина. Но Господь Бог наш знает: я истинно говорю. Если вы ждете, чтобы генерал защитил вас, вы все еще несвободны. Свободой должно наполниться ваше сердце, она должна возвысить ваш дух. Давайте не будем оглядываться на белых: они такие же простые смертные, и нечего ждать от них пропитания, спасения и крыши над головой. Опираться надо на таких же как мы сами, и Бог поможет нам, Бог укажет нам путь. Мы пробыли в пустыне куда больше сорока лет. Перед нами земля обетованная. Плодитесь и размножайтесь, делайте ее своею!

Аминь, — крикнули несколько человек, другие же презрительно заулюлюкали. Хью Прайс мысленно уже бежал на телеграф со статьей о бунтарских настроениях среди негров. Но сперва надо уладить свою проблему. Ходил, бродил, но все никак не мог ни к кому подступиться. С Дэвидом, которого ему то и дело приходилось отдирать от ноги, он пробирался среди черных, пока не увидел нечто вроде бы подходящее: женщину с двумя детьми, которые ужинали у костра. Женщина напекла кукурузных лепешек и теперь смотрела то на Дэвида, то на Прайса, потом опять на Дэвида.

Ты что, сынок, потерялся? — спросила она.

Нет, мэм, — отвечал Дэвид, не отрывая глаз от сковороды с оладьями.

Как тебя зовут?

Его зовут Дэвид, — сказал Прайс. — Он сирота. Нужно, чтобы кто-нибудь приютил его.

Вот как? Ты не потерялся? А это кто? — спросила женщина у Дэвида. — Твой папа?

Да, мэм, — ответил Дэвид.

Я не отец этого ребенка. Меня зовут Хью Прайс. Корреспондент лондонской "Таймс".

Не отец?

Нет. Ведь это же и так должно быть очевидно.

Женщина усмехнулась. Только не мне, — пояснила она. — Сейчас еще не понять, какой у него будет цвет кожи, когда он вырастет.

Послушайте, уважаемая...

Мне отмщение — разве не так сказал Господь? — И она снова усмехнулась.

Вы что, в самом деле думаете...

Она оценивающе посмотрела на Прайса. — А что, похож. От мамы получил цвет кожи, а глаза папины. А посмотрите на его ступни и ладошки! Высоким вырастет, как вы.

Ч-чушь какая! Послушайте, я дам вам денег.

Каких денег? — нахмурилась она.

Каких-каких — федеральных долларов.

Ай-яй-яй! — Она вытерла руки тряпкой, сняла сковороду с огня и сбросила оладью на сложенный в несколько раз кусок газеты. — Все еще горячая, — сказала она Дэвиду. — Пусть немножко остынет.

Ну так что?

Женщина с усилием поднялась с земли, сперва со стоном встав на одно колено. Одернула юбку, приложила ладонь ко лбу и огляделась по

сторонам. Что-то солдат не видно, — сказала она. — Надо бы позвать военных, чтобы вас арестовали.

Меня?

С работорговлей покончено, на ней запрет, слыхали об этом? Больше нельзя ни покупать, ни продавать людей.

Я никого не продаю. Я хочу дать вам денег, чтобы вы позаботились об этом мальчике.

А, конечно. Был бы постарше, вы бы за него денег попросили. А от такого маленького что толку? Поэтому платите вы. Но и так и сяк это против закона об ослобо... освобождении, если слыхали о таком.

Я просто хотел предложить вам средства на его содержание. Вижу, у вас уже есть двое своих, и я понимаю, какое это тяжкое бремя.

Вот, Дэвид, — сказала женщина. Она наклонилась и подала ему оладью в бумажном кульке. — Возьми это и иди со своим папой прочь, пока я его в тюрьму не упекла. Я уж не говорю о том, каков должен быть человек, который хочет продать собственного ребенка, — сказала она Прайсу.

Она скрестила руки на груди и поглядела в ночное небо. Боженька, дорогой! — проговорила она. — Наполни сердце этого белого человека стыдом и раскаянием. Наполни его своей славой. Пусть покается и возблагодарит тебя, Господи, за то, что Ты благословил его таким прекрасным мальчиком. Во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, аминь.

Ты зачем наврал? — спросил через несколько минут Прайс. — Ты разве не знаешь, что врать нехорошо? Нет? Не знаешь? — он почти кричал. Но Дэвид, доев оладью, лишь крепко ухватил Прайса за руку, а что-либо отвечать отказывался. Шел рядом и спокойно смотрел в будущее. Как будто это Прайс дитя, а Дэвид взрослый, который вынужден терпеть его детские выходки. Милостивый Боже, — думал Прайс, — это ж, если я опять к кому-то подойду, он снова так сделает! Скажет, что я его папаша, и всему конец!

Понимая, что его перехитрили, Прайс даже покраснел весь. Этот ребенок наделен незаурядной хитростью раба. А инстинктивный рывок к свободе — не принял ли я за него нечто другое? Как глупо было так подумать. Скорее маленький паршивец просто спасался от хлыста. В моих объятьях он ушел от наказания. Ну конечно, все дело в этом. Да ведь небось и заслужил он причитавшуюся порку.

Руку ребенка в своей ладони Прайс ощущал как нечто намертво к нему прикипевшее. Всё, терпеть больше нельзя. Я больше, старше, сильнее и умнее тебя, мой милый мальчик. Твой новоизбранный папаша не повторит одну и ту же ошибку дважды.

А тем же вечером несколько позже блуждающая в расстройстве по лагерю Перл наткнулась на толпу, собравшуюся вокруг мальчонки, который сорвал с себя всю одежду. И никому не позволял до себя дотронуться. Сидел в грязи скрестив ноги, бил себя кулачками по бедрам и всхлипывал. Стоило кому-нибудь приблизиться, он переходил на визг. Увидев Перл в форме санитарки, народ расступился. Она встала перед ребенком на колени. Лунный свет смыл все теплые оттенки его кожи, и она стала прекрасного иссиня-черного цвета. А в тот краткий миг, когда он

прервал свой плач, чтобы присмотреться к ней, выражение его лица было достаточно спокойным, и Перл увидела, что мальчонка довольно мил. На ее взгляд он выглядел лет на шесть или семь. Перл кивнула, словно соглашаясь — дескать, да, конечно, ты имеешь полное право плакать; потом сочувственно улыбнулась. Она протянула к нему руку и, хотя он дернул головой, попытавшись уклониться, все же коснулась ладонью его лба, и он не противился. Ей показалось, что у него жар. Да и глаза его, опухшие от плача, показались ей глазами больного. А долго ли он здесь просидел? Уже и у нее босые ноги давно замерзли, так что дело ясное: не важно, долго он пробыл в таком положении или нет, сидение на влажной холодной земле ничем хорошим для него не кончится. Она собрала валявшуюся вокруг одежду; все было мокрым и вымазанным в грязи.

Чей ребенок? — выкрикнула она. — Кто-нибудь заберет ребенка или нет?

Несколько человек в один голос заверили ее, что ребенок, судя по всему, ничей.

А вы все только стоите вокруг и смотрите? Что вам тут — балаган, что ли? — возмутилась Перл. — Ну-ка, кто-нибудь, принесите мне, чем его укрыть.

Ты потерялся, мальчик? — спросила Перл.

Он отрицательно покачал головой.

Тебя, наверное, мама ищет?

Он опять отрицательно покачал головой.

Перл протянули одеяло, и, когда она вновь поглядела на Дэвида, тот неотрывно смотрел на нее, уже не плача, а только судорожно хлюпая носом, который он вытирал тыльной стороной ладони.

Через минуту он уже был завернут в одеяло и она несла его на руках; назад по лагерю шла тем же путем, каким и забрела туда. Мальчик был тяжелее, чем показался на первый взгляд; прильнув к ней, он дрожал и стучал зубами. Настрой у Перл был решительный. Возьму его с собой на марш, — сказала она себе. А если Стивен Уолш намерен на мне жениться, он должен понять, что, хотя кожа у меня и белая, за все хорошее я его запросто могу наградить такой же вот смоляной куколкой.

IV

Выехав на арсенальное плато, остановились у здания, еще стоявшего целым посреди разрухи. Пока армия стояла, его использовали как временную ставку командования. Военные еще выносили из него короба и стопки папок с документами. Грузили в фургоны. Другие по настилу из досок, брошенных поверх ступенек крыльца, закатывали внутрь бочки с порохом.

Если бы мы не тащились нога за ногу, — сетовал Арли, — я бы уже ехал по пятам за генералом Шерманом, где бы он сейчас ни был. А теперь — вон, смотри: за рекой колонны разделяются, и откуда мне знать, в которой будет он сам? Эка ведь! Будто синяя змея ползет да на ходу еще и надвое делится!

Мне нужны химикаты, — сказал Кальвин. — У нас по каждому городу имеется оставшийся от мистера Калпа список фотосалонов с адресами. Кроме того, фотография генерала Шермана у нас уже есть, мистер Калп ее еще в Джорджии сделал, и с ним вместе все его генералы там сняты.

Да наплевать, мы его щелкнем еще лучше, вот только найти бы...

Зачем?

Зачем? Затем! Ты слишком много вопросов задаешь, Кальвин. Но я тебе отвечу: он, должно быть, слегка состарился. Точно как я тут с тобой — от одного того, как трудно тебя заставить двигаться шустрее.

Кальвин хлестнул Берта вожжами, и они начали спускаться по извилистой дороге к центру города.

Мы говорили о деле, — напомнил Кальвин. — Люди нашей профессии советуются друг с другом, даже если один из них негр. Вот я и говорю: этот фотограф, мистер Свонк из Файеттвиля, работает главным образом с женщинами и детьми, а также с юными девушками, впервые выходящими в свет.

Ага! Расфуфыренные барышни в бальных залах... А он что — не слыхал, что война идет?

Здесь война идет всего четвертый день. Поэтому у него должно быть много материалов — коллодий, реактивы всякие и даже пластинки с уже нанесенным чувствительным слоем, заправленные в кассеты, хотя мистер Калп всегда предпочитал делать пластинки сам. Изготовить их как надо — это еще не каждый сумеет, — говорил он мне. Лучше, когда делаешь все своими руками.

В городе стояла жуткая вонь. По улицам люди ходили, уткнувшись носом в платок. Колонны войск шли беглым шагом — скорей, скорей добраться до реки и перейти мост.

Пф-фу! — выдохнул Арли.

Им удалось вклиниться в хвост колонны, и даже Берт затопотал копытами вроде чуть порезвей обычного. Чем ближе подъезжали к реке, тем сильнее делалась вонь. Подъехали и резко встали в шоке от увиденного: по всему травянистому откосу берега лежали мертвые лошади и мулы. И по реке тоже плыли. Река в этом месте была широка и медлительна, плывущие трупы переворачивались, в воздухе вдруг оказывались их торчащие ноги, потом туши снова переворачивались, кружились, сталкивались, будто гоняясь друг за другом, хотя были явно мертвы.

Кальвин покачал головой. Зачем было губить столько животных?

Да ну тебя, Кальвин, был бы ты военным, понимал бы, что армия тем самым просто вроде как выносит свой ночной горшок. Животных используют на полную катушку, чуть не до смерти, вот и приходится регулярно избавляться от ни к чему не пригодного тягла и набирать новое, при этом мне лично кажется, что некоторые из этих мертвых доходяг были куда как в лучшей форме, нежели твой Берт. Будь мы действительно деловыми людьми, давно бы уже поменяли его, и он плыл бы сейчас там, извергая гнилостные газы в небо Файеттвиля, а то стоит тут, понимаешь ли, красуется и доволен собой донельзя.

Лучше бы он не слышал, когда вы так говорите. Смотрите, как голову повернул и ушами прядает.

Что ж, если ты слушаешь, Берт, — сказал Арли, — тогда давай-ка двигайся живее, коли не хочешь с теми тушами в реке хороводы водить.

Поскольку Берт не шевельнулся, Арли покосился на Кальвина. Ты так же глуп как он, если думаешь, будто он меня понимает. Все, что он понимает, — это хлыстом по заду. А с вами, неграми, вечно так: насочиняете себе всякого! Про мулов сказок напридумывали, про сурков, да вот и про янки про этих тоже...

Сказки про янки в результате принесли нам свободу.

Да ну! Может, вам и дали подышать, только воздух сильно испортили. *Пф-фу!* Хороший, свежий ветер был бы сейчас просто милостью Божьей. Ни один южный благородный генерал никогда в жизни не оставил бы тысячи трупов вонять посреди города. Ни в коем случае. От лишнего тягла он бы избавился где-нибудь в пустынном месте, где никто бы от этого не страдал. Старина Шерман всячески стремится оставить по себе память. Вот против такого поведения мы в первую очередь и восстали. Эта ваша исходящая от янки свобода — такая же сказка, как то, что мул понимает по-человечески.

Что ж, посмотрим, посмотрим, — пробормотал негр. Передернул вожжами, и Берт вклинился в поток транспорта, движущегося в направлении моста через реку. — Однако почему-то мы не за южным благородным генералом гоняемся, чтобы сделать его фотоснимок, — добавил Кальвин.

Как только полк Сбреде Сарториуса перешел на ту сторону реки Кейп-Фир и двинулся дальше к востоку, Сарториус привязал коня к фургону, в котором везли его странного пациента, забрался внутрь и продолжал путь с ним вместе. Пациентом был капрал Альбион Симмс из Восемьдесят первого полка Армии Огайо — тот, которому в череп воткнулся гвоздь.

Это произошло в результате странного инцидента, когда еще в Колумбии порох сваливали в реку Салюда и почему-то он вдруг взорвался; много народу погибло, а Альбион Симмс, очнувшись, обнаружил, что сидит на земле и тяжело дышит, а в голову словно что-то ужалило, и он потянулся рукой потрогать.

Затем пораженные однополчане доставили его в госпиталь Колледжа Южной Каролины, где, попав под наблюдение Сбреде Сарториуса, он был немедленно уложен и обездвижен, чтобы как-нибудь ненароком не причинил себе еще большего вреда. Сбреде брил пациенту голову и одновременно расспрашивал его. Альбион Симмс утратил память. Все его рефлексы были в норме, он хорошо видел и слышал, мог отвечать на вопросы, но до момента, когда почувствовал, что его что-то ужалило, он не помнил ничего. Ему сказали, как его зовут и в каком полку он служит, но он это воспринял, будто абсолютно новую информацию.

Естественно, при появлении такого пациента — совершенно невредимого, если не считать черепа с торчащим из него гвоздем, — военные хирурги быстро забегали. Всем до смерти надоели рутинные ампутации и по большей части бесполезные попытки лечения заразных болезней,

и врачи встрепенулись — такой интересный случай! Ожили амбиции: профессионалы они или кто? Собрали консилиум, хотели делать операцию, но Сбреде, которого, хотя и недолюбливали, но признавали лучшим, сказал, что сам он за такую операцию не возьмется — слишком велик риск.

Гвоздь — обычный, из тех, которые используют при постройке армейских телег, — вошел в кость черепа повыше уха почти вертикально. И накрепко застрял. Может, конечно, возникнуть осложнение в виде образования рубцовой ткани или нагноения, — сказал Сбреде, — но хирургическим вмешательством мы только ухудшим положение. Если посмотреть вблизи, видно, что трещин при ударе не возникло. Чисто колотое проникновение. Примерно на три дюйма гвоздь торчит снаружи, значит на два дюйма железо проникло внутрь теменно-затылочной области. Да там еще кость впереди. Применить трепан нельзя, и нельзя выдернуть гвоздь, как выдергиваешь из пальца занозу. Дел наделаем наверняка, а состояние, как оно есть сейчас, по крайней мере стабильно.

Пока над ним совещались, взгляд несчастного Альбиона, привязанного к смотровому столу, метался туда-сюда, останавливаясь то на одном враче, то на другом. Сосредоточенные бородатые офицеры, склонившись над ним, застили собой белый свет. Он заволновался, начал натягивать ремни, пытаясь вырваться. Сбреде Сарториус поглядел Симмсу в глаза и, улыбнувшись, положил руку ему на грудь. Капрал Альбион Симмс, — сказал он, — вам не будут делать операцию. То, что вы выжили, это чудо. Вот этим-то чудом, его изучением, мы и должны заняться.

В глубине души Сбреде Сарториус, должно быть, признавал, что такого пациента надо бы отправить в госпиталь на Север; со строго медицинской точки зрения брать его на марш как минимум неоправданно. Первая заповедь врача: не навреди. Так что езду по ухабистым, разбитым дорогам, вне всякого сомнения, ему прописывать не следовало. Но от возможности, наблюдая этого солдата, узнать что-то новое о работе мозга отказываться не хотелось. По всем прогнозам пациент был обречен. Летальный исход всего лишь вопрос времени — мозг будет реагировать на повреждение резче и резче, и сознание начнет уходить, как вода при отливе. Но все же ожидается некий процесс. И пусть уж этот процесс пройдет под его наблюдением.

Исключительно для Альбиона Симмса Сбреде выделил санитарную карету с мягкой подвеской, там его привязали, и от самой Колумбии он ехал в ней вслед за армией, то один, то вместе с хирургом.

В конце каждого дневного перехода, закончив срочные операции (столкновения с отрядами противника не оставляли без работы ни на день), Сбреде находил время поговорить с пациентом и записать наблюдения. Через несколько дней память Альбиона уже не сохраняла момент увечья. С некоторых пор, слыша звуки, он видел цвета. Перестал узнавать начертание цифр. Иногда жаловался на боль и головокружение. Тем не менее аппетит сохранял хороший. И хотя память о прошлой жизни полностью утратил, однажды вдруг вспомнил слова и мелодию песни и даже спел ее врачу:

Вещая кукушка, птица-красотуля,
Если метишь в небо, то уж вниз-то не ныряй!
И хотя б до дня Четвертого июля
Ты мне не пророчь до-орогу к Богу в рай.

Он пел тонким, писклявым голосом, заведя глаза горе, будто видит птицу, о которой поет. Сбреде сделал песню критерием стабильности состояния пациента — каждый день во время разговора стал просить его спеть. Через неделю Альбион уже не мог вспомнить ни слов, ни того, что была какая-то песня, а когда его спросили, что такое Четвертое июля, не ответил. Потом однажды он запел эту песню снова, а на следующий день опять ничего не помнил.

Тем временем кто-то из коллег Сарториуса (он не знал, да и не пытался выяснять, кто именно) известил министра здравоохранения, который в свою очередь телеграфировал в штаб Шермана приказ по ведомству, чтобы немедленно по прибытии в Файеттвиль полковник Сарториус отправил капрала Симмса в центральный военный госпиталь в Вашингтон. Приказ пришел, когда армия проходила городок Чиро.

В ответ Сбреде распорядился, чтобы Стивен Уолш соорудил ящик, в котором теперь содержался Симмс вместе с неотделимым от него гвоздем. Днем ты теперь ложиться не будешь, Альбион, — сказал ему Сбреде. — Будешь смотреть в окошко, как там поживает окружающий мир.

Армейский идиотизм Сбреде презирал всегда, он знал, что, едва они выйдут из Файеттвиля, в верхах ни одной мысли по этому вопросу больше не возникнет, особенно если — как он сильно подозревал — в ближайшие дни армия столкнется с гораздо более активными действиями неприятеля, нежели те, к которым все привыкли. К нынешнему моменту его разочарование в медицинском сообществе Армии Запада стало окончательным и бесповоротным. Сколько ни предлагал он новых методик и способов лечения взамен устаревших стандартных, сколько ни изобретал устройств, облегчающих проведение операций, ничто не прививалось. По некоторым его предложениям еще не приняли окончательного решения. И еще долго не примут — война, во всяком случае, точно успеет закончиться. Он не искал признания для себя лично. Не нужно было ему и повышения в чине. Но его все больше раздражала, просто до остервенения доводила традиционная система мышления медиков. Опыт не шел ей на пользу, она ни за что не хотела меняться, врачи лишь тупо наблюдали за тем, как неэффективны, как убийственны их способы лечения несчастных раненых и искалеченных парней, вверивших себя их заботам.

К проблеме рабства Сарториус не был равнодушен, иначе не принял бы офицерской должности в федеральной армии. Но он был европейцем, диплом получил в университете Гёттингена и с самого начала чувствовал себя чужим. С его точки зрения, варварскую жестокость войны компенсировать могло только богатство врачебной практики. Чем больше тебе встречается увечий, чем они разнообразнее, тем быстрее учишься. Однако, похоже, лишь он один рассматривал американскую Гражданскую войну как адъюнктуру и практикум.

При том, что самого себя Сарториус считал человеком высокогуманным, он замечал, что не все и не всегда считают его таковым. Похоже, между ним и американцами есть некая изначальная разница, и потому в одинаковых ситуациях он ведет себя во многом не так, как они. Держится более официально, стараясь не выглядеть вызывающе, и за это ему приписывают высокомерие. У него трудно вызвать улыбку? — понятно: значит, он смотрит на них холодными глазами, как энтомолог на насекомых. Он всегда был спокоен, сдержан и уверен в себе, а европейскую цивилизацию покинул, потому что видел в ней систему насилия над личностью и не хотел становиться ее частью. Прибыл в Америку, как и все, за свободой. Но в американцах ему чего-то не хватало — возможно, ощущения трагичности бытия. Именно это ощущение и побудило его еще в школьные годы заняться наукой. Потому что альтернатива такая: либо наука, либо полное отчаяние. Но в это утро в фургоне, когда Сбреде под стук по брезентовому пологу капель начавшегося дождя снова задумался о судьбе Альбиона Симмса, ему пришло в голову, что, может быть, между его сознанием и сознанием странного пациента существует некое загадочное сходство: в мозгу Сарториуса как будто тоже что-то отмирает — именно это и побуждает его доискиваться знания, невзирая на последствия.

Отмирает? Что, например? Ну, скажем, в последнее время он все реже думает об Эмили Томпсон. Он заметил, что его воспоминания об их разговорах, ясности ее ума, интеллигентной честности, самоотверженной тщательности в работе, о мягкой южной напевности ее речи, плавности движений, о том, наконец, как он держал ее в объятиях, — все это со временем теряет отчетливость. И улетучивается гнев на нее. Наверное, постепенно память о ней выветрится совершенно или, по крайней мере, перестанет причинять ему боль.

Они стреляют в меня, — воскликнул Альбион Симмс. Его глаза встревоженно расширились.

Нет, Альбион, это просто стучит дождь.

Дождь?

Да, это очень сильный дождь стучит по нашей утлой крыше. И хлопает на ветру брезент. Но звуки страшные, в этом я с тобой согласен.

Как вы меня назвали?

Альбион. Тебя так зовут.

Так меня зовут?

Да.

Как меня зовут?

Альбион Симмс. Ты забыл?

Да. Я забыл. А что я забыл?

Вчера ты свое имя помнил.

А сейчас вчера?

Нет.

Я забыл, что такое вчера. Голова болит. Что это у меня болит?

Голова. Ты сказал, что у тебя болит голова.

Болит. Но я не помню. Я скажу слово и тут же забываю. Я сказал "забываю", а что я забываю?

Слово.

Да. У меня и голова поэтому болит. Теперь уже все время. Вот что болит. Как, вы сказали, меня зовут?

Альбион Симмс.

Нет, не помню. Никакого прошлого не стало. Теперь все только в настоящем.

Ты плачешь?

Да. Потому что теперь все только сейчас. Черт, о чем я?

О том, что теперь все только сейчас.

Да. — Альбион в слезах держался за свой поручень и кивал. Потом стал раскачиваться взад-вперед, взад-вперед. — Теперь всегда сейчас, — повторял он. — Всегда сейчас.

Бедный ты мой страдалец, — подумал Сбреде. — Для всех нас существует только настоящее. Но для тебя, быть может, чуть в большей степени.

Снаружи дождь будто пошел еще сильнее. Но тут же Сарториус понял, что это галопом мимо проскакала конница.

Килпатрик, двигаясь со своим войском по дороге на Аверасборо, форсировал реку Кейп-Фир, вызвав на себя огонь противника. Он был готов к битве. Ох, как он был сердит! Его подчиненные привыкли к тому, что он обожает драться, но теперь он постоянно пребывал в мрачном озлоблении, которое, неровен час, могло запросто обратиться и на них. Выкрикивая команды, крутился под дождем на месте, будто его вращает ветром. И ветром же уносит команды прочь.

Его полк выдвинулся вперед для разведки боем. Кавалеристы спешились, развернулись широкой цепью и двинулись через пустоши по обе стороны дороги. Почва под ногами была рыхлой и ненадежной — глубокий пропитанный водой песок. Из леса открыли огонь. Командир передовой роты лейтенант Оуки плюхнулся на живот, стал настраивать бинокль. Увидел добротные редуты из песка и бревен. Четкие залпы изрыгающих огонь "энфилдов" говорили о том, что это не просто кавалерийский разъезд.

Солдаты, пригибаясь, бежали вперед против ветра; мешала болотистая почва — жижа, чавкая под сапогами, хватала за ноги. Холодный дождь хлестал в лицо. Фронтальный вражеский огонь казался лейтенанту Оуки искрами бенгальского огня, освещающего путь. Все залегли, палили вразнобой в направлении леса. Через миг прорезалась артиллерия — двенадцатифунтовки; вокруг засвистела шрапнель. Обхватив голову руками, Оуки вжался в грязь. Позади грохнул взрыв, раздались крики и стоны. Скакавший галопом вдоль цепи полковник вскрикнул, его конь осел и стал заваливаться. Едва всадник успел сползти с седла, как конь рухнул в трясину зыбучего песка. Офицер беспомощно смотрел, как бьющееся животное вязнет и, медленно утопая, смотрит расширившимися от ужаса глазами, всей головой дергая, как кролик ушами. Потом его голова исчезла, и болото с ужасным чавканьем над ней сомкнулось.

Когда через двадцать минут последовал приказ отходить, все, возвращаясь, дружно падали в траншеи, которые по приказу Килпатрика, оказывается, успели вырыть за их спиной. Теперь ставилась задача защищать позицию — это было официальным признанием того, что про-

тивник достаточно силен. Кавалерию оттянули на более удобные позиции, где приказали окопаться, и вскоре сотни людей рыли землю, усиливая укрепления бревнами и рогатинами. Очень спешили, и действительно почти сразу цепи противника встали и пошли вперед. Пальба поднялась ужасающая. Вдохновляясь собственным безрассудством, люди Килпатрика выдержали натиск. Повстанцы откатились, и вслед им тут же выслали разъезды боевого охранения; там и сям начались мелкие стычки.

Килпатрик отправил курьеров к генералам Шерману и Слокуму. Докладывал, что наткнулся на одну, а может и две пехотные дивизии мятежников. Скорее всего, это части генерала Харди. Килпатрик просил прислать две, а лучше три пехотные дивизии — для усиления его позиции и осуществления обходного маневра. Еще нужна тяжелая артиллерия, более дальнобойная, чем у противника.

Перед приходом темноты южане снова двинулись в атаку, но тут осажденную кавалерию спасло прибытие пехотной бригады из Двадцатого корпуса Слокума. С наступлением ночи стрельба прекратилась. Солдаты обеих сторон, как могли, на корточках, под кустами коротали холодную и сырую мартовскую ночь. Федералы костров не жгли. Грызли галеты, ругая мятежников, погоду и войну, заворачивались в мокрые одеяла, прикрывали лица шляпами, чтоб дождь хотя бы в рот не заливал, пока пытаешься заснуть. Специальные команды пошли искать раненых и убитых, а в миле-двух позади линии окопов расположились уже подтянувшиеся фургоны полевого госпиталя, который начали разворачивать в реквизированных для этой цели домах ближайшего хутора.

Следующим утром еще до рассвета мятежники поднялись из окопов и давай накатывать атаку за атакой, так что все происходившее накануне показалось комариными укусами. Когда из туманных болот вылезло сероватое от слабости солнце, одна из пехотных бригад Слокума, собравшись с силами, рванула на приступ, однако вскоре оказалась на грани разгрома. Инсургенты атаковали яростно, с дикими криками. Федералы подтянули свежие части, усилили фланги, держались как могли. Положение выровнялось, с обеих сторон не прекращался огонь, и тут федеральная артиллерия с дальностью действия до четырехсот ярдов принялась утюжить позиции повстанцев; инициатива перешла в руки северян. Шерман был довольно далеко от сражения, сидел у своей палатки в сосновой роще, куда, впрочем, тоже временами залетали то осколки, то картечь, и обдумывал тактические ходы, тогда как стоящие рядом офицеры штаба ежесекундно готовы были бежать передавать приказы. С виду равнодушный, нисколько не интересуясь развитием событий, как-то нехотя он предложил всей массой федеральных сил предпринять обход справа вслед за изрядно обескровленной пехотной бригадой из корпуса Слокума. Полковник Тик без промедления перевел его мысль в чеканную форму приказа, и тотчас же, мелькнув за деревьями, вдали растаял силуэт конного курьера.

Рядовой Бобби Бразил, отсидев небольшой срок в военной тюрьме в Колумбии, вышел и узнал, что 102-й Нью-йоркский полк ушел в поход без него. Никаких особых чувств эта новость у него не вызвала, тем бо-

лее что в полку он прославился в основном как пьяница и дебошир, и достижения его на этом поприще возмущали даже единственного во всем полку собрата по вере, такого же, как и он, католика Стивена Уолша, который, правда, по уши напичкан иезуитской праведностью, — пай-мальчик, что с него взять. Впрочем, перевод Бразила в полк округа Дюшес, укомплектованный тупоголовыми сельскими парнями, большим подарком тоже не оказался, и особенно ему там не понравилось, когда пришлось лежать в болотной жиже у Аверасборо в ожидании приказа идти в атаку, которая запросто могла закончиться для него на небе, где Богу было бы что сказать ему напоследок, перед тем как оформить еще один перевод — куда, остается догадываться, но ясно, что на веки вечные.

Вот выкрик, револьверный выстрел, он вскочил, бежит, что-то вместе со всеми орет, перепрыгивает через тела и, главное, смотрит в оба, чтобы не попасть на желтую песчаную плешку — туда только ступи, проглотит и не поперхнется. На деле, а не на словах, не то что та смазливенькая ирландская девчонка в Колумбии, которая — сю-сю-сю! — говорила, будто он такой вкусненький, так прямо всего бы и съела. И какой же я, по-твоему, на вкус? — спросил он тогда у нее. Как ореховое пирожное, — ответила та, — а сердце словно из сладкого крема.

Господи, да помоги же мне хоть добежать-то, хрен с ними с пулями мятежников, от одного бега того и гляди грудь лопнет, — со стонами он набирал в легкие воздух, чувствуя на губах капли дождя, и вдруг — вот уж везуха-то! — споткнулся об упавшего мертвым парня, что бежал впереди, куда-то полетел, кувыркаясь через голову, плюхнулся в грязь, ловя ртом воздух, при этом дождь теперь бил уже прямо в лицо, и тьма перед глазами — как странно: день, а такая тьма! Спиной чувствовал, как промокает мундир, как грязь сочится за шиворот и в штанину, как она ползет у него по затылку — будто змея. Вообще-то можно было бы и полежать тут, перевести дух хотя бы, если бы не эта жижа и не чьи-то сапоги, что шлепают над самым ухом по грязи, обдавая фонтанами брызг. Иуда преподобный! Не хватало еще, чтобы до смерти затоптали свои же олухи из округа Дюшес! И он вновь поднялся на ноги, повернул в правильном направлении, которое определил по тому, куда бегут мимо него солдаты; где-то впереди были редуты — о! оказывается, наши уже там, он победитель, гонится за убегающими суржиками; некоторые падают на колени, поднимают руки, а он их тычет штыком с усмешкой прирожденного убийцы, хотя, вообще-то, на самом деле он ткнул одного из них штыком случайно, лезвие вошло мягко, без никаких костей. Он навсегда запомнит взгляд того парня и как он потом пихал его ногой, вынимая штык, чтобы бежать дальше за южанами-пушкарями, которые бросили орудия и рассеялись по лесу, — этакий злой орущий призрак с намокшим, не стреляющим ружьем, а потом его штык каким-то образом с маху вонзился в сосну, и пока он трудился, силясь его оттуда выдрать, ноздри наполнились запахом смолы, а в уши ударило громовое общее "ура": траншеи взяты.

Но за первой линией траншей оказалась вторая, южане пришли в себя, перегруппировались, и сражение шло до самого вечера, пока не взяли и вторую линию, но они отступили к третьей — эта была вырыта на верху

откоса и как следует укреплена бревнами; она перегораживала узкую шейку полуострова с дорогой на Аверасборо — река Кейп-Фир с одной стороны, Блэк-Крик с другой. Так что уперлись: позиция — кремень, фланги защищены водой, а вокруг повсюду рыщет кавалерия Хэмптона.

Нам сегодня задали перцу больше, чем я полагал возможным, — признал в тот вечер Шерман. Он изучил карты и вместе с генералами Слокумом и присмиревшим Килпатриком вновь проработал данные разведки, из которых следовало, что перед ними войска генерала Харди численностью тысяч в десять штыков. Шерман удивился — и как это Харди не клюнул на ложный выпад, а то должен был бы защищать сейчас Рэлей: именно туда по дороге на Аверасборо демонстративно двинули часть сил Слокума. А он — нет, стоит тут как скала, ждет, пока подойдет генерал Джонстон с основными силами. Если Джонстон идет сюда из Рэлея, стало быть, знает, что на самом деле моя цель — Голдсборо. Чертовы газеты, — пробормотал Шерман. — Их читает и Джо Джонстон, и кто угодно, так что куда бы я ни пошел — пусть просто к дереву пописать, — эту новость сразу узнаёт весь мир.

Из этого полковник Тик понял, что генерал, недооценив противника у Аверасборо, пребывает в некотором ошеломлении.

Вечером Шерман со штабом вместе поехал на фронт. Дождь в конце концов перестал, и в прохладном сыром воздухе с полей доносились крики раненых. В темноте санитары доставляли их на носилках к телегам, на которых развозили по домикам, реквизированным под госпиталь. Южан с полей тоже собирали, и Шерману бросилось в глаза, как они молоды и как плохо одеты: многие босиком, да и форма — не форма, а так, что-то вроде. Он объехал домики госпиталя, сказал какие-то ободрительные слова ожидающим операции и пообещал сообщить домой тем, кто знал о себе, что умирает. Тик записывал имена. Печальная миссия; назад в ставку Шерман ехал насупясь. В сегодняшнем сражении он потерял восемьдесят человек убитыми и четыреста семьдесят пять ранеными. А третью линию обороны повстанцев еще надо взять. Это потребует лобовой атаки, а значит куда бóльших потерь. В такие моменты Шерман начинал в себе сомневаться, вплоть до мурашек, до дрожи. Потом бодрился: да ну, дядюшка Билли, какая ж это была бы война — вовсе без поражений! Неужто Джо Джонстон совсем дурак — ведь не полезет же здесь, когда у него за спиной река Нейса. Судя по виду его парней — а мы на них нынче вечером насмотрелись, — его боевое знамя сшито из тряпья, которое собирали по всем свалкам ветоши Юга. В Голдсборо — значит в Голдсборо, а если он сунется, я ему голову оторву.

Впрочем, уснуть в ту ночь Шерман так и не смог. Вышел из палатки, влез на бугор, стоял, смотрел на дорогу, ведущую к Аверасборо, где за редколесьем виднелись костры конфедератов.

Только это были ложные костры: инсургенты разожгли их и тут же смылись, так что лишь наутро, когда в ту сторону послали пластунов и те выяснили, что траншеи брошены, генерал позволил себе слегка улыбнуться.

Мэтти Джеймсон, которая теперь ходила с длинными, распущенными по спине волосами, оставила вверенных ее попечениям раненых, лежавших на подстилках у ворот сарая, и ушла в холодную сырую ночь

смотреть на мертвецов. На сей раз их разложили у парадного подъезда хозяйского дома, а через дорогу похоронная команда копала могилу. С некоторых пор Перл больше не сопровождала мачеху во время этого ее ритуала; все уже привыкли, что как только выдается возможность, Мэтти Джеймсон обязательно подойдет и будет бродить среди тел, ожидающих захоронения, будет склоняться к каждому, вглядываться — не ее ли это сын лежит. И когда окажется, что ее сына среди них нет, все равно будет рыдать, кусать себе руки и трясти головой — может быть, потому, что их матерей нет поблизости и некому их оплакать.

Перл сомневалась, чтобы Мэтти вдруг действительно увидела тело кого-то из братьев, потому что очень уж велика эта война, и, если их убьют, то вряд ли они попадутся ей на глаза. При этом Перл была совсем не против того, чтобы ее братья, засранцы чертовы, оба погибли, она лишь не хотела, чтобы бедная, уже и так полупомешанная женщина наткнулась еще и на трупы сыновей. Теперь, когда с ними в фургоне ехал мальчонка Дэвид, Перл на собственном примере почувствовала, как в женщине, едва она поймет, что нужна кому-то маленькому, откуда ни возьмись появляется бездна материнской любви.

О братце номер один и братце номер два Перл знала, что они сволочи и мерзавцы, без всякой причины злобно истязавшие рабов, при этом Джон-младший распускал руки, а слюнтяй и поганец Джейми (младшенький) его науськивал и раззадоривал, а еще они вместе подсматривали за купанием в реке черных женщин; да много чего они дурного делали — к примеру, украдут на кухне лакомый кусок, а на черных свалят. А однажды, когда папаша выпорол одного из полевых работников — в тот раз это был Эрнест Хокинс, самый сильный и гордый из рабов, — и тот после наказания лежал с располосованной спиной на земле, за руки привязанный к столбу забора, кто, как не мальчишки прибежали с солью и начали втирать ее ему в раны! Их ненавидела вся плантация. Даже Роско, мягкий и снисходительный — ни разу никому худого слова, — и тот тогда, отходя в сторону, пробормотал, что однажды они у него доиграются. Перл довольно легко удавалось не подпускать к себе братьев, однако ей вдруг припомнилась мысль, еще в то время пришедшая в голову: ведь когда она вырастет, вырастут и они тоже, и что тогда делать, непонятно, особенно если папаша помрет и они станут ее владельцами. Она пришла с этим к Роско, а Роско и говорит: мисс Перл, не бери ты себе в голову, пусть только попробуют, Роско убьет их своими руками, они тебя и пальцем тронуть не успеют, — убьет их и умрет счастливым человеком, потому что будет точно знать, что отправляется в рай.

Сейчас, однако, ей было недосуг думать о вещах посторонних: когда в сарае работают сразу три хирурга, не знаешь, куда бросаться. Она вместе со Стивеном отгребала окровавленное сено в углы и приносила охапками свежее, разбрасывала вокруг операционных столов. И такой стон стоял, такой крик! Однажды санитар позвал ее помочь держать над лицом пациента салфетку с хлороформом, раньше ей это не доверяли. И каждые несколько минут, при первой возможности, она подбегала к дверям сарая глянуть на дом, где оставила Дэвида под наблюдением живших там белых, потому что без надзора он непременно найдет дырочку, через которую подсмотрит тут то, чего ему не забыть никогда,

проживи он хоть сто десять лет. Санитарные кареты их везут и везут, раненые солдаты уже повсюду — лежат, простертые на земле, сидят, прислонившись спинами к деревьям, некоторые молятся, другие просто тихо лежат и молчат, сосредоточенные на том, чтобы не умереть раньше времени. Еще мальчишка может увидеть операционные отходы, которые выносят в дверь и бросают в большую яму. Ей тоже выпадало это делать; однажды у очень крупного мужчины по самый пах ампутировали ногу, и она была такая тяжелая, что Перл в одиночку было не справиться, Стивен нес, взяв за верхнюю часть, а она сжимала в руках босую ступню, все еще теплую.

Вдруг Перл и все вокруг нее услышали отчетливый на фоне ночных звуков, тонкий и резкий, как гвоздем по стеклу, вопль, разом перекрывший стоны множества раненых, возгласы суетящихся санитаров, грубоватые команды хирургов; все застыли как пришибленные хлестким ударом этого крика, который был так звонок, что отозвался в каждой груди, пробудил там все отчаяние войны, полностью определявшей строй их жизни. Куда там залпу из мушкетонов, куда орудийной канонаде — ничто не перевернет душу военного так, как этот звук! Даже Сбреде Сарториус на миг оторвался от кровавых своих трудов, а когда вернулся к ним, ему самому его наука показалась бессмысленной на фоне такой монументальности человеческого несчастья.

Перл, конечно же, поняла, кто кричал, рванулась вон и, обогнув сарай, бросилась к парадному подъезду, где сразу увидела мачеху на коленях перед трупом, лежавшим на траве с полным — можно было бы сказать — безразличием на лице, если бы лицо имелось, но оно вместе со всей верхней челюстью было снесено выстрелом. Волосы обгорели, а все оставшееся покрыто черной запекшейся кровью. Крики Мэтти вздымались и опадали, набирали силу и никли, но не было ни мгновения, когда можно было подумать, что они исходят из груди человека. Она начала рвать на себе волосы. Перл опустилась на колени рядом с ней, взяла за руки и принялась уговаривать: Слушайте, мачеха, это не ваш сын, вы же толком даже узнать его не можете — лица-то у него, считай, вовсе нет! Пойдемте, пойдемте отсюда.

Двое могильщиков с другой стороны дороги подошли поближе, глядели, качали головами. И не важно, что погибший был мятежник, — солдатскому уму ясно: нет на войне ничего хуже горя матери.

И тут Перл увидела то, чего не видела раньше. Мэтти узнала сына, и, чтобы доказать это, расстегнула его окровавленный мундир, обнажила убитому грудь, и там, чуть ниже правой ключицы оказалась родинка величиной с медяк, которую мать с самого дня появления на свет младенца считала знаком особого его предназначения.

Взяв это дело в свои руки, Перл тихо переговорила с солдатами-могильщиками, и они положили тело на одну из двуколок, служивших похоронными дрогами. Перетащив телегу через дорогу, они отделили земляной стенкой самый конец вырытой под братскую могилу траншеи, устроив там нечто вроде отдельной могилы, и, пока Перл прижимала к себе Мэтти Джеймсон, загораживая от нее это зрелище, тело опустили в яму и забросали землей, после чего могильщики сняли шляпы и стоя-

ли молча, пока сержант, их начальник, говорил положенные в таких случаях слова.

Спасибо, — сказала им Перл и увела мачеху в фургон, где уложила спать, напоив настойкой опия, которую с разрешения полковника Сарториуса взял в сундучке с лекарствами и принес Стивен Уолш.

Однако и работу ведь никто не отменял, так что прошло несколько часов, прежде чем Перл и Стивену представился случай поговорить. Двор, все еще ярко освещенный факелами и фонарями, был уже пуст. Обоз с тяжелоранеными укомплектован и утром должен отправиться в путь вместе с частями, входящими в состав фланга генерала Слокума. Раненых конфедератов, которых тоже было много, приказано было оставить на месте под началом их же собственных попавших в плен офицеров, снабдив на первое время пайками, ну а потом — это уж как сумеют изыскать возможности прокорма офицеры.

Стивен, — задумчиво проговорила Перл, — те два парня-то... ведь они друг без друга никогда ни шагу.

Какие два парня?

Братцы номер один и номер два. Родные сыновья моей мачехи. Джон-младший старшим был. А шкет, который помладше, всегда за ним таскался словно пришитый. Думаю, этот Джейми, не иначе, тоже где-нибудь тут, поблизости.

Это как?

Ну, если они служили вместе и Джон погиб, где тогда Джейми? Может, в плен попал?

Да что ты все о мачехе своей печешься?

Боюсь, как бы ее теперь и вовсе... на то, чтобы расстаться с жизнью, не повело.

Ты ж говорила, она бессердечная, к рабам без всякого сочувствия относилась.

Это конечно. Плевать ей было, когда он семьи разлучал, продавал всех в разные места — ну, то есть папаша мой. Не останавливала и когда плетьми кого-нибудь наказывал. Злобы, такой как в нем, чтобы орать, ногами топать, в ней не было, ей просто было без разницы. Лишь бы ее не трогали. Лишь бы на рояле своем играть, а там хоть трава не расти.

Ну вот, ей теперь и аукнулось.

Стивен Уолш, ты не мог бы помочь мне отыскать, где у нас тут пленных содержат?

Он только руками развел. Гос-споди боже мой! И что ты станешь делать, если найдешь его?

Не знаю.

Ты не устала? Я лично с ног падаю. Давай завалимся куда-нибудь поспать. А утром это все обговорим.

Взявшись за руки, они пошли к дому. Перл еще раз оглянулась на дорогу и могилу за нею. А ведь она сама себе наколдовала: ходила и ходила, тревожила мертвых, искала сына, вот и нашла его, — сказала Перл.

Еще до рассвета Перл разбудила его, и, вскарабкавшись без седла вдвоем на одного из фургонных мулов, они выехали на мокрую дорогу. Перл сидела сзади, обхватив Стивена Уолша поперек живота. Не спали одни лишь птицы: переливчато пели в болотах, шустро перепархивали через

дорогу, такие быстрые, что не поймешь, какого они цвета. В Джорджии Перл узнавала птиц по их песням, но эти были какие-то все незнакомые. И пели не то чтобы мелодичнее, но как-то тише, вкрадчивее, что ли... Или здесь даже птицы знают, что за страшная штука война?

Хвост колонны обозов терялся вдали, простираясь, похоже, до бесконечности; фургон за фургоном стояли по всей дороге, а по обочинам, в соснах — бивуаки подразделений. На флангах заставы, там и сям котлы на кострах.

Ее руки крепко его обхватывали, через них Стивену передавалось ее доверие. А еще он чувствовал, как прижаты к его спине ее груди, как бьется ее сердце... Или это его сердце бьется? Час шел за часом, и это состояние их близости он принимал не думая — он им жил, жил ею, как будто Перл ведет его куда-то за руку. Само собой выходило так, что как-либо выразить ей свое чувство... нет, только не это, этим он лишь испугает ее, встревожит. И говорить ничего не надо — все и без слов понятно, и ясно, что она это тоже понимает. Понимает, но лишь до тех пор, пока об этом не говорится.

И ведь как он переменился! Куда девался его привычный скепсис. Никогда он до такой степени не открывался жизни, не жил настолько бездумно, простодушно, вопреки тому, какой обыденной стала в кочевом коловращении войны мысль о смерти. Вдруг, откуда ни возьмись, он обрел твердую уверенность, что выживет и что у них с Перл Джеймсон все еще впереди. Удивительным образом эта девочка стала главным в его жизни. Тем не менее они только общались, дружили. Он улыбнулся. Что ж тут поделаешь! Если она для тебя центр всего бытия, хочешь не хочешь, приходится приспосабливаться к ее желаниям, задвигая собственные понятия на дальние задворки сознания.

Мул топотал и топотал неспешной хлынцой, тьма начала редеть, и за деревьями затеялся шумок: люди и животные заворочались, и сами сосны, проявляясь из мрака, казалось, отнимали у ночи силу, втягивали ее в себя. Затем, как только верхушки деревьев осветились первыми лучами солнца, за поворотом дороги открылось чистое поле, и Стивен указал туда. И верно, такое ни с чем не спутаешь: лагерь пленных повстанцев. Здесь у солдат не было ни палаток, ни составленных в пирамидки винтовок, они лежали прямо на земле или сидели, обхватив руками колени, и столько подавленных и растерянных мужчин сразу Стивен не видывал в жизни. Впрочем, не совсем даже и мужчин: кутаясь в тряпки и остатки импровизированной формы, по большей части там коротали ночь просто мальчишки. Глядя на них, даже Стивен почувствовал себя стариком. Несколько столбов по периметру, рядом с которыми дежурили караульные, указывали на то, что разбежаться этому горе-воинству вряд ли позволят.

Стивен и Перл спешились, привязали мула рядом с дорогой и без лишних церемоний, нисколько не озаботившись тем, чтобы представляться или что-либо объяснять, пошли на поле к пленным. Караульные лениво на них поглядывали, зевая и добродушными кивками здороваясь. Если и был здесь начальник в офицерском чине, то все еще спал в большой каркасной палатке на том конце поля, что выходил к опушке соснового лесочка.

Столь поразительная юность большинства пленников подкрепила в Перл веру в то, что она на правильном пути. На расспросы мальчишки отвечали, что они воевали под началом у генерала Харди, который всячески досаждал Шерману еще со времени похода по Джорджии. Все поголовно вежливые, они отвечали Перл с непременным "да, мэм" или "нет, мэм". Бедные дрожащие щенята, — тихо сказала Перл Стивену, — они боятся собственной тени. Но это хорошо, что им вправили мозги, а то как бы они смирились с тем, что теперь работающим на их полях неграм придется платить, а то, глядишь, и черный фермер по соседству объявится!

А потом она, конечно же, нашла его — этого Джейми, братца номер два. Он был один, сжался в комок, поджав ноги и руки, и весь дрожал, несмотря на то, что сидел в полоске утреннего солнца, которое на его лице резко обозначило костлявые скулы, ввалившиеся щеки, шрамы на коже и грязь под носом; воспаленные глаза его были тусклы, а волосы, отросшие длиннее, чем ей запомнилось, были такими грязными, с засохшей в них глиной, что он и блондином-то больше не выглядел.

Братец номер два, — сказала Перл, — ну у тебя и вид! Смотреть страшно.

Он поднял на нее взгляд, не узнавая.

Пошли с нами. Давай-давай, вставай!

Чтобы заставить его что-то уяснить, и то массу сил затратили. Стивен подхватил его под мышки, поднял на ноги и, пока другие пленные, ничего не понимая, растерянно озирались, взял мальчишку за руку и повел к дороге. Но тут караульный остановил их — дескать, куды? экóй прыткий! — а с противоположного конца поля уже ехал к ним на коне офицер, продирался сквозь толчею пленных, расступающихся перед ним направо и налево. Подъехал, спрыгнул с коня и пожелал узнать, что, собственно, происходит.

Стивен Уолш отдал честь. Он заметил, что офицер — лейтенант всего лишь — стоит без головного убора, наполовину расстегнутый и расхристанный, а из-под его форменной тужурки свисают помочи штанов. Охрана пленных — поприще не шибко-то облагораживающее. Сэр, — сказал Стивен, — у нас приказ Сарториуса, полковника медицинской службы, удалить из вашего лагеря заболевших пленных.

Офицер покосился на жезлы со змеями, красовавшиеся у Стивена на петлицах госпитального стюарда, и смерил взглядом Перл. Перл была в плаще санитарки, который дала ей Эмили Томпсон, и кепи рядового пехотинца: предполагалось, что головной убор — пусть уж какой ни на есть — придаст достоверности ее военному обличью.

И зачем же это полковник отдал такой приказ?

Этот человек болен, — сказала Перл. — Вы видите его глаза, видите, какая у него кожа? Он заразный.

Болен? Чем?

Я не больной! — заартачился Джейми Джеймсон.

Сэр, — быстро заговорил Стивен, — у этого человека заразная болезнь. Называется "Антонов огонь". По-простому — "рожа". Бывает, приводит к смерти. От нее, кстати, умерла королева Анна. Тело умершей так распухло, что гроб, в котором ее хоронили, был чуть не квадратный. Так что пациента надо изолировать, пока этой дрянью он не пе-

резаразил вокруг себя всех здоровых. Бывало, Огонь Святого Антония выкашивал целые полки.

Да мне-то что! Пускай заразит хоть всех суржиков! — пожал плечами лейтенант. — Чтоб они сдохли.

Сэр, солдаты в синем тоже от болезни не застрахованы.

Лейтенант отскочил как ошпаренный, не отрывая встревоженного взгляда от пленного.

Так же как и офицеры, — добавила от себя Перл.

Да не больной я! — по-прежнему упирался Джейми Джеймсон.

Офицер покосился на него с отвращением. Уберите его отсюда, — процедил он, словно сия идея исходит от него, а не от медицинского департамента.

Если бы он додумался спросить у нас письменный приказ, нам бы тогда конец.

Но ты подкован-то как, Стивен Уолш, ай, молодец! — восхитилась Перл и обняла его.

Да какой я, к черту, больной! — возмущался Джейми Джеймсон. Он плелся за мулом на веревке, одним концом которой у него были связаны запястья, а другой намотал себе на руку Стивен.

Перл оглянулась на него, поджала губы. Заткни чавкалку, дурень, — сказала она. — Добро от зла отличить не можешь!

К тому времени он Перл уже узнал.

Будет тут меня учить еще всякая девка черномазая!

Они не стали ничего ему объяснять, готовить его, но, когда вернулись в расположение госпиталя и убедились, что Мэтти в доме, мальчишку развязали и послали к ней, чтобы мать с сыном нашли друг друга. Вот только я этого ни видеть, ни слышать не хочу, — проворчала напоследок Перл.

Все готовились к выступлению. По лесам и полям запело, заклекотало — горнисты трубили сбор. Выйдя из фермерского дома, Сарториус глянул в небо и натянул перчатки. С дороги доносились выкрики ездовых, тележный скрип и грохот. Полковые санитарные кареты одна за другой выезжали со двора и присоединялись к веренице телег и фургонов. Перл собрала скудные пожитки Мэтти Джеймсон в мешок и побежала в дом, где мать с сыном сидели рядом на софе; Мэтти плакала, держа сына за руку и неотрывно на него глядя, тому было неловко за нее, он куксился и дулся.

Перл отвела мальца в сторонку. Когда мы уйдем, ты, главн-дело, не попадайся на глаза конвою с пленными. Вон, видишь сарай? Там содержались раненые южане, теперь они свободны, у них даже офицеры есть свои и есть кое-какая еда. Ты с мамкой твоей держись поближе к ним, потом найдете способ, доберетесь как-нибудь до Джорджии.

Да как туда доберешься-то?

Ниче, до Колумбии как-нибудь добредете. А там есть такая мисс Эмили Томпсон, мамка твоя ее знает — попро́сите, она вам поможет.

Перл вынула из кармана юбки платок с завязанным узелком, развязала его и дала парню один из драгоценных своих золотых. Он оглядел монету на ладони. Это ж двадцать долларов, с ума сойти!

Все правильно, братец номер два. Пока то, се, прокóрмитесь на них. Зато всю жизнь будете помнить, что это я, Перл, свободу вам дала домой топать.

Малый стоял, вертел в пальцах монету. Эту деньгу дал мне Роско, она осталась от той жизни, когда я была у вас в услужении, — продолжала Перл. — И за всю свою жизнь ты не скопишь такого богатства, чтобы со мной расплатиться. Хочу, чтобы ты наперед это знал.

Перл повернулась к Мэтти, взяла ее за руку. Прощай, мачеха. Спасибо за уроки чтения. Сын как-нибудь доведет тебя до Филдстоуна. Может, там еще стоит какая-нибудь хижина рабов, чтоб вам было с чего начать.

По дороге к двери Перл добавила, обращаясь к братцу номер два: У твоей мамы не всегда с головой порядок. Заботься о ней, слышишь? А то вернусь, ох и задам тебе!

И выбежала за дверь.

V

Стояло раннее воскресное утро, Хью Прайс ехал с дивизией генерала Карлина во главе слокумовского левого фланга и вдруг почуял неладное. В самом начале весны, пока властвует сырость, бывают такие дни, когда всепроникающая энергия возрождения вызывает предчувствие чего-то злого и твоя собственная кровь бежит по жилам нервными толчками. Небо до рези в глазах сверкало голубизной, и все, куда ни глянь, блистало ненатуральной яркостью цвета — леса и лощины, трава и камни, даже грязь на дороге; в этом грандиозном устремлении мира к самореализации все, казалось Прайсу, пребывало на грани взрыва. Впрочем, его предчувствия имели под собой и вполне конкретные основания. Предыдущим вечером разведка докладывала, что неподалеку происходит значительное перемещение войск мятежников. Хотя и Шерман, и Слокум от этих сообщений отмахнулись (Шерман отнесся к ним настолько скептически, что уехал на фланг к генералу Ховарду, а это в добрых двенадцати милях к востоку), по тому, как бригадный генерал Карлин выстроил войска на марше, можно было понять, что он предвидит бой. Да и сам он то и дело с тревогой вглядывался в даль, несмотря на то, что разъезды боевого охранения высланы вперед и должны первыми войти в контакт с кавалерией противника.

Передовые части подходили к развилке — одна дорога отсюда шла на восток к Коксбриджу и Голдсборо, а другая отклонялась к северу в сторону Бентонвиля. В образованном двумя дорогами углу была плантация, которую офицеры между собой называли Поляной Коула. Примерно милей дальше к северо-востоку начиналось густое сосновое мелколесье. Кто бы ни был этот Коул, но за его поля, болота и леса вот-вот должна была разгореться битва, и не потому, что они представляют собой такую уж ценность, не за обладание именно ими, а просто вследствие встречи на этом месте двух армий. Заградительный огонь батареи, вдруг проявившей себя где-то у правого фланга Карлина, остановил продвижение его передовых частей, а значит, день большой битвы настал.

Только когда закончилось развертывание подразделений и их траншеи соединились в общую линию обороны (дивизия Карлина в тесной смычке с полками бригадного генерала Моргана), командиры федеральных войск мало-помалу начали осознавать, насколько велики противостоящие им силы конфедератов. Прибыл генерал Слокум, обозрел позиции и приказал выступать. Солдаты Карлина и Моргана поднялись из окопов, двинулись и были встречены яростным огнем, причем вся линия от дальнего фланга до опушки сосняка вспыхнула, засветилась и замерцала частой цепочкой мушкетных выстрелов. Атака сорвалась. Прайс стоял с двумя генералами, смотрел вместе с ними на то, как адъютант обводит пальцем на расстеленной по земле карте очертания позиций мятежников, какими они представляются по донесениям офицеров с передовой. Нарисовалась линия, похожая на ковш Большой Медведицы. Или сковороду. На которую сами же федералы и сели.

Прайс молча стоял, корябал в блокнотике, довольный пока хотя бы тем, что в столь ответственный момент он, несмотря на длинный рост, для офицеров стал практически невидим. Скошенным подбородком похожий то ли на канцелярского клерка, то ли просто на крысу, усатый и коротко стриженный Слокум всеми своими приказами требовал, по сути, одного: чтобы в двух корпусах, составляющих его фланг, все были на месте, все были готовы и вообще, чтобы без выкрутасов тут, черт вас дери! Потом он подозвал одного из своих штабных, отошел с ним в сторонку и тихо переговорил, приобняв молодого офицера за плечи. Прайс видел, как этот офицер (лейтенант) молча кивнул, козырнул и вскочил на лошадь. С места в карьер парень помчал в тыл, широкой дугой огибая позиции повстанцев. Прайс провожал его взглядом, пока тот не исчез, но куда он послан, и так ясно: скачет на восток, значит, скорее всего, на Коксбридж и Голдсборо, куда генерал Шерман уехал обозревать другой фланг своей армии.

Обоза, завязшего в грязи на дороге в нескольких милях от Поляны Коула, весть о сражении достигла почти сразу после полудня, и Сарториус, взяв с собой лишь хирурга-ассистента, санитара и Стивена Уолша, поехал разворачивать операционную в палатке у самой передовой. Такой приказ получил не только он, но и некоторые другие полковые врачи. Сарториус и ассистент с санитаром ехали на лошадях верхом. Стивен, сев за ездового, гнал фургон с медикаментами. Путь был непрост — по большей части ехать приходилось не по дороге. Уолш то и дело слышал, как звякают в ящиках пузырьки с лекарствами. Мулы натягивали постромки, колеса то застревали у камня, то рывком через него перескакивали, подчас, опасно накреняя экипаж, проваливались в ямы с грязью, а стоило фургону разогнаться, Стивена и вовсе начинало кидать и подбрасывать в воздух. Звуки боя доносились уже совсем отчетливо. Отовсюду слышались выкрики и треск ружейной пальбы, так что, пока вслед за полковником поднимались по довольно крутенькой подъездной дорожке на взгорок к плантаторскому дому, Стивен вновь ощутил, что значит понюхать пороху.

Палатку полевой операционной поставили у подножья черного дуба всего ярдах в двухстах позади траншей, работы по укреплению которых бревнами и фашинами еще продолжались. В теории предполага-

лось, что раненым здесь будут оказывать лишь первую помощь, после чего прибывшие санитарные кареты увезут их от передовой подальше. Санитар вдвоем с ассистентом соорудили на козлах операционный стол, а Стивен, сэкономив один кол палатки, забрался на нижний сук дуба и привязал там растяжку. Потом, заодно уж, влез и повыше — интересно все-таки с высоты осмотреться. Справа виднелась еще одна линия окопов северян, на дороге за импровизированным бруствером тоже залегли солдаты. На взгляд Стивена, позиции выглядели утло — окопы мелкие, друг с другом не сообщаются... Да и артиллерии что-то не видать... Он даже удивился, чего дожидаются конфедераты, — нет чтобы прямо сюда и вдарить, где к этому явно не готовы.

Ружейный огонь неожиданно смолк, и через пару секунд в тишине раздалась птичья трель.

Ближе к вечеру офицеры, наблюдавшие из укреплений, увидели, что посланные в пробную атаку удальцы сперва остановились, залегли, затем повернули назад, побежали и в конце концов прямо-таки кувырком с криками посыпались в свои траншеи. Смотри, идут, — проговорил сержант. Бобби Бразил поосновательнее пристроил винтовку на бревно. Вгляделся в смотровую щель. Действительно идут; и понятно, зачем идут, но тем не менее зрелище того, как они шли, было странно красивым: прямые, будто по линейке проведенные, шеренги, впереди конные офицеры с палашами наголо, знаменосцы с развевающимися боевыми флагами, и кричат, орут свои поганые сепаратистские кричалки, от которых у Бразила даже волосы на загривке встали дыбом. Откуда они, ч-черт, взялись! целая армия, будь она неладна, — пробормотал Бразил. Пли! — крикнул сержант, и он выстрелил, и все вокруг тоже, так что сразу заложило уши. Сквозь дым и пламя он видел, что в шеренге наступающих многие упали, но атака не захлебнулась, южане продолжают идти, да теперь, как он заметил краем глаза, пошли еще и с фланга — этакая длинная, искрящаяся вспышками огней единая лента, и пули — чок, чок, чок — зашлепали о бревно, замельтешили перед глазами обломки коры, и вдруг в поле зрения возник повстанческий офицер и его вставшая на дыбы лошадь; он развернул ее и махал своим солдатам — мол, вперед! — а сам широкой спиной у Бразила прямо на мушке, — эх, хороша добыча! Надо же ведь: такой большой, здоровенный дядя, доблестный воин и дамский угодник, а всей возни с ним — пальцем слегка нажать! Вот только — мама дорогая! — они уже взяли бруствер, прыгают ему чуть не на голову, причем первому Бразил успел — подставил штык, так из него — зар-раза! — еще и винтовку теперь не выдрать — что делать? бросить ее и бежать! — он бросил и побежал, по пути отмечая, что не один он такой, — а куда денешься, поди-ка, останови их! — и этот крик, этот животный визг несется не из одной только его глотки. И он что было сил побежал по лесу, пока не наткнулся на вторую линию траншей, куда свалился, хватая воздух ртом, пыхтя и задыхаясь позади реденькой цепочки синих мундиров, вжавшихся в землю, — теперь их черед. Вот и пускай теперь вместо меня отдуваются, — подумал Бразил, — потому что лично я этакий страх прежде испытывал только раз в жизни — когда меня в третьем классе на второй год оставили; ух и гадюка была эта наша сестра Агнесса Анжéлика!

Не выходя из фургона, Перл отлично слышала звуки боя: обоз стоял не доезжая двух миль по дороге, и все в нем слушали — слушали возницы (собравшись кучками — вроде болтают друг с другом, но ушки на макушке), слушали офицеры, расхаживая взад-вперед по обочине, даже лошади вскидывали головами и принимались ржать при каждом орудийном выстреле или глухом ударе ядра. А еще дальше в тылу с мычанием передвигалось медлительное стадо и стоял фургон, в котором, заключенный в свой транспортировочный ящик, Альбион Симмс каждому удару вторил "бумм... бумм... бумм...", как будто мало ему настоящей канонады. Перл думала о Стивене Уолше. Такой умелец, так хорошо со всем справляется, что полковник-доктор ему уже доверяет больше, чем кому бы то ни было. Чем мне, это точно. Впрочем, беспокойства за Стивена она почему-то не испытывала, зато ей самой без него стало страшновато. Сидишь тут в телеге посередине Северной Каролины (эк ведь занесло-то!), а весенние ветра холодны, неуютны, да еще и марш подзадержался из-за битвы, и такая вдруг неприкаянность нападает: ты никто и ничто, ничья, и звать никак, и жилья тебе никакого не положено — даже на выселках, где на плантации хижины для рабов стояли. Просто девчонка, у которой нет ничего кроме свободы, — думала она. А впереди огромное пустое поле, жизнь, в которой совершенно не за что зацепиться, нечем сердце успокоить. Все, что виделось ей впереди, это дом 12 по Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. Но вот попрощается она с опечаленными людьми из того дома, выйдет за дверь, и куда? Куда идти, по какой улице, да и с кем? Охваченная тревогой, она пропустила момент, когда Дэвид проснулся. А он вылез и сел к ней на колени, все еще зевая и протирая глаза. Ну, малыш, — сказала она, — и горазд же ты спать! Неужто не слышишь? Так всю войну проспишь.

Да, мэм, я слышу.

И совсем ни чуточки не боишься?

Не-а. Я есть хочу, — сообщил он.

Она достала из ящика с сухим пайком галету, дала ему, и вскоре он беззаботно жевал, рассматривая зажатый в кулаке сухарь, кусая и снова изучая то, как он становится меньше и меньше.

С телеги Перл соскользнула на дорогу и постояла, разминая ладонями затекшую поясницу. Развязала ленточку, скреплявшую волосы, и вновь собрала их, перевязала, а когда стояла, закинув руки за голову, заметила, что два офицера прервали разговор и на нее уставились. Заканчивать охорашиваться пришлось отвернувшись. При этом проскользнула у нее и такая мысль: Ах, Стивен Уолш, тебе бы лучше поскорее возвращаться, а то ты не один такой — найдется кому на мою красоту позариться!

Едва подразделения генерала Карлина обратились в бегство, Моргану тут же зашли во фланг, и его войско, только что отразившее фронтальную атаку, вскоре оказалось под ударом с тыла. Произведя выстрел в одну сторону, солдаты разворачивались кругóм и стреляли в другую. Генерал Дэвис, командир Двадцать четвертого корпуса, спешно ввел в прорыв резервную бригаду, и тут Хью Прайс воспользовался моментом, чтобы удрать от офицеров штаба. Пропуская мимо ушей то, что ему кричали в спину, он решительно направился в сторону передовой — сперва

вскочил на лафет проезжавшего мимо орудия, потом спрыгнул с него и побежал, перемахивая через камни и проламываясь сквозь кустарник, — в тот момент им овладело безумное возбуждение, он мчался, а его длинный, намотанный на шею шарф вился сзади как личный вымпел. Ха-ха! Никто! Никто из конкурентов не сможет рассказать о том, что он сейчас увидит собственными глазами!

Под ногами захлюпало. Вокруг густое мелколесье. Пальба совсем близко. Он нашел дерево побольше, подтянувшись, взобрался на нижний сук, сел на него верхом и стал глядеть сквозь дым, вслушиваясь в сокровенный пульс битвы: выкрики, хрипы, гнусавые взвизги пуль, рикошетящих от бревен и камней. Чувствовались даже волны жара, исходящего от множества изрыгающих огонь стволов. Война изменила и погоду: день побледнел — едкий дым наплывал клубами, будто души погибших, спешащие на небеса. И лишь когда в сгустившейся атмосфере боя произошел внезапный сдвиг, он вдруг понял, что позицию выбрал довольно странную и по отношению к битве находится не совсем в том положении, как хотелось бы. Война подобралась вплотную. Прямо под ним солдаты дрались стенка на стенку, валили друг друга наземь, резали ножами, кололи штыками, с размаху били прикладами ружей, и отчаянные их усилия сопровождал почти что слаженный хор надсадных звуков, похожих на сиплые аккорды расстроенного органа. Никогда еще Прайс не подходил так близко к сражающимся, никогда еще не видел въяве всех деталей войны, но вот увидел, и что же? Весь его репортерский запал вдруг куда-то канул, и единственное, что он почувствовал, это ужас перед вулканическим извержением допотопной, первобытной жестокости. Оказывается, война — это не приключение и не благородная борьба за правое дело, а лютая дикость, абсолютно бессмысленная массовая злоба, лишенная какого бы то ни было оправдания и не опирающаяся ни на идеалы, ни на мораль. Как будто Бог в ответ на самонадеянность и наглость человечества превратил его в дерущийся клубок безликих и безмозглых бесов. И тут все мысли в репортере прекратились, потому что послышался жуткий свист ядра, Прайс вскинул руки зажать уши ладонями и чуть-чуть поздновато заметил, что сшибленная верхушка дерева с треском валится на него.

В один далеко не прекрасный момент волна наступления накрыла даже территорию госпиталя. Сперва мимо лекарских палаток нестройной толпой промчались федералы, останавливаясь лишь затем, чтобы выстрелить в преследователей и бежать дальше. Через минуту после синих нахлынули серые. Галопом подскакал офицер с целой свитой из конной пехоты. Кто здесь начальник? — зычно проорал он. Из палатки появился Сарториус, без шляпы, руки по локоть в крови, поверх мундира окровавленный фартук. Что вы хотели? — спросил он. На земле возле палатки лежало человек двенадцать раненых и двое уже мертвых. Считайте себя военнопленным! — повелел офицер. Что ж, ладно, — ответил на это Сарториус и ушел обратно в палатку.

Офицер нахмурился — он явно силился вспомнить, что еще положено делать в такой ситуации. Кто-то из раненых стонал, кто-то вскрикивал. Конфедерат развернул лошадь, поставил двоих солдат стеречь пленных и уехал, свита мелкой рысцой за ним.

Стивен высунулся из палатки глянуть на часовых, которые, похоже, испытывали неловкость. Один наклонился, хотел из своей фляги дать напиться кому-то из раненых, и Стивену пришлось сказать ему, что этого делать нельзя. Когда подошло время заносить в операционную очередного пациента, Стивен сказал: Ну-ка, помоги мне, – и охранники, кажется, были чуть ли не рады, что к ним обратились.

Через несколько минут подразделение конфедератов, далековато зашедшее в угаре наступления, покатилось назад, серые во весь дух побежали между палатками лазарета – скорей, скорей к своим редутам. А за ними рота федералов – с воплями и улюлюканьем набежали, и первыми от их выстрелов пали оба часовых, которые помогали Стивену. Один, получив пулю в живот, был обречен. Второму попали в ногу, вдребезги раздробив кость. Его положили вместе с ранеными федералами, и когда подошла его очередь, Стивен с санитаром подняли его, внесли в палатку, где Сарториус произвел двухлоскутную ампутацию ноги чуть выше колена.

Лейтенант Оуки доставил в полевой штаб генерала Слокума записку от Килпатрика. В ней говорилось, что кавалерия, дислоцирующаяся в нескольких милях к юго-востоку, готова поспособствовать.

Слокум, в этот момент занимавшийся развертыванием Двадцатого корпуса, который должен был заделать брешь в обороне федералов, сказал: Господи, еще не хватало! Короче, пусть ваш генерал Килпатрик ждет приказаний и не рыпается.

Юноша Оуки (до войны он был учителем в начальной школе и собирался, когда кончится вся эта катавасия, учиться на священника) попытался было отбыть восвояси, но обнаружил, что заперт – все подходы запружены войсками. Заблудился в болотах и сдуру заехал прямо в гущу битвы, как раз туда, где подразделения генерала Моргана сдерживали главный удар мятежников. Оуки торопливо спешился и затесался в драку. Обороняющиеся выстроились за бруствером в две шеренги; те, что впереди, стреляли с колена, те, что сзади – стоя; командиры выкриками упорядочивали залпы. Понеся тяжелые потери от их плотного огня, повстанцы стали отходить, но в это время северяне обнаружили, что их атакуют с тыла, потому что еще одна бригада генерала Карлина, хоть и усиленная резервом генерала Фиринга, не выдержала натиска. Что делать? Солдаты Моргана поперескакивали через бруствер и залегли за его фронтальной стенкой, стреляя в обратную сторону. Однако среди атакующих они заметили синие мундиры. Минутная нерешительность оказалась фатальной. А что, надо было стрелять по своим? Впрочем, Оуки на удочку не попался: он вспомнил, что такую же хитрость мятежники применили против Килпатрика у Монро-Конерс, когда надели синие мундиры северян, чтобы посеять в их рядах хаос и сбить с толку. Это враги! Мятежники проклятые! – вскричал он, потрясая револьвером, но уже через минуту оборону прорвали, а на самого лейтенанта Оуки прыгнул и сбил с ног один из атакующих в синем.

Оуки был хлипкий малый, к тому же носил очки. Которые сразу же слетели у него с носа, как только две мощные влажные ручищи схватили его и принялись колошматить затылком оземь. Повстанец был огромен и могуч. Своим весом он чуть не расплющил правую руку Оуки с за-

жатым в ней револьвером. Однако, примериваясь нанести последний сокрушительный удар, повстанец приподнялся, и лейтенанту все же удалось применить оружие: направив дуло вверх, он выстрелил нападающему прямо в живот. Потом еще и еще раз, пока тот не навалился на него недвижимый. Из последних сил Оуки оттолкнул от себя обмякшую тушу, нашарил очки, кое-как вытер их рукавом и водворил на место. Заляпанные грязью, они все равно не давали возможности видеть ясно, но протирать их он больше не пытался. Ничего толком не видя, он чувствовал себя спокойнее.

Вокруг кипело сражение. Оуки сидел в стрелковом окопе, пытался перевести дух. Голова болела. Мундир промок от крови. Он посмотрел на безжизненную тушу по соседству и возблагодарил Господа за милость и прощение. Борясь под тяжестью этакой громадины, он чувствовал токи исходящей от нее нечеловеческой ярости. Как будто его подмял под себя медведь и действует сообразно своему звериному инстинкту.

Просидев так довольно долго (Оуки потерял счет минутам), он заметил, что наступление южан остановлено: в бой вступил Двадцатый корпус. И тогда Оуки, ни к кому не обращаясь, проговорил: Где-то тут была моя лошадь...

VI

Чем дальше они ехали вслед за армией, тем больше Кальвин Харпер утверждался во мнении, что его спутник — интересный экземпляр умалишенного. Кальвин позволил себе успокоиться и отстраненно наблюдать, потому что явно прослеживалось определенное равновесие интересов: каждому из них другой был нужен, и в результате они довольно успешно двигались вперед. Когда хотел, Кальвин делал снимки и чувствовал, что ему и впредь не будут мешать заниматься делом, а там, глядишь, представится возможность от этого психа избавиться. А пока суд да дело, надо по мере возможности с достоинством гнуть свою линию и не лезть на рожон. До сих пор у него это вроде бы получалось. Не всегда между ними все было гладко, день на день не приходится, но пока что он, в общем-то, не чувствует для себя непосредственной опасности.

Интересно в этом сумасшедшем то, как он перевоплощается. Наденет что-нибудь, и уже другой человек. Совсем как актер в театре, где костюм — это личность персонажа. В Барнуэлле появился в обличии федерального солдата, тогда как на самом деле был суржиком из южной голытьбы. Со своим умершим приятелем они оба были солдатами южан, потому он и настоял на том, чтобы того переодели в форму конфедератов, и только тогда позволил мистеру Калпу сделать снимок. Потом, когда снимок проявили, а мистер Иосия Калп умер, он решил стать им, мистером Калпом, надев его костюм, пальто и шляпу. И Кальвин, самому себе вопреки, оказался им до некоторой степени околдован. Временами, на публике, он смотрел на этого фальшивого мистера Калпа, ничего не смыслящего в фотографии, как на настоящего фотографа, более настоящего, чем был сам мистер Калп. А все потому, что этот тип, похоже, в самом деле верит, что он мистер Калп и есть. Все это очень

интересно, хотя и явно отдает безумием. Ибо только безумец может разговаривать с фотографией, лежащей у него в кармане, воспринимая ее как сущностное воплощение умершего приятеля — не тело в могиле, а именно фотографию в кармане. Причем разговаривал он с ней чуть ли не чаще, чем с Кальвином. В общем, кажется одно, на поверку все другое, дурдом да и только. Но это давало Кальвину кое-какую уверенность в том, что он способен контролировать происходящее. В душе у этого типа явно какой-то разлад, и это делает его, быть может, не таким упертым злодеем, каким он сперва показался.

И вот они на дороге в Голдсборо. Ночевать остановились в фермерском брошенном доме. Хотя солнце село, в сумерках не утихали звуки битвы: эхо пушечной пальбы подхватывал восточный ветер и нес над полями и реками.

Ты понял, Кальвин, почему я выбрал именно эту дорогу? Пошли бы мы за другой колонной, попали бы сейчас в ад кромешный. Потому что там они сражение устроили — налетели, видимо, на армию не слабее своей.

Охапка-другая плесневелого сена для Берта в конюшне есть, — сказал Кальвин. — А вот для нас в кладовке — ничего. Кто бы ни были тутошние хозяева, но ушли они давно уже. В доме все подчищено — шаром покати.

Я генерала Шермана изучил будь здоров как, — гнул свое Арли. — То, что мы слышим, — это его ложный бросок на Рэлей. Они, правда, получили там прием пышней, чем ожидалось. Но в любом случае его там нет. Спешит, наверное, вовсю, радостно скачет в Голдсборо, хочет нагрянуть как снег на голову.

У нас остался последний мешок муки и не больше ложки топленого жира, даже если мне удастся раскочегарить эту проклятую плиту, — безрадостно объявил Кальвин. — А откуда вы знаете, где сейчас Шерман?

У нас с генералом Шерманом одинаковый склад ума, — объяснил Арли. — Мне достаточно вообразить, что я это он, и я уже знаю, что́ он собирается делать.

Н-да-а, и такого человека держать в нижних чинах! — отозвался Кальвин. — На мой взгляд, это как-то... ну, несправедливо, что ли.

Арли в очередной раз приложился к последней бутыли самогонного виски из запасов мистера Калпа. Кальвин, — переведя дух, сказал он, — будь я не настолько рад нашему успешному продвижению, твои разговорчики я счел бы за наглость зарвавшегося ниггера-освобожденца, так что ты лучше не искушай меня.

А что вы будете делать с вашей фотографией Шермана? В смысле, потом-то что?

Ну тем самым, я вроде как признаю его, а он признает меня. Это будет встреча умов. А вовсе не обыкновенное фото, какие ты тут всю дорогу клепаешь. Оно станет вехой в истории. Такое будет фото, какие тому, другому мистеру Иосии Калпу, даже и не снились. На мою душу снизошло вдохновение, а значит, это не просто я сниму его — его снимет моими руками сам Господь Бог.

А кто из вас умеет обращаться с объективом — вы или Господь Бог? Кто вам подскажет нужную выдержку? Научит, как делать покрытие пластинок и куда ставить камеру?

Такие мелочи мы оставим тебе, сын мой. Это как раз та грубая вспомогательная работа, к которой твоя подлая раса лучше всего приспособлена.

В ту ночь Арли решил постелить себе на полу в пустой комнате верхнего этажа. Пятна гнили на досках показывали, в каких местах на крыше выкрошились дранки, и пришлось ему покрутиться, прежде чем он нашел крепкий участок пола, куда можно было бросить одеяла и лечь. Пахло старым, гнилым деревом, к тому же здесь было холоднее, чем у плиты, где устроился Кальвин, но ничего не поделаешь, надо соблюдать южные традиции: негры внизу, на кухне, белые — во всех отношениях выше.

Улегся, обнимая коробку с объективами — главную ценность Кальвина. Предосторожность, понятное дело, излишняя, ибо Кальвин прекрасно сознавал, что без Арли, то есть без того, чтобы с ним вместе ехал мистер Калп, негр как самостоятельный бизнесмен в этой благословенной Богом стране не протянет и пяти минут. Южане-партизаны попрежнему всюду рыскают и там где надо принимают меры — наводят, стало быть, божественный порядок и благолепие. Кальвин может, конечно, запрячь Берта и сбежать, но, если нет больше возможности фотографировать, какой из него тогда продолжатель дела мистера Калпа? Вот он — секрет рабства будущего: надо хватать черного за его белые амбиции и вязать его ими, вязать по рукам и ногам. Вона как! А ведь это я сам придумал!

Раздумавшись, размечтавшись, Арли не заметил, как уснул. Когда проснулся, почувствовал, что времени прошло немало. Не потому, что изменился свет и все в комнате, не исключая его самого, засияло млечным лунным блеском. Нет, дело в звуке. Слышался неумолчный шаркающий шорох, иногда позвякивание, но по большей части просто шум людского присутствия, которое чувствуешь, даже когда собственно звука вроде бы и нет. Он подошел к окну, выглянул и не поверил своим глазам: по дороге, совершая марш-бросок, двигалась целая армия, похожая на армию духов и вместе с тем вполне реальная: сомкнутым строем шагали отдельные роты, в воздухе плыли флажки, иногда по обочине легким галопом проезжал верховой офицер. И каждый сукин сын под тяжестью ранца аж вперед клонится, каждый только на дорогу и смотрит. И никаких разговоров: ночной марш — серьезное дело, трудное; едва между ротами возникает зазор, задние переходят на рысь, нагоняют. Да что же это такое, — подумал Арли, — эти кретины янки прутся не в ту сторону! Он влез в башмаки и бросился по лестнице вниз. Из окошка, выходившего в огород, увидел, что они и по полям идут, обтекая дом и спереди, и сзади, как вышедшая из берегов река. Увиденное его не порадовало: янки внаглую топчутся по здешним землям, борзеют от своего количества. И тут до него дошло: ч-черт! это же генерал Шерман возвращается к месту битвы, где другой его колонне наши ребята показали, почем фунт лиха! Да, вот где собака зарыта. Что ж, генерал, похоже, это тебе боком выйдет — то, что ты повернул назад, когда уже почти что и слюнявчик повязал, чтобы обедать в Голдсборо. Уилл, Уилл, как жаль, что ты этого не видишь: наша армия по-прежнему дает прикурить этим гадам — вот и великого Шермана в Бентонвиле тоже

прижали к ногтю, и много, ох, много еще поляжет в землю федералов, покуда все кончится!

В этот момент Арли показалось, будто он увидел генерала собственной персоной, как тот с эскадроном кавалерии едет по полю мимо — да вот же: отдельной группой скачут человек пятьдесят верховых, и во главе у них странный всадник, который дергает коня все время то вправо, то влево — наверняка это Шерман, этакий шебутной чудила; едет, понимаете ли, при луне навстречу битве! Генерала Шермана Арли видел только на фотографии, вживую — нет, никогда, но все равно был уверен, что всадник, только что исчезнувший за бугром, это именно Шерман и есть. Нормальный ход, Уилл, — проговорил он, улыбаясь себе под нос, — все путем. Поедем-ка мы с тобой сейчас в Голдсборо, а он пускай пока здесь разбирается, в какую какашку вляпался. Мы не гордые, мы его там подождем, да и щелкнем в полный рост, ежели, конечно, его до нас никто убить не сподобится.

Кальвин лежал, завернувшись в одеяло, за печкой и все слышал. Арли же опять полез наверх и вскоре захрапел. А еще через двадцать или тридцать минут последний солдат прошел мимо, и настала опять тишина и спокойствие, но Кальвин никак не мог снова заснуть.

Если бы я был солдат-южанин, помешанный на всякой маскировке, какая у меня была бы цель? Наверное, выбраться с территории, занятой федералами, пробиться к своим и снова сражаться или, наоборот, вовсе удрать с войны домой. Но у него совсем другие заботы! И уж тем более не мог он заранее выдумать этот маскарад — в смысле, нарядиться мистером Калпом. Мы подъехали, возникла такая возможность, он ею тут же и воспользовался — эта идея родилась в его сумасшедшей башке мгновенно. А в чем идея-то? Судя по тому, что он непрерывно трындит тут день за днем, она всего лишь в том, чтобы встретиться на марше с генералом Шерманом и сфотографировать его. Но зачем? Оставить свой след в истории фотоискусства? Это вряд ли, для этого он уж очень мало им интересуется. И с самого начала ничего не знал, и сейчас знает не больше.

В этой войне каждый либо на одной стороне, либо на другой. Любой. Даже сумасшедший. Я могу сойти с ума, но все равно я буду на стороне северян. Вот и он тоже — хотя и сумасшедший, но все тот же южанин, мятежник-джонни из белой голытьбы.

У Кальвина даже мурашки побежали, когда он вспомнил, как еще в Джорджии, в лагере среди сосен, где у генерала Шермана была ставка, мистеру Калпу оказалось достаточно минуты, чтобы убедить генерала сфотографироваться. И тот не только сам не отказался позировать, но еще и весь свой штаб позвал сняться с ним вместе. Мистер Калп тогда сказал Кальвину: Как фотограф, ты должен понимать природу человека, одним из свойств которой является то, что более всего страдают от недостатка внимания к их персонам как раз самые знаменитые люди. Вот они и хотят, чтобы их фотографировали и всем показывали снимки, чтобы писали их портреты, печатали про них книги, и в каких бы размерах все это ни делалось, им почти всегда мало — всем, за исключением разве что президента Авраама Линкольна, который вообще исключение чуть ли не из всех правил. Потому что перед тем как уехать из

Вашингтона, мистер Калп делал и его фотографию тоже, но там он немало трудов потратил на то, чтобы усадить президента перед объективом, причем так и не уговорил бы, кабы не миссис Линкольн.

Закутавшись в одеяло, Кальвин ходил взад-вперед по кухне. Чем дольше он думал, тем большее его охватывало беспокойство. То, что он делает, — попустительство. Мистера Калпа этот маньяк уже загнал в могилу. Сперва прибрал к рукам револьвер мистера Калпа, потом, этим же револьвером угрожая, украл у мистера Калпа одежду и даже имя. А теперь вбил себе в безумную башку идею какого-то состязания, и с кем, спрашивается? С командующим федеральными армиями Уильямом Т. Шерманом, чей снимок он собирается сделать!

Но его звездный час будет и моим тоже. Я расскажу про фотографию у него в кармане, и все узнают, что он мятежник, и тогда, что бы он там ни пытался сделать, что бы ни скрывалось за его болтовней о Божьем промысле, ничего у него не выйдет. Что бы он ни замышлял, нельзя позволять ему совершить это. Даже если он действительно хочет того, о чем говорит. Даже если он всего лишь намерен сделать фотографию генерала Шермана, даже если только это втемяшилось в дурную его башку, нельзя ему позволять. Фотограф здесь я, а не он. Фотодело — это священнодействие. Фотограф ловит мгновения и запечатлевает их для памяти в будущем — вот как учил меня мистер Калп. В прошлом никто за всю историю человечества не имел такой возможности. И нет призвания выше, чем делать снимки, которые показывают истинную картину мира.

Мистер Калп включил Кальвина в свое завещание, так что теперь, когда он вернется в Балтимор, на витрине студии будет начертано: "Калп и Харпер, фотографы". Кальвина раздражало, что его камеру использует в своих целях какой-то безграмотный пройдоха, балбес, придурок и к тому же южанин-мятежник из голытьбы. Вздохнув, он сказал себе: Если бы мы с мистером Иосией Калпом приехали в Барнуэлл на день раньше или на день позже, мы бы с этим психом вообще не встретились. Мистер Калп был бы жив-здоров, и мы по-прежнему занимались бы своим делом. А теперь — о господи! — надо ж мне было так влипнуть, никуда даже и не дернешься!

Поймав себя на том, что начинает хныкать, Кальвин прочистил горло и расправил плечи. Ничего, я еще скажу свое слово, — подумал он.

VII

Через два дня кровопролитная битва при Бентонвиле закончилась. Влившиеся в колонну Слокума еще на подходе, по дороге из Голдсборо, оба корпуса, присланные Ховардом с подчиненного ему правого фланга, с ходу начали методичное развертывание боевых порядков, и Джозеф Джонстон, командующий силами конфедератов, вскоре вынужден был признать, что инициатива уже не в его руках. Обнаружив, что имеет дело с превосходящими силами противника, и изо всех сил пытаясь хотя бы удержать позиции, он стал готовиться к отступлению. Возможно, к этому его подтолкнул еще и агрессивный фланговый маневр генерала Джо Мауэра, который по собственному почину провел свою диви-

зию через заболоченный лес и чуть не отрезал Джонстону единственный путь к отходу — мост через реку Милл-Крик. Находившийся в своей полевой ставке на некотором удалении от передовой Шерман узнал об этом и, опасаясь, не слишком ли Мауэр распыляет силы, приказал дерзкому генералу возвращаться на основные позиции северян. У нашего Джо Мауэра прямо страсть какая-то к болотам, — заметил Шерман. — Покажешь ему болото, он туда сразу — нырк! Он хороший боец, да это и понятно — явно ведь произошел от крокодила.

В ночь, когда повстанцы отошли к северу, шел сильный дождь. Приказа выступать в погоню армия Шермана не получила, и все, не сходя с места, стали располагаться лагерем — солдаты заворачивались в одеяла и палаточный брезент и ложились в грязь.

Под несмолкающий шум дождя медики продолжали работу. Ориентируясь по стонам и крикам о помощи, бригады добровольцев обшаривали лес, подбирали раненых, грузили их в санитарные повозки и простые телеги и развозили по плантациям и фермам, реквизированным под армейские госпитали вдоль чуть не всей дороги на Аверасборо. Операционная Сбреде располагалась в маленькой католической церкви. Прямо на алтарь постелили клеенку. Раненые лежали в проходах или сидели сгорбившись на скамьях. Все это освещалось тусклым и неверным светом свечей и дымных факелов. Некоторые, дожидаясь помощи, так пролежали два дня. Их раны начали гноиться. Санитары пытались защищаться от вони, дыша через маски, сделанные из бинтов. Когда раненый, не в силах выносить боль, умолял пристрелить его, советовались с Сарториусом, и, если он соглашался с тем, что случай безнадежен, человека выносили в темноту и оказывали ему искомую услугу. Пришел старик священник, встал у последнего ряда скамей, почти у двери, потом опустился на колени и принялся молиться. Всякий раз при виде человека в смертельной агонии он спешил снабдить его последним напутствием, нимало не заботясь вероисповеданием умирающего, так же как и Сарториус не спрашивал, северянин его пациент или конфедерат. Старый священник плакал, заламывая руки, да и Перл тоже ближе к полуночи плакала не переставая. В конце концов она села на землю рядом с солдатом — сидела и держала его за руку, пока тот не испустил дух. Но вот он умер, а она по-прежнему не отпускала его руку. Наконец пришел Стивен Уолш. Он мягко поднял ее на ноги и отвел в дом священника, где уже спали мальчик Дэвид и Альбион Симмс; экономка священника уложила ее в постель и едва накрыла одеялом, как Перл уже спала.

Дэвид, который от Альбиона Симмса был в полном восторге, едва фургоны обоза с утра вновь тронулись в путь, сел рядом с его ящиком и стал слушать песню:

> Вещая кукушка, птица-красотуля,
> Если метишь в небо, то уж вниз-то не ныряй!
> И хотя б до праздника...
> И хотя б до праздника...

Ну! Ну! Четвертого июля же! — напомнил Дэвид.
Четвертого июля, — повторил Альбион. — Ты хороший мальчик?

Ну, а то нет!

Ты хороший мальчик?

Ну, а то нет!

Ты хороший...

Я же только что сказал, что да!

А что это там в окне?

Это не окно, это солнце светит в фургон.

Солнце?

Ну да.

А оно всегда светит?

Нет, ночью не светит. И когда дождь, его тоже нет, — сказал Дэвид.

Оно всегда светит. Ты пойми! Оно же светит сейчас, а сейчас это и есть всегда. Ты хороший мальчик?

Ну, а то нет!

Что я сейчас сказал?

Спросили, хороший ли я мальчик.

Да. И что ты ответил?

Что хороший. А зачем у вас руки к перекладине привязаны?

А они привязаны? Развяжи.

Но ведь зачем-то же они привязаны!

Да, развяжи их. Ты ведь уже большой мальчик?

Ну, а то нет!

Мне неприятно, что у меня руки привязаны. Мне это приносит огорчение. Что, я сказал, это мне приносит?

Огорчение.

Да. Конечно. Дэвид, а как тебя зовут?

Но вы же только что сами сказали, — усмехнулся мальчик.

Что я сказал?

Что Дэвид.

А зовут-то тебя как?

Но вы же сами только что сказали!

Ты руки мне развязал?

Не-а. Тут такой узел хитрый — и туда, и сюда, и споднизу...

И туда, и сюда?

Ну да.

Вещая кукушка, птица-красотуля... Давай-давай, я фокус тебе покажу. Что я тебе покажу?

Фокус. Готово. Вот вам ваша правая рука. А что за фокус?

Смотри, — улыбаясь, сказал Альбион Симмс. И, подняв правую руку, коснулся указательным пальцем гвоздя, торчащего у него в черепе. — Что это?

Железка, застрявшая у вас в голове. Это больно?

Нет. Вот, смотри сюда, — проговорил Альбион Симмс и пальцем слегка постучал по гвоздю.

Это не фокус, — огорчился Дэвид.

Барабанную дробь! — возвысил голос Альбион. Медленно вытянул руку. — Ты внимательно смотришь?

Ну, смотрю.

Ударив ребром ладони, Альбион вбил гвоздь себе в мозг.

Через три дня после битвы при Бентонвиле воцарилась прекрасная солнечная погода; став лагерем, войска Шермана отдыхали на поросших сосной холмах вокруг Голдсборо. Запланированное объединение с тридцатитысячной армией Скофилда произошло, вскоре с побережья должны были по железной дороге подвезти новое обмундирование, почту и провиант, поход по Джорджии и обеим Каролинам прошел в точности так, как Шерман его замышлял, — в общем, можно бы слегка и расслабиться. Одно не выходило из головы: как это генерал мятежников Джо Джонстон так его подловил! Конечно, ввиду численного превосходства противостоящих сил Джонстон покинул поле боя и, конечно же, история будет числить Бентонвиль как победу северян. Но верно и то, что Шерман дал своим колоннам разделиться и настолько утратить связь между собой, что Джонстону удалось всей своей армией обрушиться на колонну Слокума, оставшуюся без поддержки и вынужденную защищаться из последних сил. Шермана, стоявшего лагерем в каких-нибудь двенадцати милях, пришлось извещать о случившемся, разбудив среди ночи! После чего потребовался изнурительный ночной марш-бросок двух корпусов Ховарда, чтобы не дать Джонстону смять позиции северян и вынудить их отступить. Сотни солдат Союза погибли и тысячи были ранены.

По тому, как часто менялось настроение генерала, впадавшего то в задумчивость, то в нервическое возбуждение, полковник Тик понял, что именно эти соображения не дают покоя командующему. Вот и вчера утром тоже: Шерман со своим штабом на главной площади городка Голдсборо принимал парад своих потрепанных войск, возвращавшихся из-под Бентонвиля. На сей раз никто, приветствуя "дядюшку Билли", не кричал во всю глотку, происходящее носило, мягко говоря, весьма формальный характер. Солдаты шли усталые и голодные и так были утомлены месяцами походов и схваток, что от них и оставались-то уже одни только жилы да мышцы. И злы они были настолько, насколько могут быть злы смертельно усталые люди. Изодранные их мундиры даже на тряпки уже не годились, распухшие босые ноги сбиты в кровь. Ротных барабанщиков для поддержания строевого шага давно не было. Да и строевого шага не было. Взгляните на них, — повернувшись в седле, сказал Шерман Тику, сопровождавшему его на смотре войск. — Вы когда-нибудь видывали армию лучше этой? Они отдали мне все, что я просил, и даже больше того. Когда проклятая война окончится, я проведу их по Пенсильвания-авеню[1] специально в этом же непрезентабельном виде, чтобы люди поняли, что значит война, воочию увидели, как она снимает с человека шелуху всего наносного и несущественного, превращая его в закаленного бойца с железным сердцем и отважной душой героя.

По мнению Тика, за прошедшую неделю Шерман совершил даже и не одну ошибку. В том, что преданный командующему адъютант лелеет про себя мысль, будто тактической прозорливостью он на голову превосходит начальника, ничего необычайного нет. При том, что полковник Тик боготворил командующего и был готов в любой момент умереть за него, он тем не менее твердо знал, что никогда бы он, Тик, не

1. "Проспект парадов", соединяющий Белый дом с Капитолием.

отозвал генерала Мауэра, не заставил бы его скомкать дерзкий фланговый маневр в болотах. Джонстон был уже практически приперт к стене, его вот-вот лишили бы последнего пути к отступлению — моста через реку Милл-Крик. Вместо приказа Мауэру возвращаться Шерман должен был послать ему мощное подкрепление. И тогда Джонстон потерял бы армию, а это означало бы конец всякого сопротивления в обеих Каролинах.

По какому-то мистическому совпадению в тот самый момент, когда Тика посетили эти мысли, Шерман как раз о том же и заговорил. Дело было за обедом в особняке табачного торговца, который сам удалился на принадлежащую ему ферму, а оккупантам любезно оставил все, чем богат дом — включая слуг, кладовые, винные погреба и табачные клети. Вот скажите, что бы вы сделали на моем месте, а, Тик? Может, я зря отозвал Мауэра? Ошибся? Его позиция показалась мне уязвимой. Можно было, конечно, послать кого-нибудь ему на подмогу. Но в любом случае народу там погибло бы множество. Джонстон бился бы до последнего солдата. Он ведь у них лучший — этот Джо Джонстон. Заткнет за пояс самого Ли. Еще под Атлантой, помню, давал нам жару, но конфедераты не позволили ему развернуться, назначили командующим глупого француза Борегара. Для нас сие было чистым везением, доложу я вам. Джонстон не стал бы оборонять город, как это делал Борегар. Абсолютно тупое, бесполезное занятие. Огаста, Чарльстон... А в результате им ни разу не удалось собрать силы в единый кулак, которым можно было бы меня остановить. Джонстон, как всякий хороший солдат, использовал бы естественные преграды. Задерживал бы нас у каждой реки, на каждом перекрестке, у каждого холма и болота, и пространство отдавал бы только в обмен на кровь. Мы бы, разумеется, все равно своего добились, но ценой гораздо больших потерь. К тому времени, когда Джонстона снова допустили до командования, от повстанческих соединений оставались жалкие крохи. Но он собрал их в единую армию и вывел как раз туда, куда надо, так что был момент, когда он меня побеждал. А насчет Мауэра... Нет, тут я по-прежнему говорю нет. Это были бы зря загубленные жизни. Что может Джонстон сделать теперь с нашей девяностотысячной армией? Отозвав Мауэра, я много жизней спас, и не только в наших рядах. Папаша Авраам хочет, чтобы ребята с Юга остались живы, хочет, чтобы они вернулись к себе на фермы и продолжали пахать и сеять. Что до меня, то я продолжу марш — тем более, мои солдаты теперь закалены в битвах и лишениях так, что каждый из них почти сверхчеловек. Война окончена, Тик, как бы ни пыталась этому помешать какая-нибудь несчастная мелкая банда смутьянов. Мы победили, и все это понимают. Юг мой, и Джо Джонстон сознавал это еще в тот день, как я здесь появился, пройдя по всем здешним долинам от самой Атланты.

Почувствовав, что в ответ ничего говорить сегодня не заставят, Тик испытал облегчение.

Шерман выглядел скверно — лицо усталое, под глазами круги. Он курил непрерывно и пил больше чем ел. Он то безостановочно говорил (причем пережевывал одно и то же, без конца расточая восторги по адресу нижних чинов), то хватался за всякие мелочи, которые обычно оставлял на усмотрение подчиненных. Задал взбучку главному армейско-

му почтмейстеру, когда с побережья вовремя не доставили почту. Когда пришли образчики нового обмундирования и обуви для солдат, он щупал ткани и прикидывал на руке вес башмаков, как покупатель в магазине мужской одежды, заставив смущенного начальника интендантского управления армии генерала Мейгза выступать в роли стороннего наблюдателя. Назначал инспекции и отменял их, организовывал парад и отменял приказ о нем, когда народ уже начинал собираться. Люди заслужили отдых, и я его им предоставлю, — объяснял он свои действия Тику. В то же время он боялся с этим переборщить: понимал, как разлагает боевой дух армии утрата цели, ощущаемая солдатами в каждом городе, когда все расселены по квартирам, повсюду бродят и пьют больше чем следует; теперь он и сам чувствовал нечто сходное. Ему хотелось в поход, хотелось видеть, как его солдаты идут в колоннах; он не любил править городами, где без конца приходится иметь дело с хнычущими шпаками. Чтобы чувствовать надежную твердость земли под собой, ощущая себя словно под высокой сосной в палатке, он кидал одеяла у камина на пол и спал там, несмотря ни на что, все-таки в палатке, которую каждый вечер ставил в его спальне сержант Мозес Браун.

Тик поговорил с Брауном. Вы уж его подкормите, сержант, и устройте ему баню. Он переутомлен и совершенно измучен. Верный Браун кивнул. Он и так уже вовсю разбавлял вино генерала водой. Вот уж кому не надо было объяснять, что генералу вредно, а что полезно!

Занявшись реорганизацией армии, Шерман почувствовал себя лучше. Теперь, когда в нее влились и войска Скофилда, Шерман замыслил поход сразу тремя колоннами, причем так, чтобы ни одна не могла оказаться предоставленной самой себе. Центральной колонной будет командовать Скофилд. Командующими флангов по-прежнему останутся, естественно, Слокум и Ховард. А генерала Джо Мауэра (вы там отметьте у себя, Тик) надо повысить — сделаем его командиром Двадцатого корпуса армии Слокума. Итак, три колонны, Тик, три колонны в девяносто тысяч штыков. На месте Джонстона я бы бросил винтовку и бежал куда глаза глядят. Вот такой, стало быть, изобразим трезубец с отточенными кровожадными остриями. Тик слегка удивился: Генерал, трезубец — это оружие Посейдона! А он морской все-таки бог. Да ладно, — отмахнулся Шерман, — тут последнее время такие дожди были, запросто можно хоть в водяного превратиться, хоть в самого Посейдона!

Когда утром ему доложили, что при Бентонвиле погиб шестнадцатилетний Уилли, сын генерала конфедератов Харди, Шерман удалился в свои покои и там плакал. Наверняка этот Уилли Харди официально даже и не числился солдатом, но слезно вымолил у отца разрешение тоже посражаться с врагами. Поплакав, Шерман сел писать письмо генералу Харди, чья дивизия по последним данным разведки стояла под Смитфилдом в составе других сил Джонстона. Таким образом, генерал, мы оба потеряли сыновей, которых даже и звали одинаково! Хотя мой Уилли по малости лет в седло взобраться еще не мог, война повинна в его смерти не менее, чем в смерти вашего сына. Как же извращен наш век, если юным душам, в нарушение великого замысла Божьего, ныне позволено расставаться с миром телесной реальности прежде стариков! Как говорил Екклесиаст (если только я правильно помню), "Как зеленеющие листья — одни спадают, а другие вырастают: так и род от плоти и крови — один уми-

рает, а другой рождается"[1]. Могу себе представить, как горестно взывали вы ко Господу, чтобы вернул Он Уилли, взяв лучше вашу жизнь, потому что и сам я взывал о том же — то есть в момент, когда Он отнял у меня моего Уилли. Какою бранью осыпаю я наше нелепое время, когда тысячи таких же как мы отцов и матерей приносят своих детей в жертву братоубийственной войне. С нетерпением дожидаюсь дня, когда нация вновь станет единой и возобновится естественный порядок смены поколений в соответствии со сроками, определенными для этого Всевышним. Когда такие дни придут, мой дорогой генерал, я надеюсь, мы сможем встретиться и вместе оплакать наши потери, как водится у солдат и ветеранов. Примите мои искренние соболезнования. Засим остаюсь, сэр, вашим скромным и послушным слугой. Уильям Текумсе Шерман, генерал-майор.

Толком так и не успокоившись, Шерман решил, что делать тут больше нечего, надо спешить на север, в Виргинию, соединяться с генералом Грантом. Позвал командующих флангами и корпусами, чтобы проинструктировать о порядке следования. Собрались в огромном зале заседаний на первом этаже верховного суда штата. За окнами деревья на городской площади подернулись робкой зеленью. Карты Шерману расстелили на ореховом столе, отполированном до зеркального блеска. Сквозь высокие, от пола до потолка, окна сияло солнце, и генералы (за исключением Килпатрика) явились вымытые и нарядные, в наглаженных парадных сюртуках со сверкающими пуговицами. Все выглядели чуть ли не аристократами. Шерман вздохнул. Он и сам был одет не слишком изысканно, но Килпатрик — нет, это все же чересчур: куртка в пятнах, борода клочьями, сапоги в засохшем навозе, и к тому же — черт побери, — ну, есть у тебя горб, ладно, но почему не попытаться все же встать-то попрямее, как-то подтянуться в соответствии с собственным рангом! Генералы кружили около стола, Шерман, тыкая в карту указкой, иллюстрировал высказанные мысли. Прежде мы брали их города. Разбирали железные дороги, уничтожали арсеналы и заводы, лишали их притока валюты, отбирали хлопок. Теперь ситуация изменилась. Уничтожить армию Джо Джонстона — вот наша единственная задача. Несколько дней назад мы с ним встретились на его условиях, теперь надо встретиться на наших. Возможно, Ли попытается уйти из Виргинии и соединить силы с Джонстоном вот здесь. Да, хотя ему и нелегко будет сделать это, но он может попытаться совершить марш-бросок налегке, бросив обозы — выйдет вот отсюда и пойдет сюда, — продолжал Шерман, двигая указкой на юго-запад от Ричмонда. — А куда ему еще деваться? Под его командованием усталая, истощенная армия, дезертирство из которой нарастает день ото дня. Грант тут же накрепко отрежет его от Дэнвилла (тоже мне, столицу они там устроить додумались!), и что тогда, скажите на милость, этому Ли делать? Либо драться, либо с голоду подыхать. Так что даже с Грантом на хвосте рывок в Северную Каролину для него лучший выход, и я был бы очень не прочь, чтобы он им воспользовался, потому что при моих девяноста тысячах штыков мне даже Грант с его Армией реки Потомак не понадобится. Мы сможем завершить войну прямо здесь, и слава вся будет наша.

1. Сокращенная цитата из книги Премудрости Иисуса, Сына Сирахова. 14:19.

При этих его словах генералы заухмылялись, поглядывая друг на друга с довольным видом. У некоторых даже лица от радости порозовели.

Только вот боюсь я, — задумчиво проговорил тут Шерман, — что никуда он не тронется, а будет, как доблестный идиот, держать позиции. Что это может означать для нас? У Джонстона максимум тридцать пять тысяч штыков. Если мы можем с ним справиться даже когда он будет с Ли в одной связке, то что же сложного разбить Джонстона одного? Что сложного? А я скажу вам. Джонстон — великий мастер отхода. Помните, как шустро он бегал от нас под Атлантой? Отступление, отход Джонстон понимает как мощный стратегический маневр, и в этом он прав. Будем надеяться, что Джонстон встанет на защиту Рэлея, но если нет, если сбежит, наша задача сильно усложнится. Сбежав, он примется мстить, рассредоточит войска по всему западу Северной Каролины, по Теннесси, начнет партизанскую войну, а она может затянуться на годы. На годы, джентльмены! Он не хуже нас умеет добывать фураж, к тому же гражданское население ему втайне сочувствует и будет снабжать всем, что понадобится, а значит... — нет, только не это! Мы должны обойти его с обоих флангов, взять в мешок и, если не сдастся, перемолоть в мелкую пыль.

Внимание генерала Килпатрика в этот момент отвлекли две молодые черные женщины, вошедшие в комнату с серебряными подносами, на которых стояли чашечки с кофе и графинчики с бренди. Женщины были молоды и милы и улыбались, как улыбаются вольные юные девчонки — вольные улыбаться и вольные делать все что их душе угодно.

Генерал! — недовольно окликнул его Шерман.

Да, сэр! — моментально отозвался грубый голос Килпатрика. Он чуть ли даже не вытянулся по стойке смирно.

Я спросил, как у вас с перековкой лошадей.

В лучшем виде, генерал. На днях все будут с новыми подковами и готовы к походу.

Потому что только от вас будет зависеть, как удастся отрезать врагу путь на запад. Там надо будет запереть все дороги и держаться, пока не подойдут мои колонны, — пояснил Шерман.

По окончании совещания генералы расслабились, стали радостно общаться, со всей доступной им элегантностью попивая кофеек из маленьких фарфоровых чашек. В комнату заглядывало солнце, суля скорую победу. Как это водится у военачальников, каждый из них был не чужд соблазна выделиться за счет других, но наука, которую они превзошли за долгие годы войны, сгладила взаимные претензии; вместе пройденные дороги, форсированные реки, преодоленные препятствия и вопреки всему сохраненная жесткость организации (у каждого в своей сфере, но при четком понимании того, что их усилия направлены на достижение общей благородной цели) — все это способствовало тому, чтобы ценить и уважать друг друга. Бесстрашный покоритель болот Мауэр на отдыхе был робок и застенчив. Слокум, решительный командующий левым флангом, ходил как в полусне, полуприкрыв глаза тяжелыми веками, хотя все знали, что соображает он мгновенно, да и считать умеет не хуже банковского аналитика. Ховард (правый фланг) был этаким ар-

хетипическим папашей: толстый заботливый увалень, любящий поговорить о своих детях и с неподдельным участием выспрашивающий подчиненных об их семейных делах. И среди них, справившись, наконец, со своим дурным настроением, с шутками и прибаутками прохаживался Шерман; купаясь во всеобщем восхищении, он и сам в свою очередь всякими намеками, смешками, кивками и хмыканьем выражал им то, как он их ценит и как доволен ими.

Что ж, это тоже важная черта руководителя, — отметил про себя полковник Тик, который, будучи дежурным офицером, стоял у одного из окон. — Знать, когда можно проявить человечность, когда, не заискивая перед подчиненными, можно дать им понять, что веришь в них. Чтобы в трудный час каждый из них при необходимости не задумываясь отдал за тебя жизнь.

Продолжая над этим размышлять, Тик невзначай глянул в окно. А под окном как раз остановился фургон армейской фотографической службы, перед которым руки в боки стоял человек в долгополом пальто и мягкой фетровой шляпе и смотрел вверх, прямо Тику в глаза. Шерман, раскуривая сигару, прошел мимо Тика, тоже заметил человека на улице и, сразу оценив подвернувшуюся возможность, обратился к присутствующим в зале. Джентльмены, — сказал он, — слава сама пожаловала к нам. Пойдемте, нас сфотографируют. Сядем там вместе на солнышке, и пусть над городом Голдсборо при этом реет флаг США, осеняя собою славное офицерское братство Армии Запада.

Когда подъехали к окруженному часовыми зданию верховного суда штата, Арли сказал Кальвину: Ну вот и славно, приехали, он здесь. Теперь будем делать историю. Я сниму генерала Шермана. Но если ты будешь мне мешать...

Да зачем бы я стал мешать вам? — притворно удивился Кальвин.

Потому что ты свободный негр, а свободные негры коварны. А скажи-ка мне, ты в рабстве-то был?

Нет.

Это еще хуже. Потому что ежели ты не был в рабстве, то не знаешь, что бывает с такими как ты, когда они неправильно себя ведут.

Думаю, что знаю.

Надеюсь. Бог воспользовался этой войной и в обычной для него мистической манере проверяет нас. Храбрость нашу проверяет, проверяет тем, что жжет нас, отстреливает, а вас, черных, заставляет думать, будто вы лучше чем вы есть. Но это вовсе не значит, что ваш президент Линкольн выиграет войну. А значит это, что нас поглотило пламя, после которого мы восстанем из пепла новые и возрожденные. И больше ничего это не значит! Разве я не прав, Уилл? Зачем иначе Богу было сажать тебя в тюрьму за дезертирство, а меня за то, что заснул на посту? Зачем, если не готовил Он для нас в посрамлении нашем нового и величайшего прославления?

Всего генералов было одиннадцать. Вынесли стулья и поставили перед ступенями крыльца. Одно шикарное кресло для Шермана, четыре стула с прямыми спинками для генералов — по два с каждой стороны от кресла. Остальные стали в ряд позади стульев. Шерман, естественно, прика-

зывал — кому сидеть, кому стоять и где. По мере того как шли приготовления, собиралась и толпа зевак. Полковник Тик приказал усилить подразделение охраны, так что между генералами и уличной публикой теперь выстроились солдаты с винтовками наперевес.

Задувал легкий ветерок, было по-утреннему прохладно. Следовало поговорить с полковником. Но как до него добраться? Кальвин тянул время. Он преувеличенно долго возился с каждой деталью оборудования, бегал в фургон и обратно то за одним, то за другим под всяческими надуманными предлогами. То и дело менял положение камеры, то приближал ее, то отдалял, ставил то левее, то правее. Знал, что рано или поздно генералам это надоест и они возмутятся. Шерман сидел, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди, — он принял позу, в которой хотел быть запечатленным на века, и ждал, когда же, наконец, фотографы сделают свое дело.

Арли бормотал: Шуруй, Кальвин, шуруй, нам торопиться некуда, но имей в виду: все генералы федерального Севера ждут тебя! В ответ Кальвин уронил фотопластинку. Ударившись о землю, она разлетелась на кусочки. Пришлось собирать осколки и бежать в фургон за новой. Это повергло Арли в некоторое смущение, как если бы он действительно был мистером Калпом. Лишнее время он решил занять тем, что стал инструктировать генералов, кому какую позу принять. Между теми, кто стоит, распределял, кому смотреть прямо, а кто должен обратиться к камере в профиль. Оттянув себе пальцами углы рта вниз, показал, что улыбки неуместны. Откуда он только взял это? — удивился Кальвин.

Впрочем, — подумал Кальвин, — если бы Арли готовил какую-нибудь пакость, он бы уже совершил ее. Будучи так близко к генералу Шерману, он имел для этого массу возможностей. Кальвин поглядел на генералов, изображающих серьезность и значительность, на белые колонны здания суда позади них и подумал, что, если бы их действительно сфотографировать, это было бы замечательное историческое фото. Но он принял меры. Пластинка, которую он вставил в камеру, раствором не обработана, значит изображения не запечатлеет. Для полной гарантии он еще и объектив вкрутил не тот — не на то расстояние между камерой и объектом. Чувствовал себя при этом странно: ведь получается, что он предает свое ремесло, самой истории не дает вступать в свои права! Но он был уверен: так надо. Что бы ни случилось, что бы ни затеял этот спятивший южанин, никакой фотографии ему не сделать!

Поскольку генералы его инструкций слушались, Арли сделался вальяжен. Расхаживая взад и вперед, любовался столь внушительным собранием, взмахивал полами пальто и радостно заламывал шляпу мистера Калпа. Этот момент останется в веках, — провозгласил он. — Военный Салон фотографии мистера Калпа имеет честь запечатлеть его!

К этому времени Шерман стал проявлять нетерпение: вот повернул голову, что-то пробормотал, почесал у себя в бороде, привстал, сел, закинул ногу на ногу сперва так, потом этак. Теперь, джентльмены, главное! — вещал Арли. — Вы, небось, сами знаете, что, когда камера снимает, вам даже пальцем пошевелить нельзя, иначе фото будет испорчено. — В этот момент он сделал вид, будто только сейчас заметил, что генерал Шерман сидит неправильно. — Сэр, — сказал он, — не будете ли вы так любезны позволить мне использовать применительно к вам дер-

жатель головы? Потому что из-за этих утомительных приготовлений вы можете потерять способность к сохранению полной неподвижности, начнете ерзать на стуле, и тогда изображение выйдет нерезким. Шерман нахмурился, но согласно кивнул, и Арли послал Кальвина обратно в фургон за держателем — рейкой с двумя ползунами на ней, вроде большого штангенциркуля, снабженного ногой. Кальвин знал, что нынешний утренний свет требует экспозиции всего секунд в десять, так что никакой держатель головы не нужен. Зато это давало ему шанс. Стоя позади Шермана и закрепляя держатель, он прошептал, едва шевеля губами: Сэр, этот человек не фотограф! Это спятивший шпион-южанин! Проговорив это, Кальвин сразу отбежал. А Шерман в его сторону не мог уже и головы повернуть. Что? — спросил он. — Что там бормочет этот негритос?

Видя, что Арли отвлекся на какую-то возню с камерой, Кальвин быстро подскочил к полковнику Тику, стоявшему в тени на дальнем конце крыльца. Сэр, — сказал он, — мистер Иосия Калп умер. Человек в его пальто — спятивший солдат-повстанец.

Вы о чем? — переспросил его Тик. — Какой еще солдат-повстанец?

И взял его за плечо, но в этот момент, к своему ужасу, Кальвин увидел, что Арли отвинчивает от камеры объектив. Неужто безумец понял, что объектив не тот? Как он мог догадаться? Вырвавшись из хватки полковника, Кальвин бегом бросился к камере, чувствуя, что с ее помощью делается что-то очень нехорошее. Арли сунул голову под черное покрывало. Послышался его приглушенный голос. Сиди теперь тихо, генерал Шерман, твой час настал! Тут вновь глазам негра-фотографа предстало лицо Арли. Появившись из-под тряпки, оно было исполнено столь дикого восторга, что Кальвину таким и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. А из отверстия, которое должен был закрывать собою объектив (Кальвин как-то не заметил этого вовремя), показался ствол револьвера, который Арли украл у мистера Калпа. Первый выстрел раскаленной молнией пронесся у самых глаз Кальвина, ослепив его. Но он уже прыгнул, уже летел на камеру и уже сбил ее с позиции, так что второй выстрел угодил в грудь полковнику Тику и опрокинул его наземь, хотя Кальвин этого не знал. Он стоял на коленях, яркие точки плясали в его голове, и когда он поднес руку к глазам, они были мокрыми. Он не мог понять, что это за влага, пока не поймал себя на том, что глотает ее. Вокруг него стоял всеобщий крик. Послышались какие-то шаги, кто-то куда-то бежал, потом заржал мул Берт. Стоя на четвереньках, Кальвин слизывал кровь, а ему в спину тыкали острием штыка.

Нажав на спуск второй раз, Арли выпрыгнул из-под падающей камеры, обругал Кальвина, сделал шаг назад и, когда несколько солдат бросились к нему, отшвырнул пальто и шляпу мистера Калпа, оставшись в аккуратно застегнутом сером мундире, взятом из реквизита, хранившегося в фургоне мистера Калпа. Его сшибли с ног прикладом ружья, сапогами придавили к земле, затем грубо подняли на ноги, а он в это время громко сетовал на ненадлежащее обращение: Черт, да нельзя же так, вы чуть не сломали мне плечо! Когда его уводили, он потребовал, чтобы его поместили вместе с другими пленными солдатами Конфеде-

ративных Штатов Америки. Это была честная атака! — кричал он. — Я солдат!

В волнении и неразберихе подразделение охраны быстро окружило генералов. Несколько ошеломленный, Шерман приказал, чтобы Тика перенесли назад в зал заседаний. Едва обнаружилось, что Шерман невредим, генералы принялись справляться друг у друга, не получил ли кто ранений. Оказалось, нет, никто. Но все были согласны в том, что лучше им удалиться в здание и выпить еще кофе с бренди. А может... кофе не надо? — шагая через две ступеньки, предположил Килпатрик. Другие с достоинством следовали за ним, стараясь избегать неподобающей торопливости, однако то один, то другой оглядывался на толпу, оттесненную на дальний край площади — вдруг там еще кто-нибудь тянет из-под полы револьвер! Не правда ли, как странно, — сказал один из них. — Уж на что мы все привыкли находиться под огнем, а все равно: такая ситуация как эта представляется все же... м-м-м... несколько неестественной.

Шерман на пару секунд задержался на ступенях крыльца, озирая уличную толпу. Как этому чертову идиоту удалось подобраться так близко? — ни к кому, в общем-то, не обращаясь, вопросительно проговорил он.

Кофейные чашечки были спешно убраны, а на столе лежал полковник с подоткнутым под голову вместо подушки сюртуком Шермана. Побелев от боли, Тик все же больше думал о том, как пострадала его форма. Кроме того, ему казалось неправильным, что он лежит в присутствии стоящих генералов. Попытался подняться. Перестаньте дергаться, Тик, — сказал Шерман и прижал его к столу.

Одним из трех прибывших хирургов был Сбреде Сарториус. Коллеги сразу вытолкнули его вперед. Он предложил полковнику обезболивающее. Тот отказался. Пуля сломала ребро, но вошла не глубоко, ее без затруднений можно было вытащить. Удалили осколки кости. На две-три небольшие кровоточащие артерии наложили лигатуру. Сбреде постучал полковнику по грудине и с удовлетворением отметил, что легкое не спáлось. Зашив рану, прикрыл ее корпией, однако перевязывать не стал. Позвал санитаров с носилками, пояснив полковнику, что ему придется немного отдохнуть в полковом лазарете.

За всей этой сценой наблюдали генералы, собравшиеся вокруг, как студенты в медицинском училище. Генерал Шерман то и дело задавал вопросы — а это зачем? а почему вы это сделали? — на которые Сбреде упорно не отвечал, чем произвел на Шермана совершенно неизгладимое впечатление.

Проинструктировав ассистента, как дальше лечить раненого, он пошел оказывать помощь негру, который все еще лежал у крыльца. Шерман повернулся к одному из штабных и спросил: Кто этот полковник? Как фамилия? Он настоящий солдат, не то что большинство у них там в медицинском департаменте.

На рассвете следующего дня специально вызванная для этого команда расстреляла Арли Уилкокса. При соответствующем церемониальном антураже: конные офицеры, военный оркестр, сосновый гроб и подраз-

деление пленных конфедератов, захваченных при Бентонвиле и доставленных к месту казни в целях назидания и вразумления. Приговоренному, который непрестанно вопил, что он военнопленный, слегка озадаченные конвойные объяснили, что именно поэтому его и расстреливают, вместо того чтобы вешать. Что ж, Уилл, — сказал он, обращаясь к фотографии в своем кармане, — снова мы вернулись к тому, с чего начали в Милледжвиле. Но тут, по крайней мере, расстреливать будут враги, северяне проклятые, а не свои же товарищи по оружию, так что Господь по-прежнему бесконечно милостив, и в будущем меня, возможно, признают мучеником.

Когда ему приказали рыть себе могилу, Арли работал вдумчиво и аккуратно, тщательно ровняя стенки ребром лопаты. Это мой новый дом, и я хочу, чтобы он был красив, — пояснял он.

Кальвина не расстреляли вместе с Арли Уилкоксом, потому что он был ранен и потому, что не очень ясна была степень его соучастия. Никто не мог понять, зачем негру было споспешествовать такому бесчинству. Определить, когда Кальвин Харпер будет достаточно здоров, чтобы принять участие в административном слушании, которое решит его судьбу, должен был Сбреде Сарториус.

Но тут поступил приказ, согласно которому Сарториус временно прикомандировывался к штабу генерала Шермана. Ему предстояло сопровождать Шермана в его поездке в штаб Армии реки Потомак, располагавшийся в городе Сити-Пойнт, штат Виргиния. Зачем это нужно, Сбреде не мог себе представить, как не мог себе представить и того, чем он может быть полезен армии, будучи лишен ножа и фартука полкового хирурга.

Не зная срока действия своего временного перевода, он полагал, что, скорее всего, вернется раньше, чем негр соизволит окончательно выздороветь. У того была сломана переносица и на обоих глазах ожоги роговицы. Возможна полная или частичная слепота. Наперед пока говорить рано. Сбреде оставил рекомендации по лечению пациента, переоделся в новый мундир, прихватил с собой чемоданчик с инструментами и уехал, никому в госпитале не сказав куда.

Сбреде был зол: не мог смириться с потерей Альбиона Симмса. Какого черта с ним наедине оставили несмышленого негритенка! Я, конечно, сам виноват: нечего полагаться на людей без медицинского образования, — корил себя он. Стивен Уолш и эта его мисс Джеймсон сами еще дети. Хотели как лучше, но в результате-то вон что получилось! Когда вернусь, отошлю Уолша обратно в полк, вот что я сделаю. А девчонка пусть тут сама, как хочет...

VIII

Поездом они приехали в Морхед-сити, а там пересели на каботажный пароход, который за ночь доставил их в Сити-Пойнт. Море было как стеклышко, но Шерман спросил: Что вы даете от морской болезни? Сбреде налил ему настойки опия, и Шерман с жадностью выпил.

Среди прочих вещей, которые я должен обсудить с Грантом, проблема казни этого негра, — сообщил Шерман. — Южные газеты поднимут страшный вой. А еще я хочу, чтобы вы невзначай посмотрели Гранта. И сказали мне, что у него там с печенкой. Ничего страшного, я надеюсь... Я предпочел бы, чтобы он продолжал пить — в пьяном виде он лучше соображает. Я даже по его письмам могу сказать, какое он писал трезвым, а какое под некоторым... гм-гм... наркозом. Тогда его слог ясен, точен, прямо читать приятно.

После того как Шерман отошел ко сну, Сбреде стоял на полубаке и смотрел на море. Армейская жизнь требовала определенного самоотречения, которое не так легко ему давалось. Вот хоть сейчас, например: плывет куда-то по морю с чемоданчиком инструментов в руке, обязанный прислуживать генералу, как мальчик на побегушках.

Ночью, да еще и дождливой, понять, где кончается море и начинается небо, довольно трудно. В этом скучном однообразии Сбреде увидел подобие собственной жизни. Невесело улыбнулся: что ж, когда живешь один, компания тебе — только твой разум. Он прожил в Америке почти двадцать лет, но чувствовал себя здесь своим не более чем в Европе. Армейский медицинский департамент ничего кроме презрения не заслуживал, и Сбреде уже не видел смысла делиться с ним своими открытиями. Война почти окончена. Пора в отставку.

Резиденция генерала Гранта была небогата, но хороша расположением: дом стоял на берегу Джеймс-ривер, из него открывался вид на море и гавань. Место чудное. А́ какая тишина! Сам себе удивляясь, Сарториус обнаружил, что сидит в гостиной, утопая в мягком кресле и положив руки на тесно сведенные колени, а миссис Грант визави пытается из его молчания соткать беседу. Где-то в походах, на марше он, похоже, потерял способность к вежливому обмену репликами. Миссис Грант оказалась простой, скромной женщиной, заботливой хозяйкой, и он был ей очень благодарен за ее старание развлечь его, пока муж совещается с генералом Шерманом за закрытыми дверями. Но приятное она все же совместила и с полезным: спросила его совета по поводу спины Улисса — что-то у него там какие-то боли. И о себе призналась, что как поднимется по лестнице — сразу одышка.

Вошедший с Шерманом Грант выглядел на удивление неказисто — мал ростом, коренаст, с клочковатой густой бородой, — однако нисколько этим не озабочен: его совершенно не интересовало впечатление, которое он производит на окружающих, и это резко отличало его от Шермана — тот говорил и говорил как заведенный. Цвет лица у Гранта был хорош, и глаза даже если и покраснели, то лишь слегка.

Сбреде включили в список обедающих, куда вошли человек двенадцать — в основном офицеры штаба Армии реки Пото́мак. За одним концом обеденного стола сидел генерал Грант, за другим — его жена. Генерал Грант в расстегнутом мундире сидел, развалившись в кресле, ел немного и не пил ничего кроме воды. Ули, — обратилась к нему миссис Грант, — у доктора Сарториуса есть мазь для твоей спины, может, попробуешь? Думаю, со стороны доктора это очень любезно, не правда ли?

После обеда все встали из-за стола, и Сбреде испытал некоторую растерянность, когда Грант с Шерманом куда-то вместе засобирались,

однако Шерман вернулся и поманил полковника за собой, в результате чего тот вместе с генералами отправился на пристань, где взошел на борт "Речной королевы", огромного белого парохода с флагом Соединенных Штатов, реющим на корме. После яркого дневного света Сбреде понадобилось какое-то время, чтобы глаза привыкли к полумраку кают-компании, где навстречу им с кресла поднялся высокий мужчина. Он улыбался слабой, искательной улыбкой больного, грива его непослушных волос была в беспорядке, на плечах шаль, на ногах тапочки, так что Сбреде Сарториус испытал настоящий шок: боже! — это вовсе не тот решительный, харизматический лидер нации, чьи фотопортреты развешаны по всей стране. Перед ним был человек, побитый жизнью, с привычной болью в глазах и физиономией выходца с того света, и тем не менее это был не кто иной, как президент Соединенных Штатов.

Неудивительно, что после месяцев кочевой жизни в южных болотах Сбреде не верилось, что рядом с ним — вот он, рукой подать! — президент Авраам Линкольн. Реальный человек и мифический символ не совпадали. Один здесь, в этом совсем небольшом помещении, другой вне всяких пространственных рамок и едва ли не в одном только воображении. С генералами Линкольн говорил с почтением, пожалуй, даже излишним. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь европейский лидер так просительно разговаривал с подданными. Временами президент напоминал Сарториусу бабушку-старушку, которая боится войны и уже отчаялась дождаться ее окончания. Генерал Шерман, — спросил он вдруг, — а вы уверены, что без вас ваша армия в надежных руках? Ну что вы, мистер президент, на время моего отсутствия командование принял генерал Скофилд — очень знающий, способный офицер. Да, — подтвердил Линкольн, — я уверен, что это так. Но мы поговорим совсем немножко и больше не станем вас задерживать.

Шерман был склонен говорить о войне так, словно она уже кончилась. Он полагал, что, реорганизуя армию для несения регулярной службы в мирное время, новые полки формировать не следует, надо лишь доукомплектовать существующие. А что, генерал Шерман, — со слабой улыбкой отозвался Линкольн, — вы и впрямь считаете, что у нас есть будущее? Шерман, на эту тему шутить не способный, ответил: Полагаю, генерал Грант согласится со мной: война почти выиграна; одно хорошее сражение — и все! Одно сражение, — повторил Линкольн. — И сколько же тогда их будет всего? Пожалуй, лично я уже со счета сбился, — печально проговорил он, после чего склонил голову и прикрыл глаза.

Генерал Грант осведомился о миссис Линкольн, и президент, извинившись, удалился ее позвать; воспользовавшийся этим Грант тут же обратился к Сарториусу. Такое впечатление, что президент за последнее время постарел лет на десять. Нет ли у вас какой-нибудь секретной панацеи, чтобы взбодрить его? Ну, хоть чего-нибудь! Нам сейчас всем нелегко, но мы-то в поле, мы активно действуем. А ему приходится дожидаться от нас вестей, сидя в Вашингтоне и не имея возможности встряхнуться даже во время доброй драчки!

Не успел Сбреде ответить, как президент вернулся и объявил, что миссис Линкольн не очень хорошо себя чувствует и просит ее извинить. При взгляде на Сарториуса полуприкрытые тяжелыми веками гла-

за президента вдруг широко распахнулись и, вздернув брови, он с пугающей откровенностью состроил сконфуженную мину. Возникла неловкая пауза.

Затем президент с генералами перешел в другое помещение. Сарториус мерил шагами кают-компанию, стараясь не вслушиваться в обрывки разговора, доносящегося сквозь переборку. Впрочем, слова и не были слышны, лишь голоса — баритон президента, хриплое бормотание Гранта и более громкие восклицания Шермана, говорившего тоном мальчишки-выскочки, который пытается уверить старших, что у него все под контролем.

Наконец дверь каюты отворилась, и Сарториус, стоя встретивший их возвращение, в полной мере оценил высокий рост президента. Головой тот чуть не чертил по подволоку. У него были большущие ладони и огромные, нескладные ступни; на запястье из-под задравшейся манжеты торчали черные волоски. Длинное лицо было соразмерно росту, однако резкие его черты как бы усиливали общее впечатление, так что в своем уродстве оно было красивым — широкий рот с глубокими морщинами по углам, выдающийся нос, длинные уши и глаза, казалось, каждый миг готовые исчезнуть, прикрытые вялыми веками. Сарториусу пришло в голову, что облик президента говорит о каком-то наследственном заболевании, синдроме увеличенных конечностей и грубых черт. Отсюда же, быть может, и преждевременное старение. Не исключено, что именно этим объясняется чрезмерно изможденный вид Линкольна, тяготы должности которого усугубляются болезнью.

И самое важное, — сказал президент в заключение, — суровыми условиями мира не толкнуть их на то, чтобы в их сердцах война продолжалась. Нам нужно, чтобы инсургенты вновь стали просто американцами.

В этот момент все-таки появилась миссис Линкольн — полная женщина с круглым лицом и гладкими, туго стянутыми сзади волосами; ее глаза были полны подозрительности ко всему и вся. Словно не замечая приехавших генералов, равно как и Сбреде, она направилась прямо к мужу и заговорила с ним о дальнейших планах на этот день, будто никого вокруг не было. Затем, нахмурившись в ответ на какое-то никем не услышанное возражение, она вышла так же внезапно, как и вошла, оставив дверь кают-компании приоткрытой; Линкольн вынужден был встать и затворить ее.

Генералы, поднявшиеся ее поприветствовать, ничего иного не придумали, как продолжить разговор.

С испугом Сбреде обнаружил, что президент склонился к нему. Когда Линкольн к кому-нибудь непосредственно обращался, человека охватывало такое волнение, что он не мог толком сосредоточиться и понять, чего от него хотят. Чтобы слушать, приходилось не смотреть. Генерал Шерман сказал мне, что вы у него лучший, — заговорил президент. — Вы знаете, полковник, на моей жене эта война сказалась столь же губительно, как на самом старослужащем солдате-ветеране. Меня беспокоят ее нервы. Подчас мне жаль, что она лишена по-настоящему научного медицинского ухода — такого, который доступен каждому раненому бойцу в наших военных госпиталях.

Лишь несколько минут спустя, когда Сбреде сопровождал генерала Шермана на пароход, готовый отправиться в обратный путь, ему, наконец, объяснили, каковы в отношении него планы президента. Вы извините меня, полковник, — сказал ему Шерман, — но для вас наш поход окончен. Вы командируетесь в Вашингтон, в Министерство здравоохранения. Поплывете туда на пароходе с семьей президента.

Шерман хотел было уже взойти на борт, но вернулся. В жизни случаются трагические несоответствия, — сказал он. — Наш великий национальный лидер страдает в браке со сварливой неврастеничкой. Они потеряли сына. Но ведь и я тоже, и генерал Харди. И его Уилли, и мой — оба умерли. Тем не менее моя жена Элен тверда как скала. Она не лезет ко мне со своими страхами и подозрениями, когда я борюсь с кризисом нации. Я прослежу, чтобы ваши вещи вам выслали. Удачи, — бросил напоследок Шерман и взбежал по трапу.

В Сити-Пойнте Сарториус прикупил себе кое-какой одежды, саквояж, чтобы упаковать ее, и направился к "Речной королеве", готовой к отправлению в Вашингтон. С этой ситуацией приходилось смириться — что поделаешь? Качество медицинской помощи в армейских госпиталях, — думал он, — мистер Линкольн, конечно, представляет себе не совсем верно. Что ж, пусть это будет его единственная иллюзия.

И никакой секретной панацеи у меня нет. Нет даже ничего похожего. Есть кое-какие травы, настойки, да еще — вот, пила есть, чтобы руки-ноги отпиливать.

Как он ни гнал их от себя, мысли о президенте не отставали. И наполняли его все большим и большим трепетом. Задним числом скромность мистера Линкольна, которую Сбреде поначалу принял за слабость, казалась ему теперь неким одолжением по отношению к гостям, специально сделанной им скидкой, чтобы они не видели той юдоли мрака, в которой он пребывает. Возможно, его боль зарождалась там, где смыкается публичное и частное бытие. Сбреде еще помедлил на пристани. Из-за морального превосходства президента находиться в его обществе было нелегко. Что же до объяснения его болезненного вида, то во многом причиной тому была забота о стране, тяжкой печатью лежащая на челе, — а наследственный синдром... что ж, это всего лишь наследственный синдром. Тут, чтобы правильно диагностировать, науки мало. Его недуг мог запросто происходить от тех нанесенных войною ран, которые он принимает на себя, от воплотившегося в нем страдания порванной на части, расчлененной страны.

Сбреде, имевший опыт борьбы со всеми мыслимыми видами смерти, настигающей после сражения, не мог припомнить, чтобы когда-либо еще ему было кого-нибудь так же жалко. Стоял на пристани, не мог заставить себя ступить на борт. Жизнь в этот момент казалась ему беспросветно мрачной.

IX

Когда паровоз, свистя, втянул состав на переплетение путей сортировочной станции Голдсборо, в его душераздирающих воплях всем слыша-

лись фанфары. Людей выстроили в очереди. Вскоре солдаты красовались один перед другим в новехоньких синих мундирах и штанах. Дивились многозарядным винтовкам, рядами уложенным в ящики и сверкающим смазкой. Ходили довольные, нарочно притоптывая, чтобы размять мощные толстоносые сапоги. Старые тряпки и разбитые башмаки там и сям горели в праздничных костерках. Музыканты получили новую кожу для барабанов, для кларнетов новые мундштуки, и начальник интендантской службы сразу прославился — ну как же: лучший офицер во всей армии! И почту выдали, и жалованье выплатили, и дали недельку отдыха в лагерях, и переформировали части, так что девяностотысячная посвежевшая армия, вышедшая, звякая деньгами в карманах, десятого апреля из Голдсборо, была, как никогда, крепка, боеспособна и готова к завершению войны.

Выдвигаясь из всех своих лагерей, снимаясь со стоянок, армия медленно разворачивалась в сорокамильной ширины каток, двинувшийся вдоль реки Нейсы и по дорогам, прорезавшим тучные поля молодой зеленой кукурузы. От передовых мобильных отрядов к еле ползущим фургонам обоза из уст в уста передавалась весть о том, что из Питерсберга и Ричмонда Ли уже попросили. Этим, видимо, и были вызваны крики "ура", которые с дальних холмов доносились до Стивена и Перл. Теперь стратегия рейда была проста как палец. Никаких уже тебе ложных выпадов на Ричмонд и отвлекающих бросков к северо-востоку. Цель — Рэлей, задача — истребить к чертям собачьим повстанческую армию генерала Джонстона.

Стивен и Перл были слишком расстроены, чтобы принимать участие в общем ликовании. Когда доктор Сарториус уехал и не вернулся, другой полковник медицинской службы объединил его полевой лазарет со своим. У Стивена не было удостоверения военного санитара, поэтому он получил приказ возвращаться в полк. Перл числилась гражданской волонтеркой, так что ей просто велели идти домой, причем без уточнения, куда именно. Перл перепугалась, но Стивен сказал, сиди, мол, не дергайся, и в итоге они оба приказам не подчинились. Что такое армия, Стивен знал лучше ее. И полагался на то, что в пылу переформирования частей и суматохе административного реформирования, которое затеял генерал Шерман, для них непременно найдется щелочка, шесток какой-нибудь хорошо скрытый, где пересидеть, а потом втиснуться в обоз и затеряться на марше. Это было необходимо еще и потому, что на их попечении находился Кальвин Харпер. Когда посланцы медицинского департамента отобрали у них две санитарные кареты и фургон снабжения с имуществом, прежде принадлежавшим Сарториусу, Стивен спросил их командира, лейтенанта, что делать с негром, который вон там — стоит с повязкой на глазах. Ну... твой негр, ты с ним и делай, что хочешь, — ответствовал лейтенант. Но это едва ли могло усыпить их бдительность. Мог возникнуть другой лейтенант, или капитан, или генерал с совершенно другим на сей счет мнением. Кальвин, конечно же, рассказал им свою историю. Перл чуть не плакала, оттого что этот человек, который так любит фотографировать, может навсегда утратить зрение. Доктор Сарториус говорил, что это не исключено. Не проходило и часа, чтобы Кальвин Харпер не приподнял нижний край повязки, проверяя, не стал ли он видеть лучше. Свет я ви-

жу, это да, но больше ничего. Ничего, только свет. Мальчик Дэвид, бегавший за ним как хвостик, придумал все время держать Кальвина за руку, чтобы тот мог ходить, не рискуя упасть и пораниться.

Хотя Кальвин Харпер действительно предупреждал генерала Шермана и — более внятно — полковника Тика о том, что камерой прикрывается инсургент, солдат-мятежник, он понимал, что командующего армией, человека и так занятого по горло, даже и спрашивать не станут, чтобы не отвлекать на подобные пустяки, а полковник, сам получивший ранение, вряд ли будет свидетельствовать благоприятно. Мой единственный шанс, — подытожил свой рассказ Кальвин, — в том, что я негр, а значит, такая мелкая сошка, что за всеми своими великими делами они могут обо мне и позабыть. Но это мой единственный шанс.

Стивен подумал и согласился. Огромная масса людей в армии живет и движется сложным и непостижимым образом, война стремительно близится к концу, и это разлагает дисциплину. В предчувствии перемен генералы, надеясь с ними совладать, строят новую систему бюрократии. Правым флангом теперь служит Армия Теннесси, левым — Армия Джорджии (ее создал, двигаясь через Джорджию, сам Шерман из остатков Четырнадцатого и Двадцатого корпусов и Армии Камберленда), а новой главной колонной от побережья движется Армия Огайо. И как все это понять? Корпуса какие-то, дивизии, бригады, отдельные отряды, каждому из которых теперь положен боевой стяг, каждый в целях лучшего администрирования отличается от всех прочих, хотя понять, в чем это администрирование заключается, обыкновенный пеший солдат, шагающий в пыли под жарким солнцем, разумеется, не способен. Стивен, например, даже не знал, сохранилось ли за его полком старое название "Сто второй Нью-Йоркский". Можно было идти милю за милей, не видя конца и края колоннам солдат, лошадей и телег. Орел, парящий высоко над местностью в теплых токах апрельского ветра, увидел бы лишь нечто переливчато-синее и извилистое, как река, текущая среди пойменных лугов. Стивен предложил влиться в эту реку на фотографическом фургоне Иосии Калпа, надеясь, что иного пропуска кроме новехонькой синей солдатской формы на ездовом им не потребуется.

Единственной проблемой оставался Берт.

Они заняли место ближе к концу обоза, так далеко позади передовых отрядов, что обыденные схватки с повстанческой кавалерией, которая наскакивала и исчезала, наскакивала и исчезала, не затрагивали даже отзвуками. Лишь веял апрельский ветерок, скрипели тележные колеса и слышался мерный стук копыт по утоптанной грунтовой дороге. Но мул по имени Берт не очень-то любил тащиться в двух шагах за одной телегой и в двух шагах впереди другой. Он то и дело упирался и всех, кто позади, задерживал. Все время пытался, нарушив строй, выйти в поля. Когда мимо слишком близко галопом проезжало подразделение кавалерии, Берт поднимал голову, скалил зубы и ржал.

Слушай, этот твой мул... — обернувшись, крикнул под фургонный навес Стивен, — ему совсем не нравится поездка!

Он Берт. Так и зови его, — отозвался на это Кальвин. — Он всегда был себе на уме. А мне он как старый друг. Дай я с ним поговорю минутку; посмотрим, что из этого получится.

Не думаю, что это дельная мысль, — усомнился Стивен. — Лучше тебе сидеть тихо и носа не высовывать.

Некоторое время спустя на пути оказалась речка; мост взорван, саперы только что подвели понтоны. На быстром течении понтоны слегка покачивало, и Берт, которому не понравился гулкий полый звук из-под копыт, чуть не направился вместе с военным фотосалоном Иосии Калпа и всеми его обитателями прямо в воду.

Стивену удалось его удержать, но после переправы он вывел фургон из колонны и остановил Берта под большой сосной.

Из фургона выпрыгнула Перл. Чо бум делать?

Будем ждать. Скоро пойдет запас лошадей и мулов. Надо обменять этого гада на любого армейского мула.

Да кто ж его возьмет?

Тогда я попытаюсь выпросить, если получится.

Бесплатно выпросить не получится, — сказала Перл. — Кто ж тебе такой подарок-то сделает — хорошего армейского мула!

Они поглядели друг на друга. За жалованьем Стивен не ходил. Иначе быстро оказался бы в полку.

Перл вытащила из кармана носовой платок с завязанной в него золотой монетой.

Да ну, — замахал на нее руками Стивен, — ты что! Один золотой ты профитилила уже!

Не важно. Кальвин, — позвала она, — где, ты сказал, твой дом?

В Балтиморе, — послышался ответ.

Все. Покупаем нового мула, Кальвин. Этот твой старый до Балтимора вообще не дойдет.

Повисло долгое молчание. Ладно, — вздохнув, согласился, наконец, Кальвин.

Едва Бобби Бразил вошел с передовым отрядом в городок Смитфилд, как тут же оказался под огнем инсургентов. Вспышки мушкетных выстрелов мелькали под крышами амбаров и в окнах вторых этажей. Один шустрый суржик палил с церковной колокольни. Повернув за угол, Бразил увидел чуть дальше по улице баррикаду и едва успел отскочить назад. Туда, где он только что стоял, ударил снаряд, и, когда дым рассеялся, на дороге зияла яма. За то, что Бразил пережил двоих предшественников, его сделали сержантом. В его взводе служили сплошь деревенские парни из глубинки. В замешательстве они сгрудились в узком проулке, не зная, что делать. Войну полагается вести из земляных окопов и из-за деревьев, еще можно стрелять через речку или утопая в болоте. Но не на городской же улице, бегая от здания к зданию! Ну что, балбесы? А ведь вам повезло! — бодрячком обратился он к ним. — Бобби Джей Бразил уличным забиякой стал в тот самый день, как научился ходить! Настоящей был грозой Пяти Углов и наказанием для всей авеню Центральной. Щас мы в эту войну внесем городского лоску!

Возглавив своих людей в проулке, он вывел их на задворки, где среди помоек высились сортиры. Они перелезли через несколько заборов, выломали заднюю дверь пустой скобяной лавки и вышли через парадную, оказавшись у баррикады в тылу. Кинулись вниз с крыльца, непрерывно стреляя. Не успели мятежники понять, что происходит, как все

были перебиты — не менее полудюжины, в том числе двое артиллеристов, управлявшихся с пушкой Паррота[1]. Взяв баррикаду, Бразил и его солдаты торжествовали, принимая приветствия входившей в городок кавалерии.

К тому времени, когда они продвинулись к центральной площади, синие мундиры кругом кишмя кишели. Смитфилд был взят. Ребята порадовались, покричали, а через двадцать минут покинули городок, вновь присоединившись к маршу.

На западной оконечности городка был мост через Нейсу, но конфедераты его сожгли. Движение застопорилось, солдаты сели на землю, усеяв склон холма. Деревенские балбесы закурили трубки, а Бразил лежал, закинув руки за голову, и смотрел в небо, ожидая, когда саперы наведут понтонную переправу. Бобби Бразил начал входить во вкус: а что, командовать приятно, даже если в качестве подчиненных тебе дали девятерых тупых, хоть кол на голове теши, голландцев. Всего месяц назад он бы этому и не поверил даже, мало того, пришел бы в сильное смущение, однако, что ни говори, он стал хорошим солдатом. Словно из ниоткуда вдруг снизошло на него чувство ответственности. Армейская жизнь в его сознании перестала быть закручена вокруг него одного, и он уже не искал во всех ситуациях выгоду для себя любимого. Он как-то раз даже хмыкнул, когда подумал, что сказал бы по сему поводу его папашка или какой-нибудь из дядьев, потому что змеиный ядовитый язычок искони был семейной чертой Бразилов. Но армия оказалась интересной штукой, своей принадлежностью к ней он начал гордиться и ее тоже стал считать в каком-то смысле своей. Начал подумывать и о том, что он, пожалуй, мог бы успешно командовать, скажем, ротой или даже полком. Он знал, что стать генералом можно только окончив Вест-Пойнт[2], но в армии не так уж плохо жить даже и не становясь генералом.

Форсировав реку, продолжили движение по дороге на Рэлей. Шли мимо сожженных фермерских домов и вытоптанных полей. По пути видели босоногих, полуодетых детишек, которые, став в дверях покосившихся хижин и сунув палец в рот или ковыряя в носу, с любопытством разглядывали солдат. Иногда на значительном расстоянии от дороги виднелись силуэты строений большой плантации — как правило, разрушенной и без признаков жизни. На всем пути к дороге отовсюду сбегались негры, шли с войсками рядом, плясали и славили Господа.

Вот и Бразил тоже вдруг понял, что счастлив. Почувствовал себя мастером своего дела; никогда прежде драчливая его натура не давала ему такого радостного ощущения.

Не доходя десяти миль до Рэлея, среди лугов разбили первый лагерь. Винтовки составили в пирамиды, натянули палатки, развели кост-

1. Небольшое (трехдюймовое) дульнозарядное нарезное полевое орудие системы капитана Роберта Паррота образца 1851 г.

2. На самом деле это было совершенно не обязательно. В начале войны генералом мог стать каждый, кто привел на мобилизационный пункт свою собственную (за свой счет обмундированную и вооруженную) дивизию. Точно так же (с соответствующим уменьшением масштабов) дело обстояло с полковниками, капитанами и лейтенантами. Какой-нибудь владелец лесопилки набирал в своей деревне роту и объявлял себя, например, капитаном — в противном случае рота отказывалась приносить присягу. В 1863 г. порядок аттестации командного состава усложнился, но многие из таких самозваных офицеров к тому времени уже сделали серьезную военную карьеру.

ры. Некоторые из солдат пошли на реку омыть усталые ноги в прохладной воде. Бразил сидел у входа в палатку, подумывая о том, не пойти ли туда и ему, как вдруг услышал звук, происхождение которого показалась ему непонятным. Это не было пальбой, звук был неприятным, но приглушенным, словно в чуть приоткрытое окно задувает сквозняк. Но тут защелкали и мушкетные выстрелы, поэтому он вскочил и схватил винтовку: звук стал громче, распался на отдельные голоса, послышались какие-то выкрики, причем все ближе и ближе. Шло это откуда-то с востока, со стороны Смитфилда, где остановилось движение основной армейской колонны. Рота поднялась "в ружье". Кое-кто еще бежал с реки, и все спрашивали друг у друга, что, черт подери, происходит? Тут вдруг заахали, заржали горны, завыли тубы полковых оркестров, заголосили кларнеты, гобои и всяческие мелкие трумпетки, но это не звучало музыкой, скорее похоже было, что люди посходили с ума; не обученные барабанить стучали кружками по мискам, причем все вроде знали, в чем дело, один Бобби Бразил не знал, пока мимо не пронесся офицер-кавалерист, отчаянно махая шляпой, подымая лошадь на дыбы, кружась и выкрикивая раз за разом: "Ём-дырыдым!" — прямо как маньяк какой-то; потом проехали еще двое таких же, совершенно расхристанных и на взгляд Бразила непозволительно роняющих достоинство своего ранга, и только тут до него начали доходить слова, смысл всех этих воплей и подбрасывания в воздух шляп и фуражек, идиотических плясок солдат друг с другом в обнимку, превращающих армию в труппу мужской плясски и нечленораздельной песни, таким мощным эхом отдающейся в холмах вперемежку с шутейной пальбой из мушкетов в небо, словно вся Армия Запада одновременно подала голос, сотрясая землю у него под ногами, будто он в соборе стоит на трубах огромного органа, рокочущего глубоким нутряным басом — вроде как сам Господь Бог радуется вместе с земным своим воинством этой великой его победе. Потому что вот оно, оказывается, в чем дело-то: капитулировал Ли, так что свершилось, конец проклятой войне! Повсюду стоял такой вопеж, что птицы покидали гнезда, кролики выскакивали из нор, лисы, обезумев, шастали по лесу, а закоренелые конфедераты хватались за голову. Бразил, раскинув руки-ноги в стороны, плашмя пал наземь и зажал уши ладонями, чтобы, ни на что не отвлекаясь, вознести Господу хвалу за то, что Он оставил его в живых. Спасибо Тебе, Боже, что дал этому уличному хулигану жить дальше, — молился он и, конечно же, радовался (как тут не радоваться?), а кто-то проходил мимо и поднял его с земли, и вот он уже вопит и пляшет вместе со всеми, и они кидаются к командиру роты, который сидит в своей палатке и всем подряд наливает, и Бобби поднимает жестяную кружку сперва за папашу Авраама, потом за дядюшку Билли Шермана, и снова за великую Армию, за Республику, пьет и смеется, а про себя думает: это ж как повезло-то мне с этой войной, что она взяла да и кончилась как раз в тот момент, когда я наконец-то нашел для себя нечто, во что можно верить!

Особый боевой приказ Шермана, которым объявлялось о том, что 9 дня текущего месяца в здании суда города Аппоматтокс, штат Виргиния, генерал Ли сдал свою армию генералу Гранту, вовсе не значил, что работа уже сделана вся. Следовало проследить, чтобы Джо Джонстон не рассре-

доточил войска, тем самым затеяв длительное подспудное сопротивление — не начал бы, если можно так выразиться, бесконечный марш, по сравнению с которым рейды Шермана по Джорджии и Каролинам были бы сущими пустяками, особенно по части разрушений и опустошения страны. Восславим Господа и Отчизну, — сказал Шерман в своем послании к войскам, — и воздадим должное товарищам по оружию. Но кавалерии Килпатрика он тем не менее приказал спешно вступать в Рэлей и начал планировать выдвижение пехотных частей на юг, чтобы отрезать Джонстону возможность бегства в этом направлении.

Еще находясь в Смитфилде, он принял встревоженную делегацию гражданских из Рэлея — те, конечно, просили защитить родные пенаты. Четверо отцов города в ужасе жаловались, что уже испытали на себе жестокие притеснения со стороны Килпатрика, прежде чем тот пропустил их к Шерману. Пришлось Шерману утешать их, заверяя, что, поскольку война без пяти минут кончена, оккупация их города будет носить мирный характер и никто не станет чинить препятствий городскому самоуправлению в исполнении его функций. Что там, к дьяволу, с этим Килпатриком происходит? — не выдержав, рявкнул Шерман, обращаясь к новому адъютанту, майору Дэйтону. — Такое впечатление, будто Кил против того, чтобы война кончалась! — И сразу же Шерман рассмеялся, потирая руки. — Что ж, отцы города к нам с белым флагом пожаловали, может, и тебе пора, дружище Джо Джонстон?

Тринадцатого апреля Шерман въехал в Рэлей и, заняв губернаторский особняк, выпустил приказы о движении колонн в направлении Эшвилла через Солсбери и Шарлотту. Потом сел и стал ждать. И, конечно же, на следующий день он получил через Килпатрика, лагерь которого был в двадцати пяти милях к западу, письмо от генерала Джонстона, доставленное под флагом перемирия. Джонстон писал, что хочет обсудить условия прекращения огня. Шерман попросил Мозеса Брауна налить ему большой бокал бренди, закурил сигару и стал диктовать майору Дэйтону ответ, сочинение которого составило для него, как он говорил впоследствии, самый приятный в жизни эпистолярный опыт.

Решено было прекратить все перемещения войск — пусть армии замрут, а двое генералов встретятся на дороге посередине между передовыми отрядами северян в Дареме и арьергардом конфедератов в Хилсборо. Шерман по такому случаю даже принарядился — расчесал бороду и позволил Мозесу Брауну начистить себе сапоги и накрахмалить рубашку. Восемнадцатого апреля в восемь утра, когда он уже садился в свой персональный поезд, чтобы ехать в Дарем, вдруг из своего закутка на станции выскочил телеграфист, крича, что из Вашингтона пришла срочная телеграмма от министра Стэнтона. Пока что она состоит из невразумительных точек и тире, но если генерал на несколько минут задержит отправление поезда, он сможет прочитать ее по-человечески.

Шерман взад-вперед мерил шагами зал ожидания, и с каждой минутой его энтузиазм испарялся. Выражение лица телеграфиста ему не понравилось. К тому времени, когда ему вручили телеграмму, он был уже полон дурных предчувствий. Откуда-то я все уже знал, — писал он потом жене. — А Стэнтон всегда нес черные вести.

Убили президента Линкольна. Накануне вечером убийца подкрался к нему в театральной ложе и выстрелил в голову из пистолета. Одновременно в другом месте тяжело ранили министра Сьюарда. Сколько всего заговорщиков, неизвестно, и не исключено, что как генерал Грант, так и сам он намечены к уничтожению. Я умоляю вас, — писал Стэнтон, — зная это, быть осмотрительнее, чем мистер Линкольн.

Шерман сложил листок и сунул его в карман. Поздно предупреждаешь, Стэнтон, — подумал он. — На меня уже покушались. Промазали. А жаль. Лучше бы они промазали в президента и убили Шермана.

Телеграфист все еще стоял перед ним. Шерман спросил: Кроме вас это кто-нибудь видел? Нет, сэр, — ответил тот. Ни в коем случае, — сказал Шерман, — вы не должны ни говорить об этом, ни намекать, ни даже смотреть с таким видом, будто что-то подобное знаете, вы меня поняли? О да, конечно, — подтвердил телеграфист. Вы ведь постоянно живете в этом городе, не правда ли? Если до моего возвращения весть просочится, если об этом узнает армия, последствия для вашего города будут непредставимы. Я понимаю, генерал, — отозвался телеграфист. — Подробную картину рисовать не обязательно.

На станции Дарем Шермана встретил Килпатрик, дал ему коня, и со взводом кавалерии в качестве эскорта они последовали за одиноким всадником под белым флагом по дороге на Хилсборо. Предыдущей ночью прошел дождь, поля пахли свежестью, мокрая трава на обочинах искрилась на солнце. Сирень была в цвету, а запах сосны стоял такой, что и мысли не возникало о войне и крови. Вдали на дороге Шерман заметил приближающееся зеркальное отражение своего отряда; два белых флага, покачиваясь, плыли навстречу друг другу. А вот и Джо Джонстон — о! приподнимает шляпу, значит и мне пора.

Двое генералов уселись вместе в маленькой фермерской хижине, тогда как их офицеры оставались снаружи, а владельца так и вовсе загнали в хлев. Впрочем, его встревоженную жену и их четверых неугомонных детишек заверили, что когда-нибудь их дом станет музеем, куда валом повалят туристы, чтобы взглянуть на обстановку, в которой шли переговоры об окончании войны. Когда Шерман прочитал и вручил ему телеграмму, Джонстон, немолодой уже мужчина с усами цвета старого серебра и бородкой-эспаньолкой, одетый в щегольской серый мундир, был явно потрясен. На лбу у него выступили капли пота. Но вы, — пробормотал он, — вы ведь не станете обвинять в этом ужасном преступлении правительство Конфедерации? Вас — нет, сэр, — ответил Шерман. — Так же как и генерала Ли. Но в отношении Джефферсона Дэвиса и прочих людей подобного пошиба я бы не сказал этого с уверенностью. Какой позор! И это в наше время! — воскликнул Джонстон. — Я всегда уважал президента Линкольна как человека глубокого внутреннего благородства и милосердия. Который, если война окончится для нас неблагоприятно, всегда сможет выработать условия мира справедливые и приемлемые для всех.

Двое генералов посидели в молчании. Но для вас это чревато большими осложнениями, — сказал Джонстон. Для вас тоже, — буркнул Шерман. В этот момент он словно впервые увидел в Джо Джонстоне питомца Вест-Пойнта; почувствовал, что та же закваска бродит и в нем самом, ищет выхода... Впрочем, все эти годы на войне она всегда была при нем,

просто он как-то не думал об этом. То, как Джо Джонстон сидит, как произносит слова, серьезность, с которой подает себя, — всему этому их учили, специально натаскивали, из них формировали людей, которым суждено стать высшим начальством; ему вспомнились лекции, шагистика на плацу, занятия по тактике, изучение войн в Европе и то, как они страницами заучивали наизусть стихи Гомера. Внезапно Шерман ощутил огромную симпатию к своему врагу (будем уж называть вещи своими именами), этому лукавому старикану с маленькими живыми глазками и носом, похожим на птичий клюв. Конечно, как может быть иначе, они же однокашники! И оба чертовски хорошие солдаты. Он чувствовал куда большее доверие к этому генералу, противнику, чем к непосредственному начальству в Вашингтоне — к Стэнтону, Эндрю Джонсону (теперь, видимо, он будет президентом) и всей политической клике, которая вызывала в нем, в лучшем случае, раздражение и беспокойство.

Теперь, когда Ли капитулировал, — начал Шерман как можно более мягко, — уместно было бы сделать то же самое и вам. При этом ваша воинская честь нисколько не пострадает. Да ведь другого выхода и нет, не правда ли? У вас не так уж много сил осталось, чтобы противостоять моей армии.

Джонстон провел ладонью по глазам. Да, — после паузы проговорил он, — если продолжать, то это будет не война, а бойня.

Они все еще не перешли к делу. Но Шерман торжествовал, его распирало великодушие победителя. Он как бы применял на себя глубокое внутреннее благородство и милосердие покойного президента, словно тот отписал их ему в завещании. Да ведь и впрямь, разве не говорил Линкольн, что, насколько он был неумолим в войне, настолько же будет дружелюбен, когда Юг сложит оружие! В общем, мало-помалу, как во время этого разговора, так и в ходе дальнейших встреч, сам того не сознавая, на радостях Шерман предоставил Джонстону условия даже лучшие, чем Грант дал генералу Ли. Впоследствии окончательные формулировки их соглашения Вашингтоном будут гневно отвергнуты, и в Северную Каролину исправлять положение приедет сам Грант. Сейчас, однако, Шерман был от переговоров в полном упоении. Тем' для обсуждения хватало. Что, если вместе с Джонстоном сдадутся и другие Южные армии? Какие? Ну, Армия Алабамы, например... Луизианы... Можно Техаса. Какое личное оружие позволительно оставить офицерам? А нижним чинам? На каких основаниях возвращать гражданство? Ограничивать или нет сдающихся инсургентов в праве собственности? Какое пищевое довольствие выдавать ветеранам-конфедератам, чтобы они, подобно саранче, не пожирали по дороге к дому все живое окрест? А с Джефферсоном Дэвисом и его кабинетом министров что делать? Может, ну их? Амнистировать, плюнуть и забыть к чертовой бабушке?

В итоге война свелась к перестрелке словами. Они воевали теперь, перебрасываясь через стол терминами. Тактика орлом взмыла под облака, а вниз оттуда слетел синтаксис. Линии редутов, атаки, барабанная дробь и сигналы горна, обходные маневры, засады, подкопы, подрывы и позиционные сражения чудесным образом превратились в игру словами. Что-то у нас какая-то тишь да гладь, — вдруг сказал Шерман Джонстону, но тот не уловил его мысли и, наклонив голову, приготовился слушать дальше.

Ни ядра, ни картечь спор до конца не могут довести, сие дано лишь фразам на бумаге, — сам сильно уклонившись в сторону калеки Гомера, подумал Шерман. — Полемика есть продолжение войны другими средствами.

И только потом, поздним вечером сидя у камелька в предоставленном ему доме, Шерман почувствовал странную зависть к Джо Джонстону и проигравшему войну Югу. Какое огорчительное чувство. В одной руке Шерман держал сигару, в другой бокал бренди. Сидел, уставившись в огонь. Вот ведь какая дребедень-то, оказывается, выходит с окончанием войны: все покричали, порадовались и разошлись, а тебе только головная боль. Да, твое дело правое. Да, ведро елея на тебя вылили. Но победа... до чего же это зыбкая, двусмысленная вещь! Я теперь буду годами думать, сомневаться в правильности своих действий. Тогда как генерал Джонстон и его присные, чье дело было неправым, ожесточенные, но словно омытые, очищенные поражением, сделаются этакими святыми мучениками, да еще и силу в этом почерпнут такую, что хватит на сто лет.

Известив генералов о гибели президента и сделав кое-какие охранительные распоряжения, Шерман проинформировал и армию, выпустив Особый Боевой Приказ: Командующий с глубочайшей скорбью сообщает, что вечером 14 дня сего месяца в театре города Вашингтона его превосходительство президент Соединенных Штатов Америки мистер Линкольн был убит человеком, который выкрикнул при этом лозунг, считающийся официальным девизом штата Виргиния[1].

Как и ожидалось, великий крик горя и негодования пошел по лагерям. Вскоре тысячи солдат, ведомых яростью и непокорством — едва ли армия, скорее толпа рассвирепевшей черни, — двинулись на Рэлей с намерением сжечь город дотла. Но они обнаружили перед собой шеренги Пятнадцатого корпуса под командованием генерала Джона Логана, улицы оказались блокированы артиллерией, и в грудь им уткнулись примкнутые штыками их же товарищи по оружию. Перед шеренгами на огромном скакуне гарцевал сам Логан. Вновь и вновь он приказывал собравшимся расходиться по лагерям. Его не здесь, не в Рэлее убили! — кричал Логан. — Никто из жителей этого города не убивал нашего президента. Здесь нет его убийцы, возвращайтесь в лагеря! Назад, говорю я вам, назад!

И так же быстро, как шатнулось массовое сознание от ликования по поводу капитуляции генерала Ли к горю и сокрушительному гневу, в нем вновь произошел внезапный поворот — все присмирели и, устыдившись, повернули назад. Пока положение окончательно не успокоилось, Шерман приказал держать вокруг лагерей кордоны, а улицы города патрулировать.

Приехав в Вашингтон, Сбреде Сарториус доложил о своем прибытии в Министерстве здравоохранения и получил назначение в Главный госпиталь сухопутных войск. В его распоряжение предоставили операци-

1. Sic semper tirannis (*лат.*) — так всегда [бывает] с тиранами. Эту фразу якобы выкрикнул Брут, убивая Цезаря.

онную с палатами, хирурга-ассистента, штат санитаров и загрузили той же работой, которую он выполнял, будучи полковым хирургом в поле. Здесь, впрочем, больше было тяжелых послеоперационных осложнений, чаще требовалось повторное хирургическое вмешательство — удалить гангренозные ткани или ампутировать конечность после неудачной резекции. Кроме того, здесь, не в пример армии Шермана, больше в процентном отношении было пациентов (в основном ветеранов грантовской Армии реки Потомак), страдающих разного рода кожными высыпаниями, болезнями, вызываемыми заразными поветриями, а также недугами, связанными с социальной деградацией и пороком.

Почти две недели Сарториус из Белого дома вестей не получал, и у него даже от сердца отлегло. Потом, под вечер четырнадцатого апреля, явился президентский референт: Не будет ли полковник Сарториус так любезен пойти сегодня вечером с президентом и миссис Линкольн в театр. Но как раз в тот день произошел необычайный наплыв пациентов, переведенных из какой-то полевой лечебницы. Это были бедняги, получившие ранения и увечья в ходе самых последних стычек с армией Ли. Многих из них в полевых условиях лечили плохо, и Сарториус, ошалевший от навалившейся на него работы, стоя перед референтом в заляпанном кровью резиновом фартуке, отклонил приглашение. Референт, молоденький лейтенантик, признался, что несколько человек уже отказали сегодня президенту, в том числе Гранты, министр Стэнтон с женой и две или три другие пары. Мне очень жаль, — развел руками Сарториус. Возможно, это потому, что сегодня Страстная Пятница, — уже в дверях обронил референт.

В тот же вечер позже (Сарториус еще работал) стало известно, что на президента совершено покушение. Сарториус и еще один дежуривший в это время врач схватили извозчика и поспешили к месту происшествия. Президента уже перенесли из театра в дом напротив. В маленькой комнатке он лежал наискосок на кровати, которая была ему коротка; вокруг суетились несколько врачей, в том числе министр здравоохранения. Освещал все это единственный мерцающий газовый рожок. Сарториус с некоторой даже бесцеремонностью проложил себе дорогу к пострадавшему и встал у кровати на колени, чтобы осмотреть рану — небольшое отверстие за левым ухом. Миссис Линкольн сидела на краю кровати, держала обе руки президента в своих и плакала. Мимо Сарториуса протянулась рука и убрала кровяной сгусток — уже не первый — из раны. Это, да еще неудачная попытка поднести к губам президента бренди (отчего тот чуть не задохнулся), если не считать грелки к ногам и непрерывного ведения записи основных показателей состояния, было и все, чем могли помочь ему прибывшие во множестве врачи.

Президент был уже без рубашки. Наклонившись ближе, Сбреде увидел судорожные подергивания грудных мышц, вызывающие пронацию предплечий, отметил остановки дыхания, после которых наблюдались резкие выдохи. Один зрачок сжался, сделавшись не более булавочной головки, другой расширился во весь глаз. Сбреде встал и почувствовал гнев при виде такой толпы врачей в столь маленьком помещении. Дыхание президента становилось все более затрудненным. Миссис Линкольн, услышав хрип, заголосила: Эйб, Эйб! — и упала на кровать. Примолкшим собравшимся Сбреде сообщил: С ним кончено, он не

протянет и часа. Ваша медицина бессильна. Прошу всех выйти. Оставьте его! Чтобы умереть, ему не нужны зрители. И, словно не слыша возгласов шокированных коллег, Сбреде протиснулся мимо них в коридор, к дверям и зашагал по улице. Куда он идет, не знал и сам. Ночной воздух был влажен, газовые фонари мерцали и в тумане почти не давали света.

Когда полковник Тик узнал о смерти президента, он решил, что это, должно быть, серьезный заговор, раз на обоих — президента Линкольна и генерала Шермана — произошли почти одновременные покушения. Того солдата-южанина перед расстрелом даже не допросили, и это еще одна ошибка генерала. Когда происходят подобные вещи, необходимо выяснять все, что только можно! Следует разобраться, то ли это был фанатик-одиночка, то ли за ним стоит организация. Это ж надо так хитро придумать: явиться под видом аккредитованного фотографа!

Тик встал с кровати и, превозмогая боль (да тут еще рука в последнее время что-то ослабела), пошел на встречу с капитаном полевой жандармерии, которому приказал привести к нему черномазого, работавшего с фотографом.

Да мы не знаем, где тот черномазый, — ответствовал капитан. — Мы его даже не задерживали. Его отдали медикам.

То есть как это?

Так ведь его хозяин в него же и пальнул. Теперь доктор должен подписать разрешение, чтоб нам его судить.

Отлично, найдите мне того доктора!

Легко сказать. Полковник Сарториус больше у нас не служит. Да и госпиталь его расформирован.

Ну, знаете ли! — только и выговорил ошеломленный Тик. — Что-то мне это не нравится. Совсем не нравится. Где-то же должен быть тот черномазый! Да, кстати! У них еще фургон был! Где он?

Сэр, тут такая была неразбериха...

Что-то ведь он мне говорил, он знал, к чему дело клонится, — пробормотал полковник Тик. — И я найду его. Что? Говорите, ранен? Значит далеко не уйдет. Если надо, я сам поеду его искать.

Переговоры все продолжались и продолжались, уже и Гранта, не особо это афишируя, прислали в Рэлей, чтобы он переписал слишком великодушные формулировки Шермана — там ни слова, кстати, не говорилось о том, чтобы южане признали освобождение негров, — а то ведь перемирие штука хрупкая, неровен час... а соглашений все нет! Дошло до того, что военачальников стали подталкивать к миру сами войска, на собственный манер ускоряя процесс сближения. Никто не хотел снова идти походом на Юг, да и у конфедератов в солдатской массе давно созрело понимание того, что их дело проиграно. Дисциплина ослабла, и в некоторых лагерях между Рэлеем и станцией Дурхэм началось настоящее братание — толпами приходили безоружные оборванные южане и присаживались к кострам своих северных коллег. В армии Джонстона пищевое довольствие было скудным, нижние чины голодали, и многие солдаты-федералы делили с ними паек. А еще серым с синими можно было поболтать о битвах, в которых те и другие участвовали — это тоже сближает, все-таки нечто общее!

Стивен Уолш считал, что все это благоприятствует плану, который разработали они с Кальвином и Перл. Готовя свое собственное путешествие на север, он сам стал вроде фуражира — на новом муле без седла каждый день ездил за много миль по разным передовым лагерям и с невинным видом отоваривал довольствие, становясь в очереди к интендантским палаткам. Вопросов никто не задавал, потому что, когда военная машина начинает проворачиваться вхолостую, воцаряется благодушие и вседозволенность. Да тут еще и теплынь настала. Конфедераты в открытую дезертировали толпами — им-то домой бежать ближе! По дорогам постоянно текли ручейки серых мундиров. В предвкушении триумфального шествия по улицам столицы некоторые северяне потихоньку меж собой тоже решили добираться туда на свой страх и риск, тем более что уже известно было, какие подразделения будут этой чести удостоены, а какие, наоборот, станут гарнизонами в стране, которая теперь называлась Департаментом Северная Каролина. Все это совершенно затмило собой необходимость каждодневной муштры и шагистики, так что даже полевые офицеры позевывали при мысли о том, чтобы заняться привычным делом. Из солдатской массы наверх ползли вялость и лень, хотя и не достигли еще уровня генералов с их штабами, которые вовсю продолжали военное планирование, будто война и не думала кончаться, мало того, интенсивный обмен сердитыми посланиями между Вашингтоном и верными сторонниками Шермана создавал такое напряжение, словно открылся новый театр военных действий.

За несколько дней Стивену удалось натащить полный фургон мешков муки, риса, кофе, сушеных бобов, ящиков с галетами, жбанов сорго, окороков солонины; не гнушался он и хламом, подобранным на дороге, — принес брошенный кем-то кусок палаточного брезента, лопату, какие-то походные миски-ложки, одеяла и даже старый нарезной спрингфилдовский мушкет, найденный полузарытым в канаве.

Тут вдруг Перл однажды вечером увидела знакомого офицера — она помнила его еще по тем временам, когда состояла при генерале Шермане мальчишкой-барабанщиком. Это был тот самый когда-то неразлучный с ним высокий полковник, он ехал теперь рысцой вдоль обоза и всюду совал свой нос, будто кого-то ищет. Так что они стали еще более осторожны. Боковины навеса привязали к бортам телеги, чтобы не маячила вывеска с именем Иосии Калпа. Ехали теперь еще ближе к хвосту обоза, где много беженцев-негров. Нынче их стало меньше, чем было когда-то на марше, но достаточно, чтобы Кальвин Харпер мог среди них затеряться.

Каждое утро Перл в форме санитарки шла к Кальвину, промывала ему глаза, меняла повязку и смазывала лекарством, которое прописал еще доктор Сарториус. Кальвин сидел при этом среди черных женщин и детей, которые следили за каждым движением Перл. В первый день-два негритянки в присутствии белой леди держались отстраненно, но в конце концов она покорила их постоянством ежедневных визитов и той заботой, с которой обихаживала Кальвина Харпера. Приносила она им и еду, за что ее от всей души благодарили.

Ну, как у нас сегодня настроение? — появившись, обычно спрашивала Перл, и присутствующие высказывались в том смысле, что все у них хорошо. — А ты, Кальвин, как себя чувствуешь? Кальвин, моргая на све-

ту глазами, освобожденными от повязки, как правило, отвечал: По-моему, сегодня немножко лучше, спасибо, мисс Перл.

Не нравилось Перл только то, что Дэвид окончательно выбрал себе в покровители Кальвина. Они стали неразлучны. По причинам, в которые она не вдавалась, ее огорчил такой оборот событий, хотя она признавала, что в чем-то это хорошо: мальчик теперь находится там, где есть другие дети, с которыми он может играть. Что, Дэвид, — сказала она как-то утром, — я вижу, ты нашел себе друзей? Да, мэм, — отозвался Дэвид. Не "да, мэм", — нахмурилась Перл, — не "да, мэм", Дэвид! Просто "да". Ну-ка, повтори. И когда он, слегка опешив, повторил, она сказала: Отныне отвечать на вопросы ты должен только так. Не "да, мэм" и не "нет, мэм", а "да" и "нет" — два простых и ясных слова, ты понял меня? Да, мэм, — ответил Дэвид, и все засмеялись, в том числе и Перл. Ей стало неловко, что она вдруг так распалилась.

Стивен с таким терпением и так неторопливо вел приготовления, что Перл уж думала, они не пустятся в путь никогда. А он все ремонтировал дуги, поддерживающие тент, что-то там крепил, приколачивал — старался, чтобы брезент фургона был натянут туго-натуго, давая побольше места внутри для пассажиров и груза, да и вообще: транспортное средство должно быть красивым! Да и Кальвин его поддерживал, надеясь, что по дороге они смогут снова заняться фотографией и кое-что этим подзаработать.

Да как же он будет фотографировать, ведь он ничего не видит! — сказала Стивену Перл, глядя, как он трудится.

Он нас научит, если уж на то пошло. Все, что нужно, у нас имеется. Все его кюветы, баночки и реактивы. Камеру немножко поцарапали, всего и делов.

Кальвин говорит, что это наш полковник-доктор сунул ее назад в фургон, когда он, раненный, свалился у крыльца. Внутри-то доктор добрый был, правда же? Хотя ничего такого не говорил никогда. Делай это, держи то. А уж мы-то как его слушались! А теперь вдруг взял исчез и никому ни слова. Поминай как звали.

Получил новое назначение, — сказал Стивен.

Конечно, назначение, но нам-то что с того? Его больше нет с нами, вот и все. Я чувствовала себя как-то уютнее под его защитой, а ты?

Ты теперь под моей защитой, — сказал Стивен, и на том разговор исчерпался. Она знала, с каким почтением он относился к доктору, хотя и не считал нужным об этом говорить.

Какое-то время Перл молчала. Слушала пение птиц в полях. Смотрела, как по бороздам пашни скачут дрозды с красными перьями на крыльях, взлетают, садятся на кусты.

А как тебе Дэвид? — вновь заговорила она. — На меня больше даже не смотрит. Кроме Кальвина ему и не нужен никто. Всюду его за ручку водит, на шаг не отойдет. Неужели ребенку мать не нужна?

Стивен спрыгнул с телеги. Кальвин — негр.

Я тоже негритянка!

Стивен покачал головой. Нет, Перл, с твоей кожей, белой как лилия, да еще и в глазах ребенка... нет!

Она провела ладонью по лицу, смахнула слезы. Ничто не остается прежним, — сказал Стивен. — Ни Дэвид, ни Сарториус, ни армия на марше, ни лесные тропы, ни живые, ни даже мертвые. Сейчас это и есть всегда, — сказал Стивен, с печальной улыбкой повторив слова бедняги Альбиона Симмса.

Потом через несколько дней пришло время ехать. Стивен верхом вернулся из Рэлея. Конец войны был подтвержден официально, генералы Грант и Шерман обозревали войска. Даже с такого расстояния Перл различала вдалеке звуки оркестра и пение.

От Саванна-ривер до реки Потóмак
Хлопок на поля набросил белую вуаль.
Да!
Я вернусь домой, и дальний мой потомок
Сохранит навек пра-адедову медаль.

Этим своим установлением мира они какое-то время будут крепко заняты, — сказал Стивен. С этими словами он снял с себя мундир и фуражку и надел гражданский сюртук, найденный среди старого реквизита у мистера Иосии Калпа.

Они свернули с дороги, и Стивен направил мула к лагерю черных беженцев, где они посадили в фургон Кальвина с мальчиком и со всеми попрощались. У нас форы как минимум день, — сказал Стивен девушке. — Поедем все время на восток, через Голдсборо и до побережья. Армия-то по прямой пойдет — на Ричмонд и в Вашингтон. Мы не будем путаться под ногами у них, они у нас.

Шерман, стоя одесную Гранта на помосте под флагом США, кожей чувствовал исходящую от этого человека силу. Грант был меньше Шермана ростом, но помощнее в чреслах, что ли. Казалось, среди колонн маршрующего Семнадцатого корпуса он прозревает что-то свое, никому неведомое, и это заставляло вглядываться — что он там, черт такой, углядел? Это ж мои ребята, молодцы-шермановцы!

Своими мыслями Грант никогда до конца не делился, всегда чувствовалось, что у него в загашнике есть кое-что еще. Этим он создавал впечатление такого глубокомыслия, что уж куда нам, простым смертным! Уважение Шермана к Гранту доходило до обожания, но что самое важное — по-человечески тот не был хитрованом. Более того: во всей этой войне у него не было своего интереса, ничего личного, и это совершенно потрясало.

Причем солдаты, похоже, знали, какой он чудный человек, чувствовали крепость его ума и, маршируя с серьезными лицами мимо, забывали и об изношенной своей одежде, и о скрипящей на зубах пыли. В этот момент ими владело одно чувство — священный трепет!

И формулировки договора о капитуляции, после того как их выправил приехавший для этого Грант, сделались на удивление простыми. Все насильственные действия со стороны солдат армии Джонстона прекратить. Все оружие сдать в управление материально-технического снабжения армии США. Составить списки офицеров и солдат, и каждый дол-

жен собственноручно подписаться под обязательством не обращать оружия против правительства Соединенных Штатов. Оружие, носимое на портупее или поясном ремне, а также собственная лошадь и личное имущество у офицеров остается. Сдавшим письменные обязательства офицерам и солдатам разрешается возвращаться по месту жительства. Джонстон и Грант по очереди расписались и сим подвели четырехлетней войне окончательный итог.

А тем, что я не сподобился опереть свои, быть может, чересчур мудреные соображения в переговорах на столь простые и ясные вещи, я подставился, дал политическому шакалу Стэнтону себя уесть — он стал публично намекать, что мое великодушие по отношению к мятежникам говорит о том, что я, наверное, хотел с помощью своей армии ни больше ни меньше как свергнуть правительство Соединенных Штатов! Вот какой благодарности я дождался за то, что верой и правдой всю жизнь служил Республике! Ладно, теперь все четыре года войны спрессуются в один парад, который пройдет в Вашингтоне. Зачем был нужен мой марш? А чтобы политики насладились зрелищем парада!

Но перед тем как туда отправиться, я должен еще раз отыскать хорошую, тенистую сосновую рощу. Особый Боевой Приказ Шермана самому себе: Иди в лес, поставь палатку, разведи костер, свари себе обед и выспись хорошенько на голой земле под звездами. А проснуться я тебе приказываю на рассвете, еще до побудки, вместе с безмозглыми птахами. Потом можешь ехать себе в Вашингтон и принимать парад.

Хотя поход окончен, и окончен с победой, я думаю о нем теперь — о Господи! — с такой тоской! Нет, я тоскую не по крови и смертям, а по тому, каким смыслом наделена была земля, по которой мы шли, как в те дни каждое поле и болото, каждая речка и дорога несли в себе нравственный посыл, тогда как теперь, когда память о нашем рейде улетучивается, то же самое происходит и со смыслом, армия распадается на множество разнородных мелких устремлений частной жизни, все в которой делается пустым и тоже мелким, да и шатким каким-то; за что ни возьмись — вроде взял, победил, одолел, ан нет, ускользает, зыблется, и день не светел, и ночь без отрады, и трудишься ты как вол или сиднем сидишь, все едино: хоть ты в лепешку расшибись, хоть тресни, нет ни в чем ни цели более, ни смысла никакого.

И что Грант так надулся сегодня спесью, так торжественно празднует нашу великую победу, неужто думает, будто эта бессмысленная бесчеловечная планета станет добрее благодаря нами нацарапанным на ней письменам траншей и окопов, неужто не ясно ему, что опустошительная гекатомба из костей наших сынов, эта наша гражданская война есть просто очередная война, а вообще-то войны и до нее были, и после будут.

По дороге разгорелся спор по поводу армейского мула, у которого до сих пор не было клички. Кальвин ни за что не хотел называть его Бертом. Этот, — говорил он пренебрежительно, — который там послушно топочет копытцами? Да никакой он не Берт! Ему что скажешь, то он и сделает. Бесхарактерный. Не-ет, Берт был себе на уме. Он хотел, чтобы у мула пристойная жизнь была, и это не всегда совпадало с желаниями хозяев. Он сам за себя решал, и если делал то, о чем его просишь, то так

и знай: либо это тебе от него одолжение, либо у него имеются свои причины быть с тобой заодно.

А может, имя вдохновит его, — предположил Стивен. — Он молодой еще, многого не видал; а так, глядишь, ему будет к чему стремиться. Представь: будет Берт Второй!

Нет уж, сначала я бы хотел доехать до Балтимора, — отозвался на это Кальвин.

Двигались быстро, хотя особо к этому не стремились. Дорога ложилась под колеса сухая и утоптанная тысячами солдатских ног. В середине дня они с нее свернули и поехали нераспаханным полем вниз по пологому склону, там обнаружили чистую медлительную речку, которая то разделялась на рукава, обтекая торчащие из воды валуны и скалы, то уходила круто в сторону, будто она тоже себе на уме. Под раскидистым дубом нашли тенистую полянку, и Перл, расстелив одеяло, выложила обед — галеты с солониной и вода из фляжек.

Как я рад, что еду домой! — сказал Кальвин. Приподняв повязку, он объявил: — Знаете, я ведь теперь и впрямь немножко вижу, причем это как фотография в ванночке с проявителем — изображение потихоньку, полегоньку начинает проявляться. Вот тебя, например, вижу, мисс Перл. Только изображение больно зернистое. И тебя тоже, капрал Уолш. А тебя, Дэвид, — сказал он мальчику, угнездившемуся у него на коленях, — я лучше всего вижу! — Он усмехнулся.

Перл сняла башмаки, откинулась на траву и вытянулась. Никогда мне не было так хорошо, — выдохнула она.

В армейском фотосалоне Калпа и Харпера, что оборудован в нашем фургоне, накоплена бесценная коллекция фотографий военного времени. Мы с мистером Иосией Калпом не меньше года колесили по дорогам войны. Эти снимки стоят хороших денег, не говоря уже об их исторической ценности. Кроме того, — сказал Кальвин после паузы, — я уверен, что найду приложение своим силам, изготавливая портреты и памятные карточки помельче возвращающимся солдатам — ведь многие захотят запечатлеть себя в форме, перед тем как снять ее. Не исключено, что этим можно будет всех нас прокормить[1].

Перл снова села. Глянув на нее, Стивен уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Кальвин заговорил снова. Вы спасли мне жизнь, — сказал он. — Ваш доктор, используя этот фургон как санитарную повозку, отвез меня в свой госпиталь. Он сохранил камеру и фотоколлекцию мистера Калпа, а я ведь только и сказал ему свое имя да то, что пытался предотвратить стрельбу. А вы потом день за днем спасали мне жизнь. Я знаю, вы собираетесь в Нью-Йорк. Это далеко от Балтимора, а Балтимор далеко отсюда, так что, может быть, вы успеете передумать. А еще есть вариант,

1. У Иосии Калпа есть прототип — Мэтью Брейди, известный нью-йоркский фотограф, который на свои деньги организовал съемки чуть ли не на всех полях боевых действий. В организацию съемок он вложил $100 тысяч — громадные по тем временам деньги. По свидетельствам военных, он сам и его сотрудники проявляли мужество, а подчас и героизм, фотографируя на передовой, иногда под обстрелом. По окончании войны он предложил правительству США купить у него коллекцию исторических снимков, назначив честную и умеренную цену: $125 тысяч. Ему заплатили только 25 тысяч. Один из лучших американских фотографов того времени, первый в мировой истории фоторепортер, Мэтью Брейди разорился и умер в нищете и одиночестве. Кстати, почти все фотографии Шермана — работы Мэтью Брейди.

чтобы вы пожили немножко у нас, пока я заработаю денег на ваш проезд в Нью-Йорк по железной дороге, чтоб вам не беспокоиться о фураже.

У кого это "у нас"? — спросила Перл.

Ну, у нас с Дэвидом и Джесси. Она полюбит парнишку.

В этот момент Дэвид встал, пошел туда, где пасся мул, потрепал его по шее. Перл проводила его глазами. Что-то валявшееся на земле привлекло внимание мальчика, он сел на корточки, стал разглядывать, а потом принялся ковырять в земле палочкой.

Джесси — это твоя жена?

Нет, я пока не сподобился. Джесси — моя сестра. Она старая дева, своих детей у нее нет. Шьет из лоскутов одеяла и продает их, а еще она преподает в воскресной школе при нашей церкви. Дети любят Джесси.

Кальвин и мальчик после обеда поспали, а Перл и Стивен пошли вдоль реки гулять и нашли место, где по камням можно выйти на широкий, плоский валун в середине русла; там они сели, Перл до колен задрала юбку и опустила ноги в воду.

По правде говоря, — сказала она Стивену, — мои планы кончаются на том, как я отнесу письмо маме и папе лейтенанта Кларка в дом двенадцать на Вашингтон-сквер. Куда потом идти, я знать не знаю. Налево, направо, по той улице, по этой — мне все едино, потому что я понятия не имею, что дальше делать со своей свободной жизнью.

Потом пойдешь со мной, — отозвался Стивен.

А если я, вся такая белая-белая, потом черного ребенка рожу? Что ты тогда делать будешь?

Буду ему отцом, если я буду его отец.

Она в испуге даже обернулась, но увидела, что он улыбается. Естественно, его отец будешь ты: за кого же мне еще-то замуж выходить? — нахмурилась Перл. — Перестань дурачиться, вопрос серьезный.

У меня лежат в банке три сотни долларов — за то, что пошел добровольцем, — сказал Стивен. — Я уже думал про это. Хочу пойти учиться на юриста.

А я что буду делать?

А ты пойдешь в вечернюю школу и быстро всех догонишь и перегонишь — с твоим-то умом! А потом поступишь на медицинский.

Ты уже за меня все решил?

Я видел тебя в операционной. Лечить тебе на роду написано. Не говори мне, что ты сама об этом не думала.

Думала, но каждый раз вспоминала, что я негритянка. На триста долларов у тебя что-то многовато планов.

Если они не принимают на медицинский девушек, ты будешь первой, потому что я это дело выиграю в суде. — Перл посмотрела на него, подняла бровь и качнула головой. И вдруг из глаз у нее побежали слезы. Этого Стивен Уолш уже не мог вынести. Он схватил ее в объятия, стал целовать ее губы, щеки, глаза... Не переставая плакать, Перл отвечала на его поцелуи. Они прижались друг к дружке.

Если хочешь, чтобы с нами жил и Дэвид, я не возражаю, — прошептал Стивен. Поцеловал ее в ушко.

А что, там, на Севере, все по-другому?

Нет.

Ты сумасшедший, Стивен. Ты был солдатом, прошел войну, но ты не знаешь, как ужасна жизнь.

Думаю, что знаю. Как-никак я же ирландец!

Они посидели молча, глядя на воду. Над ними пролетали птицы; все летели туда же, куда течет река.

А если выдавать себя за белую, насколько я буду свободна?

Свободнее других.

Внешне — да, но не в душе, не в сердце. Разве такой свободы хотела моя мама Нэнси Уилкинс?

К такой свободе мир не готов еще.

И когда же он будет готов?

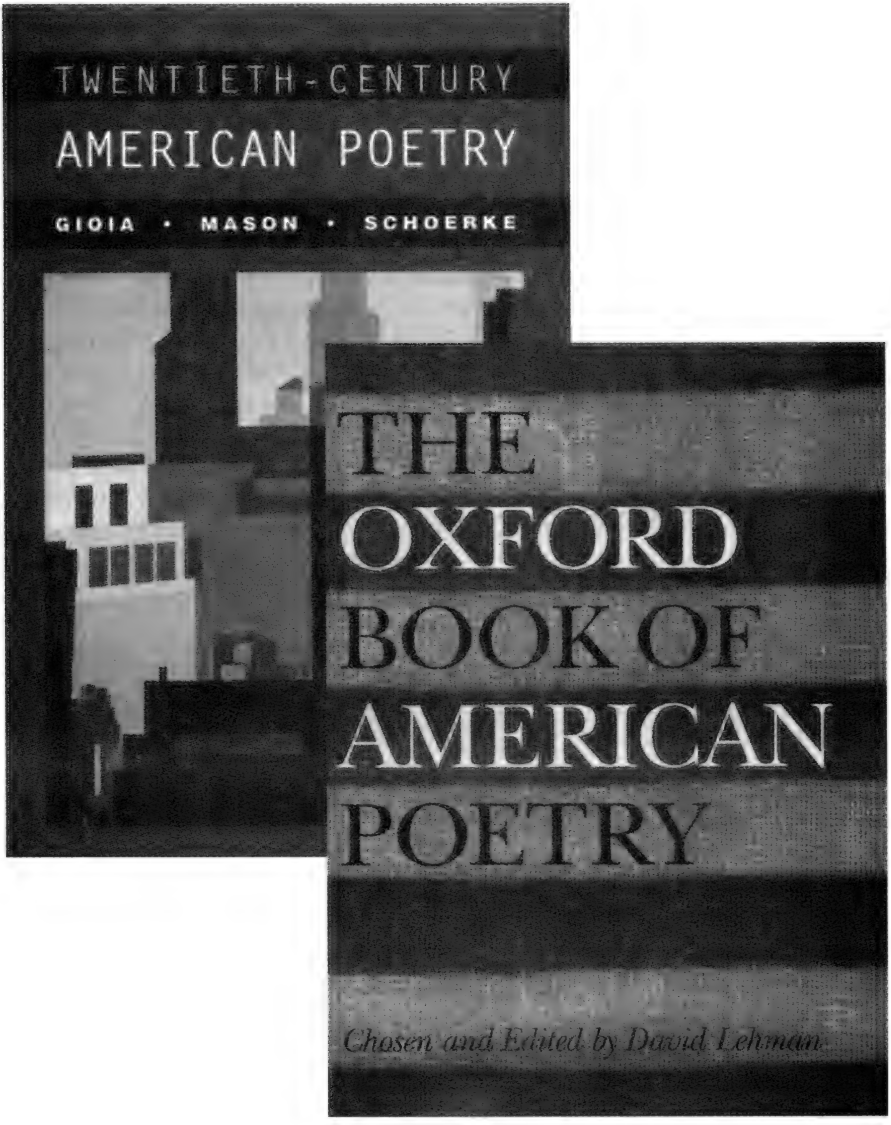
Всему свое время.

Она встала, оправила юбку. Нет, — сказала она. — Ему лучше будет с Кальвином и Джесси. Кальвин его не спрашивал, но это и так понятно. Когда он научится читать и писать, будем с ним переписываться.

Потом они опять ехали, день клонился к вечеру, тени удлинялись. Зелень вокруг стала нежнее, и дорога — все под горку, под горку — сошла в низину. Там их обступил густой, темный сосновый лес, где, видимо, недавно шли бои. На подстилке из хвои лежал сапог и обрывки выцветшего мундира. За поваленным деревом кучка стреляных гильз. Между деревьями все еще витал запах пороха, и они были рады, когда дорога снова вывела их к солнцу.

Ожерелье стихов: из двух американских антологий

Перевод с английского и вступление Г. Кружкова



© Dana Gioia, David Mason and Meg Schoerke, 2004
© Oxford University Press, 2006
© Г. Кружков. Перевод, вступление, 2009

У Марианны Мур, признанного классика американской поэзии XX века, есть хрестоматийное стихотворение "Poetry", очень короткое. То есть первоначально оно было вдесятеро длинней, но в итоговом собрании стихотворений 1967 года Мур своей авторской волей сократила его до трех строк:

Стихи

Я тоже их не люблю.
Но с полным презрением, читая их, в конце концов
обнаруживаешь какую-то крупицу подлинного.

Русскому читателю могут вспомниться строки Евгения Винокурова — про работу редактора журнала, просеивающего горы стихов:

Я бы возненавидел поэзию,
Люто, на всю жизнь.
Но вдруг попадалась строка...

Заведующий поэзией, 1962

Похоже — хотя немного о другом. Винокуров пишет об оскомине от переедания дурных стихов, Марианна Мур — об истинном и ложном, об оправдании самого бытия поэзии.

Оба заканчивают осторожной апологией.

Несомненно, когда стихов слишком много, от них может возникнуть паника.

Мне подарили две недавние поэтические антологии. Одна называется "Американская поэзия XX века" (2004; составители Дейна Джойа, Дэвид Мейсон и Мэг Шорке), вторая — "Оксфордская книга американской поэзии" (2006; составитель Дэвид Леман). В каждой больше тысячи страниц: 1144 и 1132. Солидные, тщательно составленные тома. В одном — подробные биографии поэтов, есть вступления к отдельным разделам, в которых обсуждаются разные направления американской поэзии. В другом — лишь лапидарные, но выразительные врезки к каждой авторской подборке.

Что делать одáренному? Можно было ухнуть в эту бездну стихов и утонуть. Или, наоборот, не увлекаясь безрассудной далью, поплавать немного, лавируя между архипелагами стихов, и вернуться со скромной добычей. Так я и сделал.

Чем определялся мой выбор кроме вкуса, неизбежно субъективного? Во-первых, меня привлекали произведения известные, "антологические", — но по каким-то причинам обойденные вниманием переводчиков, неизвестные русскому читателю. Почти все стихи в подборке — определенные вехи в истории американской поэзии. Тут представлены 20, 30, 50-е годы, а также 60 и 70-е. Совсем современных стихов нет. И это я хотел бы пояснить.

Есть два подхода к явлениям литературы — синхронический и диахронический. Синхронический подход объясняет произведение в контексте современной ему реальности и современной литературы. Такой подход не может быть достаточно глубок. Приведу параллель. Можно ли адекватно понять и оценить сегодняшнюю русскую поэзию без основательного знания всего XX века — от Блока до Бродского, от Тихонова до Тарковского? То же самое и с американской поэзией. Отдельные подборки, печатаемые время от времени в журналах, прежде всего в "Иностранной литературе", у вдумчивого читателя вызывают недоумение: откуда взялась эта поэзия, на какой почве она выросла? А ведь книги делаются из книг. Джона Эшбери, например, совершенно невозможно воспринять адекватно, не пройдя "ступеньку" Уоллеса Стивенса. И это только один пример.

Иосиф Бродский считал, что в XX веке американская поэзия, наряду с русской, самая богатая и сильная поэзия в мире. По понятным причинам русский чи-

татель был отлучен от нее — вплоть до конца 1970-х годов. Образовалась огромная лакуна, которую невозможно было быстро и качественно заполнить (хотя усилия предпринимались). А далее на повестку дня вышла узко взятая современность, и обычай ставить телегу впереди лошади укоренился. Мне кажется, что классическую американскую поэзию XX века предстоит еще осваивать и осваивать. Вот откуда мой особый интерес к довоенному и послевоенному периоду, от 1930 до 1970-х годов. Это то самое поле знания (или незнания), которое я при каждом удобном случае стараюсь расширить — по крайней мере для себя самого. Конечно, маленькая подборка не заполнит лакуны, о которой я говорил, — это песчинка в море. Или горсть песчинок. Но, по крайней мере, горсть искренних песчинок в том самом глубоком море.

Вот почти все, что я хотел сказать в предисловии. Ниже следует инвентарная опись стихов с краткими комментариями.

*

Уильям Карлос Уильямс (1883—1963) — классик американской поэзии, имажинист. Его визитная карточка — "Красная тачка". Но и вторая переведенная мной миниатюра "Записка" (про соблазнительно холодные сливы) почти столь же знаменита и широко антологизирована.

Марианна Мур (1887—1972) — экспериментатор, испробовавшая разнообразные формы свободного, и не совсем свободного, стиха. В ее "Улитке" (1924) можно усмотреть влияние "метафизической школы" XVII века, актуализированной Элиотом в 1920-е годы; именно "метафизики" брали "Улитку" как высокую поэтическую тему.

Уистен Хью Оден (1907—1973) переехал в Соединенные Штаты в возрасте 32 лет. Он принял американское гражданство и лучшие свои стихи написал в Америке. Двадцатью годами раньше Томас Стернз Элиот, уроженец Сент-Луиса, пересек Атлантику в противоположном направлении. Нельзя не согласиться с Дэвидом Леманом, что этот поэтический бартер между Англией и Америкой обогатил как ту, так и другую сторону; но куда все-таки относить Одена и Элиота, не североатлантическими же поэтами их называть? Традиционный ответ: и туда, и сюда — и к английской поэзии, и к американской.

"Колыбельная" — последнее стихотворение Одена в его "Полном собрании поэтических произведений" и одно из самых трогательных. Старый поэт в пароксизме тоски и одиночества прощается не со своей душой, как праведник у Джона Донна, а с грешным телом; признается в нежности к своей старческой плоти, обреченной умереть: "ты любишь / вот эту бабью плоть, / невинно одинокий, / Мадонна и Дитя. / *Спи, старый, баю-баю*!"

Я взял на себя смелость сократить его на одну строфу (предпоследнюю), которая, как мне кажется, разжижает впечатление. Такую небывалую переводческую дерзость я отчасти оправдываю тем, что стихотворение опубликовано посмертно: если бы Оден готовил книгу к печати, может быть, он и сам снял бы третью строфу?

(Вот опущенные строки: "В последний раз исчисли, / кому ты благодарен: / родителям за силу / и трезвость *Super-Ego*, / друзьям своим и веку, / и месту, где родился. / Вот повезло тебе! — / ты насмотрелся в детстве / чудеснейших диковин, / исчезнувших со свету; / насосы паровые, / колеса водяные / и танк-локомотивы — / все это ты видал. / *Спи, старый, баю-баю!*")

"Посещение больницы Св. Елизаветы" **Элизабет Бишоп** (1911—1979) — поэтессы, имеющей в США статус классика XX века, — очевидно, вариация на тему: "Вот дом, который построил Джек". Фактическая сторона стихотворения нуждается в пояснении. Именно в больнице Святой Елизаветы двенадцать лет пребывал американский поэт и критик Эзра Паунд после того, как психиатрическая экспертиза спасла его от смертной казни. Американский суд приговорил Паунда за измену Родине — так были квалифицированы его передачи по итальянскому радио в годы Второй мировой войны. В 1958 году по ходатайству деятелей культуры он был освобожден и уехал из США. Эзра Паунд — не мой любимый поэт, хотя я признаю его роль и заслуги перед литературой. Антисемитизм и поддержка фашистского режима Муссолини, конечно, его не красят. Как совместить несовместимое? Есть реальные трагедии народов и есть интуитивный, петляющий путь поэтического воображения. Использование детского стишка для изображения непростой коллизии — безусловно удачная находка Элизабет Бишоп. Только в области нонсенса можно достичь если не гармонии, то хотя бы примирения взаимоисключающих смыслов.

Луис Симпсон (р. 1923) принадлежит к мощному поколению поэтов, рожденных в 1920-е годы, — вместе с Уилбером, Хектом, Буковски, Мервином, Эшбери и рядом других. В первую половину своей жизни он был привержен регулярному стиху и рифме, но в дальнейшем перешел к верлибру. Я перевел одно из самых выразительных и лаконичных его стихотворений, достойное занять место в любой антологии американской поэзии.

У. С. Мервин (р. 1927) — заслуженный и весьма плодовитый поэт, издавший больше шестидесяти книг стихов и переводов (от Данте до Мандельштама). Стихи "На годовщину своей смерти" остановили мое внимание темой до боли знакомой: "День каждый, каждую годину / Привык я думой провождать, / Грядущей смерти годовщину / Меж них стараясь угадать". Интересно, сознательная ли здесь вариация на тему Пушкина или совпадение мысли?

Грегори Корсо (1930—2001) — поэт-битник, фигура легендарная. Он происходил из бедной итальянской семьи, подростком трижды попадал в тюрьму. Потом стал писать стихи, подружился с Гинзбергом, Берроузом и другими нью-йоркскими поэтами. Его стихотворение "Генеральная уборка" в этой подборке типично для "разбитого поколения" — бунтарской, нигилистической волны в американской поэзии второй половины XX века.

Стихотворение **Доналда Джастиса** (1925—2004), наоборот, типично для следующего, так называемого молчаливого поколения, оно отражает сознание благополучного, остепенившегося гражданина, с семьей и домом, купленным в рассрочку, — другой полюс американской экзистенциальной драмы.

Рассел Эдсон (р. 1935) никогда на русском языке не публиковался, хотя его стихи в прозе — благодатный материал для переводчика. Комментируя свое стихотворение "Антиматерия", Эдсон красиво сформулировал: "Время течет сквозь прозу, а поэзию обтекает. Поэзия есть форма неизменного, застывшего времени".

Чарльз Симик (р. 1938), наоборот, давно примечен русскими переводчиками. По происхождению серб, он приехал с родителями в США в шестнадцать лет, в каковом возрасте овладел английским языком и со временем стал одним из лучших поэтов своего поколения — случай почти уникальный. Поэтику Симика в ка-

кой-то степени характеризует его ответ на вопрос журналиста: "Кому вы показываете стихи, прежде чем послать их в журнал?" — "Я показываю их Эмили Дикинсон и Уоллесу Стивенсу. Если они морщатся, я опять забираюсь в свою норку и скребу дальше". "Мои ботинки" — сравнительно раннее стихотворение Симика, наверное не лучшее, но почему-то возлюбленное составителями антологий и ставшее почти дежурным блюдом.

Джеймс Тейт (р. 1943), ниспровергатель канонов и бывший "анфан-террибль" американской поэзии, давно вписался в эстеблишмент и получил престижные поэтические награды. Центонность, коллаж, cut-and-paste — он, кажется, испробовал все методы для сочинения (или составления, или склеивания) своих стихов. Тем более ценна сатирическая картинка Тейта, изображающая обучение молодого поэта. Так или примерно так оно и происходит, и не только в литературных студиях и школах, и не только в Америке.

Уильям Карлос Уильямс

Красная тачка

Как много
зависит

от красной
тачки

от капель дождя
на колесах

и белых цыплят
у сарая

1923

Записка

Я съел
в холодильнике
все твои
сливы

а ты
берегла их
наверно
на завтрак

прости
они были
так дивно
прохладны

1934

Марианна Мур

Улитка

Если "сжатость есть первое достоинство стиля",
то этим достоинством ты обладаешь. Сокращаться
(как и смущаться) умеет не каждый.
Ибо то, что мы ценим в стиле, — не побрякушки,
не случайные находки
или умение сказануть,
но скрытый принцип,
когда, при отсутствии ножек,
можно предъявить миру
свои уникальные рожки.

1924

Уистен Хью Оден

Колыбельная

Умолкнул шум труда,
склонился день к закату,
и пала тьма на землю.
О мир! блаженный мир!
Сотри с лица заботу;
закончен круг дневной,
вся эта канитель —
отвеченные письма,
оплаченные счета́
и вынесенный мусор —
закончена. Ты можешь
раздеться и свернуться,
как устрица, в постели,
где счастье и уют,
и самый лучший климат.
Спи, старый, баю-баю!

Грек перепутал все:
Нарцисс был старым дедом,
годами укрощенным,
освобожденным от
любви к чужому телу;
когда-то ты мечтал
быть грубым, волосатым
и мужественным типом,
теперь не то — ты любишь
вот эту бабью плоть,
ее лелеешь, гладишь,
невинно-одинокий,
Мадонна и Дитя.
Спи, старый, баю-баю!

Пора, пора уснуть;
пусть переходит власть
к животному рассудку,
что дремлет где-то в чреве,
в пределах материнских
богинь, что сторожат
Священные врата, —
без чьих немых внушений
все наше словоблудье
бессильно и презренно.
Не бойся снов, их чар
и страхов — это шутки
сомнительного вкуса;
не доверяйся им.
Спи, старый, баю-баю!

1973

Элизабет Бишоп

Посещение больницы Св. Елизаветы

Вот дом, который зовут Бедлам.

А вот бедолага,
который посажен в этот Бедлам.

А это срок,
который должен мотать господин,
который посажен в этот Бедлам.

А это часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать старикан,
который посажен в этот Бедлам.

А это моряк,
который носит часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать горлопан,
который посажен в этот Бедлам.

А это деревянный причал,
куда пришвартовался этот моряк,
который носит эти часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать дуралей,
который посажен в этот Бедлам.

А это годы и бури, и стены тюрьмы,
и море, и деревянный причал,
куда пришвартовался моряк,
который носит эти часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать жалкий тип,
который посажен в этот Бедлам.

А это еврей в колпаке из газет,
который плачет и пляшет вокруг тюрьмы,
пока прибой ударяет в причал,
и смотрит оцепенелый моряк,
который носит эти часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать негодяй,
который посажен в этот Бедлам.

А это лишившийся смысла мир,
где плачет еврей в колпаке из газет
и, плача, пляшет вокруг тюрьмы,
пока прибой штурмует причал,
и смотрит ошеломленный моряк,
который носит эти часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать гнусный тип,
который посажен в этот Бедлам.

А это малыш, открывающий дверь,
который хочет понять этот мир,
где плачет еврей в колпаке из газет
и, радуясь, пляшет вокруг тюрьмы,
пока прибой разбивает причал,

и смотрит, ополоумев, моряк,
который носит эти часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать стихоплет,
который посажен в этот Бедлам.

А это солдат, пришедший с войны,
увидевший вновь того малыша,
который хочет понять этот мир,
где плачет еврей в колпаке из газет
и пляшет устало вокруг тюрьмы,
пока скрипит досками причал,
и смотрит оцепенелый моряк,
который носит эти часы,
которые тикают, меря срок,
который должен мотать этот псих,
который посажен в этот Бедлам.

1950

Луис Симпсон

Американская поэзия

Чем бы она ни была, ей нужно иметь
Крепкий желудок, способный переварить
Уголь, резину, уран, звезды, стихи.

Она как акула с проглоченным утюгом,
Обреченная плыть и плыть средь пустынных морей,
По временам издавая почти человеческий крик.

1963

У. С. Мервин

На годовщину своей смерти

Каждый год, сам не зная того, я встречаю день
Когда огни для меня вспыхнут в последний раз
И усталого путника
Уведет за собой тишина
Словно луч незримой звезды

Эти странные одеяния жизни с меня спадут
Я не буду больше удивляться земле
Женской нежности
Или бесстыдству людей

Как сейчас после дождя когда я это пишу
Слушая посвист крапивника и капель
С веток — и кланяясь неизвестно чему

1967

Грегори Корсо

Генеральная уборка

Я взбежал с размаху
на шестой этаж
в свою комнатенку
распахнул окно
и начал выбрасывать напропалую
все эти необходимые в жизни вещи

"Ты, Правда, пойдешь первая!" — "Нет, — запищала она, —
не смей! Я такое про тебя расскажу!" — "Ах, расскажешь?
А мне нечего скрывать. Пошла вон!"
Затем настала очередь Бога.
Он перепугался и стал канючить:
"Меня-то за что? Я тут при чем..." — "Отправляйся!" —
Любовь, лепеча, попробовала откупиться:
"Я сделаю тебя суперменом! Все женщины лягут!"
"Полезай! — я велел, подпихнув ее в толстую задницу. —
Шлюха!"
Вера с Надеждой попробовали уцепиться за раму:
"Ты пожалеешь... Ты без нас пропадешь!" — "А с вами
я свихнусь! До свиданья!"

Кто там дальше? Красота? Вот ведь черт!
Подводя к окошку Красоту, я шепнул ей:
"Тебя одну я любил в своей жизни,
а ты — убийца, безжалостный киллер!"
Но, столкнув ее, я тотчас бросился вниз по ступеням
и успел как раз вовремя подхватить
падающую из окошка Красотку.
"Ах, вы меня спасли!" —
вскричала она, заливаясь слезами.
Я поставил ее на ноги и сказал ей: "Вали!"

И снова взбежал к себе
на шестой этаж:
"К черту деньги!" –
но никаких денег и не было,
я обыскал все углы
и обнаружил Смерть, прятавшуюся под раковиной в уборной.
"Я не настоящая! Я выдумка живых", – заверещала она.
Но я все-таки выбросил ее из окна
вместе с раковиной, унитазом и прочим барахлом...
Кажется, что-то осталось?
"Ах, это Юмор? Ты, кажется, вздумал со мною шутить?
Ну-ка, мигом вываливайся –
и пожалуйста, вместе с окошком!"

1973

•

Доналд Джастис

Сорокалетние мужчины

Мужчины за сорок
Закрывают без звука
Двери в комнаты,
Куда им уже не вернуться.

И на лестничной площадке,
Замерев, ощущают,
Словно палуба уходит из-под ног,
Покачнувшись.

В глубине зеркала
Они находят лицо мальчишки,
Примеряющего отцовский галстук,
Когда никого нет дома, –

И лицо своего отца
В таинственной мыльной пене.
Они сами уже больше отцы, чем дети.
Что-то пронизывает вдруг – что-то такое

Вроде звона кузнечиков
В сумерках похолодевших
Там, в кустах за их домом,
Приобретенным в рассрочку.

1967

Рассел Эдсон

Осень

Жил один мальчик, который взял в руки два листа, вошел в дом и сказал, что он дерево.

Ступай во двор, ему ответили, и не расти тут в гостиной, ты можешь испортить ковер.

Он сказал: я пошутил, я не дерево, — и уронил один лист.

Смотрите, сказали родители, уже осень.

1969

Антиматерия

По ту сторону зеркала — отраженный мир, где безумные сходят с безумия в ум, где кости выкапываются из земли и устремляются в материнское лоно.

Там по вечерам рассветает.

Там чиновники продвигаются по службе назад, вопреки своему усердию и прочим талантам.

В этом мире много печали... то есть, конечно, радости.

1973

Чарльз Симик

Мои ботинки

Ботинки, моя сокровенная суть,
Два крика беззвучных беззубым ртом,
Две шкурки, подгнившие изнутри,
Пахнущие мышиным гнездом.

Мои мертворожденные брат и сестра
Как будто снова о́жили в вас
И направляют мои стопы
К истине, ве́домой только им.

К чему мне мудрые книги читать,
Если я в вас наконец обрел
Евангелие всей жизни моей,
И прошлой, и той, что грядет?

Я мог бы религию основать
И церковь новую возвести,
Чтобы в ее Святая Святых,
Как драгоценность, вас поместить.

Всё выносящие, как волы,
Странники, мученики, чернецы;
Как вы походите на меня,
Как я хочу на вас походить!

1967

Джеймс Тейт

Научить обезьяну писать стихи

Научить обезьяну писать стихи
Оказалось не так уж трудно.
Ее прикрутили к креслу,
Привязали к руке авторучку,
Прикнопили лист к дощечке.
Потом доктор Шпуль наклонился
И прошептал ей в ухо:
“Представь, что ты Феб или Муза.
Напиши нам стишок”.

1972

Борис Фаликов

"Ради толстой тети". Духовные поиски Дж. Д. Сэлинджера

Джером Дэвид Сэлинджер не воспринимается нынешней американской молодежью как писатель. И вовсе не потому, что в последний раз публиковался в 1974 году: его единственный роман "Над пропастью во ржи" продолжает ежегодно расходиться тиражом в 250 тысяч экземпляров. Просто у него другой статус — не писателя, но гуру. Отказ от публикаций — это, конечно, маунврат (индусский обет молчания), а одинокая жизнь в нью-гэмпширской глуши — отшельничество.

Мой американский студент рассказывал, как отправился к Сэлинджеру, чтобы спросить у него, как жить дальше; просидел в кустах возле дома в Корнише всю ночь, а поутру застеснялся и убрался восвояси. Бывает и по-другому. Я прочитал недавно в одном блоге, как некий Стив постучался к отшельнику в избушку и завел с ним проникновенный разговор о смысле жизни. То, что это розыгрыш, стало ясно задолго до того, как Стив начал расспрашивать, какую мочу предпочитает пить уважаемый мудрец. Дело в том, что дочь Сэлинджера Маргарет в своих скандальных мемуарах рассказала об увлечении отца уринотерапией (у индусов в Аюрведе это называется амароли). Она много еще о чем там порассказала. В наше смутное время гуру для одних может запросто стать объектом насмешки для других, включая собственную дочь. Впрочем, Сэлинджер после выхода дочкиных признаний мог утешиться Бхагавадгитой:

> С воцарением беззаконья развращаются женщины рода;
> когда женщины рода растлились, наступает всех варн смешенье.
> Варн смешенье приводит к аду...[1]

А значит, и верно, наступают последние времена, и он вовремя скрылся из гибнущего мира.

© Борис Фаликов, 2009

1. Бхагавадгита, глава 1, шлоки 41—42 / Пер. В. С. Семенцова. — М.: Наука, 1985. Варны — четыре основных сословия древнеиндийского общества: жрецы, воины, земледельцы, слуги.

Буддист из "Монреаль канадиенс"

Полукровка Сэлинджер (отец – еврей, мать – ирландка) не получил традиционного еврейского образования, и, хотя он прошел обряд бармицвы, католический мистицизм привлекал его куда больше. Затем добавился буддизм, первые представления о котором он, вероятно, почерпнул из трудов Реджинальда Блайса[1]. Не исключено, что утки, чья судьба так волнует Холдена Колфилда – героя "Над пропастью во ржи", – "прилетели" в роман из сборника дзэнских коанов "Мумонкан" в переводе Блайса[2]. Буддийский наставник Басо дает в одном из них весьма болезненный урок монаху Хякудзе, который не сумел ответить на вопрос о том, куда летят дикие утки. Мастер так сильно дернул ученика за нос, что у того брызнули слезы.

Для послевоенной Америки увлечение буддизмом не было чем-то исключительным. В 50-е он даже вошел в моду среди писателей-битников, которые считали, что настоящего просветления можно достичь, выпив галлон дешевого калифорнийского вина и разогнавшись на машине до сотни миль в час. Сэлинджер был в этом пионером и подходил к делу серьезнее, недаром его герой Бадди называл битников "дервишами-бродяжками, якобы помешанными на дхарме" и даже "дзэноубийцами". Но, как впоследствии Джек Керуак или Аллен Гинзберг, он исключал из своего буддизма моральные предписания – панча-шила. Друзья вспоминают, что больше всего он любил рекомендовать буддийские книжки многочисленным подружкам. Но рьяным буддистом представал далеко не перед всеми. Например, одна девица была твердо убеждена, что имеет дело с вратарем "Монреаль канадиенс"[3].

В отличие от битников Сэлинджер прошел войну, которую закончил сержантом контрразведки. Он первым попадал в фашистские концлагеря и насмотрелся такого, что хватило на всю будущую жизнь. "Меня преследует запах горящей плоти", – жаловался он через много лет дочери. Для ранимого молодого человека это было слишком. Его буддизм – реакция на безмерность человеческих страданий. Ведь и сам Будда Шакьямуни примерно в таком же возрасте осознал, что всё есть дукха – страдание, – и стал на путь просветления.

Незадолго до войны Сэлинджер начал учиться писательскому мастерству на вечерних курсах Колумбийского университета и дебютировал в журнале "Стори". В конце 1941 года его "Маленький бунт неподалеку от Мэдисон-авеню" был даже принят разборчивым "Нью-Йоркером", но тут японцы разбомбили Пёрл-Харбор, началась война, и рассказ увидел свет лишь после ее окончания. Сэлинджер продолжал писать и на фронте и даже печатался в развлекательных журналах "Кольерс" и "Сатердей ивнинг пост". Однако настоящий прорыв случился в 1948 году, когда "Нью-Йоркер" не только принял его рассказ "Хорошо ловится рыбка-бананка", но и заключил с двадцатидевятилетним писателем конт-

1. Реджинальд Блайс (1898–1964) – английский японист, переводчик.
2. Lawrence Bowden. The Ducks in Central Park, or Why You Can't Teach The Catcher in the Rye // Americana. The Journal of American Popular Culture. Oct. 2002.
3. Times. 1961. Sep. 15.

ракт. Рассказ оказался первым из историй о семье Глассов: маменька и папенька — отставные водевильные актеры (он еврей, она ирландка!), отпрыски — все как на подбор вундеркинды и участники радиошоу "Умный ребенок". Об этих семерых — Симоре, Бадди, Бу-Бу, Уолте, Уэйкере, Зуи и Фрэнни — писатель и опубликовал потом семь рассказов.

"Бананка" повествует о старшем, Симоре, а точнее, о его самоубийстве. Сэлинджер наделил его своей собственной ранимой душой и психической травмой, полученной на войне, но обретаемую им самим восточную мудрость передал Симору в более поздних рассказах, где тот именуется не иначе как дживанмукта — индусским святым, достигшим спасения при жизни. (В рассказе содержится лишь один намек на интеллектуальные пристрастия героя — это Рильке, правда, не названный по имени.) Отсюда парадокс: чтение буддийских текстов, возможно, помогло писателю восстановить душевное равновесие, и вместо него погиб его герой. Но то, что впоследствии этот герой предстал перед нами в облике мудреца, делает его самоубийство странным.

Жертва культов

Нанести на карту маршрут духовной одиссеи Сэлинджера очень непросто. Сам писатель практически ничего не говорит об этом; впрочем, он хранит молчание и по поводу других сторон своей жизни. Неутомимый Ларри Кинг[1] как-то признался, что интервью с Сэлинджером — мечта его жизни, но он вполне отдает себе отчет в том, что мечта эта неисполнима. Британец Иэн Гамильтон затеял сочинять первую подробную биографию писателя и натолкнулся на решительное нежелание своего героя делиться сведениями о себе. Тот не сдавался и счастливо обнаружил в библиотеках Принстонского и Техасского университетов письма Сэлинджера, оказавшиеся там после смерти адресатов, — добыча, которой можно позавидовать. Но писатель подал на биографа в суд за нарушение авторского права на письма — и выиграл процесс. Бедный Гамильтон дважды переписывал книгу и смог изложить полученную информацию только в очень приблизительном виде, так как цитировать письма ему запретили[2].

Все эти перипетии отпугнули других потенциальных биографов; с тех пор появилось всего лишь одно объемное жизнеописание корнишского затворника, вышедшее из-под пера Пола Александера[3]. Правда, в 1999 и 2000 годах почти синхронно выпустили книги о Сэлинджере две женщины — бывшая любовница писателя Джойс Мейнард и его дочь Маргарет.[4] Любовница о религиозных поисках Сэлинджера не особо

1. Ларри Кинг (р. 1933) — популярный телеведущий, руководитель программы "Телеинтервью в эфире с Ларри Кингом".
2. Ian Hamilton. In Search of J. D. Salinger. — New York: Random House, 1988.
3. Paul Alexander. Salinger: A Biography. — Los Angeles: Renaissance, 1999.
4. Joyce Maynard. At Home in the World. — New York: Picador, 1998; Salinger Margaret. Dream Catcher: A Memoir. — New York: Washington Square Press, 2000. Русский перевод: Маргарет А. Сэлинджер. Над пропастью во сне: мой отец Дж. Д. Сэлинджер. — М.-СПб.: Лимбус-Пресс, 2006; см. также статью Александры Борисенко. О Сэлинджере, "с любовью и всякой мерзостью" ("ИЛ", 2008, № 10).

распространяется: видимо, он с нею не слишком делился. А вот дочь высказывается на эту тему охотно, опираясь на собственные детские воспоминания и на позднейшие разговоры с матерью. Именно от нее мы узнаем, что в начале 50-х к католической мистике и дзэн-буддизму у писателя прибавился индуизм, вначале адвайта-веданта в версии Шри Рамакришны (1836–1886) и его ученика свами Вивекананды (1863–1902), а затем крийя-йога Парамахансы Йогананды (1893–1952)[1]. За ними последовали "христианская наука", дианетика и сайентология Рона Л. Хаббарда (1911–1986), оккультизм Эдгара Кейси (1877–1945), потом акупунктура, макробиотическая диета и злосчастная уринотерапия[2].

Маргарет подкрепляет свои и материнские воспоминания налоговыми декларациями отца, где черным по белому записаны пожертвования различным религиозным организациям. Перед нами встает мятущаяся душа, которая отчаянно ищет все новые и новые способы спасения. Дочь рисует отца добровольной жертвой различных новомодных культов, опираясь при этом на методы так называемых антикультистов, профессиональных борцов с подобными организациями. Мелькают имена теоретиков этого направления: Роберта Лифтона, Льюиса Уэста, Маргарет Сингер. Дочь Сэлинджера полностью разделяет их пафос: культы промывают своим жертвам мозги, подчиняют их себе и выкачивают из них немалые деньги. И утверждает: ее мучает даже не то, что эти деньги могли быть с пользой потрачены на ее счастливое детство; скорее, дочери кажется, что отец понапрасну тратил свои духовные силы на религиозные бредни, а не на истинное призвание – писательство. И это привело к творческому кризису, а затем и вовсе к выпадению из литературного процесса.

Что ж, такой взгляд готовы разделить многие. Но по мере чтения мемуаров крепнет подозрение, что дочь не столько сочувствует бедному отцу, сколько обвиняет его в том, что он сам, подобно боготворимым им обманщикам, промыл мозги дочери, то есть выступил по отношению к ней в роли авторитарного гуру. И всю жизнь ей пришлось преодолевать последствия этого надругательства над ее сознанием.

Надо признать, что жизнь у нее и правда сложилась нелепо. Подобно многим своим сверстникам из поколения "детей-цветов", она вела разгульную жизнь, употребляла наркотики, но все же сумела получить хорошее образование. Однако карьера Маргарет не задалась, у нее развились тяжелые психосоматические заболевания, так что возникла естественная потребность найти виновных в собственных неудачах. Лучше других на эту роль подошел знаменитый отец, который тратил свои деньги и любовь на экзотических индусов, а не на родную дочь. Более того, наградил ее совершенно неверными взглядами, которые и привели к жизненному краху.

Мемуары кончаются на оптимистической ноте: Маргарет заводит сына и обещает воспитывать его совсем не так, как ее воспитывал гореотец. Ей удалось вырваться из плена иллюзий, и она никогда не позволит своему ребенку попасть в него. Собственно, ее мемуары и есть роди-

1. Адвайта-веданта – индийское учение о недвойственности бытия, развитое философом Шанкарой (788–820); крийя-йога – букв. йога действия.
2. Маргарет А. Сэлинджер. Над пропастью во сне: мой отец Дж. Д. Сэлинджер. С. 132–134.

тельское напутствие. Недаром их английское название "Dream Catcher" – "Ловушка для снов" – обозначает магическое приспособление американских индейцев, которое вешают над спящим, чтобы охранять его от дурных снов[1].

Жребий домохозяина

Понятно, что такая интерпретация религиозных поисков Сэлинджера не способствует их объективному истолкованию. К этому добавляются и фактические ошибки. Маргарет утверждает, что отец в переписке с ее будущей матерью в конце 1950-го – начале 1951 года рассказывает о том, что подружился со знаменитым популяризатором дзэн-буддизма в США Д. Т. Судзуки и стал медитировать с ним в буддийском центре в парке "Тысяча островов"[2]. Судзуки действительно переехал в Нью-Йорк с западного побережья в 1951 году и начал читать лекции в экуменической миротворческой организации при фонде Карнеги – Союз церковного мира. Его приглашали в гости и нью-йоркские интеллектуалы, интересующиеся Востоком[3]. На одной из этих встреч Сэлинджер и впрямь мог с ним познакомиться, но вот медитировать вряд ли, потому что Судзуки ограничивался просветительской деятельностью, а уж в парке "Тысяча островов" не мог оказаться вовсе, никакого буддийского центра там отродясь не было. Вот летний лагерь Нью-Йоркского центра Рамакришны-Вивекананды там действительно находился, и Сэлинджер вполне мог там побывать, но только не в 1951 году, а позже. Его увлечение индуизмом началось в 1952 году, когда он прочел "Евангелие Рамакришны" и написал друзьям, что потрясен жизнью и учением этого удивительного человека[4]. У тогдашнего главы центра свами Нихилананды (1895–1973) он действительно учился медитировать и сохранил почтение к наставнику до самой смерти того. Он подарил свами издание "Фрэнни и Зуи" с трогательной надписью, где были и такие смиренные слова: "Я смог распространять идеи веданты лишь через эти истории"[5].

Несмотря на очевидные ошибки, какие-то детали религиозной жизни Сэлинджера и его супруги Клэр из мемуаров их дочери извлечь можно. Например, становится ясно, что если дзэн был для писателя скорее интеллектуальной забавой, то индуизм изменил все его мировоззрение. Занятия йогой влияют на всего человека – его ум, волю, тело. Если прежде Сэлинджер раздавал своим подружкам списки буддийской литературы, то индуизм подвиг его и к моральной дисциплине. По слухам, он даже полностью хотел посвятить себя ему, приняв монашеское отре-

1. Английское название мемуаров – игра слов: название повести Сэлинджера "Над пропастью во ржи" в оригинале звучит как "Ловец во ржи" – "The Catcher in the Rye". Сочетания же "ловец снов" и "ловушка для снов" по-английски звучат одинаково. О "ловушке для снов" см.: "ИЛ", 2008, №11, материал "Сказки и тайны леса". (*Прим. ред.*)
2. Маргарет А. Сэлинджер. Над пропастью во сне. С. 23.
3. Rick Fields. How the Swans Came to the Lake. A Narrative History of Buddhism in America. – Boulder: Shambala, 1981. P. 196.
4. Hamilton. P. 127.
5. Из лекции д-ра Сумитры Менона, посвященной влиянию индуизма на Сэлинджера, прочитанной в Храме веданты в Санта-Барбаре 24 февраля 1991 года.

чение — саньясу. В 50-е годы для этого уже не надо было ехать в Индию: индусским монахом можно было стать и в США.

Женитьба на Клэр Дуглас, очаровательной дочери британского искусствоведа, заставила его отказаться от крайностей аскезы, но индуизма он не бросил. Летом 1955 года вместе с Клэр они отправились в Вашингтон, чтобы получить посвящение в крийя-йогу. В ту пору в пригороде американской столицы открылся новый центр Братства самореализации Парамахансы Йогананды, экспортировавшего в США эту технику йоги. Гуру — автор первого американского бестселлера об индуизме "Автобиография йога" — скончался в 1952 году, но его идеи продолжали привлекать американцев. Сэлинджера, судя по всему, заинтересовали две из них. Во-первых, спасение доступно не только отшельникам-саньясинам, но и людям женатым. Создатель крийя-йоги Лахири Махасаи (1828—1895) и сам был "домохозяином", как в индуизме называют последователей учения, живущих в семье. Во-вторых, не менее важным для Сэлинджера было и то, что крийя-йога трактовалась как научный метод, который не только приводил к спасению, но и укреплял здоровье. Писатель испытывал недоверие к западной медицине.

Юную выпускницу элитного Рэдклифа визит разочаровал. Ей показалось, рассказывала она дочери, что храм крийя-йоги похож на бакалейную лавочку, а настоятелю — свами Прематанде — явно недостает харизмы[1]. Как и положено, гуру дал новым адептам мантры и обучил их особой технике задержки дыхания. Десять минут занятий утром, десять вечером — конечно, это далеко от традиционной йоги, как она практикуется в Индии, но для молодых американцев вполне достаточно. По крайней мере, Клэр в результате своих занятий однажды увидела, зажмурив глаза, обещанный белый свет посреди лба, но за дальнейшими инструкциями к "свами-бакалейщику" уже не вернулась. Как крийя-йога повлияла на ее мужа, нам неизвестно, он такими вещами с дочерью не делился. Но по ряду оброненных ею замечаний видно, что повлияла сильно. Например, он дал детям фотографии Лахири Махасаи, чтобы они постоянно носили их с собой. Произошло это лет через десять после инициации, срок не такой уж малый. Учил он Маргарет и технике правильного произнесения мантры — на вдохе "хонг", на выдохе "са". Именно так наставлял в своей книге Парамаханса Йогананда.

Монолит из ртути

Для Маргарет религиозные практики отца — духовная чехарда, когда одни увлечения накладываются на другие в лихорадочном поиске спасения и место одного гуру-ракальи спешит занять другой. На самом деле Сэлинджер воплощает собой совершенно иной религиозный тип. Он собирает верования и практики, как страстный энтомолог — коллекцию бабочек. Это попытка создать собственный синтез религий, в котором идеи самых разных учений пропускаются через призму современного

1. Маргарет А. Сэлинджер. Над пропастью во сне. С. 127.

сознания. Наука входит в невероятные комбинации с религией, порождая сциентистские мифы. Все это в одночасье станет популярным в 60-е и послужит основой для создания New Age — религиозного движения, которое по сей день влияет на американскую интеллигенцию[1].

В конце февраля 2008 года было опубликовано очередное исследование "Pew Forum on Religion and Public Life" — вашингтонской организации, которая собирает информацию о роли религии в американском обществе и делает ее достоянием широкой публики. В этом исследовании есть интригующие данные. Оказывается, 28 процентов американцев хотя бы раз в жизни сменили свою конфессиональную принадлежность. А если посчитать протестантов, которые перешли из одной церкви в другую (как известно, таких церквей в США не счесть), то получится и вовсе 44 процента. Дальше — больше. 16,1 процента отпали от какой-либо религии, но не присоединились к другой. Причем среди молодежи от 18 до 29 лет таких — каждый четвертый. Однако неверующих в их рядах совсем немного. Атеистами называют себя 1,6 процента, агностиками — 2,4. Остальные существуют вне организованной религии. Из них половина — религиозно индифферентна, другая — находится в духовном поиске.

Это ищущие, которые толком не прибиваются ни к одной конфессии, но религиозность не теряют и в этом смысле наследуют New Age. И эта тенденция становится сейчас ключевой, ведь она представлена по преимуществу молодежью. Если она сохранится, внеконфессиональная вера станет чуть ли не главной чертой религиозной жизни США. Новое исследование показывает, что монолит веры, который являет собой Америка остальному миру, на самом деле нечто динамичное и подвижное, как ртуть.

Сэлинджер был предтечей такой религиозности, той каплей ртути, которая одной из первых стала совершать причудливые движения, влекомая невидимым импульсом.

На первый взгляд, ее появление объясняется просто. Америка — колоссальный рынок религий, где царит интенсивная конкуренция. Миссионерская охота за душами в условиях глобализации выходит за рамки традиционных для США религий. Тут тебе и буддизм, и индуизм, и масса иных соблазнов. Может быть, дочь Сэлинджера все же права? Ведь недаром критики New Age — да и продвинутые его адепты — признают, что поиск нового религиозного опыта сродни поиску нового товара в супермаркете, где на прилавки в изобилии вываливают все новые экзотические продукты.

Но получается, что миссионеры остаются с носом. Американцы не стремятся строго следовать религиозным предписаниям, а ищут смысл существования и, будучи закоренелыми индивидуалистами, создают собственные рецепты спасения — пригоршня йоги, горсть христианского мистицизма, щепоть научной соли и оккультного перца. Однако эта духовная пища слишком остра и может не пойти впрок. Вместо того чтобы погрузиться вглубь, человек останется на мелководье. Так-то оно так, но если этот человек — художник, результат может оказаться иным.

1. См.: Борис Фаликов. Культы и культура. — М.: Изд-во РГГУ, 2007.

Проблема писателя, увлекшегося духовными поисками, всегда волновала публику. Наносят ли они ущерб его творчеству или поднимают на невиданную прежде высоту? Любопытно сравнить духовную одиссею Сэлинджера с опытом классика XX столетия, которого он числил среди своих учителей, — Франца Кафки. Пражского писателя увлекало учение Рудольфа Штайнера. Он посещал его лекции в марте 1911 года, когда тот еще возглавлял немецкую секцию Теософского общества. Доктор Штайнер создал самостоятельное учение — антропософию — лишь через несколько лет, но основные его взгляды сложились уже к 1911 году.

В дневнике Кафка пишет о Штайнере без чрезмерного пиетета. Для него очевидны риторические приемы, с помощью которых лектор завораживает аудиторию. Однако сверхъестественные способности оккультиста, в которые он склонен верить, вызывают у него почтение. Не меньшее почтение вызывают и разносторонние познания и таланты Штайнера: "Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно ничего не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика..." Тем не менее к восхищению все же примешивается ирония: "Госпожа Ф.: 'У меня плохая память'. Д-р Шт.: 'Не ешьте яиц'"[1].

Кафка решается нанести знаменитому оккультисту визит и рассказать ему о собственном опыте ясновидения. Да, ему знакомы эти состояния, когда он реально живет в своем воображаемом мире. Кажется, это близко к тому, о чем говорит господин доктор. "Но покоя, который, по-видимому, приносит ясновидящему вдохновение, в этих состояниях почти не было". Во всяком случае, лучшие свои работы он написал не тогда. Между тем главное для него — писательство, именно в нем он находит редкое счастье. Но писательству страшно мешает необходимость зарабатывать деньги чиновничьим трудом. Это так изматывает. Не добьют ли его окончательно теософские штудии? Впрочем, он готов взвалить на себя и такой груз — вдруг это облегчит его страдания? Что посоветует ему господин доктор?

Мы не знаем, что посоветовал посетителю Штайнер, Кафка об этом не пишет. Но под конец в описании визита слышится откровенный сарказм: Штайнера одолевает насморк, и, пока посетитель изливает ему душу, духовный наставник самозабвенно копается платком в носу. Больше упоминаний о Штайнере и антропософии в дневниках нет. Кафка предпочел быть несчастным человеком, лишь изредка находящим счастье в приступах писательского вдохновения, а не обретшим покой и волю антропософом.

На самом деле вопросы, которые поставил перед Штайнером Кафка, уже заключали в себе ответы. Писатель изначально рассматривал свое призвание как нечто альтернативное духовным поискам. Он был бы рад дополнить одно другим, но боялся, что спиритизм будет мешать творческому вдохновению, вытеснять его вследствие их очевидного сходства. О том, что ответ был ясен ему еще перед началом разговора,

1. Франц Кафка. Дневники и письма. — М.: Ди Дик, 1995. С. 33–34.

свидетельствует и такая деталь. "В его (Штайнера. — *Б. Ф.*) комнате я пытаюсь выказать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы..."[1]

Несчастный невротик, идущий к мэтру оккультизма, чтобы вопрошать его о смысле жизни, не испытывает робкого почтения, так как про себя уже понимает, что советы ему ни к чему. Он и сам знает, в чем этот смысл заключается. По крайней мере для него.

Каждый дышит, как он пишет

Не то — Сэлинджер. По мере увлечения восточными практиками в нем растет уверенность, что писательство — тоже средство духовного совершенствования, поэтому жертвовать одним для другого не резон. По сути, это один путь. Более того, спасаясь сам, писатель транслирует свою интуицию читателям, помогая им найти себя в этом мире. Ученик становится учителем. Вовсе не случайно он подарил свами Нихилананде диптих "Фрэнни и Зуи". В нем как раз рассматривается коллизия, произошедшая в душе молоденькой студентки актерского факультета Фрэнни, которая случайно наткнулась на русский духовный текст XIX столетия "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". Анонимный рассказ, переписанный на Афоне настоятелем Черемисского монастыря из Казанской епархии игуменом Паисием, многократно публиковался в России, а затем и за ее пределами стараниями православных людей, оказавшихся в изгнании.

Там он и был переведен на европейские языки. Английский перевод Реджинальда М. Френча под названием "The Way of a Pilgrim" ("Путь паломника") и прочла сэлинджеровская героиня[2]. (Во всяком случае, именно его читала жена писателя Клэр, вероятно, послужившая ее прототипом.)

Юная американка, подобно русскому страннику, встает на путь "умного делания", беспрерывного творения Иисусовой молитвы. Это так переворачивает ей душу, что жить по-прежнему она уже не в силах. И даже делает первый шаг в сторону от этой жизни: бросает театральный факультет. Жизнь — сплошная показуха, театр — показуха вдвойне. А безостановочная молитва — прямой путь от житейской суеты к Богу. Причем не требующий веры. Отбросьте пустые мечты и глупые слова, действуйте. И действовали не только православные мистики, утверждает Фрэнни, но и индусские и буддийские аскеты, твердившие свои бесконечные мантры. Перед нами в сжатом виде религиозная программа контркультуры. В 60-е эти лозунги овладели студенческими массами и повели их на Восток, к индийским гуру, японским роси и тибетским римпоче[3]. Но в 50-е герои Сэлинджера — беспомощные одиночки, кото-

1. Франц Кафка. Дневники и письма. — М.: Ди Дик, 1995. С. 35.
2. The Way of a Pilgrim: And The Pilgrim Continues His Way / Translated by R. M. French. — New York: Harper, 1954.
3. Все три слова обозначают "духовный наставник", соответственно на санскрите, японском и тибетском.

рые бьются головой о стену. Вот и Фрэнни бьется, даже близкий человек ее не понимает, только и остается, что упасть в обморок. На этой метафоре полного отчуждения героини от действительности Сэлинджер и заканчивает рассказ. В последней фразе губы очнувшейся девушки "беззвучно зашевелились, безостановочно складывая слова"[1]. Мы знаем какие.

Во второй части диптиха брат Фрэнни Зуи — красавец и преуспевающий актер, мучимый, однако, теми же метафизическими вопросами, что и сестра, — пытается вернуть ее к жизни. Он говорит вроде бы правильные вещи: Иисусова молитва не может быть самоцелью, нельзя увлекаться погоней за святостью ради святости, это мертвая рациональная конструкция, духовный тупик и т. д. Но девушка, любящая брата и доверяющая ему, тем не менее не желает его слушать и продолжает беззвучно молиться. Зуи понимает, в чем его ошибка, — он впал в нравоучительный тон и взывает к уму сестры, а не к ее чувствам. То есть попадает в ту же западню, из которой пытается извлечь Фрэнни.

Выход один — прибегнуть к актерскому искусству, которым он владеет в совершенстве. Уйдя в другую комнату обширной манхэттенской квартиры, он звонит сестре от имени старшего брата Бадди, писателя и мудреца. Сестра в конце концов распознает розыгрыш, но ее защитная броня пробита, и Зуи наносит в эту брешь главный удар. Я не хочу изображать всезнайку-ясновидца, твори свою молитву, если хочешь, но помни — ты большая актриса, это твое настоящее призвание. "И тебе остается только одно, единственный религиозный путь — это играть. Играй ради Господа Бога, если хочешь — будь актрисой Господа Бога. Что может быть прекрасней?"[2] Но что значит быть актрисой Бога? Это значит играть не для самоутверждения, а для зрителей. Зуи вспоминает, как покойный брат Симор просил его в детстве начистить ботинки перед радиошоу "Умный ребенок" — семейным подрядом Глассов. Для кого? Для толстой тети. Он так и не понял, что это за тетя, но ботинки чистил из уважения к брату. И только сейчас сообразил, что в этом был смысл. Какой? "А разве ты не знаешь — слушай же, слушай, — не знаешь, кто эта Толстая Тетя на самом деле?.. Это же сам Христос. Сам Христос, дружище"[3].

Играть для другого — это значит играть для Другого. Бескорыстно стремясь к совершенству в своей профессии, ты спасаешься сам и помогаешь спастись ближнему. Это и есть твоя истинная Иисусова молитва.

Меткость курильщика

После "Фрэнни и Зуи" Сэлинджер опубликовал еще одну повесть — "Симор: введение" (1963). Она написана от лица Бадди и рассказывает о литературном наследии Симора — стихах, которые докажут всему миру его гениальность. Но вот незадача, вдова поэта отказывается дать пра-

1. Дж. Д. Сэлинджер. Фрэнни и Зуи / Перев. с англ. М. Ковалевой, Р. Райт-Ковалевой. — М.: Азбука-классика. 2004. С. 124.
2. Там же. С. 381.
3. Там же. С.383.

во на публикацию. Почти не таясь, Сэлинджер дает понять, что Бадди — его альтер эго. Правда, живет на севере штата Нью-Йорк, а не в Нью-Гэмпшире, да еще, вдобавок, преподает в женском колледже английскую литературу на полставки, но он — писатель-отшельник, скрывающийся в хижине на склоне холма в глухом лесу. В воображении читателя может возникнуть треугольник из трех писателей, одного вымышленного и двух настоящих — Дэвида Сэлинджера и Дэвида Торо, который (правда, на век раньше) проживал неподалеку на Уолденском пруду в штате Массачусетс. И тоже не на шутку увлекался Бхагавадгитой.

Сэлинджер награждает Бадди не только своей профессией, но и мировоззрением. Это индуизм, каким его преподал западным почитателям свами Вивекананда. От классического, скованного кастовой системой, он отличается открытостью миру и желанием преобразить его в такое место, где людям жилось бы свободно и радостно. Ты можешь быть мирянином или отшельником — не важно, это просто разные способы, ведущие к одной цели. Вот и про себя Бадди говорит, что он склоняется к тому, "чтобы назвать себя третьесортным карма-йогом с небольшой примесью джняна-йоги, для пикантности"[1]. То есть принимает как путь действия, так и путь знания. Но это лишь "сладкозвучное восточное имя". Ибо корни его восточной философии, признается Бадди (он же Сэлинджер), уходят не только в адвайта-веданту свами Вивекананды, но и в Библию. Хотя Сэлинджер шутливо открещивается от Востока, он все же, скорее, следует путем харизматичного свами, который придал индуизму новый импульс не без влияния христианства. Во всяком случае, на Христа писатель смотрит его глазами и с почтением цитирует гуру: "Узри Христа, и ты христианин. Все остальное — суесловие"[2]. Различия между религиями снимаются через мистический опыт. Чем глубже опыт, тем меньше различий.

Главная тема "Фрэнни и Зуи" получает законченную формулировку: настоящее писательство (как и любая форма творчества) — это не профессия, а религия. Более того, именно поэты — святые провидцы нашего времени. "Разве истинный поэт или художник не ясновидящий? Разве он не единственный ясновидящий на нашей Земле?" За это они и расплачиваются своей жизнью. "Настоящего поэта-провидца, божественного безумца, который может творить и творит красоту, ослепляют насмерть его собственные сомнения, слепящие образы и краски его собственной священной человеческой совести"[3]. Главное — творить бескорыстно, не обращая внимания на поношения и похвалы. И читатель-всезнайка уже готов подхватить: так Кришна учил Арджуну в Бхагавадгите исполнять долг своей варны — не заботься о плодах, и спасешься.

Но автор тут как тут и ловко сбивает пафос. В конце повести Бадди вспоминает, что в детстве Симор учил младшего брата, как лучше всего попасть в цель стеклянным шариком. Излюбленная игра американских подростков со времен Тома Сойера и Гекльберри Финна, еще совсем недавно в нее играли и в сельской глуши, и на суетливом Манхэттене. Так

1. Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. Повести. Рассказы / Перев. с англ. Р. Райт-Ковалевой. — М.: Пушкинская библиотека — АСТ, 2004. С. 230.
2. Там же. С. 251.
3. Там же. С. 260.

вот, главное здесь — не надо изо всех сил целиться и волноваться: попадешь или нет. И тогда попадешь обязательно. Оставим в стороне дзэнские советы по стрельбе из лука, столь популярные нынче среди интеллектуалов, иронизирует Бадди, все это можно описать не только на восточный лад. Так курильщик попадает окурком в мусорную корзину, когда не выделывается на потеху окружающим и ему совершенно наплевать — попадет он в нее или нет.

Рукописи не горят

После "Симора" Сэлинджер замолчал на долгие годы (не считая публикации в 1974 году рассказа "16-й день хэпворта, 1924"). Почему? Кредо сформулировано. Вперед — пиши для людей. Литературоведы объясняют его молчание беспощадной критикой, которая обрушилась на последние повести о Глассах. Ругали его и коллеги-писатели, в том числе такие тонкие, как Джон Апдайк[1]. Вот наш ранимый гений и обиделся, окончательно спрятавшись в своей хижине на холме. Перестал печататься, не соглашается на интервью и крайне неласков к любому, кто попытается хотя бы немного приподнять завесу тайны над его уединенной жизнью. Дал в 1974 году последнее интервью, где заявил, что пишет исключительно для собственного удовольствия: "Не печататься — вот что дарит мне настоящее спокойствие. Тишину. Публикации — это страшное вторжение в мою частную жизнь. Мне нравится писать, я это люблю. Но пишу только для себя"[2]. Даже если это и правда, то далеко не вся. Уж слишком Сэлинджер не похож на невротика, который в страхе за свою психику бежит публичности.

Возможно, причина иная. Творец стремится достигнуть совершенства, работая для других, но эти другие изо всех сил мешают его труду. Мысль о том, как новое его произведение будет принято читателями, мешает ему сосредоточиться: вместо того чтобы спонтанным движением запустить окурок в корзину, он думает о зрителях и промахивается. Что же делать? Выходит, что, думая о читателе, он мешает собственной самореализации и, следовательно, мешает читателю получить то, что может помочь тому в духовных поисках. Это неразрешимое противоречие усугубляется тем, что страсть увидеть свое произведение напечатанным ослепляет автора и может заставить его пойти на поводу у доброхотов-критиков, чтобы заслужить их похвалу. И не заметить, что вместо высшей цели он преследует совсем другое — удовлетворение своего мелкого тщеславия. "Хочу ли я отдать это описание в журнал? Да, хочу. И напечатать хочу. Но дело-то не в этом: печататься я хочу всегда", — с отчаянием рефлексирует Бадди в "Симоре"[3]. Так что же остается? Как преодолеть это последнее искушение? А вот как. Не печататься, писать "в стол". Достигнуть истинного совершенства в тиши своего кабинета, в своем отшельническом убежище.

1. John Updike. Anxious Days for The Glass Family // New-York Times. 1961. Sep. 17.
2. New York Times. 1974. Nov. 3.
3. Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. Повести. Рассказы. С. 280.

А как же "толстая тетя", для которой ты должен чистить свои ботинки? Как же твоя миссия в этом мире? Ничего страшного. Что такое 10–20 лет в масштабе вечности? Я умру, и мои совершенные писания увидят свет. Рукописи не горят, тем более если держать их в надежном месте. Зато перед Господом я предстану с чистой совестью.

"Раз творчество – твоя религия, знаешь, что́ тебя спросят на том свете? – цитирует Бадди своего брата и наставника Симора. – Впрочем, сначала скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут... Тебя не спросят, длинная ли была вещь или короткая, грустная или смешная, опубликована или нет... А тебе задали бы только два вопроса: настал ли твой звездный час? Старался ли ты писать от всего сердца? Вложил ли ты всю душу в свою работу?"[1]

И Сэлинджер мечтает ответить на оба вопроса – да.

Нам не дано предугадать...

В Финляндии есть маленькая театральная труппа "Братья Хоукка". Один из ее спектаклей, "Странник", сделан по тем самым "Откровенным рассказам странника духовному своему отцу", которыми чуть не зачиталась до смерти сэлинджеровская Фрэнни. То, что эта книжка оказалась в руках у молодых театральных экспериментаторов, вполне закономерно. Тяга к экзотическим духовным поискам, которой Сэлинджер так щедро наделял своих юных героев, на Западе никогда не ослабевала. Удивительно другое. Финны словно подхватили эстафету в тот момент, когда улыбающаяся Фрэнни забылась "глубоким сном без сновидений". Веданта недаром называет так четвертую турию – последнюю стадию на пути к освобождению – мокше. Слова брата возымели эффект, намекает писатель.

Актеры пересказывают историю странника языком того самого театрального искусства, вернуться к которому в новом качестве призывает сестру Зуи. А начинался проект и вовсе площадным действом. Будущий исполнитель главной роли Юха Валкеапяя разослал своим знакомым по электронной почте вопрос "Что вам нужно, чтобы жить в этом мире?" А потом прошел по одной из главных улиц Хельсинки, читая ответы в мегафон. Все правильно: мир – театр, и люди в нем – актеры. Но чем громче он вещал, тем хуже его слышали. И тогда проект обрел камерное звучание.

Рассказ о человеке, который задался аналогичным вопросом в России позапрошлого века, излагается за столом, вокруг которого сидят еще два актера (они играют тех, кто встретился герою на пути) и совсем немного зрителей. И ответ этот обманчиво прост, как в песне "Битлз", – "All you need is love"[2]. Русский странник не бежал от действительности, хотя и его не миновало искушение удалиться от мирской суеты. Сведя ум в сердце, как учат православные аскеты, он понес свой внутренний свет людям. Иногда, казалось бы, безрезультатно. Избившие его разбойники вовсе не покаялись, лишь за целковый подсказали, где найти ими же украденную Библию. Иногда результат вроде бы достигался помимо него.

1. Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. Повести. Рассказы. С. 290.
2. "Все, что тебе нужно, – это любовь" (*англ.*).

Женщина, которая хотела его соблазнить, пережила страх Божий, покаялась и сама стала на молитвенный путь, о чем он случайно узнал через несколько лет. Но и не зная, продолжал бесконечный подвиг спасения мира. Кого-то научал Иисусовой молитве, с кем-то делился последним.

Он остается в мире, чтобы полюбить его всей силой очищенного молитвой сердца. Как написал в предисловии к парижскому изданию книги замечательный русский богослов архимандрит Киприан (Керн), творение Иисусовой молитвы "наполняет странника такой любовью к миру, природе, зверям и людям, что не только нельзя говорить о мироненавистничестве, но, наоборот, в его безыскусном рассказе можно прочитать настоящий гимн любви к этому миру и человеку"[1].

Этот гимн и попытались исполнить финские актеры. Причем с такой заразительной радостью, что невольно закралось подозрение — вдруг молитва у них всамделишная? Вряд ли, но нерв старой книжки нащупан точно. Театральное искусство отличается от писательского тем, что играть "в стол" нельзя. Его плоды эфемерны и не могут существовать без публики. Соблазны актерской профессии во сто крат сильнее писательских. Но актер не может уйти в затвор, в этом случае он перестает быть актером. И, если он хочет передать свою религиозную интуицию зрителям, ему надо почаще вспоминать о "толстой тете". Похоже, у финнов это получается неплохо. А значит, урок Сэлинджера не пропал втуне. Даже если сам он в конце концов предпочел другой путь.

1. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. — Париж: YMCA-Press, 1948. С. 3.

Хорек в курятнике

О книге Эрнста Левина "Декамерон переводчика"

В редакции журнала "Иностранная литература" состоялось обсуждение книги Эрнста Левина "Декамерон переводчика" ("Время". М., 2008). В беседе приняли участие: переводчик, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, поэт и переводчик Григорий Кружков, литературовед и переводчик Вадим Перельмутер, генеральный директор издательства "Время" Борис Пастернак.

Роли в разговоре распределились сами собой: Пастернак пытался задать беседе направление, Кружков и Перельмутер схватились всерьез (первый — против, второй — за), а Ливергант взвешивал резоны, подытоживал и резюмировал.

1. *Дилетант не знает, как нельзя*

Пастернак. Конкретным поводом для нашего разговора стал выход книги Эрнста Левина "Декамерон переводчика". Но беседа, как я понимаю, пойдет гораздо шире — сама книга тому залогом. Она сразу вызвала противоположные реакции в литературном сообществе. Я знаю людей, которым она очень нравится, и они вместе с автором и издательством радуются ее выходу: "Как хорошо, что появилось новое имя и обозначились новые подходы к переводческому ремеслу". И я знаю людей, которые в ярости отшвыривают "Декамерон" в угол комнаты: "Как он мог взяться за такое дело, не имея за душой ничего, кроме нахальства!"

Элементы обеих крайних точек зрения, по всей видимости, имеют право на существование. Мне бы хотелось узнать, во-первых, какова реакция на "Декамерон переводчика" собравшихся в этом кабинете специалистов, и, во-вторых, поговорить на тему, которую удачно, на мой взгляд, обозначил Вадим Перельмутер, — о неокончательности любого поэтического перевода.

Ливергант. "И не кончается строка..." — так это однажды было сформулировано.

Пастернак. Первым слово получает Вадим Перельмутер, поскольку он не просто читатель — он стал "соучастником" автора книги, написав к ней послесловие.

Перельмутер. Когда книга была завершена, Эрнст Левин попросил меня написать статью о его труде. Я считаю, что написал достаточно жестко — не по-приятельски, а ровно в той степени по делу, в какой книга того заслуживает.

Кружков. Но получилась не столько статья о книге Левина, сколько эссе вообще о переводческом труде. Примерно на две трети, я думаю...

Перельмутер. Да, это есть, но в финале статьи я спроецировал теорию на какие-то примеры из книги, которые мне представляются существенными. Что я буду распространяться понапрасну! Автор книги в прозаической, "объяснительной" ее части сам сказал все, что хотел. Но две вещи я хотел бы отметить. Во-первых, это я убедил автора в том, что начать книгу нужно с 66-го шекспировского сонета. С одной стороны — бессмертные строки, а с другой — полная наглость со стороны переводчика. Можно ведь издать том переводов 66-го сонета ради бесконечного, так сказать, асимптотического приближения к тому, что сказал автор. И все уже совершенно запутались в том, кто автор тех или иных прочтений, да уже это и не важно... Я сказал Левину: "Ты полемизируешь сразу со всеми, характер у тебя соответствующий, сволочной характер, — ну, так нужно извлекать из этого преимущество. Если уж ты такой наглец, так начинай с наглости". На мой взгляд, перевод у Левина не хуже восьмидесяти процентов остальных переводов 66-го сонета Шекспира.

Пастернак. Но Левин помещает в книге сразу два варианта собственного перевода. Это говорит, на мой взгляд, о том, что на самом деле он так и не перевел сонет. Он не нашел слов, конгениальных шекспировским, и как бы сам это признает.

Перельмутер. Это и есть проявление той самой наглости, о которой я сказал выше.

Ливергант. Тут месседж таков: я могу и так, и эдак. Не нравится один вариант, вот вам другой. Демонстрация мастерства.

Перельмутер. Вполне маститые переводчики на протяжении жизни предлагали разнообразные варианты одного и того же перевода. Совсем недавно я помогал редактировать книгу своего старого товарища, и когда я спотыкался на какой-нибудь строке, он тут же присылал мне "запасные" варианты. Переводчики нередко предлагают вещи в нескольких вариантах, но издатели, как правило, против. Они говорят: "Выберите что-то одно".

Кружков. Из этих двух левинских переводов 66-го сонета второй — не сонет. Так что вряд ли он заслуживает даже названия перевода. И вот что интересно: если бы это был чей-то другой перевод, Левин бы этого литератора изничтожил. Назвал бы этот труд в лучшем случае подражанием, вариацией... А когда он сам так делает, он даже не отмечает, что перевел сонет рифмующимися куплетами. А почему тогда не гекзаметром?

Перельмутер. Много лет назад я участвовал в конференции по теории и истории науки, на которой председательствовал Юрий Николаевич Давыдов. И он высказал мысль, которую я, надеюсь, хорошо усвоил. Он сказал: "Когда возникает тупиковая или мнимо тупиковая ситуация, наука очень часто обращается к околонаучной плазме. Потому что дилетанты не знают, как нельзя. И довольно часто подсказывают выход тем, кто знает, как нельзя, и потому топчется на месте".

Это относится и к области художественного перевода.

Я купил вчера в книжном магазине "Фаланстер" два тома, которыми необычайно гордится их составитель, Евгений Владимирович Витковский, — "Семь веков английской поэзии" — и увидел там колоссальное количество новых для себя имен. Я посмотрел, что сделали эти авторы. Я понимаю, что это книги не для чтения, а, скорее, справочники, и говорить о "сквозном" высоком качестве перевода просто не приходится. Но

когда видишь рядом со ставшими классическими текстами Штейнберга, Левика или сидящего здесь Кружкова... в общем, когда видишь то, что видишь, — понимаешь, что в нашем деле наметился некий кризис.

Конечно, любая децентрализация ведет к снижению требований: какому-то издателю понравилось — и поехали, давай в печать... Для Левина канонов не существует, почему не предложить какие-то "запретные" решения?

В конце концов, существует же перевод венка сонетов Расула Гамзатова в исполнении Владимира Солоухина. Но что такое венок сонетов на аварском, где нет рифмы? То есть имеет место некая российская традиция переводов-переложений, в которых не соблюдаются каноны, а предлагается свободная интерпретация переводимого текста.

2. *Можно ли толкаться локтями среди классиков?*

Кружков. Я не про это. Я говорю о двойной бухгалтерии. У других переводчиков гораздо менее значительные отклонения от ритма или размера подлинника Левин разглядывает словно в увеличительное стекло. У себя он этого не замечает. И так во всем!

Перельмутер. Но это же нормально. Любой человек к себе не так требователен, он замечает в своем труде, в основном, хорошее.

Кружков. Я абсолютно не согласен с тем, что это нормально! Есть какие-то правила общения, поведения людей в быту, профессионального поведения. Ругать чужие переводы, подчеркивая при этом достоинства своего, — это как-то не принято. Конечно, в наш век оголтелой рекламы всякое случается...

Перельмутер. Но здесь этого нет!

Ливергант. А если и есть, то психологически это объясняется существенной неуверенностью в себе: он ведь оказался среди классиков и потому немножко толкается локтями.

Кружков. Почему же немножко? Вот он рассказывает, как он перевел стихотворение Тувима. Потом через два-три года он приобрел маленький сборничек стихотворений Тувима на русском языке и на 96-й странице обнаружил стишок под названием "Покинуть бы это". То есть настолько его мучают негативные чувства, что перевод он даже не хочет назвать стихотворением. "Стишок"!

Перельмутер. Побойся бога! Бродский про все свои стихи говорил "стишки"!

Кружков. Ну хорошо, почитаем дальше. Комментируя очередное стихотворение, Левин пишет: "Я любил, уважал Давида Самойлова, но простите... где же тут Тувим? Куда исчезла тувимовская грусть, лиричность, задушевность?.. И откуда наконец вместо медлительного шестистопного хорея этот кавалерийский четерехстопный амфибрахий?" Читать это крайне неприятно. Во-первых, очевидно, что перевод Самойлова замечателен. "Ну что, дорогая, ну что, золотая..." А когда берешь перевод, который нам рекомендуется как не пошлый и не банальный — "У тебя спросил бы, отхлебнув вина я: ну и что ж, любимая, что ж, моя родная?" Чем же лучше вариант с "любимой" и "родной", чем с "дорогой" и "золотой"? Заду-

шевно, пронзительно грустно — у Самойлова. И какое вообще в этом стихотворении "драматичное, на грани отчаяния, жертвенное решение и тяжкие раздумья", о которых пишет Левин? Это просто грустное стихотворение. Откуда эти потоки слов, которые, как лавина, должны смести твоего соперника?

Перельмутер. Да никого он не сметает! Он все прекрасно понимает, он работает для себя. Я, скорее, на стороне Левина, чем на твоей, по очень простой причине. Польские переводы Самойлова, в частности тувимовские, — халтура. Я это берусь доказать. В свое время, когда я начал учить польский, я наткнулся на книгу самойловских переводов из Норвида. Чудовищно! И я стал подряд смотреть и сравнивать с оригиналами его польские переводы. В том числе и Тувима. Его Тувим не имеет к Тувиму ни-ка-ко-го отношения. Он сделал очень красивые стихи, но если посмотреть польские оригиналы — никакого отношения! Вот против этого и восстает Левин! А дальше — дальше он делает то, что может, он приближается к Тувиму. Он не может быть конгениален Тувиму — Тувим великий поэт. Но в том, что он говорит про Самойлова, он совершенно прав!

Кружков. То, что ты говоришь, очень спорно. Любой может сказать, что да, это хорошие стихи, но это совсем не то, что в оригинале. И вот этот нажим на словах "совсем не то" и будет главным аргументом в споре. А в ответ прозвучит аргумент "нет, это то!" И так можно спорить до бесконечности.

Ну не так растет литература!

Перельмутер. Литература растет по-разному — и так, и по-другому. Она на самом деле переваривает все. Тот же Штейнберг говорил: "Никогда не выдавай собственные стихи за стихи другого поэта. Есть много возможностей. Считаешь, что достигаешь максимально возможной точности — пиши 'такой-то в моем переводе'. Считаешь, что ты работаешь на ту же тему — пиши 'из такого-то', считаешь, что ты имеешь дело с практически непереводимой вещью и вынужден все пропускать через себя — пиши 'стихотворные переложения'". Я считаю, что это очень здравый подход. В книге Левина об этом и идет разговор: то, что предлагается нам в качестве ПЕРЕВОДА, не может быть окончательным по определению.

И в этом смысле иноязычная поэзия получает неожиданное преимущество перед поэзией оригинальной. Устаревает язык. Попробуйте предложить школьникам стихи Ломоносова — они голову сломают, пока разберутся.

3. *Свара или полемика?*

Пастернак. А перевод непременно должен иметь отношение к оригиналу? А если должен, то в какой мере?

Перельмутер. Я не считаю себя авторитетом в этой области, но в свое время немножко занимался историей перевода, а кроме того, много лет дружил с крупнейшими переводчиками, классиками перевода — Шервинским, Штейнбергом, Левиком... Когда мы устраивали первый вечер, посвященный переводам Волошина, нужно было это как-то мотивировать, поскольку Волошин как переводчик — фигура не слишком зна-

чительная, особенно на фоне того уровня переводческого искусства, которое в его время существовало. Но Волошин сцепился по поводу Верхарна с Брюсовым и замечательно все сформулировал. Во всяком случае, и Штейнберг, который к Волошину относился с пиететом, и Шервинский, который ставил его не слишком высоко, — оба с ним согласились. "Стихи по-русски должны звучать так, как если бы автор их по-русски писал".

Ливергант. Сегодня это общепринятое мнение.

Перельмутер. Да — но это сказано в 1905 году! То есть перевод к оригиналу должен иметь самое прямое отношение. Да, возможно, вы процитировали не самый удачный перевод, сделанный Левиным. Но в другом случае — я привожу его в своей статье — насчет эпитета в стихотворении Тувима, который Левин искал чуть не двадцать лет, его перевод очень удачен!

Вообще, эта книжка порождена несколькими импульсами. Во-первых, комплексами самого автора. Он всю жизнь что-то сочиняет, причем рискуя продолжить Алексея Константиновича Толстого — некоторая ироника постоянно присутствует. Во-вторых, он стал учить языки и повстречался со стихами, которые были ему знакомы в переводах. И воскликнул: "Ребята, нам предлагали нечто совершенно не то! Гейне, которого нам перевели, — это совершенно не то, что у него написано, и совершенно не соответствует тому ощущению Гейне, которое есть у каждого читавшего его немца! И действительно, "Лорелея" ни в одном русском переводе не имеет никакого отношения к тому, что есть в оригинале. И Левин пробует это как минимум показать. И надо сказать, некоторые вещи делает вполне удачно.

Кружков. Я ведь не говорю, что Левин бездарный человек. Я абсолютно не отрицаю его способностей. Но когда он, как он сам пишет, посильно исправляет Лермонтова и Пушкина, он при этом показывает собственную глухоту к многим вещам. Вот он цитирует лермонтовский перевод: "И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она..." И доказывает, что если ризой одета, то не может быть покрыта снегом сыпучим. Но это же неверно по существу. А у Лермонтова гениально сказано! И Левин, утверждая обратное, просто доказывает, что у него недостаточно развито чувство русского слова. У него есть удачные переводы. Вообще, он овладел тем, что Штейнберг называл малыми секретами ремесла. Но большими секретами ремесла он не овладел в той степени, чтобы соперничать с величайшими русскими поэтами.

Пастернак. А вы считаете, что цель Левина — соперничество с Пушкиным и Лермонтовым?

Ливергант. Беда книжки — если можно говорить в данном случае о беде, я к ней хорошо отношусь, — что сильные аргументы далеко не всегда были найдены. Наверное, справедливы претензии к Самойлову, но этому должно быть противопоставлено что-то очень веское. Не всегда это получается. А второе соображение таково: даже малоудачные, если очень строго их судить, переводы, которые уже устоялись, значат всегда гораздо больше, чем переводы новые. Когда малознакомый человек попадает в сложившуюся компанию, ему пристало бы быть поскромнее. Автор этой книги в этом смысле не всегда ведет себя "правильно".

Пастернак. Но мы же все-таки не о приличиях ведем разговор. Мало ли кто в этой "компании" принят! А вдруг он неталантливый человек?

Перельмутер. Есть "правило Бонди", которое знают все пушкинисты и вообще все текстологи. Существует огромное количество пушкинских текстов, которые прочитаны приблизительно. Так вот, Бонди утверждал: когда неточное прочтение обнаружено, заменять его нужно только на точное. А не на более точное. В этом смысле Левин попадает в ловушку. С одной стороны, неокончательность любого перевода. С другой стороны, если ты предлагаешь более точное прочтение, оно должно быть безупречным — на сегодняшний день. У Левина это получается не всегда.

Ливергант. Мне кажется, что любой переводчик имеет право на свое слово — слабое или сильное. В борьбе с авторитетами я не вижу ничего аморального. Григорий Кружков, будучи профессионалом высокого класса, задал нашему разговору несколько сварливый характер. А я не вижу тут никакой свары — это же литературная полемика. Левин пробивает дорогу своим переводам — и они имеют право на существование.

Кружков. Какая же это свара — я просто пытаюсь немножко поправить человека, у которого, как нам сказал его друг, очень сложный характер.

Перельмутер. Художник вообще не обязан быть отличником по поведению. Но мы все-таки должны договориться о том, что же мы обсуждаем. Ты утверждаешь, что Лермонтов написал замечательные стихи. Да, с этим можно согласиться. Но Левин и не пишет, что это плохие стихи, — он говорит, что это стихи, ошибочные по отношению к оригиналу. И только. Просто Лермонтов несколько лучший поэт, чем Эрнст Левин.

Кружков. Левин пишет, что перевод неточен по отношению к оригиналу, потому что в оригинале нет слова "риза". Лермонтов пишет, допустим, "душа моя мрачна, скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая: Пускай персты твои, промчавшися по ней, пробудят в струнах звуки рая". В оригинале нет ни арфы золотой, ни перстов, ни звуков рая. И тем не менее это гениальный перевод. Но для того, чтобы это оценить, нужно понять, что в стихах не все в рамках той арифметики, которой учат в институте. Почему Лермонтов использует ризу, почему там персты и прочее? Потому что Лермонтов чувствует разницу между русским и английским. Стихотворение на библейскую тему. Задача переводчика — передать библейскую атмосферу. А для русского сознания она ассоциируется с архаическим языком русского богослужения, русских церковных книг. Тогда как в английском церковники изъясняются на языке Библии короля Джеймса — на очень простом языке, в котором нет сложности церковнославянщины. У Байрона другие средства для создания атмосферы, в которой Давид играет для Саула. И Лермонтов выбирает единственно возможный прием, который в полной мере может оживить торжественность и грандиозность этой картины. А Левин требует делать новые переводы, потому что старые "ветшают", нужно использовать "новые слова". Какие новые слова? Вот я открываю его 66-й сонет. "Хам", "похабство"... Не знаю, в моем сознании эти слова никак не сочетаются с 66-м сонетом.

Перельмутер. Все сказанное имеет отношение к Левину и его книге немножко по касательной. Лермонтов действительно пишет пре-

красные русские стихи. Но Левина заводит то, что оригинал имеет совершенно другую, скажем так, степень грубости. Шекспир, кстати, тоже бывает крайне груб — Маршак его, как и Бернса, прилизал.

Ливергант. Я бы только сказал, что не "Левина заводит", а Левин заводится — он все понимает, это прием.

Перельмутер. Да, это способ доказать, что окончательности в этом деле нет и быть не может. Ни на каком уровне. Какой бы ни брался за это дело авторитет и гений. Потому что рождаются новые представления и о своем языке, и о языке оригинала. Тот, кто сегодня изучает английский, учит его не так, как пятьдесят лет назад. Тот, кто сегодня говорит по-немецки, тоже слышит Гёте по-другому. А уж переводчик — тем более. В этом смысле книга Левина представляется мне чрезвычайно продуктивной. Сейчас зарождается целая традиция — переводить переведенное. Вот есть Рильке в нескольких изданиях. А Владимир Летучий берет переведенное — и улучшает. Когда работа сделана — всегда видно, где допущен промах. Пока ты сам сидишь и между тобой и, к примеру, Целаном нет посредника — его стихи никогда не переводились[1], — ты впервые решаешь эту проблему. Но потом приходит второй — и он видит, где ты ошибся, что можно сделать лучше. А потом выстраивается целый ряд переводов, и приходит еще один человек, который говорит: "Ну да, все замечательно, но все можно свести воедино, я это сейчас сделаю и все ваши ошибки покажу".

Ливергант. Это так, но чтобы оппонировать таким поэтам, как Пушкин и Лермонтов, нужны сильные и очень сильные аргументы, которые у Левина не всегда находятся.

4. "*Как бы мне, рябине, к пальме перебраться?*"

Перельмутер. Согласен, сильные аргументы Левин находит не всегда. Но довод против лермонтовского перевода "На севере диком..." — очень серьезный. Я вел семинар "Искусство медленного чтения". И когда заходила речь о проблемах перевода, я начинал с такого примера. Смотрите, как занятно получается. Катулл начинает с того, что перелагает стихотворение Сафо, обращенное к женщине, в стихи мужчины, обращенные к женщине. Читатели того времени это прекрасно поняли и оценили. Но в поэзии существуют какие-то свои области тонких энергий, и потому спустя много лет Лермонтов из стихотворения мужчины, обращенного к женщине, делает стихотворение "гомосексуальное" — "сосна" у него грустит о "пальме". То есть происходит как бы обратный перевод.

Кружков. "На севере диком..." — это не гомосексуальное стихотворение — это стихи о дружбе.

Перельмутер. Но в оригинале-то речь идет не о дружбе, а о страсти!

Кружков. В оригинале речь идет о стремлении одной души к другой — совершенно не важно, к какой.

1. В 2005 г. "ИЛ" посвятила П. Целану "Литературный гид" (№ 4), где, среди прочего, были напечатаны и стихи в переводах О. Седаковой и М. Белорусца. А кроме того, "Псалму" Целана в разных переводах на русский была посвящена рубрика "Вглубь стихотворения" ("ИЛ", 1999, № 12). (*Здесь и далее – прим. ред.*)

Перельмутер. Как же не важно, когда в оригинале нечто категорически иное!

Кружков. Это переложение.

Перельмутер. Если ты готов это так горячо защищать, ответь мне на простой вопрос: Лермонтов осознанно сделал не так, как в оригинале, или он просто не так прочитал? Я думаю, что он просто не понял оригинала.

Кружков. Я уверен, что Лермонтов оригинал понял. А что тут, собственно, не понимать? Что сосна в немецком мужского рода?

Перельмутер. Нет, извините, в немецком существуют два слова: "фихтен" и "фихтенбаум". И "фихтен" женского рода, а "фихтенбаум" мужского. У него был выбор.

Кружков. Лермонтов прекрасно понял все, что было в оригинале. Но он непременно хотел оставить сосну. Это обычное дерево, наше дерево. А кедр — это что-то экзотическое, ливанское. В стихотворении есть тоска здешнего дерева по какой-то совершенно нездешней пальме. Кедр был бы тут совершенно неуместен.

Пастернак. Вот интересно: вам замена сосны на кедр кажется невозможной из-за природных тонкостей, а замена пола не кажется недопустимой?

Перельмутер. Между прочим, эту проблему прекрасно решил Михаил Исаковский: "Как бы мне, рябине, к дубу перебраться..." Это то же самое стихотворение, только оно сориентировано на народную традицию.

Кружков. Но все-таки какое прекрасное стихотворение — у Лермонтова!

Перельмутер. Только оно не имеет никакого отношения к тому, что написано в оригинале. Что значит в таком случае "нравится-не нравится"?!

5. *Должен ли переводчик скандалить стихами*

Пастернак. Левин попробовал перевести Экклесиаста. Какое у вас впечатление?

Кружков. Он называет это переводом. Но как бы между прочим замечает, что подрифмовал кое-где для благозвучности. Хотя на самом деле у него типичное переложение. Такое же, как у Липкина переложение "Гильгамеша"[1] или у Заболоцкого "Слова о полку Игореве". Но они не называли свои произведения переводами. Кроме того, размер, который он выбрал, — это размер английской баллады. Очень бойкий такой размер: "Двенадцать месяцев в году, коль хочешь, подсчитай, но самый радостный в году — веселый месяц май". Я его за это не осуждаю. Я вновь осуждаю его за двойную бухгалтерию. Самойлова он изничтожает за то, что тот заменил хорей на амфибрахий (что мне кажется вполне уместным, поскольку у русского хорея другой тематический ореол), но потом вообще без всяких замечаний переводит библейскую поэзию размером английской баллады.

1. "ИЛ", 2000, № 10.

Перельмутер. Если ты говоришь, что у Лермонтова-переводчика получились "хорошие стихи" — и это главное, то попытка переложить тяжелый библейский текст более легким стихом должна бы тебе импонировать?

Кружков. Да, переложение неплохое. Немножко, правда, пресноватое. Из-за того, что автор либо не владеет в достаточной степени этим регистром, или сознательно делает пресновато.

Перельмутер. Не забывай, что он это делал в Израиле, рядом с ним были люди, которые владели языком оригинала. В сомнительных случаях он обращался к людям, которые могли прочесть ему это по-арамейски. Такая работа имеет громадный смысл. Гаспаров любил повторять в похожих ситуациях: "Для будущих исследователей это замечательный материал. Если бы они захотели потом без этого обойтись, им не стоило бы этого делать".

Вообще, книжка в окончательном виде вышла не совсем такой, какой она мне виделась в компьютере. В ней оказались некие боковые, весьма продуктивные ветки.

Кружков. Вообще, книга четко делится на две части — поэтическую и прозаическую. Что касается поэтической, то я снисходительно отношусь к тому, что не очень хорошо получилось, и радуюсь тому, что получилось удачно. Мне очень, например, понравилось стихотворение Мицкевича "Русским друзьям". Видимо, тут совпало многое — в том числе характер спорщика, поскольку само стихотворение это полемическое. Понимаю, как трудно было все это переводить, какие головоломные задачи стояли перед Левиным... Но когда я перехожу к прозаической части... Какое замечательное название, кстати, — "Декамерон переводчика"! Как это интересно — рассказывать про переводы. Эссе о переводах — своих или чужих — это же всегда очень интересно! Я позавидовал названию. Но, когда начал читать, меня охватило разочарование. Я почувствовал, что все это писалось не столько для поисков истины, сколько для самоутверждения. Я-то надеялся, что это заметки человека, который переживает приключения перевода — своего или чужого. Но увидел, что над интеллектуальным любопытством, над готовностью восхищаться преобладает желание только утвердить себя.

Ливергант. Этот "Декамерон" очень задирист. Но мы часто бываем задиристыми именно тогда, когда не слишком уверены в себе. В этой последней части книги Левин отчасти уподобляется неистовому Дон Кихоту, который воюет с ветряными мельницами. И конечно, он терпит столь же плачевное поражение.

Пастернак. А заметил бы кто-нибудь книгу без этого раздела?

Перельмутер. Да если бы не было второй части, на первую никто не обратил бы внимания. Главная цель автора достигнута. Отклики на нее имеются — причем полярные. Как раз такая полярность и придает книге дополнительный смысл. Потому что если преобладает срединное отношение, — "ну да, возможно и так..." — то кому это интересно! Но именно сейчас, когда ситуация в художественном переводе, на мой взгляд, чрезвычайно запутанная, книга оказалась очень своевременной. Выпало среднее звено — старики ушли, образовался некий разрыв... Я делаю сетевой журнал и иногда получаю от своих читателей-авторов переводы. Ощущение такое, что они думают — до них ничего не было! Вся-

кому искусству нужны не меценаты, о которых все сейчас твердят, а мастера, которым не лень заниматься своим делом. Чего, казалось бы, Левику семинары затевать и вести? Все у него было — и сто книг, и признание... А Штейнбергу — что, больше нечего делать было? Он бы свои картины писал. Шервинского зовут выступить перед молодыми, поговорить об искусстве перевода — и Сергей Васильевич в свои восемьдесят с лишним лет едет через всю Москву... Вот это ушло — и образовался разрыв. Сегодня искусство перевода преподают в основном люди, которых я просто не знаю, имен не слыхал. И появление такого хорька в курятнике мне представляется очень своевременным и актуальным. Я совершенно серьезно говорю — время от времени необходим скандал, иначе все привыкают к плавному течению жизни.

Ливергант. Только переводчик должен скандалить стихами, а не полемикой.

Перельмутер. Да пусть скандалит чем может! Предшественники столетней давности часто скандалили отнюдь не стихами, а манифестами, кофтами и пощечинами. Книга Левина врывается в застойную ситуацию.

6. *Много ли теряет "Потерянный рай" в оригинале?*

Кружков. Я, знаете ли, приверженец той старомодной точки зрения, что поэзия при всем своем метрическом, формализованном начале — это все-таки какое-то чудо. И перевод, то есть создание нового, отраженного произведения, — это тоже чудо! И без волшебства тут ничего не сделаешь.

Пастернак. О волшебстве и чуде начинают говорить тогда, когда предмет разговора не слишком ясен и критерии плохо сформулированы. Можно ведь все-таки проанализировать: какова степень приближения к оригиналу, каковы версификационные возможности переводчика...

Кружков. Нет, это невозможно. Выпадет музыка.

Перельмутер. Под эту полемику всегда "подставлялся" Михаил Леонович Гаспаров. Он писал, что надо отделить одно от другого — вывести техническое совершенство из разряда тайны. Потому что тайны в поэзии хватит и без этого. Стихи прежде всего должны быть хорошо написаны, а уж потом начинайте разговоры о волшебстве, о магии и прочем. А когда можно прицепиться, как Левин это и делает, к вещам элементарным, — я полностью на его стороне.

Пастернак. А почему у нас, кстати, не приживается традиция прозаического перевода поэзии? Это ведь есть в других языках. Зачем вы переводите стихи стихами? Разве недостаточно полного, подробного разъяснения прозой всех смыслов, заложенных в стихотворение?

Кружков. В том-то и дело, что недостаточно! Стихи — это всегда больше, чем сумма всех составляющих этого стихотворения.

Перельмутер. К тому же мы существуем в пределах российской словесности, где у стиха, у литературы — особое положение. Тут работает еще и магия репутации. И, кстати, Левин предваряет свои переводы и

прозаическими пересказами, и текстами на языке оригинала. Он легко и охотно идет на билингву, что говорит в его пользу.

Пастернак. Вы обратили внимание — Левин требует от себя и от издателя абсолютного совпадения количества строк на каждой странице при параллельной верстке на двух языках. Если на странице восемь строк на немецком, то и на русском восемь. Это ненужный буквализм или в этом есть некая целесообразность?

Перельмутер. Левин пытается создать максимальный комфорт читателю. Что касается допустимости перевода иным, нежели в оригинале, числом строк... Здесь у Левина присутствует как раз дилетантский подход. Для профессионалов давно стало азбукой то, что в разных языках слова разной длины, и вообще это спор нерешаемый. В блистательном переводе "Потерянный рай"[1] стал длиннее. Штейнберг, который удлинял Мильтона, говорил мне — я это записал, — что Лозинский ошибся, соблюдая размер "Божественной комедии". Нагрузка на текст оказалась такова, что в иных местах без комментария продраться просто невозможно. Шенгели в своей теоретической работе на эту тему приводит чудовищные примеры приращения русского текста по сравнению с оригиналом — 66 %! И он говорит, что надо бы эмпирически выяснить, какие "припеки" допустимы при переводе. Стараясь соблюсти длину каждого стихотворения, Левин, конечно же, сильно себя ограничивает и сильно рискует.

7. Надо было издать!

Пастернак. А теперь, как это принято на телевидении, я попрошу всех сказать по одной фразе в завершение нашей беседы. Все-таки доброе дело мы сделали, издав эту книгу, или нет?

Кружков. Доброе, конечно. Надо издавать полемические книги. К тому же кое в чем я все-таки согласен с Левиным. Мне это "невтерпеж" в маршаковском переводе 66-го сонета всегда казалось каким-то грязным пятном. И, прочитав начало книги, я был готов идти за автором! Но потом я перестал с ним соглашаться — он мне показался слишком напористым в отстаивании своего.

Перельмутер. Книжка удалась хотя бы тем, что она оказалась на редкость ко времени. При той размытости критериев, которая имеет место в современном переводе, некий скандал, хулиганство — самое продуктивное, что может быть. Но кроме наглости, автор проявляет честность подхода — его бунт направлен против канонизированной субординации, сложившейся в нашем деле.

Ливергант. Отличная книжка. Надо было издать. Название прекрасное, а то, что под этим названием помещено в конце книги, могло бы и отсутствовать. Впрочем, как раз об этом разделе мы и спорили. Так что все в порядке.

1. Перевод Аркадия Штейнберга; Под ред. С. Шервинского. — М.: Художественная литература, 1976 ("Библиотека мировой литературы").

Валерий Кислов
Потенциальный перевод

Как сделаны "Упражнения в стиле" Кено

Представлять Рэймона Кено отечественному читателю непросто. Сообщения о том, что Кено — автор романов, эссе и поэтических сборников, критических статей и математических трактатов, ответственный секретарь "Энциклопедии Плеяды"[1] и член Гонкуровской академии, явно недостаточно. Упоминание о его причастности к таким загадочным организациям, как "'Патафизический' Коллеж"[2] или УЛИПО[3], интригует, но мало что проясняет. В русскоязычных справочниках и антологиях о Кено пишут, но, как правило, скупо и невнятно. Поисковые системы Интернета часто путают его написанную по-русски фамилию с названием китайской лотереи. А электронная версия "Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия" до сих пор уверяет читателей, что Рэймон Кено — вообще-то псевдоним...

Кено можно называть как угодно: "авангардным классицистом" или "сюрреалистическим диссидентом", "традиционалистом-формалистом" или "реформатором абсурда", "экстремистом барокко" или "риториком гэга"... Но ни одна из этих взятых наугад и наобум характеристик не будет исчерпывающей! Тогда как составленные вместе, они дают (по крайней мере могут дать) общую картину, которая — не очень искажая — изображает (по крайней мере может изобразить) то, что смело называется действительностью. Кено нелегко сравнивать с другими авторами и неудобно приписывать к школам и течениям, поскольку он постоянно ускользает от литературных определений и выпадает из любых классификаций. Если сюрреалист (а он действительно входил в группу Андре Бретона, из которой, впрочем, по собственному желанию вышел) — то скорее неортодоксальный, диссидентствующий; если формалист (а он действительно поставил "прием" во главу литературного творчества) — то слишком уж разговорный, бытовой; если эзотерик (влияние Рене Генона[4] трудно переоценить) — то какой-то не мистический, а интеллектуально-рациональный. Его творчество часто рассматривается как нечто странное, отстраненное, потустороннее: по ту сторону от литературного порога, за которым при-

© Валерий Кислов, 2009

1. Серия книг (49 томов эссе на различные темы), выходившая во французском издательстве "Галлимар" с 1956 по 1991 гг.

2. 'Патафизический' коллеж — организация, основанная 22 палотина 75 года 'патафизической эры (11 мая 1948 года по обычному календарю) для изучения 'патафизики — "науки воображаемых решений, которая символически предоставляет очертаниям свойства предметов, описанных их виртуальностью", дисциплины, чьи основы Альфред Жарри изложил в книге "Жесты и мнения доктора Фостролля" (1898). Наличие апострофа отличает осознанную 'Патафизику (ту, которую исповедуешь) от 'Патафизики неосознанной (той, которую сам собой представляешь).

3. УЛИПО (Цех Потенциальной Литературы или Управление ЛИтературной ПОтенцией) — основанное в 1960 г. Рэймоном Кено и Франсуа Ле Лионнэ объединение писателей и математиков, исследовавших потенциальные возможности языка путем изучения известных и создания новых формальных литературных ограничений.

4. Рене Генон (1886–1951) — французский философ, эзотерик. Работы Рене Генона отличаются фундаментальной критикой современного мира.

нято оставлять филологические штудии и лингвистические забавы. Язык действительно интересует его не только как средство, но еще и как цель, игра в литературу забавляет куда больше, чем сама литература, однако причислить Кено к юмористам и сатирикам от литературы было бы упрощением. Он всегда остается в языковых недрах, в словарной гуще, но сам по себе. Подобно Рабле, Кено играет в язык и языком провоцирует. Он — неуязвимый и неотразимый провокатор.

Кено пародирует и заимствует, доказывая, что в литературе нет авторитетов, — и становится одним из самых авторитетных "пародистов" и "заимствователей"[1]. Выступает за сохранение литературных канонов, но вместе с тем разрушает само понятие каноничности. Подчеркивает значение классической цельности, но постоянно раскалывает истории и разламывает сюжеты. Развенчивает и развинчивает литературные мифы, создавая тем самым новый миф о тотальной деструкции литературы. Быть может, такая парадоксальность и позволяет автору легко и весело переосмысливать античную риторику и средневековую поэзию, историю дублинского восстания и всего человечества в целом, обращаться к "'патафизике", социологии, мистификации, философии и "литературному безумию". Кено удается находить серьезное в смешном, а смешное — в серьезном, рассказывать в своих произведениях обо всем на свете, как это делал Жюль Верн, и совершенно ни о чем, как мечтал Гюстав Флобер. Во всех проявлениях неизменным остается авторское отношение к материалу: несколько отстраненный, ироничный взгляд, поразительное чувство юмора и пристальное внимание к слову.

Подобно Джойсу, он взрывает грамматику и орфографию, легко сочетает архаизмы с неологизмами, а нормативность — с разговорной и жаргонной лексикой. Это он, энциклопедист, породил озорную героиню "Зази в метро", которая, безжалостно коверкая язык, издевается над историей и культурой ("в жопу Наполеона"), и превращает весь роман в головокружительную карусель персонажей и событий. Это он, эрудит, придумал "новофранцузский" язык — точнее, фонетическую орфографию для родного языка ("эта када пишыца такак слышыца") — чтобы "снять с устарелого французского слой ржавчины". Кено с филологической виртуозностью строит, разрушая, или разрушает, строя (для истинного "'патафизика" разница между этими операциями не столь существенна).

Произведения Кено необычайно разнообразны по жанрам: от математических шарад до философских эссе, — но ни одно из них не живет по классическим законам выбранного жанра. Например, "День святого Жди-не-Жди" — это одновременно попытка создать миф с легендарными героями и событиями, сатирическое описание туземных нравов, комический очерк о колониальном туризме, язвительная критика этнографических клише и отстраненный взгляд на абсурдность "цивилизованного общества", а возможно — экзистенциальный рассказ или философская притча о ярмарке жизни с ее вечными грезами и ежеминутно утрачиваемыми иллюзиями. Как и в остальных произведениях автора, следить за развитием событий в "Дне святого Жди-не-Жди" увлекательно, хотя в итоге понимаешь, что рассказ совсем не о них, а слова описывают лишь приключения слов. Персонажи Кено — очень человечны и убедительны, несмотря на то что каждый демон-

1. Авторство двух его романов до сих пор оспаривается ирландской писательницей Салли Мара. Подробнее об этом см.: Р. Кено. С ними по-хорошему нельзя. — СПб.: Симпозиум, 2001.

стрирует условность и зависимость, причем не столько от писателя, сколько от построения данной книги. Так, "Голубые цветочки" — это две параллельно разворачивающиеся истории фальшивых двойников (двух половинок одного *я*), которые всего лишь, как им кажется, снятся друг другу. Но, похоже, все мысли и действия, комплексы и идеи фикс чередуются только для того, чтобы под конец романа автор мог "свести" полугероев к одному целому. А "Вдали от Рюэйля" — вообще любопытный клинический случай, но уже не раздвоения, а размножения личности: герой так искренне переживает и проживает выдуманные жизни, что забывает, какая из них — настоящая. С не менее поразительной легкостью Кено манипулирует и читателем, постоянно сбивая с толку и водя от одной иллюзии к другой через ложную реальность и действительную фиктивность. Здесь важно не что происходит, а как; здесь слово буквально и конкретно, а литература — безграничное поле для азартной и серьезной игры в литературу.

В этой игре Кено сам себе устанавливает правила, причем предельно жесткие. Речь идет о целой системе сознательно заданных формальных ограничений. Описываемые события могут подчиняться определенной цикличности, появление персонажей и предметов — соотноситься с периодичностью времен года или шахматной комбинацией; отдельные фразы или целые абзацы — повторяться по произвольно выбранной схеме; количество сцен и реплик — соответствовать символичным для писателя цифрам... Профессиональный литератор Кено выстраивает свои произведения с математической точностью. Математик-любитель Кено вводит в литературное построение комбинаторику и аксиоматичный метод.

Увлекая нас в свою игру, Кено всякий раз словно подсказывает: то, что мы читаем, есть лишь один из вариантов того, что мы можем (или могли бы) прочесть. За каждым напечатанным текстом остается неисчислимое количество других, ненапечатанных, *потенциально* допустимых, но не реализованных. Дело не в том, чтобы выбрать самый правильный (его все равно не найти, хотя искать надо); важно не забывать об остальных. Быть может, именно в этой бесконечной игре с читателем и раскрывается главная особенность потенциальной литературы по Рэймону Кено. Самый яркий пример подобного подхода — его знаменитое "эссе" "Упражнения в стиле", впервые опубликованное отдельной книгой в 1947 году. Оно начинается с описания совершенно непримечательного случая.

В автобусе маршрута S, в час пик. У одного типа лет двадцати шести фетровая шляпа со шнурком вместо ленты и слишком длинная шея, как будто ее специально растягивали. Люди выходят. Тип, о котором идет речь, возмущается; обвиняет своего соседа в том, что тот толкается всякий раз, когда кто-то протискивается мимо. Ноющий тон с претензией на угрозу. Как только увидел освободившееся место, сразу к нему бросился.

Два часа спустя встречаю его на Римской площади перед вокзалом Сен-Лазар. Он с приятелем, который ему говорит: "Пришил бы ты пуговицу к своему плащу". Он ему объясняет, где (разрез плаща) и почему[1].

В остальных 98 текстах рассказывается все тот же банальный эпизод, но каждый раз меняется жанр, стиль, размер, ритм или точка зрения. Так — от сонета до канцелярской справки, от телеграммы

1. Фрагменты перевода цитируются по изданию: Р. Кено. Упражнения в стиле. — СПб.: Симпозиум, 2001.

до оды — выстраивается своеобразный перечень риторических фигур, а вместе с ним складывается и определенный образ литературы, и определенное отношение к литературному творчеству. Идея "показать литературу через прием" реализована с размахом и доведена до полного абсурда, но за кажущимся хаосом, за пестротой форм стоят жесткие правила и не забывается главная задача. В стране языковых чудес, о чем бы литература ни повествовала, она повествует всегда и только о себе самой.

Перевод этих историй-приемов на русский язык часто оказывается не совсем переводом в классическом смысле слова, а скорее пересказом, переложением, транспозицией. И дело вовсе не в переводческой вольности, а в характере оригинальных текстов: чтобы перевести их адекватно, иногда важнее не точно передать "содержание", а неукоснительно соблюсти "форму"; не пересказать то же самое на другом языке, а применить в другом языке те же правила рассказа.

Один из текстов "Упражнений", к которому требуется именно такой подход, называется "Сдвиг", или, по терминологии УЛИПО, "S + 7". Основной принцип заключается в следующем: в исходном тексте каждое существительное (substantif) заменяется на другое, отделенное от него семью существительными в произвольно взятом словаре или энциклопедии. Можно варьировать правила (S + 3, или S – 2, или S – 10...) или их усложнять, заменяя и другие части речи (V + n или A –n и т. д., где V (verbe) — глагол, A (adjectif) — прилагательное, а n — количество слов этой части речи, отделяющее заменяемое и заменяющее). Метод подобного "перевода с французского на французский" весьма удачно используется при "препарировании" известных канонических произведений религиозного, философского и политического содержания. При этом полученный результат иногда может не просто сюрреалистически пародировать, но и дополнять исходный текст, освещая и раскрывая его смысл по-новому, что мы неоднократно наблюдали при переработке текстов политиков и литературных критиков. В случае, когда осмысленность исходного текста уже сама по себе ничтожна, подобный "перевод" может его только обогатить.

Чтобы перевести "Сдвиг", пришлось, вслед за Кено, произвести в первом "Упражнении" (см. выше) те же замены, но с помощью "Орфоэпического словаря русского языка"[1]:

Схема S + 5

В автоделе маскировки Y, в частице пикетажа. У одного типуна летучек тридцати двух фиакровый шматок с шомполом вместо лепестка и слишком длинный шиизм, как будто его специально растягивали. Люксембуржцы выходят. Типун, о котором идет решимость, возмущается; обвиняет своего сослуживца в том, что тот толкается всякий раз, когда кто-то протискивается мимо. Ноющая тонкопряха с преуменьшением на уду. Как только увидел освободившееся месторождение, сразу к нему бросился.

Схема S – 1

В автобиографии марш-броска Q, в чарус пижонства. У одной тины леток-енок двадцатичетырех фетровый шлягер со шнуром вместо ленка и слишком длинный шеф, как будто его специально растягивали. Любушка выходит. Тина, о которой идет речонка, возмущается; обвиняет своего сортировщика в том, что тот толкается всякий раз, когда кто-то протискивается мимо. Ноющее томление с пресыщением на угощение. Как только увидел освободившееся местничество, сразу к нему бросился.

1. Орфоэпический словарь русского языка под редакцией Р. И. Аванесова, объем – 63 500 слов. М., 1987.

Восемь частиц спустя встречаю его на Ронковской плутовке перед волдырем Сен-Лизье. Он — с пробельщиком, который ему говорит: "Пришил бы ты пудовик к своему плебисциту". Он ему объясняет, где (разрыв) и почему.

Ноль чаруса спустя встречаю его на Романс-сюр-изерской плошке перед вокалистом Сен-Лорен-сюр-Горж. Он — с приютом, который ему говорит: "Пришил бы ты пугало к своей плашке". Он ему объясняет, где (разочарование) и почему.

Некоторые тексты составлены в рамках жестких формальных ограничений, что еще больше затрудняет работу. Иногда не знаешь, чему отдать предпочтение: содержанию, форме или механическому соблюдению приема. Приходится делать несколько вариантов перевода и сохранять наиболее адекватный, максимально приближенный (во всех смыслах) к французскому тексту. Отказываться от остальных, "далеких", но "потенциально" дополняющих друг друга вариантов, всякий раз очень жалко, ведь без них вариант "близкий" никогда не сможет подойти к оригиналу вплотную. Так, в случае с "Парехезой"[1] пришлось отказаться от варианта на "бы/би" и предпочесть ему вариант на "бу/бю":

Полдень пробил на бизнес-ланч. В битком забитую автомобильную кибитку прибывало быдло избирателей/потребителей, которые коробили себе быт без прибыли и гробили бытие в губительной микробистой хляби бидонвиля (дебит службы, гамбит дружбы, жалобы на женитьбы и хворобы, добыча алиби, обильные гекатомбы аэробики... что за биография зомби! как грибы или рыбы!). Один недогемоглобиненный хунвейбин, худобый и дуболобый горбыль, с шейным изгибом, рубиновым шнобелем-рубильником и бобиной, обвитой бикфордовой бичевой, вздыбился на битюга, который его стабильно гнобил как дебильную коллибию и разбитного бисексуала и долбил на каждой колдобине автомобильной бифуркации. Обиженный эксгибиционист, не абсорбировав обиду, оскорбился и озлобился. "Трубиян! Дубина!" — по-ястребиному затрубил он и уже было взбычился, но перед жлобистым бицепсом бирюка-обидчика быстро ослабил антропофобию, забил на свое амбициозное либидо, дробисто обастролябился, дабы забыться и вырубиться в библейском анабиозе в глуби автомобильной арбы.

Отнюдь не буколический автобус бурлачил по зыбучим булыжникам бульвара буферноприцепленную трибуну, разбухшую от гурьбы малобюджетных, но булимических бюргеров и забуханных в их утробу буфетных бутербродов и гамбургеров. Один обезгаммаглобулиненный бурсак — бурлескный буффон с будкой бабуина в буклях и букетистым бугелем вокруг бутафорного бунчука — взбунтовался против бугаистого буржуа, который бутузил ему бюст и буквально брутализировал бутсами его обувь при любой буче от турбулентности карбюратора на буграх, бурунах и бурьянах. Бузотер разбуянился и разбушевался, забурился в бутылку, пробурчал и пробулькал вокабулы "Бульдог! Бультерьер! Бульдозер!", но, видя в гробу всю эту борьбу, обуделался, съебуял от бугая и отбуксовался в глубь автобусного бунгало.

В будущем он будет возбужденно бубнить с таким же амбулаторным забулдыгой и ебунько, как и он сам, бубнить о булавках, бусах, бубенчиках и прочей атрибутике на своем бушлатистом бурнусе.

1. Парехеза — повторение одного и того же слога с одинаковым звучанием в начале и, как правило, на стыке слов. В тексте оригинала слог "bu" встречается в начале, середине или на конце каждого слова.

Быстротечна быль. На битумной биссектрисе той же орбиты тот же хунвейбин-забияка, но уже в биноме (с другим биндюжником-якобинцем, таким же обитателем трущобы, безбилетником и любителем бирюлек, гульбищ и барбитуратов, но еще и апробированными арбитром кульбитов в дезабилье) столбил бивуак и билатерально разбирал билль о бижутерных обычаях.

В "Гомиотелевте"[1] пришлось отбросить не один, а даже два варианта — на "ал" и "юл":

Однажды я попал в муниципальный самосвал, который меня (как и остальных приживал) транспортировал от Контрескарп (квартал зазывал, о котором писал журнал "Провинциал") до Шамперре (спальный ареал-пастораль, где преобладал портал и коралл). В нем один оригинал (макроцефал) блефовал: демонстрировал арсенал из своих карнавальных причиндал (шляпный материал и орнаментальный потенциал). Один амбал (ортодоксальный галл, хотя не генерал и не адмирал, просто какой-то капрал без инициал, из тех, что воевал наповал, и теперь презирал всю эту швал) его специально толкал и пихал в каждый интервал, когда напирал вал пассажирохлебал. Маргинал молчал, страдал, но под финал не сдержал свой эмоциональный накал и преобразовал его в колоссальный скандал; заорал как марал "Вандал! Каннибал!", но спасовал, прервал морал и сбежал.

Спустял два-ль часаль (самосвал проехал магистрал, канал и вокзал Сен-Лазал) я увидал, как тот же самый неформал гулял и рассуждал по поводу пуговаль, пуговаль, которые потеряль его плащеваль.

В месяце июле, в уличном гуле, в автомобильном драндуле (подобном кастрюле, улее акул и косул) жестикульнул один гомункул: разгул скул и мандибул, башка-куль, а шея — циркуль. Настоящий муммийтруль! На шляпуле — какой-то тюль из муль и загогуль. Какой-то мускульный куркуль его толкнул, пихнул, турнул. Гомункул дерзнул и его ругнул "Мул!", сунул ему дулю, но тут же струхнул и увильнул на свободный стул.

Спустюль часуль, я его встречнуль у вокзуля Сен-Лазуль, где он загнуль речуль: муссулил про пуговули, пуговули на своем плащануле.

и сохранить вариант на "ил":

Однажды я угодил в автомобил, который меня (как и остальных мудилпростофил) перевозил от стропил Контрескарп до вилл Шамперре. В нем мельтешил и чудил один дрозофил: хил, субтил, инфантил, шея-шпил из одних жил. Всех смешил его стил. Нацепил на свой рыл бандурил (текстил, винил, акрил), накрутил канитил из шимшилл и удил. Какой-то горилл изо

1. Гомиотелевт — одно и то же окончание во всех словах.

всех сил его давил и изводил: норовил уничижить его в утил. Дрозофил завопил: "Гамадрил! Дебил!", но скрыл свой пыл, отступил от перил и обезопасил свой тыл.

Спустиль сто минутил я его узрил около Бастил, где он говорил с одним из кутил по поводу пуговил, пуговил, которые не пришил на свой дождевил.

Случай с "Липограммой"[1] оказался самым трудным для перевода. На сей раз, пересказывая все ту же историю, Кено отказывается от буквы "Е", наиболее употребительной во французском языке гласной. Сначала я попробовал составить русский текст без "Е":

Вот.

Автобус прибыл и остановился у остановки. Туда забрался один тип с длинным горлом и шляпой, обмотанной шнурком. Он окрикнул другого типа, который стоял вблизи и который, как он заявил, наступал пассажирам на ноги. Потом бросился к свободному топчану и занял.

Спустя час, около вокзала Санкт-Лазаря он разговаривал с другом, который говорил: "Пуговица плаща пришита слишком низко".

Вот.

Потом — без "*А*":

Вот.

Общественное средство передвижения прибыло и тормознуло. В него влез один тип с длинной шеей и шляпой, обвитой плетеной лентой. Он объявил своему соседу, что тот умышленно ходит по его ступням. Потом устремился к свободному месту и уселся.

Через некоторое время перед железнодорожным пунктом Сен-Кого-то или Сен-Чего-то он гулял с приятелем, который ему говорил: "Пришил бы ты повыше пуговицу дождевику".

Вот.

Поскольку в русском языке самая частотная гласная — "*О*", в третьем варианте "выпала" и она:

Так.

Муниципальная маршрутная машина для перемещения граждан прибыла и встала. Двери распахнулись. В машину влез тип с длиннющей шеей и шляпенцией, чью сферу украшала веревка. Из-за часа пик внутри машины была ужасная давка, и тип начал приставать к ближайшему пассажиру, вменяя ему в вину умышленные пихания, а также стремление наступать на пальцы ближних каждый раз, как влезали и вылезали другие пассажиры. Затем, увидев в глубине машины незанятый стульчак, тип к нему устремился и сел.

Спустя час, пересекая Римский плац перед станцией Сен-Лазар, я видел, как вышеуказанный тип гулял с приятелем и выслушивал следующее наставление: "Перешил бы ты чуть выше эту круглую застежку на плаще".

Так.

Перебрав самые частотные гласные, пришлось сделать неутешительный вывод: русские варианты с одной дискриминированной гласной по степени сложности уступают французскому тексту. Поэтому в четвертом варианте, который не вошел в печатную версию, отсутствуют сразу две буквы — "*Е*" и "*А*":

1. Липограмма — сознательный отказ от какой-либо буквы.

Вот.

Тормознул общинный городской мотор для путников. Внутрь втиснулся один тип с длинным горлом и шляпой, обвитой шнурком. Он объявил другому типу, который стоял вблизи, что тот умышленно ходит по чужим ступням. Потом бросился к свободному стулу и плюхнулся.

Спустя сто минут около входов в ж.д. пункт Св. Кого-то он гулял с другом, который говорил: "Ты пришил пуговицу слишком низко".

Вот.

Составляя последний текст (самый трудный вариант без "*O*" и "*A*", который в итоге и вошел в книгу), я заметил, что в середине своей липограммы (конец 6-й строки текста из 11 строк) Кено оставил союз *et* (и), содержащий запретную гласную. Вряд ли нарушение правила произошло по авторской невнимательности: умысел казался очевидным. Вероятно, это исключение связано с понятием "клинамена", неизменного сбоя, погрешности, без которой – как вслед за Демокритом и Лукрецием считает улипист и "'патафизик" Кено – не может существовать ни одна система. Возможно, здесь значение имеет и порядковый номер слова в тексте (47), отсылающий ко времени первой публикации книги во Франции (1947 г.). Этот соединительный союз словно напоминает о невозможности закончить литературную игру и приглашает к ее бесконечному продолжению (ср. "и т. д. и т. п."). Чтобы соблюсти формальное требование, следовало сохранить две "дискриминированные" гласные в серединной строке, но в уже сверстанном русском тексте "Липограммы" оказалось четное количество строк. Тогда этот "двойной клинамен" решено было поместить строго посередине текста и добрых полчаса пришлось высчитывать количество слов...

Эге.

Трейлер, циркулирующий для перемещения путешествующих, прибыл и приглушил движитель. Двери сместились и впустили внутрь череду нетерпеливых людей. Среди них был некий тип с длиннющей шеей и шляпенцией, чью тулью скрутил шнур. Тем временем в трейлере усилился прессинг; вдруг тип прицепился к ближнему путнику, вменяя разом ему в вину умышленные энергичные тычки, ущемляющие члены ближних (имея в виду себя). Вследствие этих передряг тип увидел в глубине пустеющее сиденье, к нему устремился и сел.

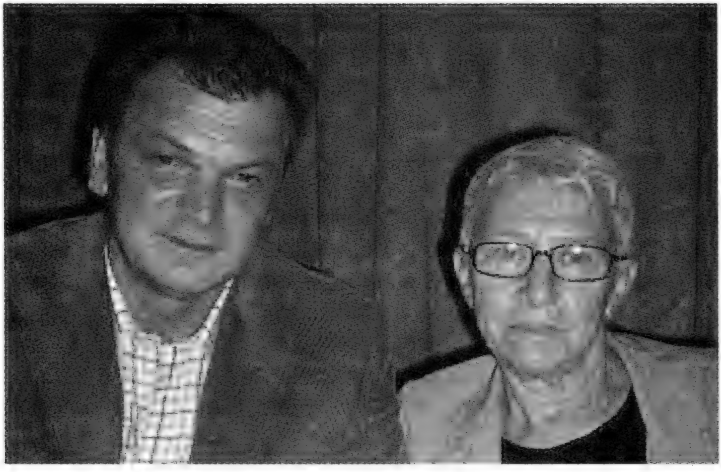
Спустя шестьдесят минут, едучи перед учреждением для убытия и прибытия быстрых (курьерских) и медленных электричек имени Сен-Не-приметил-чьих-реликвий, я увидел следующее зрелище: вышевстреченный тип гулял с приятелем, инсинуирующим ему следующее: "Перешил бы ты чуть выше эту круглую пристежку".

Эге.

Нередко в текстах Кено сохраняются "строительные леса", то есть намеки, ссылки, а то и прямые указания на использованные схемы. Оставляя их, автор словно подчеркивает, что литература – не конечный результат, а бесконечный процесс, не наитие и не вдохновение, а кропотливая работа со словами. Работа-творчество, работа-игра, где следует знать, что творишь и по каким правилам играешь. Работа с буквами и цифрами, которые можно постоянно переводить и переделывать, бесконечно перечитывать и пересчитывать, переиначивать и переигрывать, делает увлекательнее литературу, а с ней – хочется верить всякий раз – и саму жизнь...

“В Москве ко мне отчасти вернулась вера в слово и литературу”

Интервью с Гораном Петровичем. Беседу ведет Елена Калашникова.



Горан Петрович и переводчик Лариса Савельева

Произведения сербского писателя Горана Петровича журнал “Иностранная литература” открыл для русского читателя[1]. Писатель приехал на XXI Московскую международную книжную выставку-ярмарку, где появилась возможность поговорить с ним. Автор интервью выражает признательность Ларисе Савельевой, переводчику многих произведений Горана Петровича, благодаря которой и получился разговор, растянувшийся на два дня.

Елена Калашникова. Как вам кажется: может ли писатель сказать в интервью нечто интересное и полезное для себя?

Горан Петрович. Да, такие случаи у меня бывали. Более того, иногда я совершенно даром растрачивал идею, которую мог бы превратить в рассказ, потом это было уже невозможно.

Е. К. Было ли вам интереснее отвечать на вопросы журналистов, читателей в начале творческого пути, чем сейчас? Не наступила ли усталость от вопросов, с которыми к вам как к писателю обращаются? Со временем большинство публичных людей – осознанно или нет – отвечают на вопросы штампами.

Г. П. Просто вопросы задают, как правило, одни и те же, и на них очень трудно по-разному отвечать. Я особо за этим не слежу, но у меня такое впечатление, что на некоторые вопросы я всегда отвечаю одно и то же. Во всяком случае, в каждом интервью я стараюсь сказать что-то

1. Роман “Атлас, составленный небом” (“ИЛ”, 1997, № 6) и рассказы (“ИЛ”, 2000, № 9). (*Здесь и далее – прим. ред.*)

новое, но успех беседы зависит прежде всего от вопросов. Когда возникают провокационные вопросы, как, например, ваши, мне становится интересно, и я пытаюсь найти на них самый искренний ответ.

Е. К. Вы человек, скорее, монологического склада или диалогического?

Г. П. По утрам я склонен к монологам.

Е. К. Из какой вы семьи, кто по профессии ваши родители? Как они относились к тому, что вы писали стихи, а потом прозу?

Г. П. Отец был инженером, мать — экономистом. Отец хотел, чтобы я изучал машиностроение. Они надеялись, что писательство для меня — это детская болезнь. В общем-то, поначалу и я так думал, мне трудно было сказать себе: "Я — писатель". Решился я на это после третьей или четвертой своей книги.

Е. К. То есть вы смирились с этим?

Г. П. Именно. Просто слово "писатель" много для меня значило. Быть писателем — все равно что влезать в дома, в головы, иногда изменять ход чьих-то мыслей. И когда, наконец, я сказал себе: "Ты — писатель", то испугался, но потом вспомнил, что в основе писательства лежит радость, независимо от того, что ты пишешь. Счастье, если кто-то согласится издать то, что ты написал, а потом кто-то это переведет. В литературе две стороны: то, что происходит здесь, на этой ярмарке, наш с вами разговор — это рама, а не сама картина, фотография. Суть писательства в том, что человек просто откуда-то знает то, о чем пишет, живет в этой картинке или фотографии, и его читатели оказываются тоже там, внутри, вместе с ним.

Е. К. Кто для вас писатель? Этот человек сам придумывает свои истории или он, скорее, посредник, через которого говорит некая сила?

Г. П. Думаю, в писателе есть и то, и другое. С одной стороны, у него должно быть большое трудолюбие, а с другой — дар. Если вы прилежны и усердны, но у вас нет дара, вы — графоман, а если есть дар, но вы недисциплинированны, то пускаете его на ветер; поэтому надо найти равновесие. Кроме того, нужно понять, о чем говорить, а о чем молчать. Я всегда повторяю, что писатель должен рано вставать, садиться за рабочий стол, поддерживать непрерывность процесса работы, но, конечно, важны такие моменты, которые можно назвать словом "вдохновение": когда я не отдаю себе отчета в том, что прекрасно написал одну или две страницы, не заметил, сколько времени на это ушло. В такие минуты я чувствую себя телом-проводником, когда язык сам собой бурлит и течет, когда рождаются новые слова, о которых я вообще не думал, не имел их в виду. То есть садиться за стол и писать — это значит каждый день заново рождаться и умирать.

Е. К. Вы каждый день пишете?

Г. П. Когда чувствую порыв, особое состояние, то пишу месяц, два, иногда три месяца подряд. Я имею в виду не только сам процесс писания, нажимания на клавиши — вообще все, что я делаю в течение этих трех месяцев, поставлено на службу письму.

Е. К. Вы до сих пор получаете удовольствие от писательства или со временем его все меньше?

Г. П. Буду с вами искренен, мне кажется, что потихоньку я его теряю. Важно получать удовольствие все время, пока пишешь книгу. Писа-

тель — это ведь не просто мастер, ремесленник, который из разных элементов составляет хорошую вещь. Надеюсь, не будет такого, чтобы я писал вовсе без удовольствия. Хотя, кто знает...

Е. К. Многие мои собеседники — переводчики и писатели, творческие люди — признавались, что со временем перестали испытывать от своей любимой работы то удовольствие и радость, что были у них в начале. Это грустный, но тем не менее объективный процесс.

Г. П. Возможно, дело в том, что чем старше человек, тем меньше он находит для себя источников удовольствия. Когда мы молоды, мы всему радуемся, и это нормально.

Е. К. Вы не говорили об этом ощущении со своими коллегами?

Г. П. Думаю, писатели не та публика, с которой нужно обсуждать эти темы, они нередко мистифицируют собеседника. Лучше всего спросить об этом мою жену, ее здесь нет, но я знаю, что она бы ответила вам. Ей кажется, что счастливее всего я бываю тогда, когда работаю, пишу, в это время мне ничто не мешает, а когда я не пишу, мне мешает все.

Е. К. Что для вас литература? Помогали вам книги в трудных ситуациях, уберегали от неверных шагов?

Г. П. Думаю, да. Охранительное свойство книг я особенно замечал в тяжелые годы, которые пережила наша страна. Мне тогда казалось, что я повернулся спиной к миру и ко всему, что происходит вокруг, что просто сунул голову в песок, а на самом деле я погрузился в книгу, которую читал. Конечно, литература — это способ самообороны, и есть в ней что-то эскапистское. Любая книга — это такой небольшой палисадник, в который человек утыкается взглядом и внимательно его рассматривает. Литература предоставляет нам возможность выбора. В книжном магазине или библиотеке мы сами выбираем то, что будем читать, но у нас нет этой возможности, когда мы сидим с пультом перед телевизором, хотя программ много, но фактически не мы их выбираем.

Е. К. Какая ваша книга для вас самая главная?

Г. П. Та, которую пишу, которую еще не закончил. Готовая книга перестает для меня существовать, она мне больше неинтересна. К тому, что уже сделано, опубликовано, я ничего не испытываю, потому что все эмоции уже растрачены. На литературном вечере мне, конечно, приятно перелистать какой-то свой текст, но не более того.

Е. К. То есть вы к ним остываете?

Г. П. Да. Рукопись я считаю законченной, когда больше ничего к ней не чувствую. Потом на первый план выступает техническая сторона дела, все, что связано с печатью, изданием книги. Я люблю и одновременно ненавижу тот момент, когда пишу — ту рукопись, над которой работаю.

Е. К. Что вы считаете главными темами своего творчества?

Г. П. Есть несколько лейтмотивов, которые меня постоянно занимают. Например, отношения со временем, отношение к ближнему (к членам своей семьи, соседу по лестнице, своему соотечественнику, другому представителю цивилизации). Литература все еще стремится вернуть людям веру в слово. Слова теперь похожи на пустые стручки фасоли или гороха, в начале XXI века этому во многом способствовали политики — они выхолостили слова. Один из лейтмотивов моих текстов — цинизм истории. Вопрос о том, насколько человек удалился от са-

мого себя. Возможно, я сейчас что-то и упустил, но к перечисленным темам я возвращался в нескольких своих книгах.

Е. К. Вы говорите, что остываете к своим предыдущим книгам, но при этом возвращаетесь к одним и тем же темам?

Г. П. Вы задали хороший, умный вопрос, но я не знаю, как на него ответить. Ведь говорят, что поэт всю жизнь пишет одно стихотворение, видимо, и у прозаика есть постоянные темы. Надеюсь, вы довольны моим ответом, а если нет, то на это я скажу, что у писателя тоже есть права, скажем, право возвращаться к одним и тем же мыслям, хотя, возможно, это и неразумно. В конце концов, может писатель делать что-то ради собственного удовольствия, так ведь?

Е. К. Значит, к своим написанным и напечатанным текстам вы остываете и уже не возвращаетесь, не редактируете их?

Г. П. Мне всегда хочется что-то изменить в книге. Это противоречит тому, что я только что сказал, но я в первый раз в жизни кое-что исправил, когда просматривал свои тексты еще раз для собрания сочинений, вышедшего нынешним летом. Текст я пишу на компьютере, потом распечатываю и удаляю, он остается только на бумаге.

Е. К. Когда вы создаете тексты, вы воображаете себе какого-то определенного читателя или пишете в первую очередь для себя?

Г. П. Иногда я действительно имею в виду конкретных читателей. Я не хотел бы вас мистифицировать, но иногда у меня бывает такое состояние, когда я не осознаю того, что пишу, это бывает недолго — полчаса, сорок пять минут, потом, посмотрев на часы, я понимаю, что, оказывается, уже столько времени прошло. Иногда я проговариваю текст вслух, мне интересно послушать его акустику, достаточно ли он напряженный или где-то надо его скорректировать.

Е. К. Работаете ли вы с переводчиками? Если да, то как происходит работа?

Г. П. Иногда переводчики задают мне вопросы, но вообще я считаю, что переводчику надо доверять. Только он не должен дословно передавать некоторые вещи, которые на чужом языке теряют смысл.

Е. К. Читаете ли вы отклики на свои произведения?

Г. П. Читаю конечно. Иногда внимательно, иногда не очень. Не забывайте о том, что я написал целый роман, прославляющий процесс чтения[1]. Для литературы важен не только писатель и его книга, но и читатель. Собственно говоря, написать этот роман меня толкнуло именно то, что я слышал отклики читателей о своих книгах.

Е. К. Чье мнение о ваших текстах для вас самое авторитетное — близких, друзей, специалистов?

Г. П. Для меня очень важно, что думает моя жена. Кроме того, за последние десять-пятнадцать лет у меня образовался круг людей, которым я обязательно даю прочитать свою рукопись. Одни из них внимательны к деталям, другие, наоборот, видят произведение целиком. Мне интересна общая картина, которая складывается из их откликов.

Е. К. Как вы думаете, читатели и критики поняли ваше творчество? Увидели в ваших текстах то, что вы в них закладывали?

1. Имеется в виду "Книга с местом для сведений" / Перевод Л. Савельевой. — СПб.: Амфора, 2005.

Г. П. Трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, у читателя есть право понимать произведение так, как он хочет. Хотя я всегда расставляю в тексте метки и указатели — как его следует понимать. Случается, что иная хвалебная критика меня огорчает, потому что у меня складывается впечатление, что человек просто не понял мой текст. Иногда такое же ощущение возникает у меня и в разговоре с читателем. Но, с другой стороны, повторяю, это его право. Единственно, что может вывести меня из себя, это если мои тексты пытаются нагрузить чем-то таким, что называется политикой.

Е. К. Правильно ли я понимаю, что вы равнодушны к политике? Такое к ней отношение свойственно современным сербским писателям вообще или вам в особенности?

Г. П. Многие авторы не хотят заниматься политикой — они и не обязаны заниматься ею. Думаю, прошли те времена, когда писатели были призваны высказывать свое мнение по любому вопросу. (Это не значит, что я плохо отношусь к тем своим коллегам, которые как раз занимаются политикой.) В Сербии самые популярные и самые эстрадные, если так можно выразиться, лица — именно политики. За литературой и искусством средства массовой информации следят куда более поверхностно. Политика, конечно, — чрезвычайно важная сторона жизни для меня, моей семьи, моего народа и цивилизации. Но я сторонюсь ее, и вот почему. Писатели очень ловко умеют обращаться со словами и иногда могут выдать такую гиперболу, которая людям потом дорого обойдется, будет стоить даже человеческих жизней. Я могу сочинить подобную гиперболу за пятнадцать секунд, а кому-то она обойдется в пятнадцать лет жизни. Поэтому я чувствую ответственность за то, что говорю. Может быть, мое высказывание покажется вам нескромным, но, уверен, что цивилизация выглядела бы иначе, если бы те, кто говорит, думали о том, что говорят, о том, что за послания они адресуют другим. Знаете, в Москве ко мне отчасти вернулась вера в слово и литературу: в московском метро я смотрел на лица тех, кто читает. Я не всегда мог разобрать название книги или имя писателя, но мне было достаточно посмотреть на лица читающих.

Е. К. Вот еще о чем я хотела вас спросить: следите ли вы за творчеством своих коллег — сербских писателей, уроженцев бывшей Югославии, зарубежных авторов?

Г. П. Такие писатели есть, хотя не могу сказать, что прочитал все их книги. Например, из современной сербской литературы я прочитал, наверное, почти все произведения Давида Албахари и Светислава Басары. Салман Рушди и Алессандро Барикко — мои любимые писатели, я знаю почти все их тексты. Читал много книг Улицкой, в Сербии ее охотно переводят.

Е. К. Понятно, что вы не знаете, хорошо ли представлена современная сербская литература на русском, но все равно ответьте на вопрос: тексты каких ваших соотечественников обязательно должны быть переведены в России?

Г. П. Я не знаю, что переведено, хотя, насколько мне известно, переведено много хороших книг, но ведь их всегда может быть больше.

Перевод Ларисы Савельевой

"Слово правды строгой..."

А. В. Карельский *Немецкий Орфей: Беседы по истории западной литературы.* Выпуск 3 / Сост. А. Б. Ботникова и О. Б. Вайнштейн. – М.: РГГУ, 2007. – 604 с.

Презентация книги состоялась в феврале 2007 года не в МГУ, не в РГГУ, не на какой-либо книжной ярмарке, не в немецком посольстве и не в Академии наук, а в кафе рядом со станцией метро "Третьяковская", пользующемся репутацией "интеллигентного". Зал, довольно вместительный, был полон, публика и в самом деле интеллигентная, без кавычек. Пришли сыновья, Дмитрий и Алексей, пришли старые друзья, сокурсники, соседи, соавторы, редакторы, бывшие студенты и аспиранты, верные почитатели и просто читатели. Сидели часа четыре, до самого закрытия, не хотели расходиться. Сидели и вспоминали Карельского: как он держался, как одевался, кому, когда и что сказал или написал; кому помог, как читал лекции, как правил свои и чужие рукописи, как рецензировал, редактировал, корректировал, сверял цитаты, принимал экзамены, принимал гостей, заботился о близких... Мне, например, всегда казалось, что именно я – самый близкий его друг. Но чуть ли не каждый из знавших его людей думал о себе точно так же. В этом и заключался непостижимый феномен Карельского. Общаясь с ним, человек попадал в некое благотворное поле участия, понимания и доверия. Может быть, потому, что он всегда и со всеми сохранял неуловимую дистанцию. Нет, что ни говори, жила в нем какая-то загадка. Потому-то люди и не расходились, что даже воспоминание об этом человеке создавало между ними редкую атмосферу благожелательности, почти забытую в наше время "гламурных тусовок", "крутых разборок" и политкорректного лицемерия.

Ну, вот она передо мной, эта книга: "Немецкий Орфей: Беседы по истории западной литературы".

Элегантный твердый переплет, удобный формат, колонтитулы, пристойная бумага, тщательно выстроенный иллюстративный ряд, бережная корректура. Так что отдельное спасибо художнику М. К. Гурову, редактору Т. Ю. Журавлевой, корректорам Л. П. Бурцевой и Т. М. Козловой и верстальщице Г. И. Гавриковой. Эти шестьсот четыре страницы лишь малая часть того, что было написано автором за тридцать лет творческой деятельности на поприще словесности и беспорочной службы на ниве просвещения. Позволю себе напомнить, что в предыдущие два выпуска вошли лекции и публикации по истории французской и австрийской литератур.

Возникла эта серия благодаря титаническим усилиям ученицы Карельского, Ольги Вайнштейн, которой чудом удалось включить ее в издательские планы РГГУ. Другой составитель выпуска, Алла Борисовна Ботникова, коллега и единомышленница Карельского, с которой он много лет вел переписку по вопросам интерпретации немецкого романтизма, включилась в работу на критическом этапе, когда деградирующая институция под гордым названием "РГГУ" почти не оставила Ольге надежды на достойное издание сборника.

Разумеется (увы, теперь это само собой разумеется), ни о покупке прав у сыновей, ни о гонорарах составителям не могло быть и речи. Так что выход книги в свет тоже загадка. Похоже, книги и впрямь имеют свою судьбу. Одним рукописям суждено сгореть, а другим появиться на свет, то бишь выйти в

свет. Если бы Альберт не был убежденным атеистом, я бы сказала, что это дитя преданности родилось с Божьей помощью. Впрочем, Господу Богу лучше знать, кто в Него верит, а кто нет.

Феномен Карельского, по-моему, заключался еще и в том, что ему достаточно было открыть любую книгу, чтобы услышать ее голос. То, что его не трогало, не волновало, он спокойно отодвигал в закрома памяти и эрудиции. Но, услышав искренний, трагический крик или шепот, он вслушивался в него участливо и терпеливо. "И, уловив сквозь белый шум времен вопрос души родной, ей отвечал по-русски". Либо переводил, либо осмысливал в статье или лекции. Он испытывал равный интерес и к аналитической и к переводческой работе. Он считал, что миссия переводчика — открывать имена. Он и открыл русскому читателю не только Бёлля, Хеббеля, Музиля, Броха, Ленца и еще некоторых писателей первого ряда, но совсем неизвестных или забытых лириков и драматургов эпохи немецкого романтизма. Но, открыв имена, обеспечив им прописку в российской словесности, он заботливо представлял их читающей публике. Мне кажется, он никогда не сомневался, что поиски истины, добра, милосердия и прочие наивные иллюзии предреволюционных и постреволюционных эпох и есть то единственное, что позволяет человечеству, равно как и отдельному человеку, еще как-то уважать себя.

И то сказать, история людского рода — сплошь войны, Крестовые походы, дворцовые перевороты, катастрофы: горы трупов, сожженные селения, разрушенные города, загаженный воздух, зловонная вода, отравленная почва. Ну да, кое-что люди успели возвести и изобрести в редкие исторические моменты созидания: египетские пирамиды, китайские стены, греческие статуи, римские акведуки, готические соборы, ренессансные живописные полотна, храмы, дворцы, музеи, библиотеки... Но все это безжалостно уничтожается либо народами, либо временем. Самым хрупким и самым неуязвимым оказывается слово. И те, кому дано это понять, реставрируют создаваемые словом веру-надежду-любовь. Что же касается матери их, мудрости, то по этому пункту все слова друг другу противоречат, а долг литературоведа — пояснить юношеству, что это в порядке вещей.

Персонажи лекций и статей, собранных под переплетом "Немецкого Орфея", только этим и занимаются: пытаются обрести истину, и для каждого из них у Карельского находится афористически убедительная характеристика.

Вот как он пишет, например, об Отфриде (IX век), авторе "Евангельской гармонии" — стихотворного Евангелия на древневерхненемецком языке: "Этот монах не опирался на традицию, ибо ее не было, а сам создавал традицию".

О Гартмане фон Ауэ с его "Бедным Генрихом" (ок. 1195-го): "Гартман разрывает сословный каркас куртуазности, создавая гимн человеческой любви".

О Вольфраме фон дер Эшенбахе с его "Парцифалем": "Перед нами сын своего куртуазного века, влюбленный в куртуазность и пытающийся спасти ее так, чтобы не разрушить ее прекрасных воздушных замков".

О Готфриде Страсбургском с его "Тристаном": "Если основной конфликт Гартмана и Вольфрама — человек и Бог, человек и долг, куртуазность и религиозность, то у Готфрида основной конфликт — куртуазный человек и куртуазное общество. И он, видимо, прекрасно понимал всю дерзость того шага, который он сделал".

О Вальтере фон дер Фогельвейде и его любовной лирике: "Раз поняв свою огромную поэтическую силу, он не устает радоваться этому открытию, и его лирику наполняет торжественное, звенящее "я", в полном смысле слова личное местоимение..."

Об анонимном авторе "Нибелунгов": "Он пытается найти в кро-

вавой неразберихе какую-то незыблемую меру справедливости... реальную меру вины в каждой конкретной ситуации, и это, несомненно, косвенное отрицание самого закона феодального существования с его правом сильного на насилие".

В изложении Карельского перипетии немецкой средневековой литературы предстают как сюжет, не менее увлекательный, чем сценарий добротного исторического фильма.

Но главным предметом его интересов был все-таки не героический эпос, не куртуазная поэзия, не миннезанг и даже не веймарская классика. Главной его страстью был романтизм. Я думаю, это началось у него с Эйхендорфа:

О долы, холмы, дали,
О, лес любимый мой,
Даруй мне в час печали
Молитвенный покой...

Этот задушевный голос являл разительный контраст со всем звучанием, со всем опытом нашего военного и послевоенного детства. В нем слышится восторженное благоговение перед жизнью, а для нас, семнадцатилетних первокурсников, это было никогда прежде не испытанным эмоциональным потрясением.

И Карельский, с его безразмерной памятью и неизлечимым трудоголизмом, всю свою жизнь решал загадку романтического сознания, то есть невесть откуда возникшей способности человечества, пусть в лице молодых немецких студентов, строить воздушные замки, умозрительную идиллическую сферу обитания, полностью отвлекаясь, отключаясь от реальности.

Он внимательно и дотошно "опросил" (прочитал) их всех: прозаиков, поэтов и драматургов: безумца Гёльдерлина, мистика Новалиса, наивного Эйхендорфа, меланхолического Мёрике, ироничного Тика, слащавого зануду Брентано, аристократичного Арнима, трагического Клейста, воистину гениального Гофмана и множество других. Тех, кто продолжил возводить их постройку в Германии, и тех, кто мыслил, чувствовал и творил в унисон с ними в Англии, Франции, России, Польше, Португалии, Скандинавии. Он все понял и простил им пренебрежение к классике, упорные попытки ликвидации традиционных жанров, принципиальную фрагментарность, отказ от пунктуации в частной переписке, политическое ренегатство и человеческие слабости. Он сопоставил результаты, составил анамнез, поставил диагноз романтического сознания: центробежность, утопичность, волюнтаристичность, максимализм, полярность. Он проследил историю болезни вплоть до наших дней. И теперь мы знаем, что романтизм — это не просто недолговечное литературное течение, возникшее одновременно с XIX веком. Это бурный поток творческих и нравственных исканий с просторами, перекатами, омутами, безднами и водоворотами, захлестнувший европейское Новейшее время.

Совершенно непонятно, как в одном мозгу могла уместиться вся тысячелетняя история европейских литератур. И не только в общих чертах, но во множестве частностей, ракурсов, коннотаций: цитаты, сюжеты, даты, имена, профессии, характеры, отношения, эксцентрические поступки и гениальные озарения...

Потеряв Карельского, наша германистика потеряла свою главную ценность: нравственный камертон. Можно ли восполнить такую потерю?

Если XIX век в России ознаменовался взлетом литературы, то в XX веке она могла гордиться именами своих гуманитариев — именами Тынянова, Набокова, Ходасевича, Бонди, Жирмунского, Лотмана, Панченко, Лихачева. И в тот же ряд мы вправе поставить имя Альберта Викторовича Карельского.

В состав рецензируемой книги вошли университетские лекции Ка-

рельского по истории средневековой немецкой литературы и немецкого романтизма, переводы немецких поэтов, послесловие к сборнику "Немецкая романтическая комедия", перевод комедии Л. Тика "Кот в сапогах", статьи о романтической традиции в литературе модернизма, а также в теории литературы и в критике XX века. Заключает сборник статья "Немецкоязычная литература начала XX века в общеевропейском контексте".

Э. Венгерова

Мосты Пауля Целана

Пауль Целан *Стихотворения. Проза. Письма.* – М.: Ad Marginem, 2008

Целан — одна из ключевых фигур для поэзии минувшего века. В Европе и Америке он издавался и переиздавался, о нем писали и думали, комментировали и иллюстрировали... О его стихах изданы сотни книг, ему посвящены спецномера влиятельнейших интеллектуальных журналов — достаточно сказать, что только для описания всей этой громады текстов выпущено с десяток библиографических указателей...

О поэзии Целана размышляли Хайдеггер и Бланшо, Ханс Георг Гадамер и Жак Деррида, Анри Мишо и Гюнтер Грасс, Эмиль Чоран и Ив Бонфуа... В этом списке леворадикал, неомарксист Теодор Адорно — и знаток каббалы Моше Идель, литературовед Жан Старобинский и прозаик Роже Лапорт, философы Филипп Лаку-Лабарт и Эммануэль Левинас...

Из одного этого перечисления виден масштаб поэта. Поэта, для русскоязычного читателя больше остающегося просто именем, не ассоциирующимся с текстами, ибо целановских текстов по-русски долгое время было очень и очень мало.

Чуть больше десяти лет назад, в 1996 году, Борис Дубин, готовя публикацию Целана в журнале "Иностранная литература" (1996, № 12), с горечью писал: "Что через четверть века после целановской гибели у нас на руках? (Поэт ушел из жизни в 1970 г. — *А. Н.*). Несколько переложений "Фуги смерти" <...> и еще трех-четырех вещей, погребенных в хронологических и страноведческих антологиях. Плюс глухие известия о переводах, которые где-то у кого-то когда-то то ли были на руках, то ли готовятся к публикации и уже который год вроде бы вот-вот выйдут. Плюс редкие машинописные следы попыток переложения, случаем донесенные из Израиля, Киева, Риги... <...> согласитесь, странное недобытие, призрачное полусуществование, осколочное, руинное на-три-четверти-отсутствие — немота объемом в поколение"...

Да, два года спустя, в 1998 году, в Киеве вышла книжка Целана в прекрасных переводах Марка Белорусца — около ста страниц текста, стихи и проза. До этого пять лет мытарившаяся от издателя к издателю — и в конце концов изданная на деньги, собранные друзьями переводчика. С самого момента своего появления она стала легендой, по той простой причине, что тираж ее был... 300 экземпляров. Слышали о ней почти все, кто всерьез интересовался поэзией, а вот в руках держали — немногие... Была еще серьезная публикация стихов в "Иностранной литературе" (2005, № 4), подготовленная Ольгой Седаковой, Марком Белорусцем и Татьяной Баскаковой.

Странным образом к началу этого года русскоязычному читателю доступнее были два тома "Пауль Целан: Материалы. Исследования. Воспоминания", чем тексты самого поэта.

И вот, наконец, по-русски появился большой том одного из крупнейших поэтов XX века: свыше 700 страниц целановских текстов, в

прекрасных переводах, с комментарием. Важно, что в книге представлены не только стихи Целана, но и его программные размышления о поэзии, и его заметки из рабочих тетрадей — формульно-острые определения, такие, как: "Стихотворение — это обретшая целостный образ тоска Я по иному", и письма: жене, друзьям... Стихи даны на языке оригинала и по-русски, причем там, где существует несколько вариантов перевода, они представлены рядом — не надо, чтобы их сравнить, лезть в конец книги, как это обычно бывает с такого рода изданиями, когда "альтернативные переводы" "сосланы" в приложение. А учитывая, что Целан — из тех поэтов, которые в полной мере работают с языком, заставляя его раскрывать смыслы, скрытые в повседневном употреблении, но потаенно присутствующие в словах, то увидеть оригинал через призму сразу двух переводов — немаловажно. Обычно в книге такие пары представлены работами Ольги Седаковой и Марка Белорусца. Седакова — пожалуй, один из лучших современных русских поэтов (при этом она очень много переводит). Белорусец же давно известен именно как лучший переводчик Целана. И книга, которая сейчас пришла к читателю, — по сути, "вываривалась" много лет. Несколько из представленных в ней переводов Белорусца впервые были опубликованы еще в антологии австрийской поэзии "Золотое сечение", вышедшей в 1988 году — два десятилетия назад! И если сравнить ту, давнюю публикацию и вышедший сейчас том, становится понятно, почему так долго и мучительно появлялся "русский Целан". Дело в том, что нужно, чтобы внутри русской поэтической традиции сложился некий язык, способный дать Целану — зазвучать. А это требовало времени и усилий.

Целан — поэт, изменивший представления о границах поэзии в той же степени, что Пикассо или Клее изменили представления о границах живописи. Стихотворения зрелого Целана сведены к нескольким фразам — так художник несколькими росчерками, парой беглых штрихов набрасывает портрет — но при этом у Целана в стихотворении чудовищно спрессованы смыслы: настолько, что сами слова разламываются, рвутся по живой границе, когда приставка вдруг начинает жить отдельно от корня, предлог при глаголе — от существительного, которым он управляет (так разламываются земные плиты при землетрясении)... Целан просто рассекает слово на части, разламывает его — так разламывают хлеб и протягивают голодному: на, ешь! И вот эта концентрация смыслов — на фоне оголенности каких-то внутренних, почти геологических структур стихотворения и самой затрудненности целановской поэтической речи — все это не давалось переводчикам. Те немногие попытки переводить Целана, что делались здесь в 70—80-е годы, чаще всего оборачивались тем, что Целана "приглаживали", опрощали. Вот один из переводов Целана, выполненных для антологии австрийской поэзии, о которой мы говорили, В. Леванским:

Стоять до конца в тени
ранящей дымки небесной.

За Никого, за Ничто
стоять
для тебя одной.

С целым миром в груди,
но без единого слова.

И вот для сравнения перевод Марка Белорусца из новой книги:

Стоять — в тени от следа
Раны в воздухе.

Ни-за-кого-стоять, ни-за-что,
неопознанно,
за тебя
лишь.

Со всем, что вместимо там
и помимо
слова.

Стихотворение, как оно предстает у Леванского — просто зарисовка: вполне афористичная, но в этой своей афористичности — статичная; текст — но не событие. От того напряжения речи, которое присутствует в переводе Белорусца, читателю делается столь неуютно, что от этого ощущения хочется во что бы то ни стало избавиться — как-то этот текст повернуть-подвинуть в сознании: только вот текст сопротивляется, избавиться от него нельзя; так стихотворение становится для читателя событием — перестает быть просто последовательностью слов, кем-то выговоренной мыслью, а превращается в неизбывную часть его, читателя, опыта.

Целана раз за разом называют "поэтом после Катастрофы". Родители его были арестованы и погибли в концлагере, самому ему тоже пришлось пройти через трудовой лагерь, и то, что он остался жив, — просто случайность. Для всего этого Целан смог найти слова — где-то по ту сторону безумия, порвав связь с "реальностью", отказавшись от попыток зафиксировать все "как оно было":

Черное молоко рассвета
мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром
мы пьем его ночью
пьем и пьем
мы роем могилу
в воздушном пространстве
там тесно не будет.

В том доме живет господин
он играет со змеями пишет
он пишет когда стемнеет
в Германию
о золотые косы твои Маргарита
он пишет так и встает
перед домом и блещут созвездья
он свищет своим волкодавам
он высвистывает своих иудеев
пусть роют могилу в земле
он нам говорит а теперь играйте
пускай потанцуют.
<...>

Он требует слаще играйте
мне смерть
Смерть это немецкий учитель
он требует
темней ударяйте по струнам
потом вы подымитесь в небо
как дым
там в облаках вам найдется
могила там тесно не будет
Черное молоко рассвета
мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень
смерть это немецкий учитель
мы пьем тебя вечерами и утром
пьем и пьем
Смерть это немецкий учитель
глаза у него голубые

он целит
свинцовая пуля
тебя не упустит он целит отлично
он на нас выпускает
своих волкодавов
он нам дарит
могилу в воздушном
пространстве
он играет со змеями
и размышляет
Смерть это немецкий учитель

золотые косы твои Маргарита
пепельные твои Суламифь.

Перевод О. Седаковой

Ни об одном стихотворении Целана не сказано и не написано столько, сколько об этом страшном тексте. Может быть, это самый сильный рассказ о Катастрофе из всех возможных. И сила его в том, что он — по ту сторону реальности. Опыт, который принесла с собой Вторая мировая война, просто не поддавался выражению старыми средствами. Их исчерпанность — она обнаруживалась именно тогда, когда к ним прибегали люди, несомненно одаренные. Как, например, польский поэт Тадеуш Боровский, которому довелось пройти через нацистские лагеря и который попробовал об этом рассказать. У него это вышло. Вернее — почти вышло... Его лагерные стихи — ярки, талантливы, но... на фоне целановской "Фуги смерти" они начинают казаться риторикой:

Ночь над Биркенау

И снова ночь. Застыла шлаком.
И небо вороном чернеет.
Как труп, за лагерным бараком
синюшный месяц коченеет.

И Орион — как после сечи
помятый щит в пыли и соре.
Ворчат моторы. Искры мечет
кровавым оком крематорий.

Смесь пота, сырости и гноя
вдыхаю. В горле привкус гари.
Как лапой, душит тишиною
трехмиллионный колумбарий.

Ночь без рассвета. Все затмило.
И дело близится к финалу.
Как божий суд
над мертвым миром,
вершится ночь над Биркенау.

Перевод А. Гелескула

Но смелость Целана — еще и другого рода.

Когда философ Теодор Адорно изрек свою (теперь уже до бесконечности зацитированную) формулу "После Освенцима поэзия невозможна", он ведь имел в виду прежде всего, что она невозможна на его, Адорно, языке — немецком. В немецкой традиции поэзия ассоциировалась с возвышенным. Только вот "возвышенное" нещадно эксплуатировалось все годы существования Третьего рейха в его официальной пропаганде: "От вас, — обращался к солдатам своих войск рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, — именно от вас узнают, что это такое, когда рядом с тобой — 100 трупов, 500 трупов, 1000 трупов. Выдержать все это и — отвлекаюсь сейчас от отдельных проявлений человеческой слабости — сохранить порядочность стоило многого. Это не написанная и не доступная письму славная страница нашей истории"[1]. И сами чувства, и язык их описания были присвоены нацизмом — и продолжали хранить на себе его страшный отпечаток: попробуйте употребить слово "порядочность" после такого его употребления Гиммлером... И послевоенная литература — особенно немецкоязычная послевоенная литература — отшатывается от всего, что выходит за рамки самого простого, осязаемого опыта. Признается только правда простых вещей. Именно она лежит в основе "неореализма". Целан же понимает, что это — путь в тупик. Все, что можно найти в послевоенной Европе — развалины. Развалины городов. Развалины культуры. Развалины мысли. Прошлое — то, довоенное, кануло навсегда. А новое — не настало. Мировая война закончилась? Но... чтобы обернуться войной за власть, за то, кто именно получит право распоряжаться будущим... Всматриваться надо не вовне, а внутрь. В пронизанную кавернами внутреннюю реальность. "Повернуть глаза зрачками в душу". Целан пытается не *описывать* некую ситуацию, а *писать* ее внутреннюю суть. Таков весь его сборник "Решетки языка". Слово "Sprachgitter", вынесенное в название книги, созвучно общеупотребимому "Sprechgitter" — "переговорная решетка", решетка, что на свидании в тюрьме отделяет преступника от тех, кто пришел его навестить. Целан говорил в связи с этим названием и заглавным стихотворением сборника: "Я стою на другой пространственной и временной плоскости, чем мой читатель. Он может понять меня только отдаленно, ему никак не удается меня ухватить, он все время хватается только за прутья разделяющей нас решетки... Ни один человек не может быть 'как' другой; и потому, вероятно, он должен изучать другого, пусть даже через решетку..." А само заглавное стихотворение звучало следующим образом:

Глаз кругл меж прутьев.

Веко инфузорно
ресничит вверх,
мерцаньем открывая взгляд.

1. Цит. по: Отто Пёглер. Поэзия в наше время. Перевод Б. Дубина.

Радужка, без снов,
тускло плавуча:
небо, сереющее сердце,
видно, низко.

В железном светце, криво,
чадящая лучина.
Ты по светлосути лишь
узнаешь душу.

(Был бы я как ты.
Был бы ты как я.
Разве не стояли мы
под одним ветром?
Мы — чужие.)

Каменные плиты, и на них
друг к другу близко эти оба
смешка, сереющие сердце,
два выема-
рта полных молчанья.

Перевод М. Белорусца

И, пожалуй, неудивительно, что Целан встречает непонимание современников. Они чувствуют стоящую за ним силу; не могут не считаться — но... отказываются признать. Характерна история участия Целана в одной из встреч так называемой "Группы 47" — в нее входили такие немецкие писатели, как Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, Эрих Кестнер и другие. Целан выступает с чтением своих стихов. Критик Вальтер Йенс, бывший на том вечере, вспоминал: "Когда Целан выступал в первый раз, люди говорили: 'Но ведь это невозможно слушать!' — он читал слишком патетично. Мы смеялись, 'Он читает прямо как Геббельс!' — сказал кто-то. Его просто высмеяли... 'Фуга смерти' в нашей группе с треском провалилась! Это был совершенно другой мир, и сторонники неореализма, которые, можно сказать, выросли на этой программе, никак с ним не состыковывались"[1]. А ведь "Группа 47" — это лучшие из писателей, работавших тогда в немецкой литературе...

Проблема Целана — несовпадение с реальностью, слишком ясное понимание того, что она уязвима и в любое мгновение может обрушиться в небытие, в ничто...

А как еще относиться к реальности тому, кому довелось в 1920 году родиться в еврейской немецкоязычной семье в городе Черновцы — всего за два года до его рождения тот был частью Австро-Венгрии, на два с небольшим десятка лет отошел Румынии, в 1940 году был насильственно присоединен к СССР, в 1941 году оккупирован Германией, в 1944-м освобожден Красной Армией и включен в состав Украины и советизирован — настолько, что Целан предпочитает при первой же возможности уехать в 1945 году в Румынию? И не найдя пристанища и там — бежать в Вену. Когда-то, из Черновцов, Вена казалась городом мечты. Только вот... После войны, униженная аншлюсом с Германией, оккупированная войсками союзников и поделенная на оккупационные зоны, Вена стремилась представить себя жертвой истории — благо роль эта сулила известные дивиденды: играя ее, можно было избежать денацификации и демократизации, задевающих интересы власть имущих. И над всем этим витал некий дух провинциализма. В одном из венских писем Целан замечает в связи с вечером, на котором он читал стихи местным интеллектуалам: "Я был не бог весть как счастлив, когда мне сказали, будто бы являюсь величайшим поэтом в Австрии и — насколько им известно — в Германии тоже..." Целан не выдержал в Вене и года, перебрался во Францию, в Париж.

Париж всегда был городом, благожелательным к экспатриантам — здесь Целану суждено все же осесть: стать парижанином. И все же, не эти ли метания — а, по сути, просто ощущение хрупкости бытия вобрала в себя одна из целановских заметок 1953 года: "Настоящая поэзия антибиографична. Родина поэта — его стихотворение; от стихотворения к стихотворению

1. Здесь и далее цитаты даны в переводе Т. Баскаковой.

она меняется. Расстояния все те же, вечные: бесконечные, как то мировое пространство, в котором каждое стихотворение стремится утвердить себя в качестве — пусть крошечного — небесного светила. Они бесконечны и как расстояния между его *Я* и его *Ты:* с обеих сторон, от обоих полюсов возводятся мосты, а в середине, на полпути, там, где должна быть несущая мостовая опора, сверху или снизу, — там место стихотворения".

Со временем стихи Целана становятся все минималистичней по словарю и синтаксису — и все сложней по смыслу. Если сравнить раннего Целана и позднего — впечатление, как будто с годами сквозь камень, от которого отсекают все лишнее, проступает скульптура — что-то вроде предельно точной в своей лаконичности кикладской статуи:

Одогранник: Рембрандт,
на ты со шлифовкой света,
от-мысленного от звезды,
как локон, височно сонный,

линии на ладони изрезают лоб,
среди ледниковых валунов, на
утесе-столе,
мерцает тебе
у правого уголка рта
шестнадцатый псалом.

Перевод В. Летучего

У Целана были весьма своеобразные отношения с одним из автопортретов Рембрандта, 1665 года, хранящимся ныне в собрании Кёльнского музея: в дневнике, после похода в музей, Целан записывает: "Портрет Рембрандта... <...> да, меня еще раз озвучили, я жил, да". И еще одна запись об этом портрете, мелькающая в тетрадях поэта: "Я смотрю на автопортрет Рембрандта (кёльнский): глаза и рот расширены мимолетностью, голова и отчасти плащ позлащены мимолетностью, ею изглоданы, ею вымечтаны; трость забрызгана двумя-тремя каплями той же субстанции". Целан вновь и вновь приобретал открытки с изображением этой картины и дарил их друзьям. Так, один из самых близких в последние годы ему людей, Илана Шмуэли, вспоминала, что в ответ на просьбу подарить ей какую-нибудь свою фотографию Целан дал ей такую открытку, говоря, что других изображений у него нет, а сама мысль о фотографии — нестерпима.

Собственно, все это восстанавливается из комментария к книге — и тут спасибо Татьяне Баскаковой и Марку Белорусцу, взявшим на себя непростой труд протянуть такого рода ниточки от текста к читателю. Но при всем том: читатель должен вспомнить тот рембрандтовский портрет — только тогда он увидит, что образ одногранника — валуна, у которого ветер "сточил" край до острого скоса, возникает из-за сходства с заломленной под углом шляпой художника на картине. Что "шлифовка света", упомянутая в стихотворении, — это много больше, чем аллюзия на то, как Рембрандт выстраивает свет на своих картинах. Про освещение у Рембрандта точно сказала Ольга Седакова: он "остро чувствует, что видимое, явленное — совсем не само собой разумеется. Свет и тень встречаются у него не в мире видимого, как у его собратьев. Все гораздо болезненней: тень ставит видимое под вопрос. Собственно, его не следовало было бы называть "мастером светотени": он, по точному слову Мандельштама, ее мученик: *Как светотени мученик Рембрандт.* Видимое возникает из огромной непробудной невидимости, *тьмы осязаемой*, и как бы помнит о том, что очень легко может опять раствориться в ней, что невидимость всегда рядом — из-за бренности вещей "мира сего" или из-за нашей, близко обступающей слепоты. И потому то, что нечто видимо, — событие уже само по себе. Зрение — событие само по себе..." Эта работа Рембрандта — сродни работе Целана со словом. Но есть еще одно: шлифовальщиком света был не только Рембрандт, но и живший в

том же Антверпене, что и художник, Барух Спиноза — философ, вынужденный зарабатывать на жизнь тем, что шлифовал линзы. А двигаясь по тексту стихотворения дальше, читателю хорошо бы вспомнить, что Шестнадцатый псалом начинается стихом "Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю", — но при том увидеть, как чуть горьковато опущен на автопортрете Рембрандта уголок рта — и его изгиб "срифмован" художником с изгибом шляпы: что отражено в композиции целановского стихотворения, где начало и конец образуют своеобразную "рамку".

Мы начали с того, что к Целану написаны тома и тома комментариев... Но, может быть, гораздо лучше читать его стихи параллельно с созерцанием картин Пауля Клее и чтением Хайдеггера. Хайдеггер — едва ли не единственный философ, приблизившийся к тому, что пытался проговорить Целан. Принадлежавший поэту экземпляр хайдеггеровского "Времени и бытия" весь испещрен пометками. Другое дело — мог ли Целан, читая немецкого философа, отрешиться от мысли, что в 1933 году, приняв пост ректора Фрайбургского университета, тот вступил в Германскую национал-социалистическую рабочую партию, подписывал приветственные телеграммы фюреру, произносил речи, в которых призывал коллег служить делу национальной революции?.. Целан и Хайдеггер встретились в 1967-м, когда поэт приезжал во Фрайбург выступать в университете. Поэт был несказанно удивлен, обнаружив, что почти повсюду в городе в книжных магазинах лежат его стихи. Но он не знал, что накануне его выступления отставной ректор университета, 78-летний философ Мартин Хайдеггер сам обошел книжные магазины и попросил владельцев заказать книги Целана и выставить их в витринах. После выступления Целана их представили друг другу. Подбежавший фотограф хотел было запечатлеть "исторический момент", но Целан решительно запретил съемку. Хайдеггер промолчал. Он просто пригласил Целана на следующий день в гости к себе домой. О чем они тогда говорили и как, неизвестно. Но в память этого посещения Целан написал стихотворение, в котором, среди прочего, отсылает к названию и темам книги Хайдеггера "Лесные тропы", куда вошли работы, написанные философом как раз в годы нацизма, с 1935-го по 1946-й:

...под кровом
Хижины,

где в книгу —
чье ж имя
в ней перед моим? —
в ту книгу
запись
о надежде
сегодня в сердце
на мыслящего
слово,
что грядет,

проплешины в лесу, буграми,
ржавь,
ятрышник да ятрышник порознь,

смутность, в дороге после,
явственна,

он, кто везет нас,
со-внимает то же,

недо-
торённые, лесом
поваленным тропы в топях,

сыро,
сиро.

Перевод М. Белорусца

Чего в этом стихотворении больше — надежды, горечи и разочарования, просто усталости, каждый читатель может ответить только для себя сам. За всей интонацией этого стиха слышится и общее состояние Целана: истощенность, угнетенность, выжатость борьбой с постоянно преследующими его приступами душевной болезни. А с самого начало 60-х безумие ходит с Целаном бок о бок. Он периодически ложится

в клинику, но даже постоянное наблюдение врачей не помогает избежать срывы. В ноябре 1965-го в приступе душевного помутнения он пытался убить жену — после этого случая они окончательно стали жить отдельно, позже, в 1967-м, жена подала на развод — что только усилило сумеречное состояние Целана...

Конец 60-х — едва ли не худшее время в судьбе Целана. Его письма исполнены мрачности и отчаяния. Просветом стала поездка в Израиль — встреча там с теми, кого он знал еще по Черновцам. Среди них была Илана Шмуэли, подруга детства и юности, уехавшая в Палестину еще в 1944-м. Она успела послужить в израильской армии, участвовала в войне за независимость, стала социальным работником, занималась адаптацией репатриантов и трудновоспитуемых подростков. Илана была из тех женщин, что, отличаясь редкой душевной тонкостью, крепко стоят на земле. И те непростые отношения, которые вновь соединяют ее с Паулем, — для него были глотком свежего воздуха. Простоты, подлинности, которых так не хватало ему в парижской жизни. Той простоты, с которой Илана писала ему: "Я хотела, я могла бы спать с тобой и готовить тебе еду, ничего больше — это имело бы смысл"... Но при том у нее хватало слуха, мудрости — сформулировать и иное: "Для меня ведь было хорошо чувствовать твою любовь, она ведь была — такая большая, много, — я не могу измерить ее, но она была, и это было хорошо. Что же касается моей внутренней раздвоенности, то она с тобой не связана — она существовала всегда, и до тебя тоже, она мне присуща. А вот вкус к целостности — его я почувствовала благодаря тебе, именно там и тогда, он был для меня чем-то новым..."

В этих словах Иланы Шмуэли — возможно, самая точная формула того, к чему же взывает поэзия Целана. Она взыскует целостности и подлинности человека. Безусловности его реакций. Абсолютной честности в отношениях с миром. Всего, чего так нелегко достичь. Потому-то его стихи и отзываются в нас такой болью. Потому — раз с ними столкнувшись, их так трудно забыть. Вернее — забыть то чувство, которое они вызывают в нас. Стихи — как потребность в действии и бытии.

Антон Нестеров

Мечта о понимании

Антология современной британской драматургии / Пер. с англ. — М.: НЛО, 2008. 768 с.

Составление антологии — дело всегда рискованное. Тем более если это — антология работ переводческого семинара. Тем более если участники семинара собрались со всех уголков России, чтобы переложить по-русски тексты малознакомой культуры. И тем не менее попытка оказалось очень достойной. Судя по вводной статье руководительницы семинара Анны Гениной, работа переводчиков была настоящим приключением со своими успехами и неудачами. Согласитесь, что держать в руках результат подобного рода приключения само по себе интересно — особенно если этот результат по-настоящему качественный.

За исключением некоторых досадных опечаток (так, семнадцатилетний юноша из "Калеки с острова Инишмаан" странным образом оказывается стариком "лет семидесяти—восьмидесяти") книга переведена профессионально: в ней звучит совершенно естественный, неклишированный, динамичный язык, которого и ожидает читатель, увидев в заглавии слово "современный". Пожалуй, современность и своевременность перевода не менее важна, чем современность текс-

та. Здесь-то читателя и ждет сюрприз: пьесы вовсе не поражают какой-то особенной современностью, экспериментальностью. Их, скорее, можно отнести к разряду того, что по-английски называется instant classic: они безо всякого усилия вливаются в океан классической литературы. В них звучат те же самые знакомые каждому со школьной скамьи применительно к русской классике темы: одиночество, непонимание, любовное страдание, "простое человеческое счастье".

В большинстве текстов (за исключением, наверное, "Top Girls" и "Продукта") чувствуется своеобразная усталость от постмодернизма, стремление к простоте формы и вещественности повествования. В "Синем апельсине" Джо Пенхолла это стремление проявляется в том числе и на уровне сюжета: в противостоянии двух психиатров, Брюса и Роберта. Роберт по натуре — типичный деконструктивист, для которого диагноз "шизофрения" плох одной своей простотой. То, что их чернокожий пациент Кристофер называет апельсины синими, для него обозначает все, что угодно, — только не болезнь. Он велеречиво рассуждает о культурных различиях, расовых предрассудках и идиосинкразиях, заботясь больше об оригинальности своей интерпретации, чем о действительном положении вещей. Читатель не без удивления обнаруживает, что в грубом на первый взгляд диагнозе Брюса намного больше человечности, чем в гуманитарных рассуждениях Роберта. Так же и тексты самой "Антологии": кажущаяся клишированность тем и предсказуемость многих сюжетных поворотов дают возможность ненадолго вернуться в золотой век "пред-постмодерна", когда литература еще не стеснялась вызывать в читателе сочувствие и живой интерес к героям.

Если ставить себе задачу определить ведущую тему сборника — то это, наверное, одиночество. Но не монументальное одиночество романтического героя, а тихое, камерное, порой даже скучное одиночество, для которого не находится слов — этакая чеховская "тарарабумбия". Недаром самое частое слово в "Собачьем счастье" Лео Батлера — "молчание". А в "Ножах в курицах" главное для героев — это найти "названия для всего в мире Божьем".

Из такого одиночества нет прямого выхода: из него нужно выбираться окольными путями, о нем можно говорить только иносказательно, нестройно. Поиск смысла, поиск той речи, через которую можно было бы выразить то, что Сартр называл "человеческой ситуацией", — второй главный мотив во всех пьесах. Особенно показателен в этом плане "Брокенвиль (Разрушенск)" Филипа Ридли. Сюжет этой пьесы предельно прост: незнамо где на земле после какой-то ужасной катастрофы в полуразрушенном доме оказывается Ребенок. Совершенно случайно поблизости обретаются несколько подростков и Старуха. По своему жанру "Брокенвиль" — это своего рода метерлинковская сказка. Интересно то, что персонажи Ридли — словно бы в подражание Молоку, Хлебу, Огню, Псу и другим героям "Синей птицы" — носят нарицательные имена-прозвища. Одного зовут Царапина, другого — Портфель, третьего — Блестка. Они забыли свои настоящие имена — катастрофа оборачивается не только материальным, но и лингвистическим опустошением. И вот эти персонажи-прозвища собираются вместе, чтобы успокоить испуганного Ребенка. Если дети из "Синей птицы" (Тильтиль и Митиль) пускаются с Феей во вполне реальное путешествие по фантастической стране, то Ребенок совершает путешествие по текстам: под руководством Старухи герои проводят его через несколько импровизированных сказок, в разыгрывание которых постепенно вовлекаются валяющиеся на полу предметы. Вся пьеса — своеобразный отчет о становлении этих незамысловатых текстов. И если в начале пьесы этот процесс протекает совсем негладко, то к ее концу сказки

начинают возникать словно бы сами собой — все персонажи, кажется, становятся частью единого сказочного механизма, который перерабатывает пугающую постапокалиптическую реальность в увлекательные и поучительные истории. И так же как поиски Синей Птицы завершаются возвращением домой (ведь дом — это и есть счастье!), так и обитатели "Брокенвиля" возвращаются из мира сказок обратно в разрушенный дом — но теперь он уже не кажется им столь пугающим. "Теперь... мне уже не так страшно", — говорит Ребенок. Это — уже совсем не метерлинковская фраза. Переход от "страшного" к "не столь страшному" — все-таки не обретение счастья, а, скорее, смирение перед действительностью, радость обнаружения в ней хотя бы малой открытости в будущее, переосмысление апокалипсиса как нового начала.

Похожую процедуру "перевода" реальности в текст можно найти в "Продукте" Марка Равенхилла. По жанру пьесу можно охарактеризовать как "читку-монолог". Голливудский продюсер читает исполнительнице главной роли сценарий фильма о событиях 11 сентября. Актриса молчит. О ее реакции можно судить только по замечаниям продюсера, которые в большом количестве вплетаются в ткань сценария. Так же как в "Разрушенске", построение текста имеет своей целью не столько избавление от страдания, сколько переосмысление страдания, попытку воссоздать его таким образом, чтобы было "уже не так страшно". Брокенвильские дети призвали для этого на помощь сказочные образы, а продюсер Джеймс использует то, что теперь принято называть медийными образами. "Продукт" — это уже не Метерлинк, а, скорее, Дэвид Линч. Сценарий не фокусируется на самой трагедии, а вьется вокруг нее по траектории, отмечаемой голливудскими штампами: здесь находится место и для постельных сцен, и для ФБРовского захвата, и для гипертрофированных внутренних терзаний героев, и для зрелищных крупных планов, и для погони, и для причудливых голливудских тревеллингов эпохи блокбастеров. Все это нагромождение эффектов, заслоняющее собой сам террористический акт, малого бы стоило, если бы не поминутные комментарии продюсера, адресованные актрисе. Так же как у Линча, главное в "Продукте" — обнажение приема. Но не просто обнажение приема, а обнажение внутреннего движителя сценария — желания держать зрителя в постоянном напряжении, желания кассового успеха. Именно этот контраст между расслабленным, фамильярным тоном разговора с актрисой и мелодраматической насыщенностью самого сценария и создает тот особый тон, ради которого пьесу стоит и прочитать, и посмотреть. Равенхилл пытается сделать в драматургии то же, что Роб-Грийе делал в прозе: показать кинотекст с неестественного для него литературного ракурса, обнажив при этом все его подводные камни.

Тема Голливуда очевидно связана с американской темой вообще, которая занимает не последнее место в сборнике. Так, Америка прямо упоминается как минимум в трех пьесах, и каждый раз с ней связана мысль о спасительной — пусть и бездуховной — простоте. Именно вокруг Америки крутится сюжет "Американского пилота" Дэвида Грейга. Иви, дочь фермера из захолустной деревушки в раздираемой гражданскими войнами латиноамериканской стране, искренне полагает, что говорит по-английски, хотя по-настоящему знает одно только слово "О'кей" да песни из американских фильмов. Волшебная реальность поп-культуры кажется ей намного проще и притягательнее, чем бедность и война в ее родном крае. Поэтому катапультировавшийся американский пилот для нее не просто "иностранец", а настоящий ангел: глашатай благой вести из обетованной земли. Даже ее отец-фермер признается, что "аме-

риканский пилот был самым красивым человеком, которого я когда-либо видел. <...> Все то время, что он провел с нами, я чувствовал, что еще секунда, и я поцелую его". Секрет этой неземной красоты — всего лишь американское гражданство.

Для Свидригайлова из "Преступления и наказания" Америка — метафора самоубийства, бездуховного избавления от тягот жизни, у Кафки — сюрреалистическое чистилище, в котором человека равно ожидают и испытания, и спасительные чудеса. У британских драматургов Америка — воплотившаяся мечта, место, которое существует не столько на географической карте, сколько на экране телевизора или кинотеатра, а значит — повсюду. Даже в самую захолустную страну Бог того и гляди "пошлет американского пилота". Но насколько люди готовы к его приходу? Грейг предлагает нам совершенно евангельский ответ на этот вопрос: спасутся только уверовавшие. Во время спасательной операции американцы забирают с собой Иви, а фермер и его приятель-торговец погибают в перестрелке. Бесплотная голливудская мечта оказывается вооруженной до зубов, а неуверовавшие в нее будут истреблены огнем.

Американская тема фигурирует и в пьесе "Калека с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха. Примечательно, кстати, что фильм по сценарию Макдонаха получил в 2005 году "Оскара" — Голливуд и тут не замедлил материализоваться. Итак: Билли, подросток-инвалид с захолустного ирландского острова, опекаемый стариками, узнает, что на соседнем острове проходят съемки голливудского фильма. Недолго думая, он отправляется туда, добивается некоторого успеха, попадает в Америку, но затем — разочарованный — возвращается на родину. В отличие от Иви из "Американского пилота", Билли не испытывает особенного преклонения перед Америкой (на дворе 1934 год, "фабрика грез" только набирает обороты). Отъезд для него — способ вырваться из тягостной провинциальной скуки родного городка, отвлечься от тайны смерти своих родителей, забыть о насмешках соседей. И все-таки главное место тут, пожалуй, занимает скука. Жители острова Инишмаан вовсе не страдают от "мук молчания", как дети из Брокенвиля или старики из "Собачьего счастья". Наоборот, они живут в мире предельно предсказуемых, обкатанных, набивших оскомину "культурных текстов": местный сплетник Джоннипатинмайк ежедневно сообщает им свежие новости об "овцах без ушей" да склоках между соседями, опекунши Билли Кейт и Эйлин ворчат о бытовых неурядицах, Бартли требует у них "Чупа-Чупсов" и "Хубба-Буббы", а сам Билли не может найти себе лучшего развлечения, чем "смотреть на коров". И вот Билли отправляется в Америку. Но что он находит там? Все то же самое: насмешки, ощущение собственной ненужности — и как актера, и как человека. Инишмаан и Голливуд, которые прежде казались ему диаметрально противоположными полюсами бытия, "схлопываются", совпадают в императиве оставаться человеком при любых обстоятельствах, сохранять верность собственным корням. Но это почти невозможно — разве только через смерть.

В этом плане с "Калекой с острова Инишмаан" перекликаются сразу две пьесы сборника: "Порция Кохлан" Марины Карр и "Искусственное дыхание" Кевина Элиота. Порция не может найти себе места в этом мире: она несчастлива с мужем, у нее нет настоящих друзей, и единственным призывом в ее жизни звучит голос утонувшего много лет назад брата-близнеца. Этот голос зовет ее столь настойчиво, что в конце концов она повинуется ему и сама бросается в реку. Она уже не ищет счастья — ей нужно только успокоение. Ее семейная жизнь, любовные увлечения, окружающие люди кажутся ей во сто крат менее реальными, чем призрак брата, скитающийся по берегу реки. Надежда

на лучшую долю, которой живут Иви и Билли, вырождается у нее в усталое желание — говоря лермонтовскими словами — "забыться и заснуть". В "Искусственном дыхании" мы становимся свидетелями смерти существа, которое наполняет смыслом жизнь любящих его людей. Смертельно больной писатель-неудачник Фрэнк влюбляется в пятнадцатилетнего Филлипа, сына своей подруги. Однажды он спас его, когда тот тонул. Воспоминание о "поцелуе" искусственного дыхания становится особенно мучительным, когда Филлип погибает. И снова на сцене возникает потеря любимого человека, экзистенциальное страдание, смирение перед смертью и пустотой жизни — классическая чеховская комбинация, которая выглядит в исполнении британца убедительно и все-таки чуть-чуть скучновато.

Вообще для сборника характерны по-детски грустные концовки: заключительные сцены "Порции Кохлан", "Исскуственного дыхания" и "Калеки с острова Инишмаан" балансируют на грани между серьезным экзистенциальным посланием и наивной обидой на несправедливость мироустройства. И главный корень этой несправедливости — всеобщее непонимание. Персонажи по-метерлинковски не слышат друг друга, их реплики то и дело обрываются на самом подходе к желанному смыслу. Разговор идет мимо сути вещей, имена которых постоянно ускользают от говорящих. Во всех пьесах так или иначе идет позиционная война между молчанием и речью, стремлением высказать себя и покорным смирением перед собственной безъязыкостью. Это может быть заранее проигранная, вялая схватка, описанная в "Собачьем счастье", "Искусственном дыхании" и "Калеке с острова Инишмаан". Это может быть отчаянная попытка достучаться до чужого сердца — в "Американском пилоте" и "Продукте". Это может быть твердая на слух, но пустая, балансирующая на грани нонсенса речь героев "Ножей в курицах". Или это может быть рваный посмодернистский дискурс "Top girls", заблудившийся в лабиринте исторических эпох. И именно подобное противостояние является своего рода объединяющим сюжетом для всего сборника. В таком случае, сам сборник, сам факт его выхода в свет представляется очередным ходом в этой игре. Переводческий семинар как групповое усилие людей, направленное на понимание иноязычного текста и претендующее на адекватную трансляцию достигнутого понимания на родном языке, — это ли не попытка восстановить поколебленный диалог культур, подбросить дров в топку разговора между писательским сообществом и читающей публикой? Увенчалась ли попытка успехом, может оценить только читатель, и все-таки само по себе усилие достойно всяческой похвалы.

Андрей Логутов

Брак без любви

Федерико Гарсиа Лорка *Цыганское романсеро.* — М.: Радуга, 2007

"Цыганское романсеро" Гарсиа Лорки — его главная поэтическая книга, самая сильная, цельная и необычная — без преувеличений, книга жизни. И смерти, поскольку она сыграла свою роль в его гибели. Когда-то поэзию Лорки и особенно "Цыганское романсеро" в России знали и любили. Но за последние годы интерес к поэзии угас, уступив место интересу к разномастной скабрезности, малоизобретательной, зато доступной — даже шоуменам. Однако еще не вечер, и бесспорно появление подобной книги отрадно, тем более что главное ее достоинство — двуязычие. Это билингва: слева, где сердце, — испанский подлинник, справа — переводы.

Менее отрадно другое. Ильф и Петров не зря предлагали поставить памятник первоопечатнику. Дело его живет. Вот и в данной книге издательство на опечатки не поскупилось, некоторые особенно удались. Открываем наудачу в самом начале и в романсе "Пресьоса и ветер" (с. 57), читаем: "Стакан молока цыганке протянут...стаканчиком горькой водки" (перевод А. Гелескула). Переводчик явно пьян или не в себе, но в любом случае не в ладах с русской речью и не сможет уже ничем доказать обратное. Ладно переводчики — народ тертый, не такое видали. Но вот в "Колыбельной" Лорки (с. 296) выброшена целая строфа с рефреном — не в переводе, нет (впрочем, в переводе тоже), — в испанском тексте, самом что ни на есть подлинном. Чем Лорка не угодил редактору? Справедливости ради свидетельствую, что в процессе подготовки книги составитель и переводчики требовали устранить неполадки, испещряли верстку правками и восклицательными знаками, звонили в редакцию, молили и слезно и грозно, но безрезультатно.

Мало того, из первоначального корпуса книги выбросили прозу Лорки, так или иначе созвучную стихам "Романсеро". Это не побочный материал комментаторского толка, а самоценные произведения, по художественной силе, ей-богу, не уступающие стихам. По этому поводу тоже шли препирательства, но издательский аргумент был обезоруживающе прост: "Это не стихи, а проза". Такая наблюдательность, конечно, радует — мольеровский Журден стихи от прозы не отличал. Всего три века прошло, а какой прогресс! Правда, прозу распознали и пресекли на стадии верстки — дотоле содержимое книги возражений не вызвало.

В целях рекламы следует отметить, что книга украшена рисунками Лорки. Правда, закамуфлированными в виде пятен на полях. Пятна цвета сажи и довольно плотной консистенции, но, если приглядеться, можно различить какие-то линии — нечто похожее на рисунок, но больше на отпечатки пальцев из картотеки угрозыска. Надо сказать, Лорка рисовал не хуже Пушкина, но опять чем-то не угодил.

В целом издательский порыв воскресить забытое нельзя не приветствовать. То, что наш, как говорилось, широкий, а ныне уцелевший в процессе выживания читатель получит двуязычное издание "Романсеро", — замечательно; то, что получит его оскопленным, — не очень. Благими намерениями известно что мостят, а читатель, к сожалению, не знает об издательских перипетиях и довольствуется конечным продуктом. Как говорят кустари, стекольщик за бой не отвечает. Издательство за брак, видимо, тоже.

А. Гелескул

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Филип Рот *Возмущение* / Пер. с англ. Виктора Топорова. — СПб.: Амфора, 2008. — 240 с. — 5000 экз.

В этом новейшем (2008 года) романе известный американский автор решает рассказать историю американского солдата, погибшего в 1952 году в Корее. Точнее, волею Филипа Рота, сам его герой — выходец из семьи потомственных ньюаркских резников (то есть земляк и сверстник самого автора) Маркус Месснер за мгновение перед смертью вспоминает свою историю — историю одаренного, но взбалмошного и неуживчивого молодого человека, покидающего родной дом ради большого мира... и обнаруживающего против воли, что этот мир слишком велик и слишком сложен для него.

Курбан Саид *Али и Нино* / Пер. с нем. Мирзы Гусейнзаде. — М.: Ад Маргинем, 2008. — 336 с. — 7100 экз.

Издательство "Ad Marginem" известно своей любовью передвигать разнообразные тексты и авторов с окраины в центр читательского внимания. Данный случай — один из самых характерных. Маленький роман неизвестного автора о разгорающейся в Баку в зыбком 1918 году любви азербайджанского юноши — ярого мусульманина — и истово православной грузинской княжны был издан по-немецки в Вене в не располагающем к романтике 1937 году. Казалось, он канул в Лету — пока не попал в конце 1960-х от букинистов на набережной Сены в руки к художнице, узнавшей книгу, читанную ею когда-то в прошлой жизни и оставившую тогда благоприятное впечатление. С того времени "Али и Нино" переиздавался множество раз на самых разных языках (всякий раз вызывая жаркие споры об авторстве), но добрался до России только сейчас. Зато сразу попал "в десятку" — в буквальном смысле слова, не выходя более месяца из лидеров продаж раздела "Зарубежная литература" книжного магазина "Москва". Христианство и мусульманство, живые чувства и фундаментализм, молодая демократия (в лице эфемерной Азербайджанской республики) и древние традиции — и все это на фоне космополитического Баку, тогдашней нефтяной столицы мира. Неудивительно, что в 2008 году книга оказалась востребованной.

Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI) *Иисус из Назарета* / Пер. с нем. Марины Кореневой. — СПб.: Азбука-классика, 2009. — 416 с. — 20000 экз.

Эта книга — только первая часть задуманного Бенедиктом фундаментального труда и охватывает период земной жизни Иисуса от Крещения в Иордане до Преображения. Признанный задолго до интронизации как один из крупнейших католических теологов современности, автор учитывает все "наработки" современной богословской и исторической экзегезы — но делает это с осторожностью, стараясь, по его словам, за "историческим" Иисусом "не потерять" Иисуса веры. Трудно поверить, но Бенедикт XVI — первый наследник Святого Петра, взявшийся написать и выпустить под своим именем книгу об Иисусе. Впрочем, ничего удивительного. Вслед за "папой-атлетом" (как называли сразу после избрания крепкого 58-летнего Иоанна-Павла II, ставшего, действительно,

неутомимым путешественником), ватиканский престол занял "папа-богослов". Удивительно другое. В предисловии к своему труду Бенедикт пишет: "Эта книга отнюдь не является официальным директивным документом, но представляет собой частный труд... всякий, кто захочет, может мне возразить". Если вспомнить догмат о непогрешимости Папы, это заявление дорогого стоит.

Луиза Брукс *Лулу в Голливуде* / Пер. с англ. Анастасии Грызуновой и Любавы Нечистяк. — М.: Rosebud, 2008. — 289 с. — 3000 экз.

Луиза Брукс (1906—1985) — одна из первых, самых ярких и загадочных звезд голливудского кино, во многом определивших, каким именно стал тот сложный и многоступенчатый механизм, известный нам сейчас просто как "Голливуд". Начав сниматься в 1928 году, уже в 1938 году она оставила съемочные площадки. В мемуарах, написанных, как водится, на склоне лет, бывшая кинозвезда воссоздает наивные и жестокие нравы того мира, в котором она вращалась десять лет. Ее воспоминания предварены обширным эссе о Луизе Брук пера Кеннета Тайнана — британского критика, драматурга, режиссера и, главное, многолетнего поклонника таланта актрисы.

Бенгт Янгфельд *Ставка больше чем жизнь. Владимир Маяковский и его круг* / Пер. со шведск. Аси Лавруши и Берта Янгфельда. — М.: Колибри, 2009. — 640 с. — 10000 экз.

Тщательное и подробное исследование известного ученого охватывает всю жизнь Маяковского и даже шире — от рассказа о его родителях (и родителях Лили и Осипа Бриков) до прослеживания судеб всех близких Маяковскому людей уже после его смерти. Основной посыл Янгфельда — Маяковский был азартным игроком, игравшим везде и всегда, при любой возможности и не только в прямом, но и в переносном смысле. Этот тезис щедро иллюстрируется цитируемыми документами и произведениями самого Маяковского. Шведский исследователь подходит к своему герою как бы с противоположной (по сравнению с многочисленными биографами "пролетарского поэта") стороны: последовательно идет в своем рассказе не от творчества к биографии, а от биографии — к творчеству, подробно описывая удивительные многоугольные фигуры, складывавшиеся вокруг странной "семьи" Маяковского-Бриков. И огромная во всех смыслах фигура Маяковского начинает выглядеть совсем по-новому.

Сэм Хайес *Моя чужая дочь* / Пер. с англ. Елены Ивашины. — М.: Фантом-пресс, 2008. — 544 с. — 7000 экз.

Открывая этот хитро закрученный триллер об ужасных скелетах, таящихся в шкафах благопристойных и благополучных людей, следует иметь в виду, что, несмотря на мужское имя, Сэм Хайес — женщина. И это — ее дебютный роман. Тогда все становится на свои места, начиная от первой фразы книги: "Молоко потекло секунд через тридцать после того, как я осознала, что моего ребенка украли. Помню, на ум пришла глупейшая мысль о белесых пятнах на блузке..." — и заканчивая последней фразой: "Все трое счастливы: Руби, Фелисти и тот, кто скоро появится на свет".

Уистен Хью Оден *Лекции о Шекспире* / Пер. с англ. Марка Дадяна. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2008. — 576 с. — 4000 экз.

Эта книга — пример "книги известного автора, им самим не написанной". Менее витиевато выражаясь, она составлена из конспектов лекций о Шекспире[1], прочитанных сорокалетним Оденом в нью-йоркской Новой

1. В "ИЛ" опубликована лекция "Антоний и Клеопатра" (2008, № 8).

школе социальных наук в 1946–1947 годах. Этим, видимо, отчасти объясняется некоторая лапидарность и отрывочность книги, распадающейся на афоризмы и суждения. Впрочем, это с лихвою компенсируется эрудицией лектора-автора и широтой его горизонта, позволяющего связывать далеко отстоящие явления. А также подробнейшим комментарием, которым снабжена книга.

Стивен Хокинг, Люси Хокинг *Джордж и тайны вселенной* / Пер. с англ. Екатерины Канищевой. – М.: Розовый жираф, 2008. – 360 с. – 7000 экз.

Стивен Хокинг – выдающийся ученый-астрофизик и известный популяризатор науки. Его дочь Люси – романист и профессиональный журналист. Объединив усилия, они смогли создать детскую книжку одновременно увлекательную и познавательную. Начав с удравшего через дыру в заборе поросенка, семейный дуэт так закручивает сюжет, что вполне точные сведения о строении космоса, звезд, туманностей и черных дыр читаются взахлеб, как перечни пиратских кладов. Но мало этого: Хокинги дружелюбно, но вполне недвусмысленно показывают нелепость радикальных "зеленых", выступающих против любого научно-технического прогресса. И главное – доказывают: чтобы заниматься наукой, нужно такое же мужество и сила воли, как и во время приключений в открытом космосе.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

В классическом словаре русского языка С. М. Ожегова "фельетон" толкуется как "газетная или журнальная статья на злободневную тему, использующая юмористические и сатирические приемы изложения". В более новом (2001 года) словаре под редакцией С. А. Кузнецова это еще и статья, "высмеивающая и осуждающая какие-либо недостатки, уродливые явления". И действительно, услышав слово "фельетон", многие вспомнят прежде всего советский журнал "Крокодил", разоблачающий и бичующий бюрократов, тунеядцев и хулиганов. Аналогичное по звучанию слово есть и в польском языке, причем оно тоже обозначает газетную или журнальную статью; однако на этом сходство кончается. Польский термин "felieton" можно считать типичным примером из числа так называемых "ложных друзей переводчика": звучит абсолютно так же, а смысл несколько иной. Как и в русском "фельетоне", в польском "felietone" обычно используются "юмористические приемы изложения", однако вовсе не обязательно высмеиваются и осуждаются "недостатки". Почувствовать реальную разницу между двумя этими родственными понятиями можно, познакомившись со сборником коротких текстов ведущего современного польского "фельетониста" **Ежи Пильха**. По-польски эта книга под названием *Безвозвратно утраченная леворукость* вышла в 1998 году, а несколько эссе из нее были опубликованы в "Иностранной литературе" (2000, № 8) в переводе К. Старосельской; теперь же книга целиком вышла в издательстве "Новое литературное обозрение" в переводе **Т. Изотовой**.

"Фельетоны" эти Ежи Пильх регулярно писал для известного краковского еженедельника "Тыгодник повшехны". В газете он публиковал и другие, более злободневные тексты,

однако для отдельного сборника выбрал те из них, которые, по словам автора предисловия **Ежи Яжембского**, *достаточно демонстративно отворачиваются от актуальности, понимаемой как комплекс событий, разыгрывающихся на публичной сцене.* Эту позицию Пильх программно декларирует в первом же фельетоне *С замиранием сердца.* Наблюдая на экране телевизора, как его старый приятель по "самиздатским" временам, *поэт и борец за независимость Ян Полковский (для друзей Полпот) становится пресс-секретарем правительства,* автор признается, что *испытал волнение, потому что человек испытывает волнение, когда какого-нибудь знакомого видит по телевизору,* однако тут же Пильх приходит к выводу о превосходстве его собственной позиции независимого писателя над позицией публичного политика: *то, что я сейчас пишу, я буду писать дольше, чем продлится правление нынешнего правительства. <...> ...рано или поздно у него кончится срок полномочий, а не кончится первый срок, так кон-*

чится второй или третий, совершенно, впрочем, невозможный, словом, какой-нибудь срок полномочий (какого-нибудь правительства) кончится наверняка, а какой-нибудь кончится досрочно, и выйдет по-моему, потому что я и впредь буду писать, а если уже и перестану писать эту свою леворукую исповедь, то начну писать что-то другое, а если и чего другого не буду писать, если вообще писать перестану, то будет писать кто-то другой. И Пильх выбирает для своих фельетонов темы демонстративно малозначительные: собственного кота, дворовый футбол, неудавшийся "животноводческий" бизнес деда или воспоминания о первых мини-юбках на улицах Кракова.

Фирменный прием Пильха — это длинные, сознательно "псевдофилософские" пассажи, в которых автор порой поначалу вроде бы серьезно "надувает щеки", однако вскоре (и как бы нарочно) не удерживает планку "высокого пафоса" и, вздохнув свободно, возвращается к обыденному и слегка косноязычному повествованию. Свою "косноязычность" Пильх намеренно выстраивает как результат того, что автор хочет сказать по возможности больше в одной фразе, один за другим наслаивая внутренние комментарии с целью уточнить оттенки смысла и в итоге будто путаясь и спотыкаясь в потоке речи. Впрочем, в концовке "фельетона" Пильх, как правило, стилистически "реабилитируется", удивляя непредсказуемостью финала: там, где читатель ждет морали или хотя бы некоего обобщения, он совершает искусный финт, выдавая в качестве резюме какую-то деталь, на первый взгляд второстепенную, но неожиданно по-новому высвечивающую весь предшествующий текст. А вынесенная в заголовок "леворукость" Пильха не просто указывает на некое "физиологическое" отклонение от нормативной "праворукости" большинства, но знаменует особый способ мышления, когда автор не только иначе водит рукой по бумаге, но и иначе видит мир, смещая центр его тяжести с псевдоценного "объективного" на оказывающееся реально ценным "субъективное".

Серия "Современное европейское письмо" издательства "Новое литературное обозрение" (в которой вышел сборник Пильха) в последние годы пополнялась прежде всего за счет польских авторов. А в 2008 году в ней появились сразу две венгерские книги, причем это не только книги одного автора, но фактически вообще одна книга — с продолжением. В начале года была выпущена *Harmonia cælestis* — семейная сага знаменитого рода Эстерхази, написанная одним из его представителей, **Петером Эстерхази**; а затем появилось так называемое *Исправленное издание* — с подзаголовком *Приложение к роману "Harmonia cælestis"*. По-венгерски роман вышел в 2000 году, а "Приложение" — в 2002-м; по-русски же фрагменты обоих произведений публиковались в "Иностранной литературе" (2002, № 10 и 2003, № 11, соответственно) — переводы и для журнала, и для нынешних полных изданий выполнены **В. Середой**.

История появления этих двух книг представляет собой отдельный "метасюжет". Первый роман был восторженно встречен и критикой, и читателями. Стотысячный тираж, немедленные переводы на ведущие европейские языки: автора ждал триум-

фальный и, безусловно, заслуженный успех. На основе документальных материалов и личных воспоминаний Эстерхази воссоздал непростую историю своей семьи, пережившей на протяжении XX века и первую коммунистическую революцию 1919-го, и Вторую мировую войну, и послевоенные репрессии, и народное восстание 1956-го, и противоречивую эпоху "стабилизации" Яноша Кадара. При этом центральное место в повествовании занимала фигура отца, на протяжении многих лет стоически преодолевавшего все трудности выживания, неизбежные для представителей графского рода при новом, "народном" режиме. Книга стала образцовым свидетельством об эпохе, написанным искренне, а потому воспринимавшимся как нечто настоящее, истинное, подлинное.

Однако вскоре подлинность эта была поставлена под сомнение, а автора ждал жестокий удар: Петер Эстерхази узнал, что в течение нескольких послевоенных десятилетий отец был тайным агентом службы госбезопасности — грубо говоря, стукачом. Удар пришелся и по сложившемуся самосознанию (как с этим дальше жить?), и по роману (который из документа неизбежно превращался в "лжесвидетельство"). Со всеми компрометирующими отца материалами Эстерхази знакомился в архиве; и пока о них никто не знал, Петер вполне мог воспользоваться правом их засекретить, запретить к ним доступ. Однако он выбрал другой, более чем тяжелый путь — своего рода шоковую терапию. Эстерхази написал "Приложение" к уже изданному роману, где обнародовал и прокомментировал (часто не удерживаясь от нецензурной лексики) ставшую известной ему нелицеприятную информацию.

Выбирая между честью собственного графского рода и исторической правдой, Петер Эстерхази выбрал правду. Хорошего выхода из сложившейся ситуации у него не было: ведь разоблачение отца (пусть даже он и оказался предателем) — поступок вообще-то этически небезупречный. Но для меня абсолютно ясно, что сокрытие правды было для Эстерхази вариантом не просто более тяжелым, а совершенно неприемлемым. Если разобраться, в этом есть парадокс: скрыв правду, автор избежал бы краха романной "Небесной гармонии"; открыв же правду, он уничтожил свою "Гармонию", но не нарушил другой гармонии, более высокой, в основании которой не может ни в малейшей степени присутствовать ложь.

Значительную часть "Приложения" составляют рефлексивные рассуждения автора, мучительно переживающего серьезный психологический дискомфорт и все-таки выбирающего не просто правду, а литературное свидетельство о правде, важной и неотъемлемой составной частью которого является описание этих самых переживаний. И в этом отношении (отношении к литературному слову) Эстерхази поступает как настоящий профессионал.

Рассуждениям о некоторых особых разновидностях правды и лжи применительно к определенным типам высказываний посвящена небольшая книжка профессора философии в Йеле **Гарри Г. Франкфурта** *К вопросу о брехне. Логико-философское исследование* (М.: Издательство "Европа", перевод с английского **М. Ослона**; под ред. **Г. Павловского**). Книга издана как "билингва", с параллельным воспроизведением текста оригинала: решение крайне уместное, поскольку адекватно перевести эту книгу на русский невозможно. Переводу прежде всего не поддается ключевой термин *bullshit*: *брехня* здесь — это всего лишь одна из составляющих синонимического ряда, куда, по мнению издателей, входят также *туфта*, *пурга*, *лабуда*, *дребедень*, *очковтирательство*, а также *п..деж* и *х..ня* (последнее, несмотря на нецензурность, не просто вынесено на обложку, а искусно включено там составной частью в подзаголовок).

Несмотря на академическое определение жанра (в подзаголовке), наукообразный стиль изложения и отсылки к Витгенштейну, книжка, конечно, воспринимается не вполне серьезно. Впрочем, за внешним стё-

бом распознаются вполне актуальные проблемы. Все мы живем в окружении массированного медийного потока, для которого традиционные понятия "правда" и "ложь" уже не релевантны, то есть не имеют прямого отношения к смысловому наполнению этого потока. В том мире, где утверждение "дважды два = четыре" противостоит утверждению "дважды два = пять", жить привычно и просто; в современном же мире утверждение "дважды два = розовая кофточка" противостоит (и скорее даже не противостоит, а сопутствует) утверждению "дважды два = суверенная демократия". Здесь уже нет ни истины, ни лжи; все это сплошной и тотальный *bullshit*. И акцент здесь смещается с семантики на прагматику высказывания: переводя на обыденный язык, важно, не *что* именно говорится (и даже не *как* это говорится), а *кем* именно это говорится и — самое главное — *с какой целью*. Это уже не оппозиция типа "да–нет" или "истина–ложь", а значительно более сложная конфигурация.

Хорошим примером добродушной и не вредоносной *пурги* (такой перевод термина *bullshit* мне кажется наиболее уместным) может служить классическое рассуждение покойного Сергея Курехина на тему "Ленин был грибом". Базовая посылка, понятно, заведомо лжива, но текст на эту тему уже не лжив и не правдив: он должен оцениваться, скорее, в категориях "хорош–плох" или "полезен–вреден". При этом адекватное восприятие такой *пурги* предполагает понимание слушателем того, что это именно *пурга*, не претендующая на истинность, а, напротив, пародирующая усилия, направленные на поиск некоей "истинности" там, где искать ее бесполезно. А вот злую и вредную *пургу* чаще всего можно встретить в окрестностях современных миров политики и гламура, когда явный *bullshit* пытаются выдать за истину и убедить в ней адресата.

Чертовски трудно врать, когда не знаешь правды, — этой фразой начинается роман *Harmonia cælestis* Петера Эстерхази. Узнав правду, Эстерхази написал пронзительно искреннее *Исправленное издание*. Отдавая должное венгерскому писателю, в качестве своего рода полемического комментария процитируем концовку *логико-философского исследования* Гарри Франкфурта:

Мы – существа, движимые сознанием. Наше существование – лишь реакция на факты вне нас: мы не сможем познать себя, не познав их. Более того, ничто в теории, ни тем более на практике не подтвердило весьма странного утверждения, будто человеку "легче всего дается правда о самом себе". Вот именно "факты о себе" первыми легко рассыпаются под устремленным на них скептическим взглядом. Наша собственная природа ускользающа, бестелесна, она куда менее тверда и незыблема, чем природа всего остального. А коли так, искренность – та же ***брехня****.*

Что ж, тут есть над чем подумать. Среди прочего и о том, что в качестве еще одного объекта исследования Гарри Франкфурт вполне мог бы выбрать собственные тексты. Ведь *пурга* на тему искренности — это все-таки не истина, а всего лишь та же *пурга*.

По материалам зарубежной прессы

JEAN-YVES MOLLIER Edition, presse et pouvoir en France au XXe siècle. – P.: Fayard, 2008, 493 p.

Известный парижский историк книги Жан-Ив Молье снова предлагает читателю отправиться в путешествие по "галактике Гуттенберга". На этот раз Молье решил осветить самую неприглядную сторону издательской политики, а именно ее связь с правительственными кругами и СМИ, причем в недавнем прошлом.

Отвечая на вопросы французского издания "Экспресс", автор рассказал, что получил неограниченный доступ к архивам крупнейших французских издательских домов: "Это кладезь информации – 13500 ящиков, – и неудивительно, что Жан-Люк Лагардер, руководитель издательского дома 'Ашетт', так упорно добивался, чтобы им был присвоен статус памятника истории. Нет сомнения, что после войны их основательно 'почистили', но все же немалое количество документов, на которых я обнаружил грифы 'уничтожить' или 'исправить', к моей радости, каким-то чудом избежали незавидной участи. Кроме того, я основательно изучил немецкие архивы времен оккупации, а также архив Национального профсоюза издателей. Наконец, одним из важнейших источников мне послужили записи переговоров, которые велись в издательском мире с 1926 по 1980 годы".

Проштудировав все эти документы, Молье в своем последнем исследовании рассказывает о том, например, с какой готовностью видные французские издатели в 1940-е годы не только приняли режим Виши, но и исполняли поручения Петена (пусть и не разделяя нацистских убеждений); или о том, что утвержденный оккупантами индекс запрещенных книг (так называемый список Отто), в который попали сочинения таких авторов, как Томас Манн, Стефан Цвейг, Ромен Роллан, Бергсон и Фрейд, был составлен общими усилиями французских издательств: сначала "Фламмарион", "Албен Мишель", "Грассе", "Галлимар" представили "короткие списки номинантов" на изъятие из продажи, а затем крупнейший распространитель книг того времени "Мессажри Ашетт" объединил короткие списки в один длинный. Последний и был подписан оккупантами.

Однако на 1945 году XX век не заканчивается, и Молье, как и обещал в названии "Книгоиздание, пресса и власть во Франции XX века", продолжает безжалостно выворачивать историю издательских дел наизнанку. Так, например, письма Гастона Галлимара бесспорно свидетельствуют о том, что в ноябре 1953 года известнейший издатель подкупил одного из членов жюри литературной премии "Фемина": "Мы могли бы намекнуть мадам Камиль Марбо, – пишет Гастон Галлимар, – что, если она отдаст свой голос нам, мы в долгу не останемся". Тем же способом, согласно исследованным Молье документам, издательство "Галлимар" получило премию "Интералье" в 1950 году, а также очередную "Фемину" – в 1956-м.

По словам представителя издательства "Файар", можно смело утверждать, что новое исследование Молье "Книгоиздание, пресса и власть во Франции XX века" не только знакомит читателя с неизвестными фактами из истории книги, но и позволяет понять законы, по которым живет и развивается издательский мир сегодня.

БиблиофИЛ

Michel Pastoureau. Bleu. Histoire d'une couleur. — P.: Seuil, 2007, 216 p.

Профессор Сорбонны и парижской Практической школы высших исследований (где преподавал Р. Барт) Мишель Пастуро посвятил книгу "Синий. История одного цвета" символике цвета. Анализируя различные дошедшие до нас источники (чаще всего это литературные памятники, юридические трактаты, различные произведения искусства), автор рассуждает о месте заглавного цвета в культуре в ту или иную эпоху.

Например, в античной культуре, утверждает Пастуро, синий цвет не играл существенной роли. Ни греки, ни римляне не оставили никаких упоминаний о нем, но не потому, что "не различали его" (как считали ученые в XIX веке), а потому, что не научились добывать синие красители. Со временем человечество оценило красоту сока травы индиго и научилось добывать краску из нее, но сам цвет приобрел большое значение только в XII веке, когда облачению Девы Марии придали соответствующий оттенок. Синий сразу же появился на страницах книг (в рыцарских романах и куртуазной лирике), в стеклах витражей и стал непременным атрибутом королевских гербов.

В XVII веке благодаря живописцам фламандской школы синий сочли "самым красивым цветом, в XVIII — синий символизировал свободу — американские и французские революционеры подняли его на своих знаменах. На рубеже веков знамя революции подхватывают романтики: Гёте, облачив Вертера в синий сюртук, ввел моду на одежду à la Werther. Наконец в 70-х годах XIX века легендарный еврей Леви Страус изобрел джинсы. Пастуро подробно описывает историю создания элемента гардероба, без которого в наши дни мало кто обходится.

Сегодня синий цвет символизирует мир, что неудивительно, учитывая, как часто различные всемирные объединения и организации (ООН, Юнеско, Совет Европы, ЕС) используют его в логотипах.

Пока готовился этот обзор, вышла в свет очередная книга Мишеля Пастуро с неоригинальным названием "Черный. История одного цвета", а ее автор, по словам издателя, стал всемирно признанным специалистом по истории цвета.

Atiq Rahimi *Syngué sabour, Pierre de patience.* — P.: P.O.L, 2008, 155 p.

Лауреатом Гонкуровской премии 2008 года стал живущий во Франции афганский писатель Атик Рахими (р. 1962). "Сенге сабур. Камень терпения" он написал во время кинофестиваля в Южной Корее, на котором представлял фильм, снятый по его первому роману "Земля и пепел". Новую книгу Рахими посвятил афганской поэтессе, зверски убитой собственным мужем.

"Сенге сабур" — исповедь женщины, ухаживающей за парализованным мужем, которому она рассказывает обо всем, что думает, чувствует, слышит, — о войне, насилии, принуждении, браке, любви, удовольствии: "вы, мужчины, испытываете удовольствие, а мы, женщины, за вас радуемся, и нам этого достаточно..." Сквозной метафорой этого монолога становится "камень терпения" (сенге сабур), которому, согласно древнеперсидской мифологии, можно поверить любое горе, любую печаль. Камень примет все, а затем, когда переполнится, распадется на такое количество осколков, сколько вместил в себя секретов. И беды отступят. По аналогии роль "камня терпения" для героини играет прикованный к постели муж.

Согласно обозревателю газеты "Монд", Рахими, чтобы обратиться непосредственно к каждому из нас и рассказать о прошлых и сегодняшних бедах своей родной страны, использует форму монолога-исповеди.

Подготовила А. Лешневская

JOSE SARAMAGO *A Viagem do Elefante*. – Caminho, 2008, 240 p.

В ноябре сразу на четырех языках – португальском, испанском, каталанском и английском – вышел новый роман нобелевского лауреата 1998 года Жозе Сарамаго "Путешествие слона". Сарамаго, всегда старающийся высветить реальность под несколько необычным углом, на этот раз предлагает посмотреть на Европу XVI века глазами слона.

В книге, которую сам автор предпочитает называть сказкой, описывается путешествие азиатского слона по кличке Соломон по Европе, от Лиссабона до Вены. За основу Сарамаго взял реальную историю, произошедшую в XVI веке: по приказу капризного восточного монарха огромный торговый караван пересек почти весь Старый Свет. Слон Соломон и его погонщик, как и многие другие герои романа, имеют реальных прототипов, о которых сохранились сведения в исторических источниках того времени. Наряду с ними в произведении действуют и вымышленные персонажи – жители столь непохожих друг на друга стран и земель, через которые пролегает путь торговцев и животных.

В своих многочисленных интервью писатель всегда подчеркивал, что одна из его главных целей – задействовать воображение читателя: "Когда мы пишем или читаем, то не просто совершаем некое действие, а пытаемся осмыслить действительность".

А вот что говорит жена (и переводчица) писателя Пилар дель Рио: "Сопереживание – вот то чувство, которое не только пронизывает 'Путешествие слона', но и определяет содержание романа... Это не просто еще одна книга, это книга, которую мы ждали и которая обязательно найдет отклик у современного читателя".

Подготовила Е. ПОЛЕТАЕВА

JOHN UPDIKE *The Widows of Eastwick*. – New York: Knopf, 2008, 320 p.

Спустя почти 25 лет после выхода в свет знаменитого романа "Иствикские ведьмы" Джон Апдайк решил вновь обратиться к трем ведьмам из штата Род-Айленд – Александре, Джейн и Сьюки. Со времени их волшебных приключений прошло три десятилетия, они все успели вторично выйти замуж и вновь овдоветь, так что теперь они "Иствикские вдовы".

Сам Апдайк недавно заявил в одном интервью, что в 76-летнем возрасте он уже не "фонтанирует идеями", и в полном соответствии с этими словами его новый роман написан отнюдь не ради сюжета, утверждает книжный обозреватель "Файнэншл таймс" Жермена Грир. Например, в течение первых ста страниц автор рассказывает о трех поездках героинь – в Канаду, в Китай и Египет – "очевидно, оттого, что сам побывал в этих местах и не хотел возвращаться без письменного отчета". Тем не менее, продолжает Грир, книга не скучна – хотя бы потому, что Апдайк отваживается детально описать не только душевные переживания, но и телесные ощущения героинь. Рецензент сравнивает его с прорицателем Тиресием, который был обречен богами существовать в женском теле, – настолько достоверно и не банально смог Апдайк облечь в слова все, что происходит с иствикскими вдовами.

Благодаря особости авторского письма, как отмечает критик, перед читателем уже не литературная основа нашумевшего фильма или мюзикла, а нечто большее.

CHRISTIAN KRACHT *Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten*. – Köln: Verlag Kiepenheuer und Witsch, 2008, 160 S.

Завоевавший широкую известность в немецкоязычном мире швейцарский писатель Кристиан Крахт выпустил в сентябре 2008 года свой третий ро-

ман "Я здесь останусь, на солнце и в тени". Вновь перед читателем текст, с трудом укладывающийся в жанровые рамки – в романе есть и детективный сюжет, и исторические реалии, и гипотеза "альтернативной истории". Как и предыдущее произведение Крахта ("Метан"), написанное в соавторстве с Инго Нирманном и недавно переведенное на русский, новая книга деконструирует историю.

Что, если Ленин не сел в пломбированный вагон, а решил начать мировую революцию без долгих поездок, прямо там, где жил? В 1917 году в Швейцарии происходит социалистическая революция, и история всей планеты идет совсем не по тому пути, который знаем мы. Герой романа – житель коммунистической Швейцарии, политработник, которому поручено расследование таинственного убийства.

Всего этого было бы достаточно, чтобы привлечь внимание публики; но Крахт удостоился похвал в первую очередь как стилист. Вот лишь несколько отзывов немецкой критики на новый роман: "Искусство по Крахту состоит в том... что в кристально ясный, прозрачный как лед, точный язык вторгается иногда одно-единственное неожиданное слово, иногда фраза или целый абзац, которые раскрывают нечто совершенно невозможное, порой даже абсурдное" ("Франкфуртер альгемайне"); "По ясности речи Крахт сравним разве что с Готфридом Бенном. К счастью, у него получше с юмором, чем у Бенна" ("Штерн"); "Крахт – автор, персонаж, символ – это одно из интереснейших явлений в современной литературе" ("Зюддойче цайтунг").

GERALD MARTIN *Gabriel García Marquez: A Life.* – London: Bloomsbury, 2008, 664 p.

"У каждого уважающего себя писателя должен быть англоязычный биограф", – сказал однажды полушутя Габриэль Гарсия Маркес. Осенью 2008 года фундаментальная англоязычная биография появилась и у Маркеса; ее автор – англичанин Джералд Мартин. Как отмечает на страницах "Файнэншл таймс" обозреватель Анхель Гуррия-Кинтана, появлению этой книги могло парадоксальным образом помешать обилие письменных источников, ведь о Маркесе написано очень много. К тому же исследователям творчества колумбийского прозаика хорошо известно, что, говоря о себе, Маркес нередко присочиняет: "Большинство хорошо известных историй из своей жизни он успел рассказать в нескольких версиях, в каждой из которых непременно отыскивается зерно истины", – пишет об этом Джералд Мартин.

Поэтому многие события, описанные в книге, Мартин сознательно пересказывает несколько раз, представляя читателю все известные варианты. Сам Габриэль Гарсия Маркес не помогал английскому исследователю в его 18-летней работе, но, по выражению Мартина, "терпел" его; поэтому в новой биографии упомянуто немало деталей, доселе неизвестных. Тем не менее несколько эпизодов Маркес предпочел сохранить в неприкосновенности даже сейчас, сказав по этому поводу в беседе с биографом, что "у каждого человека есть три жизни: публичная, частная и тайная".

Подготовил И. МОКИН

ROBERTO BENIGNI *Il mio Dante.* – Torino: Einaudi, 2008, 145 p.

Книга Роберто Бениньи "Мой Данте" вышла в октябре 2008 года и стала одним из самых ожидаемых литературных событий года в Италии. Это не первое обращение Бениньи к творчеству Данте – в 2007 году он был номинирован на Нобелевскую премию за книгу "Всё о Данте", посвященную "Божественной комедии". Одноименный моноспектакль имел огромный успех по всей Италии, а потом и в других европейских странах.

Новая работа Бениньи представляет собой комментарии к поэзии Данте. В интервью различным изда-

ниям знаменитый актер признавался, что его главная задача – сократить разрыв между "высокой" культурой и культурой массовой и вызвать интерес к творчеству великого итальянского поэта у обычных читателей, особенно у молодежи. Бениньи рассуждает о стихотворениях Данте живо и эмоционально, сохраняя при этом ясность и точность научного подхода. В своей книге он не только говорит об использовании риторических фигур, структуре стиха или ассонансах, но и размышляет о красоте и любви, политике и религии, Боге и грехе. Бениньи стремится изменить привычное представление о Данте, изобразив поэта более человечным. "Для него Данте – человек страсти, а его поэзия – противоядие от апатии," – пишет обозреватель Тони Джоп в своей рецензии для газеты "Унита".

Отдельно стоит упомянуть, что предисловие к работе "Мой Данте" принадлежит перу Умберто Эко. Он высоко оценивает Бениньи как литератора и особо отмечает его тонкий художественный вкус, эрудированность и – скрытый до недавнего времени – талант рассказчика.

ANNA ENQUIST *Contrapunt.* – Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2008, 208 p.

Роман нидерландской писательницы Анны Энквист "Контрапункт" вышел в октябре 2008 года и сразу привлек к себе пристальное внимание. Журналисты единодушно назвали его одним из самых трогательных и глубоких романов, осмысляющих отношения родителей с взрослыми детьми. Интерес к книге проявили не только литературные критики, но и музыканты. Многие произведения Энквист, пианистки по образованию, так или иначе связаны с музыкой; на этот раз она обращается к творчеству И.-С. Баха. Интересно, что в Берлине "Контрапункт" был издан на месяц раньше, чем на родине писательницы. Это связано с огромным успехом, который имел в Германии предыдущий роман Энквист "Возвращение домой".

Героиня романа "Контрапункт" переживает трагическую гибель дочери в автокатастрофе. Чтобы справиться со своим горем, женщина впервые после окончания консерватории садится за фортепьяно и начинает разучивать "Вариации Гольдберга". Примечательно, что главы носят названия частей этого произведения: "Ария", "Вариация 1" и так далее. Как отмечает обозреватель газеты "Фолкскрант" Даниэлла Сердейн, весь текст романа также выстроен как музыкальное произведение. Разбирая каждый новый пассаж, мать ассоциирует его с определенным этапом в жизни дочери от рождения до школьного выпускного бала. Таким образом героиня пытается сохранить свои воспоминания о ней живыми, не дать им со временем поблекнуть. В какой-то момент женщине удается забыться и мысленно оживить прошлое, но постепенно трагические ноты усиливаются, возвращая ненадолго притупившуюся боль от невосполнимой утраты. В своей рецензии для газеты "НРК Ханделсблад" критик Янет Лёйс пишет, что роман построен на сочетании двух голосов: матери и дочери, альта и сопрано. Они то подражают друг другу, то звучат в унисон, то расходятся.

Подготовила Е. ЗАХАРОВА

Дженет Уинтерсон
Jeanette Winterson
Английский писатель. Лауреат премии Уитбреда [1985], премии Джона Лльюеллин-Риза [1987] и др. Награждена орденом Британской империи [2006].

Автор романов *На свете есть не только апельсины* [*Oranges Are Not the Only Fruit*, 1985; экранизирован в 1990 г.], *Страсть* [*The Passion*, 1987; рус. перев. 2002], *Тайнопись плоти* [*Written on the Body*, 1995; рус. перев. 2002], *Хозяйство света* [*Lighthousekeeping*, 2004; рус. перев. 2006], *Бремя* [*The Weight*, 2005; рус. перев. 2005] и др. В *ИЛ* напечатаны ее рассказы [2001, № 11].
Рассказ *Message in A Bottle* взят из газеты *Гардиан* [*The Guardian Weekend*. August 11, 2007], рассказ *The Snow Horse* – с сайта http://www.jeanettewinterson.com.

Ежи Пильх
Jerzy Pilch
[р. 1952]. Польский писатель. Лауреат премии *Нике* [2001].

Автор книг *Список блудниц* [*Spis cudzołożnic*, 1993], *Тысяча спокойных городов* [*Tysiąc spokojnych miast*, 1997], *О глупости, питии и умирании* [*Tezy o głupocie, piciu i umieraniu*, 1997]. В *ИЛ* были напечатаны его повесть *Монолог из норы* [1999, № 1], подборка эссе из сборника *Безвозвратно утраченная леворукость* [2000, № 8] и главы романа *Песни пьющих* [2003, № 10].
Рассказы *Najpiękniejsza Kobieta Świata* и *Sobowtór zięcia Tołstoja* публикуются по изданию *Moe первое самоубийство* [*Moje pierwsze samobójstwo*. Warszawa: Świat Książki, 2006].

Борис Зиновьевич Фаликов
[р. 1947]. Преподаватель Центра изучения религии РГГУ.

Автор ряда книг по истории религии. Среди них *Неоиндуизм и западная культура* [М.: Наука, 1994] и *Культы и культура* [М.: Издательство РГГУ, 2007].
Статья *"Ради толстой тети". Духовные поиски Дж. Д. Сэлинджера* написана специально для *ИЛ*.

Валерий Михайлович Кислов
[р. 1963]. Переводчик с французского, поэт, прозаик, эссеист. Доктор филологических наук.

Автор многих статей о литературе и художественном переводе. В его переводе издавались произведения Б. Виана, Р. Кено, Ж. Перека, П. Фурнеля, К. Бейли, Р. Барта, С. Гензбура. В *ИЛ* опубликован его перевод романа Р. Кено *С ними по-хорошему нельзя* [1997, № 4].

Элла Владимировна Венгерова
Переводчик с немецкого и польского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премии имени В. А. Жуковского [2008].

В ее переводах были опубликованы произведения П. Хакса, Х. Мюллера, Ф. Брауна, Г. Вальрафа, Ф. Дюрренматта, Х. фон Додерера, Г. Бюхнера, Р. Капущинского, Э. М. Ремарка, К. Мерца, П. Зюскинда и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иналитл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI–XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Андрей Владимирович Логутов
[р. 1980]. Специалист в области американской поэзии XIX века и современной литературной теории. Кандидат филологических наук. Директор по методической работе клуба иностранных языков *Soho Bridge*.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Иноллитл* [1995], *ИЛлюминатор* [2001], *Мастер* [2007].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки и др.; польских – А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского и др.; французских – П. Верлена, Г. Аполлинера и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко. В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо...* [1999, № 5], *Между двумя оттепелями* [2005, № 10].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12] и перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11].

Евгения Александровна Полетаева
Литературовед-испанист, преподаватель кафедры романской филологии РГГУ, аспирант кафедры сравнительной истории литератур РГГУ.

Специалист по европейской средневековой литературе, автор статьи *Функция авантюры в испанском рыцарском романе* [Вестник РГГУ, 2009, № 2]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1] и фрагментов книги Д. Рескина *Современные художники* [2009, № 1].

Екатерина Захарова
Студентка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы*.

Переводчики

Наталья Поваляева
Переводчик с английского, специалист по английской литературе XIX и XX вв., доцент кафедры зарубежной литературы Белорусского государственного университета.

Автор многих статей, посвященных творчеству В. Вулф и Дж. Уинтерсон. Перевела роман Дж. Уинтерсон *Хозяйство света* [2006]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые, двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8] и др.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти сборников стихов [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Уоллеса Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.

адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.

подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Дроссоса П. Скилласа [1886—1968] *Озеро в горах и сосульки* [1950-е].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черноглев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М.В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр. 2—3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
http://www.inostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

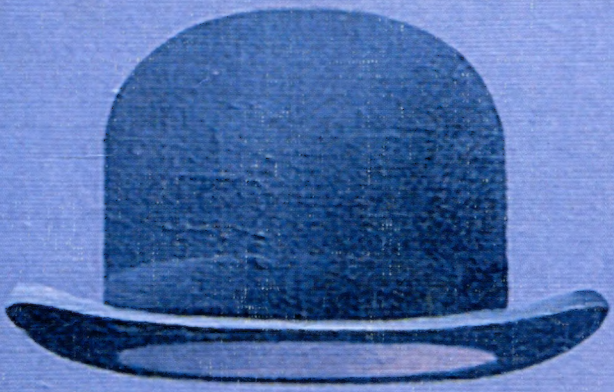
Подписано в печать 15.1.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2988.
Тираж 6 400 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

[3] 2009

РОМАН ХОСЕ ЛУИСА ДЕ ХУАНА “ВСПОМИНАЯ ЛАМПЕ” / ПОВЕСТЬ АНТОНИО МОРЕСКО “СИНЯЯ КОМНАТА” / ФРАГМЕНТ РОМАНА КРИСТОФА РАНСМАЙРА “ЛЕТУЧАЯ ГОРА” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “ГРИН В ЖИЗНИ” / “ИЗ ЯПОНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИРИКИ XII—XIV ВЕКОВ” В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” / ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА: ТРИ ПИСЬМА МАРСЕЛЯ ПРУСТА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России, подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" : г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 09002
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2009, №2, 1-272